СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН

Джон Дос

ПАССОС

ТРИ СОЛДАТА
МАНХЭТТЕН



Манхэттен

Джон Дос Пассос

Аннотация
Джон Дос Пассос. Манхэттен
Часть первая
I. Паром у пристани
II. Столица
III. Доллары
IV. Колея
V. Паровой каток
Часть вторая
I. Великая дева на белом коне
II. Длинноногий Джек с перешейка
III. Чудо девяти дней
IV. Пожарная машина
V. Пошли на базар к зверям
VI. Пять законных оснований
VII. Американские горы
VIII. Еще река до Иордана
Часть третья
I. Веселый городок
II. Пятицентовый рай
III. Вращающаяся дверь
IV. Небоскреб

V. Бремя Ниневии
Послесловие. Романы Джона Дос Пассоса

Аннотация

Джон Дос Пассос (1896—1970) — один из крупнейших писателей США. Оригинальные литературные эксперименты, своеобразный творческий почерк, поиск новых романных форм снискали ему славу художника-экспериментатора, а созданные им романы сделали Дос Пассоса прижизненным классиком американской литературы. В романе «Манхэттен» — фантасмагорический город и человек со всеми надеждами и разочарованиями, взлетами и падениями, судьбы людей на фоне трагического сумбура бытия. «Манхэттен» останется актуальным до тех пор, пока существуют огромные города с миллионами живущих в них людей, как бы ни меняло время их облик. Потому что в каждом таком городе есть свой опасный Манхэттен, в котором человек часто бывает беззащитен и одинок и так нуждается в уважении, сочувствии и поддержке.

Джон Дос Пассос
Манхэттен

Часть первая[1]

1 Примечания: 1

Роман «Манхэттен», появившийся вслед за «Тремя солдатами», публиковался на русском языке трижды в переводе В. О. Стенича: в 1927 г. в Ленинграде в издательстве «Мысль» (где переводчик подписался своей настоящей фамилией — Сметанич) с предисловием Л. М. Вайсенберга; в 1930 г. там же, в издательстве «Прибой», и в 1992 г. в Москве, в издательстве имени Сабашниковых, со вступительной статьей А. М. Зверева.

I. Паром у пристани[2]

Три дикие чайки кружатся над разбитыми ящиками, над апельсинными корками, над гнилыми кочнами капусты, выглядывающими из-за расщепленных свай. Зеленые волны пенятся под круглым носом, паром тормозит течение, громыхает, глотает взволнованную воду, скользит, медленно входит в гнездо. Жужжат лебедки, грохочут цепи. Ворота распахиваются, шаркают ноги, мужчины и женщины жмутся в деревянном, пропахшем навозом туннеле, тиская и толкая друг друга, как яблоки под прессом.

Держа корзину, точно ночную посудину, в отставленных руках, сиделка открыла дверь в большую, сухую, жаркую комнату с зелеными

---

2 Примечания: 2

Паром у пристани. — Очевидно, Бэд Корпнинг приезжает в Нью-Йорк на «Чэмберс-стрит Ферри» — пароме, курсировавшем через Гудзон между г. Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) и Манхэттеном. Пройдя один квартал на восток, он попадает на Уэст Бродвей (Западный Бродвей). В настоящее время большинство манхэттенских паромов, в том числе и «Чэмберс-стрит Ферри», заменены тоннелями и мостами.

выцветшими стенами. В воздухе, пропитанном запахом спирта и йодоформа, дрожал мучительный, слабый, унылый крик. Он доносился из ряда корзин, висевших вдоль стены. Поставив свою корзину на пол, поджав губы, сиделка заглянула в нее. Новорожденный ребенок слабо копошился в вате, точно комок земляных червей.

На пароме пожилой мужчина играл на скрипке. У него было обезьянье лицо, стянутое все в одну сторону, и он отбивал такт носком потрескавшегося лакового башмака. Бэд Корпнинг сидел на перилах спиной к реке и наблюдал за ним. Ветерок играл его волосами, выбившимися из-под тесной кепки, и холодил потные виски. Его ноги были покрыты пузырями, усталость давила его свинцовой тяжестью, но когда паром отошел от берега, вздымая ленивые, лепечущие волны, он сразу ощутил какой-то теплый, пронизывающий трепет.

— Скажите-ка, приятель, как далеко от пристани до города? — спросил он молодого человека в соломенной шляпе и полосатом галстуке, стоявшего рядом с ним.

Молодой человек перевел глаза с изношенных башмаков Бэда на красные кисти рук, свисавшие из потертых рукавов куртки, потом на пергамент-

ную, индюшечью шею и встретил напряженный взгляд из-под изломанного козырька.

— Зависит от того, в какое место города вам нужно.

— Мне нужно на Бродвей,[3] в центр — туда, где можно достать работу.

— Пройдите один квартал на восток, сверните на Бродвей, прогуляйтесь как следует — может, что и найдете.

— Благодарю вас, сэр. Так и сделаю.

Скрипач обходил толпу с протянутой шляпой, ветер развевал пряди седых волос на его жалкой плешивой голове. Бэд увидел склоненное к нему лицо; глаза, точно две черные шпильки, пронизывали его.

— Нет ничего, — сказал он грубо и отвернулся, глядя на реку, сверкавшую, как лезвие ножа.

Гнилые сваи гнезда затрещали, когда паром стукнулся о них; загрохотали цепи, и толпа вынесла Бэда на берег. Он протиснулся между двумя вагонами с углем и вышел на пыльную улицу. Его колени дрожали. Он глубоко засунул руки в

---

3 Примечания: 3

Бродвей — улица, имя которой стало нарицательным; получила свое название из-за ширины («Бродвей» — «широкий путь»). Долгое время оставалась главной улицей Нью-Йорка, где располагалось множество деловых контор и шикарных магазинов; здесь же по праздникам проводились городские парады.

карманы.

На улице стоял фургон-ресторан. Он неуклюже сел на вращающийся стул и долго просматривал меню.

— Яичницу и чашку кофе.

— Перевернуть? — спросил рыжий буфетчик; он стоял за прилавком и вытирал передником мясистые, веснушчатые руки.

Бэд Корпнинг вздрогнул и выпрямился.

— Что?

— Я говорю — яйца перевернуть или вам простую глазунью?

— Да, конечно, переверните. — Бэд снова склонился над прилавком, обхватив голову руками.

— Видать, здорово устали, приятель, — сказал буфетчик, выпуская яйца в шипящий жир сковороды.

— Я не здешний. Сегодня утром я прошел пятнадцать миль.

Буфетчик свистнул сквозь зубы.

— Пришли в город искать работу, а?

Бэд кивнул.

Буфетчик шлепнул шипящую, подрумяненную яичницу на тарелку и пододвинул ее Бэду вместе с хлебом и маслом.

— Я вам кое-что посоветую, приятель. Совет

даровой. Побрейтесь-ка, постригитесь и стряхните солому с платья, раньше чем отправитесь искать работу. Легче найдете. Тут с этим очень считаются.

— Я хороший работник, — промычал Бэд с набитым ртом.

— Да я так просто, — сказал рыжий буфетчик и отвернулся к плите.

Когда Эд Тэтчер поднимался по мраморной больничной лестнице, он весь дрожал. Запах лекарств перехватил ему дыханье. Женщина с накрахмаленным лицом смотрела на него из-за конторки. Он постарался придать своему голосу твердость.

— Скажите, пожалуйста, как чувствует себя миссис Тэтчер?

— Поднимитесь наверх.

— А все ли благополучно, мисс?

— Все узнаете у сиделки. Лестница налево, третий этаж, родильная палата.

Эд Тэтчер держал букет цветов, завернутый в зеленую восковую бумагу. Широкие ступеньки уходили у него из-под ног, он стукался носками сапог о медные палки, стягивавшие фибровую

дорожку.[4] Где-то захлопнулась дверь и оборвала придушенный крик. Он остановил проходившую сиделку.

— Я хотел бы видеть миссис Тэтчер.

— Идите, если вы знаете, где она.

— Ее куда-то перенесли.

— Тогда спросите у конторки в конце приемной.

Он закусил похолодевшие губы. В конце приемной краснолицая женщина смотрела на него, улыбаясь.

— Все прекрасно. Вы — счастливый отец прелестной девочки.

— Видите ли, это наш первый ребенок, а Сузи такая хрупкая… — пролепетал он, моргая.

— О, я понимаю, вы волнуетесь… Можете войти и побеседовать с ней, когда она проснется. Младенец родился два часа тому назад. Только не утомляйте роженицу.

Эд Тэтчер был маленький человек с двумя светлыми пучками усов, с водянистыми серыми глазами. Он схватил руку сиделки и потряс ее, обнажая в улыбке неровные желтые зубы.

— Понимаете, первый ребенок…

---

4 Примечания: 4

Фибровая дорожка — ковровое покрытие из спрессованной гибкой и прочной бумажной массы.

— Поздравляю, — сказала сиделка.

Ряды кроватей в желтом свете газа, тяжелый запах сбившихся простынь, лица — толстые, тонкие, желтые, белые. Вот она. Желтые волосы Сузи лежали прядями вокруг маленького, бледного личика, казавшегося сморщенным. Он развернул розы и положил их на ночной столик. Он посмотрел в окно, и ему показалось, что он смотрит в воду. Деревья в садике были окутаны голубой паутиной. На авеню вспыхивали фонари, заливая зеленым сиянием кирпично-красные массивы домов; желоба и трубы врезались в небо, багровое, как мясо. Синие веки приподнялись.

— Это ты, Эд?.. К чему это, Эд? Как ты расточителен.

— Не мог удержаться, дорогая, — ты их так любишь.

Сиделка возилась у кровати.

— Можно посмотреть на малютку, мисс?

Сиделка кивнула. У нее были впалые щеки, серое лицо и сжатые губы.

— Я ненавижу ее, — прошептала Сузи. — Она меня раздражает, эта женщина. Скверная старая дева!

— Не обращай внимания, дорогая, потерпи еще день-два.

Сузи закрыла глаза.

— Ты все еще хочешь назвать ее Эллен?

Сиделка принесла корзинку и поставила ее на кровать около Сузи.

— Какая прелесть! — воскликнул Эд. — Смотри — она дышит. Они намазали ее маслом.

Он помог жене приподняться на локте; желтая прядь ее волос распустилась, упала на его руку.

— Как вы отличаете их, нянюшка?

— Бывает, что и не отличаем, — ответила сиделка, растягивая рот в улыбку.

Сузи жалобно посмотрела на крошечное багровое личико.

— Вы уверены, что это моя?

— Конечно.

— Но ведь на ней нет никакой отметки.

— Я потом отмечу.

— Но моя была черноволосая! — Сузи упала на подушку, задыхаясь.

— У нее чудный светлый пушок, того же цвета, что ваши волосы.

Сузи подняла руки над головой и пронзительно закричала:

— Это не моя, не моя! Уберите ее… Эта женщина украла моего ребенка!

— Дорогая, ради Бога. Дорогая, ради Бога. — Он

попробовал натянуть на нее одеяло.

— Скверно, — сказала сиделка, спокойно забирая корзинку. — Надо будет дать ей успокоительное.

Сузи сидела на кровати, выпрямившись.

— Уберите ее! — закричала она и забилась в истерике.

— О Господи! — крикнул Эд Тэтчер, ломая руки.

— Вы лучше уходите, мистер Тэтчер. Она успокоится сразу, как только вы уйдете. Я поставлю розы в воду.

На лестнице он поравнялся с толстым мужчиной, который медленно спускался вниз, потирая руки. Их взгляды встретились.

— Все в порядке? — спросил толстый мужчина.

— Да, кажется, — слабо сказал Тэтчер.

Толстый мужчина повернулся к нему; в его хриплом голосе булькала радость.

— Поздравьте меня, поздравьте меня! Моя жена родила мальчика.

Тэтчер пожал его пухлую маленькую руку.

— А у меня девочка, — робко сказал он.

— Пять лет подряд каждый год по девочке, а теперь, представьте себе, мальчик.

— Да, — сказал Эд Тэтчер, — это великий день.

— Вы не откажетесь, сэр, выпить со мной по этому поводу? Позвольте пригласить вас.

— С удовольствием.

На углу Третьей авеню хлопали решетчатые двери бара. Аккуратно вытерев ноги, они прошли в заднюю комнату.

— Ах, — сказал толстый мужчина (по-видимому, немец), усаживаясь за изрезанный коричневый стол, — семейная жизнь причиняет много беспокойств.

— Совершенно верно, сэр. Это мой первый ребенок.

— Угодно вам пива?

— Пожалуйста, мне все равно.

— Две бутылки «кульмбахского» — моего родного.

Хлопнули пробки, и окрашенная сепией пена поднялась в стаканах.

— За наши успехи… Прозит! — сказал немец и поднял свой стакан. Он отер пену с усов и ударил по столу розовым кулаком. — Не сочтите за нескромность, мистер…

— Меня зовут Тэтчер.

— Не сочтите за нескромность, мистер Тэтчер, если я полюбопытствую — какова ваша профессия?

— Счетовод. Надеюсь в скором времени стать главным счетоводом.

— А я владелец типографии, и зовут меня Зухер, Марк Антоний Зухер.

— Очень приятно, мистер Зухер.

Они пожали друг другу руки над столом между бутылками.

— Главные счетоводы зарабатывают много денег, — сказал мистер Зухер.

— Мне нужно много денег — для моей девочки.

— Дети поглощают много денег, — заметил мистер Зухер густым басом.

— Разрешите угостить вас бутылочкой, — сказал Тэтчер, высчитывая, сколько у него денег в кармане.

«Бедняжка Сузи была бы недовольна, если б узнала, что я пью в таком кабаке. Ну, ничего, только один раз; и я учусь, учусь законам отцовства».

— Чем больше, тем веселее, — сказал мистер Зухер. — Да, я говорю, дети поглощают много денег… Ничего не делают — только едят и изнашивают платье. Когда я поставлю свое дело на ноги… Ах! Так все это трудно — закладные заедают, денег занять негде, заработная плата растет, а тут еще эти сумасшедшие социалисты с

их профессиональными союзами, бродяги…

— Ну ничего, мистер Зухер.

Мистер Зухер выжал пену из усов большим и указательным пальцами.

— Верно, ведь не каждый же день рождается мальчик, мистер Тэтчер.

— Или девочка, мистер Зухер.

Бармен принес еще несколько бутылок, вытер стол и остановился неподалеку, прислушиваясь; полотенце болталось на сгибе его красной руки.

— И я надеюсь, что, когда мой сын будет вспрыскивать рождение своего сына, он будет пить шампанское. Да, вот такие-то дела…

— Я бы хотел, чтобы моя девочка была скромной и тихой — не то что нынешние барышни; они только и думают, что о тряпках, кружевах, да шелковых чулочках. А я к тому времени уйду со службы, обзаведусь домиком на Гудзоне,[5] буду по вечерам копаться в саду… У меня есть знакомые — они ушли на покой с тремя тысячами в год. Копить надо — в этом весь секрет.

---

5 Примечания: 5

Гудзон — река, омывающая западную часть Манхэттена, по ней частично проходит граница между штатом Нью-Йорк и штатом Нью-Джерси; названа по имени ее исследователя Генри Хадсона, английского мореплавателя XVII в. Очевидно, м-р Тэтчер имеет в виду место, относительно удаленное от центра, где можно было приобрести дом с садом.

— Никакого смысла нет копить, — сказал бармен. — Я десять лет копил, а банк возьми и лопни. Только чековая книжка мне и осталась. Надо завести знакомства на бирже и воспользоваться подходящим случаем — это единственный шанс.

— Так ведь это чистейший азарт, — ответил Тэтчер.

— А вы что думали, сэр? Азарт и есть, — сказал бармен и пошел к стойке, помахивая двумя пустыми бутылками.

— Азарт! Но он прав, — сказал мистер Зухер, глядя в свой стакан стеклянными, задумчивыми глазами. — Честолюбивый человек должен ловить шанс. Честолюбие погнало меня сюда из Франкфурта, когда мне было двенадцать лет. А теперь у меня есть сын, и он будет работать... Я назову его Вильгельмом, в честь нашего великого кайзера.[6]

— А моя дочка будет Эллен, как моя мать. —

---

6 Примечания: 6

Речь идет о кайзере Вильгельме II (1859—1941), императоре Германии и короле Пруссии (1888—1918). Вильгельм II старался утверждать и поддерживать статус Германии как крупнейшей морской, колониальной и торговой державы. Был известен своей верой в божественную природу монархии, любовью к военным парадам и импульсивностью. Официальное отречение Вильгельма II от престола было объявлено 9 ноября 1918 г., после того как американский президент Вудро Вильсон (1856—1924) провозгласил отставку кайзера одним из условий начала мирных переговоров.

Глаза Эда Тэтчера налились слезами.

Мистер Зухер встал.

— Ну, до свиданья, мистер Тэтчер. Очень приятно было познакомиться. Мне пора домой, к моим девочкам.

Тэтчер еще раз пожал пухлую руку. Теплые, нежные мысли о материнстве и отцовстве, об именинных тортах и Рождестве проносились в его голове; сквозь пенную, окрашенную сепией пелену он смотрел, как мистер Зухер выходил из бара. Вдруг он протянул руки. «Бедняжка Сузи была бы недовольна, если бы узнала, что я здесь… Все для нее и для малютки!»

— А платить кто будет? — рявкнул бармен, когда он дошел до дверей.

— Разве тот не заплатил?

— Черта с два!

— Да ведь он у-угощал меня…

Бармен расхохотался, загребая деньги красной ладонью. «Он копит — видно, он в это дело все-таки верит».

Маленький, бородатый, кривоногий человек в

котелке шел по Аллен-стрит,[7] по исполосованному солнцем переходу, увешанному небесно-голубыми, багрово-красными и горчично-желтыми одеялами, уставленному подержанной дубовой мебелью. Сложив холодные руки за спиной, над фалдами сюртука, он пробирался между ящиками и снующими детьми. Он кусал губы и то сплетал, то расплетал пальцы. Он шел не слыша детского крика и убийственного грохота воздушных поездов[8] над его головой, не чувствуя тошнотворного, сладкого, одуряющего запаха скученных жилищ.

У желтой двери аптекарского магазина на углу Канала[9] он остановился и уставился невидящим взглядом на зеленую рекламу. На ней было изображено солидное, чисто выбритое, почтенное лицо с дугообразными бровями и

---

7 Примечания: 7

Аллен-стрит — улица в районе Нижнего Ист-сайда (Восточной части Манхэттена), в начале XX в. приютившая в своих перенаселенных трущобах множество иммигрантов. Шестиэтажные каменные блоки почти не пропускали солнца и свежего воздуха; улица была известна не утихающим круглые сутки шумом и множеством находящихся там публичных домов. До 1932 г. ширина Аллен-стрит была лишь около 17 метров.

8 Примечания: 8

Большая часть линии нью-йоркской подземной железной дороги в то время проходила по поверхности или была поднята над землей.

9 Примечания: 9

Имеется в виду угол Аллен-стрит и Канал-стрит, названной так из-за находившегося здесь ранее канала, впоследствии засыпанного и

превращенного в улицу.

пушистыми, аккуратно подстриженными усами — лицо человека, у которого есть деньги в банке; оно торжественно возвышалось над стоячим воротником с отогнутыми уголками и широким, просторным черным галстуком. Под ним конторским почерком было выведено: «Кинг С. Жиллет».[10] Сверху красовался девиз: «Не точить, не править». Бородатый человек сдвинул котелок с потного лба на затылок и долго глядел в гордые, многодолларовые глаза Кинга С. Жиллета. Потом он стиснул кулаки, расправил плечи и вошел в аптекарский магазин.

Жены и дочерей не было дома. Он согрел чашку воды на газовой плите. Ножницами, найденными на камине, отрезал длинные коричневые пряди бороды. Потом стал очень осторожно бриться новой, никелевой, сверкающей безопасной бритвой. Он стоял перед тусклым зеркалом и, дрожа, поглаживал пальцами свои гладкие белые щеки. Подстригая усы, он услышал за своей спиной шум. Он повернул к вошедшим свое лицо — гладкое, как лицо Кинга С. Жиллета, лицо с

---

10 Примечания: 10

Кинг Кэмп Жиллет (1855—1932) — американский изобретатель и промышленник, в конце XIX в. разработавший безопасную бритву и в 1901 г. основавший компанию «Safety Razor Gillette» (В. Стеничем неверно переведена первая буква среднего имени Жиллета).

многодолларовой улыбкой. У двух девочек глаза вылезли из орбит.

— Мама… Посмотри на папу! — закричала старшая.

Жена ввалилась в комнату, как корзина с бельем, и закрыла передником лицо.

— Ой! Ой! — завыла она, покачиваясь.

— В чем дело? Тебе не нравится? — Он зашагал по комнате, размахивая сияющей безопасной бритвой и нежно поглаживая пальцами свой гладкий подбородок.

II. Столица

Были Вавилон и Ниневия[11] — они были построены из кирпича. Афины — золото-мраморные колонны. Рим — широкие гранитные арки. В Константинополе минареты горят вокруг Золотого Рога,[12] точно огромные канделябры… Сталь, стекло, черепица, цемент — из них будут строиться небоскребы. Скученные на узком острове миллионнооконные здания будут, сверкая, вздыматься — пирамида над пирамидой, — подобно белым грядам облаков над грозовыми тучами.

---

11 Примечания: 11

Вавилон — столица Вавилонии в XIX—XVI вв. до н. э. По библейскому преданию, основатели города строили его из кирпича: «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести» (Бытие, гл. 11, стихи 1—9). Господь «смешал наречия» строителей Вавилона (говоривших до этого на одном языке) и, после того как те перестали понимать друг друга, рассеял их по свету. Легенда далее гласит, что Вавилон, ставший впоследствии прекраснейшим и богатейшим городом мира, был разрушен Господом за гордыню и беззакония, творимые его жителями. Ниневия — столица Ассирии (конец VIII—VII вв. до н. э.). Согласно библейской легенде, Ниневия была также разрушена Богом за распутство ниневитян, за грабежи и убийства, которыми прославился город.

12 Примечания: 12

Золотой Рог — излучина Мраморного моря на северной стороне Стамбула (б. Константинополь).

Когда дверь комнаты закрылась за Эдом Тэтчером, он почувствовал себя одиноким, полным щекочущего беспокойства. Если бы только Сузи была здесь, он рассказал бы ей, как он станет зарабатывать, как он будет еженедельно откладывать на книжку десять долларов для маленькой Эллен; это составит пятьсот двадцать долларов в год… Через десять лет наберется, не считая процентов, пять тысяч долларов с лишним. Надо еще считать проценты на проценты с пятисот двадцати долларов — четыре годовых. Он возбужденно шагал по крохотной комнате. Газовый рожок уютно, по-кошачьи мурлыкал. Его взгляд упал на заголовок газеты, лежавшей на полу около угольной корзинки. Он уронил ее, когда побежал за каретой, чтобы отвезти Сузи в больницу.

Принят билль, ставящий Нью-Йорк на второе место среди мировых столиц…[13]

Тяжело дыша, он сложил газету и положил ее на стол. Вторая мировая столица. А отец хотел, чтобы я оставался в его глупом москательном

13 Примечания: 13

Такой билль был подписан губернатором города Леви П. Морьоном 11 мая 1896 г.

складе[14] в Онтеоре; так бы и было, если бы не Сузи… «Джентльмены, сегодня, когда вы предлагаете мне войти младшим компаньоном в вашу фирму, я хочу представить вам девочку мою дорогую, жену то есть. Ей я обязан всем».

Он поклонился камину, и фалды его визитки смахнули фарфоровую статуэтку с консоли возле книжной полки. Он слегка прищелкнул языком и нагнулся, чтобы поднять ее. Голова голубой фарфоровой девочки была отбита. А бедняжка Сузи так любит безделушки. «Лучше пойду спать».

Он распахнул окно и высунулся. В конце улицы с грохотом промчался поезд надземки. Струя дыма едко защекотала в носу. Он долго стоял у окна, глядя на улицу. Вторая столица мира. В кирпичных домах, в тусклом свете фонарей, в голосах мальчишек, ссорившихся на ступеньках дома напротив, в мерной, твердой поступи полисмена он чувствовал размеренный марш — словно солдаты шли по мостовой, словно колесный пароход поднимался по Гудзону, словно торжественная процессия направлялась по длинным улицам к какому-то зданию — белому, высокому, многоколонному, величественному. Столица.

---

14 Примечания: 14

Москательный склад — склад различных химических веществ (красок, клея, масел и т. д.), предназначенных для продажи.

Вдруг с улицы послышался топот. Кто-то крикнул, задыхаясь:

— Пожар!

— Где?

Мальчуганы сорвались со ступеней напротив. Тэтчер вернулся в комнату. Было невыносимо душно. Его тянуло выйти. Надо лечь спать. С улицы доносился лихорадочный стук копыт и бешеный звон пожарной машины. Только взглянуть. Он сбежал вниз со шляпой в руке.

— Где горит?

— В соседнем квартале.

— Жилой дом.

Горел шестиэтажный дом с узкими окнами. Уже поставили выдвижную лестницу. Коричневый дым, кое-где пронизанный искрами, валил из нижних окон. Три полисмена махали дубинками, оттесняя толпу к ступеням и решеткам на другую сторону улицы. На узком пространстве мостовой пожарная машина и красный насос сверкали медью. Толпа молча смотрела на верхние окна, где двигались тени и изредка вспыхивал огонь. Тонкий столб пламени встал над домом, как римская свеча.[15]

---

15 Примечания: 15

Римская свеча — род фейерверка.

— Двор как колодец! — прошептал кто-то на ухо Тэтчеру.

Порыв ветра наполнил улицу дымом и запахом горелых тряпок. Тэтчеру внезапно стало дурно. Когда дым рассеялся, он увидел несколько человек, свисавших гроздьями с подоконников. Пожарные помогали женщинам сползать по лестнице. Пламя над домом вспыхнуло ярче. Что-то черное упало из окна и лежало на тротуаре, визжа. Полисмены оттесняли толпу в соседний квартал. Прибыло еще несколько пожарных машин.

— Пять частей вызвали, — сказал кто-то. — Что вы на это скажете? Все жильцы двух верхних этажей попались, как в мышеловку. Наверно, поджог. Какой-нибудь проклятый поджигатель…

Молодой человек сидел, скорчившись, на тротуаре под газовым фонарем. Тэтчер опустился возле него — его протолкнула вперед напиравшая сзади толпа.

— Он итальянец.

— Жена его в этом доме.

— Фараоны его не пускают.

— А он им не может объяснить. Он не говорит по-английски.

На итальянце были голубые подтяжки, связан-

ные на спине веревкой. Его спина содрогалась, и он время от времени бормотал какие-то слова, которых никто не понимал.

Тэтчер выбрался из толпы. На углу какой-то человек разглядывал пожарный сигнал. Проходя мимо, Тэтчер почуял запах керосина, исходивший от его платья. Человек, улыбаясь, заглянул ему в лицо. У него были бледные, дряблые щеки и глаза навыкате. У Тэтчера внезапно похолодели руки и ноги. Поджигатель. Вот так они и бродят и подстерегают! Об этом пишут в газетах. Он быстро пошел домой, вбежал по лестнице и запер дверь. Комната была спокойная и пустая. Он забыл, что Сузи не ждет его. Он начал раздеваться. Он не мог забыть запах керосина, которым пахло платье того человека.

Мистер Перри сбивал тросточкой головки репейника. Агент по продаже недвижимого имущества певучим голосом излагал свои доводы:

— Не стану скрывать, мистер Перри, что такой удобный случай обидно было бы упустить. Вы знаете старую пословицу, сэр: «удача не часто стучится к молодым людям». Через шесть месяцев — могу вам гарантировать — эти участки удвоятся в цене. Теперь, когда мы являемся частью Нью-Йорка, второго города в мире, сэр, вы не

должны забывать, что… Придет время — я уверен, что мы оба доживем до него, — когда мосты один за другим скуют Ист-ривер, соединив Лонг-Айленд и Манхэттен в одно целое; когда Квинс будет таким же центром, таким же сердцем великой столицы, каким теперь является Астор-сквер.[16]

— Знаю, знаю, но я ищу что-нибудь абсолютно верное. Кроме того, я хочу строиться. Моя жена была нездорова последние несколько лет.

— Но что может быть вернее моего предложения? Обратите внимание, мистер Перри, что я себе в убыток даю вам один из самых больших и надежных земельных участков. Я даю вам, кроме того, удобство, комфорт, роскошь. Нас, мистер Перри, помимо нашей воли увлекает мощная волна прогресса. Мы стоим на пороге великих событий. Все изобретения — телефон, электриче-

16 Примечания: 16

Ко времени начала действия романа существовал лишь один мост, соединявший Лонг-Айленд и Манхэттен — Бруклин-бридж, построенный в 1883 г. Ко времени публикации романа (1925) были уже возведены остальные три моста через Ист-ривер, которые сейчас соединяют Манхэттен с расположенными на Лонг-Айленде районами Бруклин и Квинс, — Уильямсбург-бридж (1903), Манхэттен-бридж и Квинсборо-бридж (1909). Бруклин и Квинс, бывшие ранее самостоятельными областями, присоединились к Нью-Йорку в 1898 г. Площадь Астора (Астор-плейс) — небольшой район Манхэттена, являвшийся в середине XIX в. самым фешенебельным кварталом Нью-Йорка. Здесь, в частности, находились дома, построенные сыном известного миллионера Джона Джейкоба Астора, Уильямом, для себя и своих сестер.

ство, стальные мосты, механическая тяга — все это открывает широчайшие перспективы, и мы должны быть впереди, в первых рядах прогресса. Господи, да разве все перескажешь?

Вороша тростью сухую траву и репейник, мистер Перри шевельнул какой-то предмет. Он нагнулся и поднял треугольный череп с парой загнутых спиралью рогов.

— Черт возьми! — проговорил он. — Замечательный был баран.

Одурев от запаха мыльного порошка, вежеталя[17] и паленых волос, отягчавшего спертый воздух парикмахерской, Бэд сидел, склонив голову, свесив красные руки между колен.

— Следующий.

— А? Что? Ах, да! Побрейте и постригите.

Пухлые руки парикмахера ворошили его волосы, ножницы шмелем жужжали над ухом. Его глаза слипались; он заставлял себя открыть их, пытался преодолеть сон. У края полосатой простыни, усыпанной светлыми волосами, он видел стриженую круглую голову негритенка, чистившего его башмаки.

---

17 Примечания: 17

Вежеталь — жидкость на спирту с примесью парфюмерных веществ для смачивания волос.

— Да-с, сэр, — пробасил сосед. — Пришла пора демократической партии начать…

— Шею побрить прикажете? — Лунное, лоснящееся лицо парикмахера склонилось над ним.

Он кивнул.

— Шампунь?

— Нет.

Когда парикмахер откинул спинку кресла, чтобы приступить к бритью, клиент вытянул шею, точно черепаха, перевернутая на спину. Мыльная пена расползлась по его лицу, щекоча ноздри, забиваясь в уши. Он утопал в перинах мыльной пены, синей пены, черной, прорезанной далеким блеском бритвы, блеском мотыги сквозь синечерные пенные облака. Старик, распростертый навзничь в картофельном поле, борода, вздернутая кверху, пенно-белая, полная крови. Носки, полные крови от волдырей на пятках. Руки стиснуты, холодные и красные, точно руки мертвеца под саваном. «Дайте мне встать…» Он открыл глаза. Пухлые пальцы трогали его подбородок. Он уставился глазами в потолок, где черные мухи описывали восьмерки вокруг фонаря из красной гофрированной бумаги. Язык во рту казался сухим кожаным ремнем. Парикмахер снова поднял кресло. Бэд, мигая, посмотрел вокруг.

— Сорок центов и пятак за чистку обуви.

Признался в убийстве увечной матери…

— Вы разрешите мне посидеть у вас и прочесть газету? — услышал он свой голос, вползавший в его уши, полные гула.

— Пожалуйста.

Сторонники Паркера[18] защищают…

Черные строки прыгают перед глазами.

Русские… Толпа забросала камнями… (от нашего специального корреспондента, Трентон, Нью-Джерси).

Натан Сиббетс,[19] четырнадцати лет от роду, сегодня, после двухнедельного упорного запирательства, сознался наконец, что он убил свою престарелую увечную мать, Ханну Сиббетс. Причиной убийства

---

18 Примечания: 18

Паркер Элтон Брукс (1852—1926) — американский юрист, в 1904 г. — кандидат на пост президента США, соперник Т. Рузвельта на выборах. Сторонник демократических реформ.

19 Примечания: 19

Сиббетс Натан — реальное лицо. Дос Пассос дословно повторяет признание Сиббетса на суде, напечатанное в газете «Уорлд» 4 июня 1904 г.

была ссора. Преступление было совершено в доме Сиббетсов на Джэкоб-Крик, в шести милях от города. Сегодня вечером он заключен в тюрьму. Дело передано в суд присяжных.

Помощь Порт-Артуру на глазах у неприятеля...[20] Миссис Рикс потеряла прах мужа.

«Во вторник 24-го мая, около половины десятого, — показал убийца, — я вернулся домой и поднялся наверх, чтобы лечь спать. Только я начал засыпать, как мать пришла наверх и сказала, чтобы я вставал, а если я не встану, то она сбросит меня с лестницы. Она схватила меня, чтобы сбросить меня с лестницы. Я первый толкнул ее, и она упала с лестницы. Я спустился вниз и увидел, что она сломала себе шею. Увидев, что она мертва, я выпрямил ей шею и прикрыл ее простыней, взятой с моей постели».

Бэд аккуратно складывает газету, кладет ее на стул и выходит из парикмахерской. На улице

---

20 Примечания: 20

Газета рассказывает об одном из сражений за Порт-Артур (февраль 1904 г. — январь 1905 г.) в русско-японской войне 1904—1905 гг.

воздух пахнет толпой, полон шума и солнечного света. Иголка в стоге сена…

— Вот мне двадцать пять лет, — бормочет он вслух. — А мальчишке четырнадцать, подумайте…

Он шагает быстрее по гудящим тротуарам. Сквозь стропила воздушной дороги солнце льет на синюю улицу теплые переливчатые желтые полосы. Иголка в стоге сена.

Эд Тэтчер сидел, сгорбившись над роялем, наигрывая «Парад москитов». Воскресное послеполуденное солнце прорывало пыльным потоком тяжелые кружевные занавеси окна, барахталось в красных розах ковра, заполняло гостиную светлыми пятнами и бликами. Сузи Тэтчер неподвижно сидела у окна, наблюдая за Эдом слишком синими для ее болезненного лица глазами. Между ними, осторожно ступая среди роз по солнечному полю ковра, танцевала малютка Эллен. Две маленькие ручки приподымали складки розового плиссированного платья; и время от времени взволнованный детский голосок восклицал:

— Мама, следи за моим выражением!

— Посмотри на нее, — сказал Тэтчер, продолжая играть, — она настоящая маленькая балерина.

Воскресная газета упала со стола и рассыпалась. Эллен, танцуя, наступила на листы, разрывая их своими проворными маленькими ножками.

— Не делай этого, Эллен, дорогая! — простонала Сузи с розового плюшевого кресла.

— Но, мама, ведь я танцую.

— Не делай этого, раз тебе мама говорит!

Эд Тэтчер заиграл баркаролу.

Эллен танцевала баркаролу, взмахивая в такт ручками, разрывая ножками газету.

— Ради Бога, Эд, убери девочку, она рвет газету.

Он взял замирающий аккорд.

— Милочка, ты не должна этого делать. Папочка еще не дочитал ее.

Эллен продолжала танцевать.

Тэтчер бросился к ней и посадил барахтающуюся, смеющуюся девочку к себе на колени.

— Эллен, ты должна слушаться, когда мама говорит с тобой. И не надо портить вещи, дорогая. Изготовить бумагу для этой газеты стоило денег, люди трудились над ней, а папочка ходил покупать ее и еще не дочитал. Понимаешь, Элли? Нам нужно созидание, а не разрушение.

Он вновь сел за баркаролу, а Эллен продолжала танцевать, осторожно ступая среди роз по солнечному полю ковра.

Шесть человек сидели за столом в кафе и наскоро закусывали, сдвинув шляпы на затылок.

— Черт побери! — воскликнул молодой человек в конце стола; он держал в одной руке газету и чашку кофе в другой. — Вот так штука!

— Какая штука? — проворчал длиннолицый человек с зубочисткой во рту.

— «Огромная змея на Пятой авеню.[21] Сегодня утром, в половине двенадцатого, дамы с визгом разбежались по всем направлениям, когда большая змея выползла из каменной стены водокачки на Пятой авеню и стала переползать тротуар...»

— Утка!

— Это еще что! — вставил старик. — Когда я был мальчиком, мы охотились на бекасов в Бруклине...[22]

— Ах, Боже мой! Уже четверть девятого, — пробормотал молодой человек, складывая газету.

---

21 Примечания: 21

Пятая авеню — всемирно известная центральная улица Манхэттена. В конце XIX в. одна из нью-йоркских газет писала: «Пятая авеню в настоящее время состоит из 45 блоков; на ней расположены около 340 частных резиденций, все из которых принадлежат высшему классу». Здесь же находились и находятся по сей день наиболее дорогие и фешенебельные магазины и рестораны.

22 Примечания: 22

В конце XIX в. городская застройка Бруклина все еще соседствовала с пригородным ландшафтом. По свидетельству современников, в 1900 г. дорогу транспорту на улицах еще порой преграждали гурты пасущихся овец.

Он выбежал на Гудзон-стрит. Улица была полна спешащих людей. Скрежетали подковы лохматых ломовых лошадей, скрипели колеса грузовых фургонов, сливаясь в оглушительный грохот и наполняя воздух едкой пылью. Девушка в шляпке с цветами, с большим голубым бантом у острого подбородка, ожидала его в дверях товарного склада «М. Сюлливан и К°». Молодой человек почувствовал, как внутри у него все забурлило, точно в откупоренной бутылке.

— Хелло, Эмили!.. Знаете, Эмили, я получил прибавку.

— Вы сегодня очень опоздали.

— Честное слово, я получил прибавку на два доллара.

Она дернула подбородком сначала в одну сторону, потом в другую.

— Подумаешь!

— А помните, что вы обещали мне? Если я получу прибавку, то…

Она взглянула на него и хихикнула.

— Это еще только начало.

— Подумаешь! Пятнадцать долларов в неделю.

— Помилуйте, ведь это шестьдесят долларов в месяц. А я еще вдобавок изучаю торговлю, по импорту работать буду.

— Глупыш, вы опоздаете. — Она вдруг повернулась и побежала по грязной лестнице; ее широкая юбка колоколом колыхалась из стороны в сторону.

— Господи! Я ненавижу ее. Я ненавижу ее. — Смахивая слезы, которые жгли ему глаза, он быстро пошел вниз по Гудзон-стрит в контору «Уинкл и Джюлик. Вест-индский импорт».

Палуба на носу около брашпиля была теплая и солоновато-сырая. Они лежали в грязных куртках, растянувшись бок о бок, и лениво перебрасывались словами. В их ушах не проходило шипенье воды; пароход грузно расталкивал широкую травянисто-серую зыбь Гольфстрима.

— J'te dis, mon vieux, moi j'foux l'camp à New-York...[23] Как только мы бросим якорь, я сразу сойду на берег и останусь там. С меня довольно этой собачьей жизни.

У юнги были светлые волосы и овальное румяное лицо. Недокуренная папироса выпала у него изо рта.

— Merde![24] — Он потянулся за ней, но она скатилась в желоб для стока воды.

---

23 Примечания: 23
Говорю тебе, старина, я сбегу в Нью-Йорке... *(фр.)*

24 Примечания: 24
Дерьмо! *(фр)*.

— Брось, у меня их много, — проговорил другой парень; он лежал на животе и болтал в воздухе грязными ногами. — Консул отправит тебя обратно на пароход.

— Ему не поймать меня.

— А воинская повинность?

— К дьяволу ее! И Францию туда же.

— Хочешь стать американским гражданином?

— Почему нет? Каждый человек имеет право выбирать себе родину.

Второй мальчик задумчиво потер нос кулаком и, вздохнув, медленно свистнул.

— Ты умный малый, Эмиль, — сказал он.

— Слушай, Конго. Почему бы тебе не сойти вместе со мной? Неужели ты собираешься всю жизнь выгребать лопатой разную дрянь из корабельной кухни?

Конго перевернулся, сел, скрестив ноги, и почесал голову, густо обросшую курчавыми черными волосами.

— Сколько стоит женщина в Нью-Йорке?

— Не знаю. Думаю, что дорого... Я не для того схожу на берег, чтобы валандаться. Я буду искать работу. Неужели ты ни о чем не можешь думать, кроме женщин?

— А почему бы нет? — проговорил Конго и сно-

ва растянулся на палубе, спрятав грязное, смуглое лицо в скрещенные руки.

— Я бы хотел чего-нибудь добиться. Это моя мечта. Европа прогнила и воняет. А в Америке молодой человек может выдвинуться. Происхождение роли не играет, образование не имеет значения. Все дело в том, чтобы выдвинуться.

— А что, если бы вот тут, на палубе, появилась красивая, пылкая женщина? Ты бы ее полюбил?

— Когда мы разбогатеем, у нас будет масса всего.

— А в Америке есть воинская повинность?

— К чему им? Их интересуют только деньги. Они не хотят воевать — они хотят торговать.

Конго ничего не ответил.

Юнга лежал на спине, глядя в облака. Они плыли с запада — большие здания с колоннами, сквозь которые прорывалось солнце, яркое и белое, как фольга. Он шел по высоким, белым, многоколонным улицам, в сюртуке и высоком белом воротничке он всходил по фольговым ступеням, широким, чисто вымытым; он проходил голубыми порталами в пестрые мраморные залы, где на длинных фольговых столах звенели и шуршали деньги — банкноты, серебро, золото.

— Merde, v'là l'heure![25] — Двойные удары колокола донеслись к ним из вороньего гнезда. — Так не забудь, Конго, в первый же вечер, как мы сойдем на берег... — Он издал булькающий звук.

— Я спал. Мне снилась маленькая блондинка. Я бы ее имел, если бы ты не разбудил меня. — Юнга ворча поднялся и несколько секунд смотрел на запад, где вода тонкой волнистой чертой упиралась в небо, твердое и резкое, как никель. Потом он пригнул голову Конго к палубе и побежал на корму; деревянные башмаки хлопали, спадая с его босых пяток.

Жаркая июньская суббота волочилась по Сто десятой улице. Сузи Тэтчер лежала в постели, вытянув на одеяле синие, костлявые руки. Из-за тонкой перегородки долетали голоса. Молодая женщина кричала гнусаво:

— Говорю вам, мама, я не вернусь к нему!

Потом раздался укоризненный голос старой еврейки:

— Но, Роза, семейная жизнь это не только пиво и кегельбан. Жена должна повиноваться мужу и работать на него.

— Не хочу, не могу! Я не хочу возвращаться к

---

25 Примечания: 25
Черт, уже пора! *(фр.)*

этому грязному скоту.

Сузи присела на кровати, но ей не удалось услышать, что ответила старуха.

— Я больше не еврейка! — внезапно взвизгнула молодая женщина. — Тут не Россия! Тут Нью-Йорк! Тут у девушки есть свои права!

Потом дверь захлопнулась, и все стихло.

Сузи Тэтчер зашевелилась на постели и застонала. Эти ужасные люди не дают мне ни минуты покоя. Снизу долетело бренчанье пианолы. Играли вальс из «Веселой вдовы».[26] О Боже, почему Эд не возвращается? Жестоко оставлять больную женщину одну. Эгоист! Она скривила рот и заплакала. Потом успокоилась и лежала, устремив взор в потолок, следя за мухами, жужжавшими вокруг электрической лампочки. На улице загромыхала телега. Слышались визгливые детские голоса. Пробежал мальчишка с экстренным выпуском газеты. А что, если случится пожар? Вроде пожара театра в Чикаго. «О, я сойду с ума!» Она металась в кровати; ее ногти впивались в ладони. «Я возьму еще таблетку. Может быть, мне удастся заснуть». Она приподнялась на локте и взяла последнюю таблетку из маленькой коробочки.

---

26 Примечания: 26

«Веселая вдова» (1905) — оперетта Франца Легара (1870—1948).

Глоток воды, смывший таблетку, успокоил ее. Она закрыла глаза.

Внезапно она проснулась. Эллен прыгала по комнате; ее зеленая шляпа сползла на макушку, рыжеватые кудри развевались.

— Мамочка, я хочу быть мальчиком!

— Тише, дорогая. Мамочка нехорошо себя чувствует.

— Я хочу быть мальчиком!

— Что ты сделал с ребенком, Эд? Она так взволнована.

— Мы смотрели чудесную пьесу, Сузи. Тебе бы она, наверное, понравилась. Так поэтично! Мод Адамс[27] была изумительна. Элли была в восторге.

— Глупо брать такую крошку…

— О папочка, я хочу быть мальчиком!

— Мне моя девочка нравится и так. Мы пойдем еще раз, Сузи, и возьмем тебя с собой.

— Эд, ты прекрасно знаешь, что я не поправлюсь.

Она сидела выпрямившись, ее увядшие желтые волосы свисали вдоль спины.

— О, я хотела бы умереть. Я хотела бы умереть

---

27 Примечания: 27

Адамс Мод (1872—1953) — известная американская актриса. Прославилась исполнением ролей самого широкого репертуара.

и не быть вам больше в тягость… Вы оба меня ненавидите, иначе вы не оставляли бы меня одну. — Она закрыла лицо руками. — О, я хотела бы умереть! — зарыдала она.

— Сузи, ради Бога, как тебе не стыдно! — Он обнял ее и сел на кровать рядом с ней.

Продолжая тихо плакать, она опустила голову к нему на плечо. Эллен стояла, глядя на них круглыми, серыми глазами. Потом начала прыгать по комнате, напевая про себя:

— Элли будет мальчиком, Элли будет мальчиком!

Бэд плелся по Бродвею, прихрамывая из-за волдырей на ногах, мимо пустырей, на которых в траве среди крапивы и бессмертника блестели консервные банки, мимо рекламных щитов и вывесок; мимо лачуг и брошенных будок; мимо канав, полных щебня и раздавленных колесами отбросов; мимо серых каменных холмов, в которые настойчиво вгрызались паровые сверла; мимо ям, из которых вагонетки, полные камня и глины, карабкались по деревянному настилу на дорогу, пока не выбрался на новый тротуар и пошел вдоль желтых кирпичных домов, заглядывая в окна мелочных лавок, китайских прачечных, закусочных, цветочных, овощных, портновских,

гастрономических магазинов. Проходя под лесами строящегося здания, он встретился глазами со стариком, который сидел на краю тротуара и заправлял керосиновые лампы. Бэд остановился, подтянул брюки и откашлялся.

— Скажите, мистер, не укажете ли вы мне, где можно получить приличную работу?

— Работа бывает всякая, молодой человек, кроме приличной. Через месяц и четыре дня мне исполнится шестьдесят пять лет, работаю я с пяти лет и, признаться, ни разу еще не находил приличной работы.

— Мне всякая подойдет.

— Союзная карточка есть?

— Ничего у меня нет.

— Не получите никакой работы на постройках без союзной карточки, — сказал старик.

Он потер кистью руки серую щетину на подбородке и снова склонился над лампами. Бэд стоял, глядя на пыльные леса новой постройки, пока не заметил, что какой-то человек в коричневом котелке пристально всматривается в него из окна сторожевой будки. Неуклюже шаркая, он пошел дальше. Если бы я мог добраться до центра…

На углу вокруг большого белого автомобиля собралась толпа. Автомобиль пыхтел. Полисмен

держал за руку маленького мальчика. Человек с красным лицом и белыми моржовыми бакенбардами, высунувшись из автомобиля, сердито говорил:

— Я заявляю: он бросил камень! Пора положить этому конец!

Женщина с волосами, завязанными на макушке в тугой узел, грозила кулаком человеку в автомобиле:

— Он чуть меня не переехал, констебль, чуть не переехал!

Бэд стоял около молодого мясника в переднике и спортивной кепке, сдвинутой на затылок.

— Что случилось?

— Не знаю. Опять автомобильная история, очевидно. Вы читаете газеты? Какое право имеют эти проклятые автомобили носиться по городу, сбивая с ног женщин и детей?

— А разве они это делают?

— Конечно!

— Скажите, не можете ли вы указать мне место, где можно получить работу?

Мясник рассмеялся.

— А я думал, вы просите милостыню. Видно, что вы не здешний. Я вам скажу, что вам надо делать. Идите прямо по Бродвею, пока не дойдете

до ратуши.

— Это центр?

— Ну да. Потом зайдите в ратушу, спросите мэра и скажите ему, что по вашим сведениям в совете олдерменов есть свободные места.

— Ни черта у них нет, — проворчал Бэд и быстро пошел дальше.

— Бросайте, ребятки!.. Бросайте, черти полосатые!

— Ну-ка покажи им, Слэтс!

— Семерочка! — Слэтс бросил кости и щелкнул потными пальцами. — Ах, черт!

— Ты, я вижу, замечательный игрок, Слэтс.

Грязные руки бросили по пятаку в центр круга, образованного торчащими вперед, штопаными коленками. Пять мальчишек сидели на корточках под фонарем на Южной улице.[28]

— Пошевеливайтесь, писуны!.. Бросайте кости, черт вас возьми!

— Кончай игру, ребята! Сюда идет Большой Леонард со своей бандой.

— Я ему выпущу мозги на панель!

Четыре мальчика побежали вдоль верфи, по-

---

28 Примечания: 28

Южная улица — улица, протянувшаяся по берегу Ист-ривер в юго-восточной части Манхэттена. В начале XX в. — крупный порт, центр морской торговли.

степенно рассыпаясь и не оглядываясь. Самый маленький, с лицом без подбородка, похожим на клюв, остался на месте и спокойно собрал монеты. Потом он побежал вдоль стены и исчез в темном проходе между двумя домами. Он спрятался за трубой и ждал. Смутный шум голосов проник в проход, потом замер в конце улицы. Мальчик сосчитал пятаки: десять штук.

— Ого, пятьдесят центов… Я скажу, что Большой Леонард все забрал.

У него были дырявые карманы, и он завязал пятаки в подол рубашки.

Винный бокал шушукался с фужером для шампанского перед каждым прибором на сверкающем белизной овальном столе. На восьми блестящих белых тарелках лежали, подобно черным бусам, на листах салата восемь порций икры, обрамленные ломтиками лимона, посыпанные рубленым луком и яичным белком.

— Beaucoup de soing,[29] не забывай этого, — говорил старый лакей, морща шишковатый лоб.

Он был низкого роста, ходил переваливаясь; несколько прядей черных волос были зачесаны на макушку.

---

29 Примечания: 29
Больше старания *(фр.)*

— Хорошо. — Эмиль важно кивнул головой — крахмальный воротничок был ему узок.

Он опускал последнюю бутылку шампанского в никелированное ведро со льдом.

— Beaucoup de soing, sporca madonna![30] Этот тип сорит деньгами, как конфетти, и щедро дает на чай. Он очень богатый человек. Он тратит деньги без счета.

Эмиль расправил складку на скатерти.

— Не делай этого, у тебя грязные руки, могут остаться следы.

Переступая с ноги на ногу, они стояли в ожидании, с салфеткой под мышкой. Снизу, из ресторана, вместе с жирным запахом еды и звоном ножей и вилок, доносились нежно кружащиеся звуки вальса.

Рот Эмиля сложился в почтительную улыбку, когда он увидел, что метрдотель, стоявший за дверью, поклонился кому-то. Появилась длиннозубая блондинка, в розовом манто. Она висела на руке человека с лунообразным лицом, который нес цилиндр, держа его перед собою, точно полный до краев стакан. За ними вошла маленькая кудрявая девушка в синем — она смеялась,

---

30 Примечания: 30
Больше старания, черт возьми! *(фр.)*

показывая зубы. Дальше — полная женщина с диадемой на голове и черной бархоткой на шее… нос бутылкой, длинное лицо табачного цвета… крахмальные сорочки, руки, поднесенные к белым галстукам, сверкание цилиндров и лакированных ботинок… Еще один — юркий человечек с золотыми зубами; он размахивал руками, изрыгая приветствия каркающим голосом. В пластроне[31] его сорочки сверкал огромный бриллиант. Рыжеволосая девушка в передней собирала верхнее платье. Старый лакей подтолкнул Эмиля локтем.

— Это главный, — шепнул он краешком губ, низко кланяясь.

Эмиль прижался к стене, пока гости с шумом проходили в комнату. Запах пачулей[32] заставил его внезапно покраснеть до корня волос.

— А где Фифи Уотерс? — воскликнул человек с бриллиантовой запонкой.

— Она сказала, что приедет не раньше, чем через полчаса. Я думаю, что поклонники не вы-

---

31 Примечания: 31

Пластрон — туго накрахмаленная грудь мужской верхней сорочки под открытым жилетом при фраке или смокинге.

32 Примечания: 32

Пачули — сильно пахнущие духи из эфирного масла, добываемого из веток и листьев одноименного индокитайского растения.

пускают ее из театра.

— Ну, мы не станем ее ждать, хотя бы сегодня был день ее рождения. Я никогда в жизни никого не ждал. — Он постоял секунду, обводя глазами женщин, сидевших за столом, потом вытянул манжеты из рукавов фрака и внезапно сел.

Икра исчезла в одно мгновение.

— Человек, как насчет крюшона? — каркнул он.

— De suite, monsieur...[33]

Эмиль, задерживая дыханье и втягивая щеки, убирал тарелки. На бокалах оседал иней — старый лакей наливал в них вино из хрустального кувшина, в котором плавали листья мяты, льдинки, лимонные корочки и длинные ломтики огурца.

— Вот! Это хорошо! — Человек с бриллиантовой запонкой поднес бокал к губам, пригубил и, поставив его на место, бросил насмешливый взгляд на свою соседку.

Она намазывала масло на кусочки хлеба и, кладя их в рот, все время бормотала:

— Я очень мало ем, очень мало...

— Это не мешает вам пить, Мэри, не правда

---

33 Примечания: 33
Сейчас, месье... *(фр.)*

ли?

Она закудахтала и хлопнула его по плечу закрытым веером.

— И шутник же вы!

— Allumé-moi ça, sporca madonna![34] — зашипел лакей на ухо Эмилю.

Эмиль зажег две горелки на столике для посуды, и запах горячего хереса, сливок и омаров начал распространяться по комнате. Было жарко, шумно, пахло духами и табаком. Подав омаров и наполнив бокалы, Эмиль прислонился к стене и провел рукой по влажным волосам. Глаза его остановились на пухлых плечах женщины, сидевшей впереди него, потом скользнули вдоль напудренной спины к тому месту, где под кружевами отстегнулся маленький серебряный крючок. Человек с плешивой головой, сидевший рядом с ней, переплел свою ногу с ее ногой. Она была молода — одних лет с Эмилем. Она смотрела в лицо мужчине, и ее полуоткрытые губы были влажны. У Эмиля закружилась голова. Он не мог оторвать взгляд от ее спины.

— Но что случилось с прелестной Фифи? — каркнул человек с бриллиантом, прожевывая

---

34 Примечания: 34
Посвети мне сюда, черт побери! *(фр.)*

омара. — Как видно, она имела сегодня такой успех, что наша компания кажется ей чересчур скромной.

— У кого хотите закружится голова!

— Ну-с, если она думает, что мы ее будем ждать, мы ей преподнесем сюрприз. Хо-хо-хо! — заорал человек с бриллиантовой запонкой. — Я никогда в жизни никого не ждал и не собираюсь ждать.

Человек с лунообразным лицом отставил тарелку и играл браслетом на руке женщины, сидевшей рядом с ним.

— Вы сегодня настоящая красавица, Ольга.

— Я теперь как раз позирую одному художнику, — ответила женщина, держа свой бокал против света.

— Клянусь Богом, я куплю портрет.

— Едва ли это вам удастся. — Она покачала золотистой головкой.

— Вы скверный маленький бесенок, Ольга!

Она рассмеялась, не разжимая губ над длинными зубами.

Какой-то мужчина наклонился к человеку с бриллиантом, стуча толстым пальцем по столу.

— Нет, сэр, Двадцать третья улица в качестве объекта для операций с недвижимыми имуще-

ствами лопнула.[35] Это все признают. Но вот о чем я хотел бы поговорить с вами частным образом, мистер Годэлминг… Как создаются миллионы в Нью-Йорке?.. Астор,[36] Вандербильд,[37] Фиш…[38] Только на недвижимом имуществе! Теперь очередь за следующими пустырями… Почти рядом… Покупайте на Сороковой…

Человек с бриллиантом поднял бровь и покачал головой:

— Проведем хоть один вечер не по-деловому. Как это говорится… «откинь заботы и печали» или что-то в этом роде… Эй, человек! Почему вы, черт возьми, не подаете шампанского? — Он встал на ноги, кашлянул в кулак и запел хриплым голосом:

О, если б океан сплошным шампанским

---

35 Примечания: 35

Скорее всего, Дос Пассос имеет в виду, что к моменту разговора застройка Двадцать третьей улицы (Средний Манхэттен) была завершена, и городское строительство продвинулось дальше на север острова в район будущих Сороковых улиц.

36 Примечания: 36

Астор Джон Джейкоб (1763—1848) — американский миллионер, коммерсант, начавший с покупки маленького магазина музыкальных инструментов и мехов в Нью-Йорке; стоял во главе городских финансовых кругов; известен своими вкладами в недвижимость Нью-Йорка и пригородов, но более всего как монополист в области меховой торговли

37 Примечания: 37

Вандербильд Корнелиус (1794—1877) — американский железнодорож-

ный магнат; мальчишкой работавший на одном из нью-йоркских паромов; впоследствии — владелец пароходной компании; после гражданской войны целиком контролировал Нью-йоркскую центральную железную дорогу.

38 Примечания: 38

Фиш Стайвесент (1851—1923) — с 1877 г. директор и президент Иллинойской центральной железной дороги, которая под его руководством стала одной из самых крупных и разветвленных.

был…

Все захлопали. Старый лакей только что обнес гостей пудингом и теперь, с красным, как свекла, лицом, вытаскивал тугую пробку из бутылки. Когда пробка выскочила, дама в диадеме взвизгнула. Пили за здоровье человека с бриллиантовой запонкой.

Он такой веселый, славный малый…

— Как называется это блюдо? — спросил человек с носом бутылкой, наклоняясь к девушке.

Ее черные волосы были разделены прямым пробором. Она была одета в светло-зеленое платье с пышными рукавами. Мужчина подмигнул и поглядел в упор в ее черные глаза.

— Это самое фантастическое блюдо, какое я когда-либо ел. Вы знаете, милая моя, я не часто приезжаю в этот город. — Он допил свой бокал. — Когда я уезжаю отсюда, я постоянно чувствую отвращение. — Его лихорадочный, блестящий от шампанского взгляд скользил по контурам ее шеи, плеч и остановился на голой руке. — Но на этот раз я думаю…

— Жизнь старателя, должно быть, захватывающе интересна, — прервала она, вспыхнув.

— Она была захватывающей в прежние време-

на. То была грубая, но мужская жизнь; я доволен, что нажил капитал в прежние времена… теперь мне так не повезло бы.

Она посмотрела на него.

— Как вы скромны, называя это везением!

Эмиль вышел из отдельного кабинета. В его услугах больше не нуждались. Рыжеволосая девица из гардероба прошла мимо с большим кружевным капором в руках. Он улыбнулся, попытался поймать ее взгляд. Она фыркнула и вздернула нос. «Не хочет смотреть на меня, потому что я лакей. Ладно, когда я наживу деньги, я им покажу!»

— Скажи Чарли, чтобы подал еще две бутылки «Моэ», «Шандон», американский разлив, — раздался шипящий голос старого лакея.

Человек с лунообразным лицом встал.

— Леди и джентльмены…

— Эй вы, поросята, тише! — прокричал чей-то голос.

— Свинья хочет говорить, — сказала Ольга шепотом.

— Леди и джентльмены! Вследствие отсутствия нашей звезды Вифлеема…

— Джилли, не кощунствуйте, — сказала дама в диадеме.

— Леди и джентльмены, так как я не привык…

— Джилли, вы пьяны!

— Я говорю: хоть счастье и покинуло нас…

Кто-то дернул его за фалды, и лунолицый со стуком сел на стул.

— Это ужасно, — сказала дама в диадеме, обращаясь к человеку с длинным лицом табачного цвета, сидевшему в конце стола. — Это ужасно, полковник, как Джилли богохульствует, когда напьется.

Полковник осторожно снимал фольгу с сигары.

— Что вы говорите! — процедил он; его седоусое лицо ничего не выражало.

— Знаете, ужасная история случилась с Аткинсом, стариком Эллиотом Аткинсом. Помните, он работал с Мэнзфилдом…

— Неужели? — ледяным тоном спросил полковник, отрезая кончик сигары перламутровым перочинным ножом.

— Скажите, Честер, это правда, что Мэби Эванс имела огромный успех?

— Не представляю себе этого, Ольга. У нее плохая фигура…

— Понимаете, как-то вечером — они тогда гастролировали в Канзасе — он был в стельку пьян

и начал говорить речь…

— Она не умеет петь…

— Бедняга всегда плохо чувствует себя перед публикой…

— У нее отвратительная фигура…

— Речь, вроде Боба Ингерсолла…[39]

— Бедный старик… Я хорошо знал его в былые дни, в Чикаго…

— Что вы говорите! — Полковник медленно поднес зажженную спичку к концу сигары.

— И вдруг сверкает страшная молния, и огненный шар влетает в одно окно и вылетает в другое.

— Убило его? — Полковник пустил под потолок синий клуб дыма.

— Что такое? Вы говорите, Боба Ингерсолла убило молнией? — пронзительно крикнула Ольга. — Так ему и надо, гнусному атеисту!

— Нет, не убило. Но он постиг сущность жизни и стал методистом.

— Странно! Почему это актеры так часто становятся проповедниками?

— Иначе их никто не хочет слушать! — каркнул

---

39 Примечания: 39

Ингерсолл Роберт Грин (1833—1899) — американский адвокат и оратор, известный как «великий агностик», в своих лекциях подвергавший критике догматы христианской религии.

человек с бриллиантовой запонкой.

Оба лакея стояли за дверью и прислушивались к разговору.

— Tas de sacrés cochons… sporca madonna![40] — прошипел старый лакей.

Эмиль пожал плечами.

— Эта брюнетка весь вечер делала тебе глазки. — Он наклонился к Эмилю и подмигнул. — Может, подцепишь рыбешку, а?

— Ну их, с их грязными болезнями!

Старый лакей хлопнул себя по ляжке.

— Никуда не годится современная молодежь… Когда я был молод, я не зевал.

— Они даже не глядят на нас, — сказал Эмиль, стиснув зубы. — Автомат во фраке, и больше ничего.

— Подожди, приучишься.

Дверь открылась. Они почтительно поклонились бриллиантовой запонке. Кто-то нарисовал карандашом пару женских ножек на пластроне его сорочки. Яркие пятна горели на его щеках. Нижнее веко одного глаза отвисло, и это придавало его лицу саркастическое выражение.

— Что за черт, Марко, что за черт… — бормотал

---

40 Примечания: 40
Куча грязных свиней… черт побери! *(фр.)*

он. — Нам нечего пить. Принесите две кварты «Атлантического океана»…

— De suite, monsieur. — Старый лакей поклонился. — Эмиль, скажи Огюсту, immédiatement et bien frappé.[41]

Когда Эмиль бежал по коридору, к нему донеслось пение:

> *О, если б океан сплошным шампанским был…*

Лунолицый и бутылконосый возвращались под руку из уборной, лавируя между пальмами.

— Эти проклятые дураки кормят так, что меня тошнит.

— Да, это не те ужины с шампанским, что мы едали в Фриско в былые времена.

— Да, то были славные времена.

— Между прочим… — Лунолицый выпрямился и прислонился к стене. — Холлиок, старина, вы видели мою статью о каучуковой промышленности в утренней газете? Капиталисты погрызут этот камешек… как мышки…

— Что вы знаете о каучуке? Дрянь товар…

— Подождите и присмотритесь, Холлиок, ста-

---

41 Примечания: 41
Немедленно и хорошо охлажденным *(фр.).*

рина, иначе вы потеряете замечательный шанс. Пьян я или трезв, а запах денег я чую издалека.

— Почему же у вас их нет? — Красное лицо носатого сделалось пурпурным; он перегнулся пополам и разразился хохотом.

— Потому что я всегда втягиваю в дело моих друзей, — сказал другой очень серьезно. — Эй, человек. Где отдельный кабинет?

— Par ici, monsieur.[42]

Красное плиссированное платье промелькнуло мимо них. Маленькое овальное лицо, обрамленное плоскими темными прядями, жемчужные зубы, открытые в улыбке.

— Фифи Уотерс! — закричали все.

— Дорогая Фифи, приди в мои объятия!

Ее поставили на стол; она стояла, перебирая ножками. Шампанское пенилось в ее бокале.

— С веселым Рождеством!

— С Новым годом!

Красивый молодой человек, приехавший с Фифи Уотерс, пел и танцевал, мотаясь вокруг стола:

Мы пошли на базар к зверям,

Были звери и птицы там,

---

42 Примечания: 42
Сюда, месье *(фр)*.

Павиан большой,
Озарен луной,
Расчесывал длинные волосы.

— Оп-ля! — крикнула Фифи Уотерс и взъерошила седые волосы человека с бриллиантовой запонкой. — Оп-ля! — Она спрыгнула со стола и закружилась по комнате, высоко вскидывая юбки. Ее стройные ноги, в блестящих черных шелковых чулках и красных трусиках с розетками, мелькали перед лицами мужчин.

— Она сумасшедшая! — воскликнула дама в диадеме.

— Оп-ля!

Холлиок покачивался, стоя в дверях, нахлобучив цилиндр на багровую шишку носа. Она гикнула, дрыгнула ногой и сбила с него цилиндр.

— Вот это удар! — закричали все.

— Вы мне выбили глаз!

Она уставилась на него своими круглыми глазами и вдруг залилась слезами, припав к груди с бриллиантовой запонкой.

— Я не хочу, чтобы меня оскорбляли! — рыдала она.

— Протрите другой глаз!

— Принесите бинт!

— Ей-богу, она могла ему выбить глаз!

— Эй, человек, скорее кэб!

— Доктора!

— Ну и бедлам, дружище!

Спотыкаясь и прижимая к глазу платок, мокрый от слез и крови, бутылконосый вышел.

Женщины и мужчины двинулись за ним; молодой человек со светлыми волосами вышел последним, покачиваясь и напевая:

Павиан большой,

Озарен луной,

Расчесывал длинные волосы.

Фифи Уотерс рыдала, уронив голову на стол.

— Не плачьте, Фифи, — сказал полковник, который все еще сидел на своем месте. — Вот это вас успокоит. — Он пододвинул ей бокал шампанского.

Она потянула носом и стала пить маленькими глотками.

— Хелло, Роджер! Как поживает мальчик?

— Очень хорошо, благодарю вас… Знаете, я устал. Весь вечер с этими крикунами…

— Я голодна.

— Кажется, ничего съедобного не осталось.

— Я не знала, что вы здесь, иначе я пришла бы раньше, честное слово.

— Правда, пришли бы? Это очень мило.

Пепел упал с сигары полковника. Он поднялся.

— Знаете, Фифи, я возьму кэб, и мы поедем кататься в парк.

Она допила шампанское и радостно кивнула.

— Боже, уже четыре часа.

— Вы тепло одеты, не правда ли?

Она опять кивнула.

— Прелестная Фифи… Вы прекрасны… — Лицо полковника расплылось в улыбку. — Ну, едем!

Она недоуменно осматривалась кругом.

— Я как будто приехала с кем-то?

— Неважно.

В передней они наткнулись на красивого юношу — он спокойно блевал в пожарное ведро под искусственной пальмой.

— Оставим его тут, — сказала она, вздернув носик.

— Неважно, — сказал полковник.

Эмиль подал пальто. Рыжеволосая девица ушла домой.

— Эй, мальчик! — Полковник помахал тросточкой. — Позовите, пожалуйста, кэб, но выберите приличную лошадь и трезвого кучера.

— De suite, monsieur.

Небо над крышами и трубами было как сапфир. Полковник несколько раз глубоко вдохнул воздух, пахнувший рассветом, и бросил свою сигару в сточную канаву.

— Что вы скажете насчет завтрака у Клермонта? Тут совершенно нечего было есть. Это мерзкое сладкое шампанское… Фу!

Фифи хихикнула. Полковник осмотрел копыта лошади и погладил ее морду; они сели в кэб. Полковник бережно обнял Фифи, и они уехали. Эмиль секунду стоял у дверей ресторана, разглаживая бумажку в пять долларов. Он устал, и у него болели ноги.

Когда он вышел с черного хода из ресторана, то увидел Конго, который ждал его, сидя на ступеньках. Лицо Конго казалось зеленым и замерзшим над поднятым воротником куртки.

— Это мой друг, — сказал Эмиль, обращаясь к Марко. — Мы приехали с ним на одном пароходе.

— Нет ли у тебя коньяку? Какие славные курочки выходили отсюда.

— Что с тобой?

— Потерял место, вот и все. Невтерпеж стало. Пойдем, выпьем кофе.

Они заказали кофе и орехи в тесте в фургоне-ресторане, стоявшем на пустыре.

— Eh bien,[43] как вам нравится эта чертова страна? — спросил Марко.

— Почему чертова? Она мне все-таки нравится. Всюду одинаково. Во Франции вам платят плохо, а живете вы хорошо. Тут вам платят хорошо, а живете вы плохо.

— Questo paese e completamente solo sopra.[44]

— Я думаю, что снова уйду в море.

— Почему вы не говорите по-английски? — спросил буфетчик с лицом, похожим на кочан цветной капусты, поставив три чашки кофе на стойку.

— Если мы будем говорить по-английски, — проворчал Марко, — то вам, пожалуй, не понравится то, что мы говорим.

— Почему вас выставили?

— Merde! Не знаю, у меня был разговор со старым верблюдом-управляющим. Он жил рядом с конюшней и заставлял меня делать все — от чистки экипажей до мытья полов в его квартире. Его жена — ужасная рожа. — Конго втянул губы

---

43 Примечания: 43
Ну *(фр.)*.

44 Примечания: 44
Все в этой стране с ног на голову *(ит.)*.

и скосил глаза.

Марко рассмеялся.

— Santissima Maria putana![45] А как вы с ним сговаривались?

— Они указывали на какой-нибудь предмет, а я кивал головой и говорил «хорошо». Я приходил в восемь и работал до шести, а они с каждым днем наваливали на меня все больше и больше грязной работы. Вчера вечером они приказали мне вычистить уборную, а я покачал головой. Это, дескать, бабья работа. Она ужасно рассердилась и начала визжать. Тогда я заговорил по-английски. «Идите к черту», — сказал я ей. Тогда пришел старик, выгнал меня на улицу кучерской плетью и сказал, что не заплатит мне за отработанную неделю. Пока мы с ним спорили, он позвал полисмена, а когда я попытался объяснить полисмену, что старик мне должен десять долларов за неделю, он сказал: «Ах ты, паршивая вошь!» — и ударил меня палкой.

Марко весь побагровел.

— Он назвал вас паршивой вошью?

Конго кивнул головой.

— Сам он поганый ирландец, — проворчал

---

45 Примечания: 45
Мать твою! *(ит.)*

Марко по-английски. — Осточертел мне этот гнусный город! Во всем мире одно и то же: полиция избивает нас, богатеи надувают нас на нашем нищенском жалованье, а чья вина? Dio cane![46] Ваша вина, моя вина, вина Эмиля.

— Не мы создавали мир, а они или, может быть, Бог.

— Бог на их стороне, как и полиция. Настанет день, когда мы убьем Бога. Я — анархист.

Конго затянул:

— Les bourgeois à la lanterne, nom de Dieu![47]

— Вы из наших?

Конго пожал плечами.

— Я не католик и не протестант. У меня нет денег и нет работы. Посмотрите! — Конго ткнул грязным пальцем в разорванную коленку. — Вот вам анархизм. К черту! Я поеду в Сенегал и сделаюсь негром.

— Ты и так похож на негра, — рассмеялся Эмиль.

— Потому меня и зовут Конго.

— Все это ужасно глупо, — продолжал Эмиль. —

---

46 Примечания: 46

Бог (и) собака! *(ит.)* Возможно, Дос Пассос перефразирует известный в Италии девиз «Die e popolo» («Бог и народ»)

47 Примечания: 47

Буржуев на фонари, к чертовой матери! *(фр.)*

Все люди одинаковы. Разница только в том, что одни пролезают вперед, а другие нет. Поэтому я и приехал в Нью-Йорк.

— Dio cane! Я думал то же самое двадцать пять лет тому назад. Когда вам будет столько лет, сколько мне, вы лучше поймете. Разве у вас от всего этого не горит вот тут? — Он ударил кулаком по пластрону своей крахмальной рубашки. — А у меня горит, и я задыхаюсь… и говорю себе: «Держись, наш день придет, кровавый день».

— А я говорю себе, — сказал Эмиль, — когда ты будешь богатым, дружище…

— Слушайте. Перед тем, как покинуть Турин — я ездил туда повидаться с матерью, — я пошел на митинг. Говорил один парень из Капуи. Красивый такой, высокий, стройный… Он говорил, что после революции насилие исчезнет, что тогда никто не будет жить за счет работы другого человека… Полиция, правительство, армия, президенты, короли — все это сила. Но сила — не реальная вещь, сила — это иллюзия. Трудящийся человек сам все это создает, потому что он верит в это. Тот день, когда мы перестанем верить в деньги и в собственность, будет днем пробуждения, и нам не нужны будут ни бомбы, ни баррикады. Религия, политика, демократия — все это для

того, чтобы усыплять и морочить нас. Вы должны кричать народу: Проснись!

— Когда вы выйдете на улицу, я пойду с вами, — сказал Конго.

— Помнишь, я тебе рассказывал про одного человека — Энрико Малатеста. Он — величайший человек Италии после Гарибальди. Он провел всю свою жизнь в тюрьмах и в изгнании, в Египте, в Англии, в Южной Америке, всюду… Если б я был таким человеком, мне было бы наплевать на все. Пусть меня вешают, расстреливают. Мне все равно. Я счастлив.

— Но ведь такой человек сумасшедший, — медленно проговорил Эмиль, — сумасшедший.

Марко проглотил остатки своего кофе.

— Подожди, ты слишком молод. Ты еще поймешь… Мало-помалу нас заставляют понимать… И запомни, что я тебе скажу… Может быть, я слишком стар, может быть, я мертв, но настанет день, когда трудящиеся проснутся от рабства… Вы выйдете на улицу — и полиция разбежится, вы пойдете в банк — и там на полу будут рассыпаны деньги, и вы даже не остановитесь, чтобы поднять их, — они больше не будут нужны… Во всем мире мы подготовляем революцию. У нас есть товарищи даже в Китае… Коммуна у нас во

Франции была только началом. Социализм провалился. Следующий удар нанесут анархисты. А если и мы провалимся, то придут другие…

Конго зевнул:

— Хочу спать, как собака.

Лимонный рассвет затоплял пустынные улицы, стекая с карнизов, с перил, с пожарных лестниц, с водосточных желобов, взрывая глыбы мрака между домами. Уличные фонари погасли. На углу они остановились — Бродвей казался узким и покоробившимся, словно огонь спалил его.

— Когда я вижу рассвет, — хрипло сказал Марко, — я всегда говорю себе: «Может быть… может быть, сегодня…» — Он откашлялся и сплюнул на фонарный столб, потом удалился своей ковыляющей походкой, жадно вдыхая холодный воздух.

— Это правда, Конго, что ты снова собираешься стать моряком?

— Почему бы нет? Увижу свет…

— Мне будет не хватать тебя. Буду искать другую комнату.

— Ты найдешь другого товарища.

— Если ты уйдешь в море, то останешься на всю жизнь моряком.

— Ну, и что ж с того? Когда ты разбогатеешь и женишься, я приеду навестить тебя.

Они шли по Шестой авеню.[48] Поезд прогремел над их головами. Он давно уже исчез, а смутный грохот еще таял в стропилах.

— Почему ты не ищешь другого места? Почему остаешься здесь?

Конго вынул из нагрудного кармана две смятые папиросы, протянул одну из них Эмилю, зажег спичку и начал медленно выпускать клубы дыма.

— Я сыт по горло! — Он провел ребром ладони по кадыку. — Сыт по горло! Может быть, поеду домой, посмотрю, что делают девчонки в Бордо… Не все же они ходят в корсетах… Может быть, поступлю добровольцем в военный флот и буду носить красный помпон. Девочки любят это… Вот это жизнь! Напиваться, получать жалованье, увидеть Дальний Восток…

— И в тридцать лет умереть от сифилиса в больнице.

— Чепуха!.. Тело каждые семь лет обновляется.

На лестнице их дома пахло капустой и прокис-

---

48 Примечания: 48

Шестая авеню, или Авеню всех Америк (имеются в виду Северная, Южная и Центральная Америки), славилась своей оживленной линией воздушной железной дороги, станции которой были декорированы художником Джаспером Кропси. Изначальная стоимость проезда 10 центов была затем снижена до пяти в утренние и вечерние часы, когда множество людей ехало на работу или возвращалось домой.

шим пивом. Зевая, они поплелись наверх.

— Ждать — это гнусное, утомительное занятие. От него подошвы болят… Смотри-ка, кажется, будет хорошая погода. Из-за водокачки проглядывает солнце.

Конго стащил сапоги, носки, брюки и свернулся клубком на кровати.

— Эти паршивые ставни пропускают свет, — пробормотал Эмиль, растягиваясь на другом конце кровати.

Он беспокойно ворочался на скомканной простыне. Дыхание Конго, лежавшего рядом с ним, было медленно и ритмично. «Если бы я мог быть таким, — думал Эмиль, — никогда ни о чем не беспокоиться… Господи, как это глупо… Марко… старый дурак…»

Он лежал на спине, глядя на грязные пятна на потолке, вздрагивая каждый раз, когда проходивший поезд сотрясал комнату. Черт возьми, надо копить. Когда он повернулся, кровать заскрипела, и он вспомнил голос Марко: «Когда я вижу рассвет, я говорю себе: «Может быть, сегодня…»

— Простите меня, мистер Олафсон, я должен уйти на минутку, — сказал жилищный агент. — А вы пока решите с мадам вопрос о квартире.

Они остались в пустой комнате, глядя в окно на

аспидный Гудзон, на военные суда, стоявшие на якоре, на шхуну, шедшую вверх по течению.

Вдруг она повернулась к нему. Ее глаза заблестели.

— О Билли, ты только подумай!

Он обнял ее за плечи и медленно притянул к себе.

— Почти чувствуешь запах моря…

— Ты только подумай, Билли! Мы будем жить на Риверсайд-драйв.[49] У меня будет приемный день. «Миссис Вильям Олафсон, 218, Риверсайд-драйв…» Я не знаю, помещают ли адрес на визитных карточках.

Она взяла его за руку и повела по пустым, чисто выметенным комнатам, в которых никто никогда еще не жил. Он был высокий, неуклюжий мужчина с блекло-синими глазами на белом, детском лице.

— Но это стоит уйму денег, Берта!

— С нашими средствами мы теперь можем себе это позволить. Твое положение требует этого. Подумай, как мы будем счастливы.

---

49 Примечания: 49

Риверсайд-драйв — улица, протянувшаяся по северному берегу Гудзона, живописный, зеленый район. Часть Риверсайд-драйв была специально отведена под жилые постройки. Дома, спроектированные архитектором Кларенсом Тру, отличались элегантностью и индивидуальностью стиля.

Агент возвратился, потирая руки.

— Прекрасно, прекрасно! Я вижу, что мы пришли к благоприятному решению. Вы поступаете очень разумно — во всем Нью-Йорке вы не найдете лучшей квартиры. Через несколько месяцев вы не достанете такой квартиры ни за какие деньги.

— Мы берем ее с первого числа.

— Очень хорошо, вы не пожалеете о вашем решении, мистер Олафсон.

— Я пришлю вам чек завтра утром.

— Как вам будет угодно. Будьте добры, ваш нынешний адрес…

Агент вынул записную книжку и послюнил огрызок карандаша.

Она выступила вперед:

— Запишите лучше: отель «Астор».[50] А вещи на складе.

Мистер Олафсон покраснел.

— И… э… я бы хотел иметь имена двух лиц, могущих дать рекомендацию.

— Я служу у «Китинг и Брэдли», сорок три,

---

50 Примечания: 50

Отель «Астор», или «Астория» — знаменитый шестнадцатиэтажный отель, принадлежавший семье Асторов и на протяжении нескольких лет являвшийся центром великосветской жизни Нью-Йорка; был открыт в 1897 г.

Парк-авеню.

— Он как раз назначен помощником главного управляющего, — прибавила миссис Олафсон.

Когда они вышли и пошли по набережной против ветра, она воскликнула:

— Дорогой, я так счастлива! Теперь действительно стоит жить.

— Но почему ты сказала ему, что мы живем в отеле «Астор»?

— Не могла же я сказать, что мы живем в Бронксе.[51] Он бы подумал, что мы евреи, и не сдал бы нам квартиры.

— Но ты ведь знаешь, что я не люблю этих штук.

— Ну тогда переедем на несколько дней в отель «Астор», если уж ты хочешь быть правдивым. Мне еще никогда не приходилось жить в большом отеле.

— Но, Берта, это дело принципа. Мне не нравится, когда ты так поступаешь.

Она повернулась и посмотрела на него, раздувая ноздри.

— Какая ты рохля, Билли! Почему я не вышла замуж за настоящего мужчину?

---

51 Примечания: 51

Бронкс — северный район Нью-Йорка, где в начале XX в. проживало множество еврейских семей.

Он взял ее за руку.

— Идем, — сказал он грубо и отвернулся.

Они пошли по перпендикулярной улице между строительными участками. На углу еще высился остов полуразрушенной фермы. Виднелась половина комнаты с голубыми, изъеденными коричневыми потеками обоями, закопченный камин, шаткий буфет и железная кровать, сложенная вдвое.

Одна тарелка за другой скользит из жирных рук Бэда. Запах помоев и горячей мыльной пены. Взмах мочалкой, в раковину под кран, и тарелка летит на край стола, где ее перетирает длинноносый мальчик-еврей. Колени промокли от разлитой воды, жир стекает по рукам, локти сведены судорогой.

— Черт побери, это не работа для белого человека!

— А мне наплевать, было бы что жрать! — сказал еврей, перекрикивая звон посуды и шипенье плиты, на которой три повара, обливаясь потом, жарили яичницу с ветчиной, бифштексы, картошку и солонину с бобами.

— Это верно, пожрать тут можно, — сказал Бэд и обвел языком зубы, высасывая кусочки солонины; он размалывал ее языком о нёбо.

Взмах мочалкой, в раковину под кран, и тарелка летит на край стола, где ее перетирает длинноносый мальчик-еврей. Минута отдыха. Еврей протянул Бэду папиросу. Они облокотились о раковину.

— Не Бог весть, как много зарабатываешь мытьем посуды.

Папироса прилипла к толстой губе еврея и болталась, когда он говорил.

— Конечно, это не работа для белого человека, — сказал Бэд. — Быть лакеем куда лучше. Там чаевые…

Из закусочной вошел человек в коричневом котелке. У него были тяжелые челюсти, маленькие свиные глазки, во рту у него торчала длинная сигара. Бэд встретил его взгляд и почувствовал, как по его спине ползут мурашки.

— Кто это? — прошептал он.

— Не знаю. Вероятно, посетитель.

— А вам не кажется, что он похож на сыщика?

— Откуда я, черт возьми, знаю? Я никогда не был в тюрьме. — Еврей покраснел и выдвинул нижнюю челюсть.

Мальчик из закусочной принес новую стопку грязных тарелок. Взмах мочалкой, в раковину под кран — и на край стола. Когда человек в коричне-

вом котелке проходил по кухне, Бэд опустил глаза и уставился на свои красные, покрытые жиром руки. К черту! Что ж с того, если он даже и сыщик… Перемыв тарелки, Бэд направился к двери, вытер руки, взял куртку и шляпу, висевшие на гвозде, и вышел черным ходом мимо помойных ведер на улицу. Вот дурак! Лишился платы за два часа работы. В окне оптического магазина часы показывали двадцать пять минут третьего. Он пошел по Бродвею мимо Линкольн-сквер через Колумб-сквер[52] вниз, по направлению к центру, где толпа была гуще.

Она лежала, подняв колени к подбородку, туго стянув ночную рубашку у пяток.

— Ну постарайся заснуть, дорогая. Обещай маме, что ты будешь спать.

— А папочка придет поцеловать меня на ночь?

— Придет, когда вернется. Он опять пошел в контору. А мама идет к миссис Спингарн.

— А когда папа придет домой?

— Элли, я же тебя просила заснуть. Я не буду тушить свет.

---

52 Примечания: 52

Линкольн-сквер — небольшая площадь в западной части Манхэттена, до 1940-х гг. — район трущоб и дешевых наемных квартир; *Колумб-сквер* — площадь, названная так из-за установленного там в 1892 г. памятника; обычно многолюдное место южнее Линкольн-сквер.

— Не надо, мамочка, от него тени. Когда придет папочка?

— Когда освободится. — Она потушила газовый рожок. Тени во всех углах окрылились и слились.

— Спокойной ночи, Эллен.

Полоса света в дверях сузилась за мамой, медленно сузилась в длинную нить. Щелкнул замок; шаги удалились и замерли в передней. Хлопнула входная дверь; где-то в молчаливой комнате тикали часы. За стенами комнаты, за стенами дома — стук колес и удары копыт, громкие голоса. Гул рос. Было совершенно темно, только две полоски света образовали опрокинутое «L» в углу двери.

Элли хотелось протянуть ноги, но она боялась. Она не смела оторвать глаз от опрокинутого «L» в углу двери. Если она закроет глаза, свет исчезнет. За кроватью, из-за оконных занавесей, из шкафа, из-под стола тени, скрипя, подползали к ней. Она обхватила ноги руками, прижала подбородок к коленям. Подушка набухала тенью, тени ищейками всползали на кровать. Если она закроет глаза, свет исчезнет.

Черный спиральный гул с улицы проникал сквозь стены, заставляя вкрадчивые тени содро-

гаться. Ее язык стучал о зубы, как язык колокола. Руки и ноги одеревенели, шея одеревенела, она начала кричать. Кричать, чтобы заглушить грохот и гул улицы, кричать, чтобы папочка услышал, чтобы папочка вернулся домой. Она глубоко вдохнула в себя воздух и опять закричала. Чтобы папочка вернулся домой! Ревущие тени колебались и танцевали, тени подстерегали ее со всех сторон. Тогда она заплакала; глаза ее наполнились уютными теплыми слезами, они скатывались по щекам, стекали в уши. Она повернулась и плакала, уткнувшись лицом в подушки.

Газовые фонари еще некоторое время дрожат на багрово-холодных улицах, а потом гаснут, растворяясь в победной заре. Гэс Мак-Нийл идет рядом со своей тележкой, размахивая проволочной корзиной, наполненной молочными бутылками. Сон еще склеивает его глаза. Он останавливается у дверей, собирает пустые бутылки, карабкается по сырым лестницам, вспоминает, кому и какой сорт молока, сливок и сметаны оставить. Тем временем небо над крышами, желобами, карнизами и трубами становится розоватым и желтым. Иней блестит на ступеньках домов и на тумбах. Лошадь медленно плетется,

качая головой, от двери к двери. На замерзшей панели уже чернеют следы пешеходов. Тяжелый воз с пивом грохочет по улице.

— Как поживаете, Майк? Замерзли, небось? А? — кричит Гэс Мак-Нийл полисмену, потирающему руки на углу Восьмой авеню.

— Доброе утро, Гэс! Коровы еще дают молоко?

Уж совсем рассвело, когда он, наконец, бросает вожжи на облезлый круп мерина и едет обратно на ферму с пустыми бидонами, подпрыгивающими и дребезжащими в тележке за его спиной. На Девятой авеню прямо над его головою грохочет поезд. Маленький зеленый паровоз выбрасывает клуб дыма, белого и плотного, как вата. Дым тает в стылом воздухе между жесткими, чернооконными домами. Первые лучи солнца выхватывают золотые буквы вывески «Вина и ликеры Мак-Джилликеди» на углу Десятой авеню. Язык у Гэса Мак-Нийла пересох, рассвет оставил во рту солоноватый вкус. Кружка пива была бы самым подходящим делом в такое холодное утро. Он наматывает вожжи на кнут и соскакивает с тележки. Его закоченелые ноги ноют, прикасаясь к панели. Потопав ногами, чтобы согреть пальцы, он входит в бар, распахнув шаткую дверь.

— Будь я проклят, если молочник не привез

нам сливок к кофе!

Гэс плюет в начищенную плевательницу подле стойки.

— Пить хочу…

— Слишком много молока выпили, Гэс, держу пари, — басит хозяин с четырехугольным жирным лицом.

Из открытого окна красная солнечная полоса ласкает тело голой дамы — она возлежит позади стойки в золотой раме, спокойная, как крутое яйцо на ложе из шпината.

— Ну, Гэс, чем прикажете потчевать?

— Я думаю, Мак, пива.

Пена дрожит и переливается через край. Хозяин срезает ее деревянной ложкой, дает ей осесть, потом опять подставляет кружку под визжащий кран бочки. Гэс устраивается поудобнее, ставит ноги на медную решетку.

— Ну, как дела?

Гэс опорожняет кружку и, прежде чем вытереть рот, проводит ребром ладони по кадыку.

— Сыт по горло. Я вам скажу, что намерен делать. Я поеду на восток, возьму себе кусочек свободной земли в Северной Дакоте или где-нибудь в другом месте и буду сеять пшеницу. Я на этот счет мастер… Городская жизнь никуда не

годится.

— А как на это посмотрит Нелли?

— Ей, наверно, сначала не очень понравится. Она так любит комфорт, свой дом, все, к чему она привыкла, но, я думаю, ей понравится. Она привыкнет к новому месту, как только мы устроимся. Здешняя жизнь не подходит ни мне, ни ей.

— Вы правы, этот город — сущий ад. Я думаю, что в один прекрасный день мы с женой все распродадим. Если бы я только мог купить хороший ресторанчик за городом или гостиницу. Это было бы самое подходящее для нас дело. Я уже присмотрел кое-что неподалеку от Бронксвильского шоссе. — Он задумчиво трет подбородок кулаком. — Надоело мне каждый вечер разливать это проклятое пойло. Ведь я ушел с ринга для того, чтобы больше никогда в жизни не драться. А вчера вечером два негодяя сцепились тут, и мне пришлось вмешаться и драться с обоими, чтобы выкинуть их. Надоело мне до черта воевать с каждым пьяницей на Десятой авеню. Выпейте на дорогу!

— Боюсь, Нелли почувствует запах.

— Неважно. Пусть привыкает к небольшой выпивке. Ее отец это дело тоже любил.

— Честное слово, Мак, я ни разу не был пьян со

дня моей свадьбы.

— Да я ничего не говорю. Она славная девчонка, ваша Нелли. Этакие у нее кудряшки — кого угодно с ума сведет.

От второй кружки у Гэса щиплет и щекочет в кончиках пальцев. Он хохочет и хлопает себя по ляжке.

— Она наливное яблочко, Гэс. Настоящая леди и все такое…

— Ну, пора ехать домой.

— Счастливый дьявол! Идет спать с женой, а мы только начинаем работать.

Багровое лицо Гэса краснеет. Его уши горят еще сильнее.

— Иногда я еще застаю ее в кровати… Ну, прощайте, Мак. — Он выходит на улицу.

Утро стало пасмурным. Свинцовые тучи собираются над городом.

— Ну, пошла, старуха! — кричит Гэс, дергая лошадь за гриву.

Одиннадцатая авеню полна ледяной пыли, визга и грохота колес, топота копыт. С железнодорожного пути доносятся свистки паровоза и стук товарных вагонов, переходящих на запасной путь. Гэс лежит в кровати со своей женой и нежно говорит ей: «Слушай, Нелли, ты ничего не

имеешь против переезда на Восток? Да? Я подал заявление о предоставлении мне свободной земли под ферму в Северной Дакоте; там чернозем, и мы наживем кучу денег на пшенице; многие богатеют с пяти хороших урожаев… И, во всяком случае, для детей там здоровее…»

— Хелло, Майк!

Бедный старый Майк… Он все еще на посту. Гнусное занятие — быть фараоном. Лучше быть фермером, сеять пшеницу, иметь собственный большой дом, хлев, свиней, лошадей, коров, кур… Хорошенькая кудрявая Нелли кормит цыплят у кухонной двери…

— Эй! Эй! Ради Бога, осторожнее! — кричит Гэсу человек с угла улицы. — Поезд!

Разверстый рот, изодранная кепка, зеленый флаг. «Господи, я на рельсах!» Он пытается повернуть лошадь. Удар опрокидывает тележку. Вагоны, лошадь, зеленый флаг, красные дома кружатся и исчезают во мраке.

III. Доллары

Вдоль перил — лица; в иллюминаторах — лица. Ветер доносил тухлый запах с парохода. Пароход, похожий на бочонок, стоял на якоре, накренившись на бок. С его фок-мачты свисал желтый карантинный флаг.

— Я бы дал миллион долларов, чтобы узнать, зачем они приехали, — сказал старик, роняя весла.

— Чтобы нажиться, — ответил юноша, сидевший на корме. — Ведь Америка — страна больших возможностей.

— Одно я знаю, — сказал старик, — когда я был мальчиком, весной сюда вместе с первой сельдью приезжали ирландцы... Теперь сельди больше нет, а люди все едут и едут. Откуда они берутся — Бог их знает.

— Америка — страна больших возможностей.

Молодой человек с худым лицом, стальными глазами и тонким орлиным носом сидел, отки-

нувшись на вертящемся стуле, положив ноги на стол красного дерева. У него были пухлые губы и болезненный цвет лица. Он раскачивался на стуле, разглядывая царапины, которые его ботинки оставляли на фанере. К черту! Наплевать! Вдруг он выпрямился и сел так внезапно, что пружина стула запищала. Он ударил сжатым кулаком по колену.

— Результаты! — закричал он. — Три месяца я протираю брюки, сидя на этом вертящемся стуле… Какая польза от того, что я кончил университет и имею право выступать в суде, если я не могу найти ни одного клиента?

Он нахмурился, глядя на золотые буквы, красовавшиеся на матовой стеклянной двери:

НИУДЛОБ ЖДРОЖД ТАКОВДА

— «Ниудлоб…» К черту! — Он вскочил на ноги. — Я читаю эту проклятую надпись задом наперед каждый день в течение трех месяцев. Я с ума от этого сойду. Пойду завтракать.

Он одернул жилет, смахнул платком пыль с ботинок, затем, придав лицу выражение чрезвычайной озабоченности, поспешно вышел из своей конторы, сбежал с лестницы и пошел по

Мэйден-лейн.[53] Напротив ресторана он увидел заглавную строчку экстренного выпуска газеты: «Японцы отброшены от Мукдена».[54] Он купил газету, сунул ее под мышку и, хлопнув дверью, вошел в ресторан. Он занял столик и уставился в меню. Нельзя быть расточительным.

— Дайте обед по-английски, кусочек яблочного пирога и кофе.

Длинноволосый лакей записал заказ на манжете, глядя на нее сбоку с озабоченным видом. Это был обед адвоката без практики. Болдуин откашлялся и развернул газету…

> Наверно, теперь русские бумаги немного поднимутся… Ветераны войны посетили президента. Еще один несчастный случай на Одиннадцатой авеню. Молочник тяжело изувечен…

«Ага, вот материал для славного процесса с иском за увечье!»

---

53 Примечания: 53

Мэйден-лейн — улица в престижном Нижнем Манхэттене, занятая преимущественно деловыми учреждениями и конторами.

54 Примечания: 54

Газета рассказывает об одном из эпизодов русско-японской войны 1904—1905 гг. — сражении при Мукдене, где японцы во главе с генералом Окаямой, сломив упорное сопротивление русских, одержали победу в марте 1905 г.

Огэстос Мак-Нийл, проживающий в доме № 253 по 4-ой улице, ехавший на тележке молочной фермы «Эксцельсиор и К°», сегодня утром попал под поезд, шедший по Центральному нью-йоркскому пути. Мак-Нийл тяжело изувечен…

«Надо затеять дело против железной дороги. Ей-богу, я должен поймать этого человека и заставить его подать в суд на железную дорогу…»

Еще не пришел в сознание…

«Может быть, он уже умер. Ну, тогда его жена имеет еще больше шансов выиграть процесс. Сегодня же пойду в больницу, надо опередить других ходатаев». Он решительно откусил кусочек хлеба и энергично прожевал его. «Конечно, нет, я пойду к нему на дом и узнаю, есть ли у него жена, мать или кто-нибудь в этом роде. «Простите, миссис Мак-Нийл, что я навязываюсь вам. У вас такое страшное горе, но мне необходимо узнать… Я как раз занят одним крупным процессом…» Он допил кофе и заплатил по счету.

Твердя «253, Четвертая улица», он нанял экипаж до Бродвея, потом пошел по Четвертой улице

и перешел Вашингтон-сквер.[55] Деревья распростерли на фоне серо-синеватого неба хрупкие багряные ветки. Великолепные здания с широкими окнами пылали розово, беззаботно, богато. Самое подходящее место для адвоката с большой солидной практикой. Посмотрим, посмотрим… Он пересек Шестую авеню и углубился в грязную западную часть города, где пахло конюшней, а на тротуарах валялись отбросы и ползали дети. Какой ужас жить среди ирландцев и иностранцев, отбросов всего мира! У дверей дома № 253 было множество звонков без надписи. Женщина в платье из бумажной ткани, с рукавами, засученными над колбасообразными руками, высунула из окна седую голову.

— Скажите, пожалуйста, здесь живет Огэстос Мак-Нийл?

— Он лежит в больнице. Где ему еще быть?

— Без сомнения. А может быть, здесь живет кто-нибудь из его родных?

— А что вам от них надо?

---

55 Примечания: 55

Вашингтон-сквер — небольшая площадь-парк в Гринич Виллидж (известном районе артистической богемы Нью-Йорка) у начала Пятой авеню. С момента основания здесь находились дома крупнейших торговцев и банкиров; впоследствии здесь жили многие известные писатели и художники, среди которых были Генри Джеймс и Рокуэлл Кент. В 1922 г. на Вашингтон-сквер, дом 3, снимал комнату Джон Дос Пассос.

— У меня к ним дело.

— Поднимитесь на верхний этаж, там найдете его жену. Но я не думаю, чтобы вам удалось ее увидеть, — бедняжка ужасно потрясена несчастьем, случившимся с ее мужем. Они только полтора года, как повенчались.

Лестница была испещрена следами грязных ног и кое-где посыпана золой. Наверху он увидел свежевыкрашенную темно-зеленую дверь и постучал.

— Кто там? — раздался женский голос.

Он вздрогнул. «Должно быть, молоденькая».

— Миссис Мак-Нийл дома?

— Да! — ответил звонкий женский голос. — В чем дело?

— Я по поводу несчастного случая с мистером Мак-Нийлом.

— «По поводу несчастного случая»?

Дверь осторожно приоткрылась. У нее был резко очерченный, молочно-белый нос, такой же подбородок и масса волнистых рыжевато-коричневых волос, которые мелкими, плоскими кудрями лежали на ее высоком, узком лбу. Серые глаза остро и подозрительно посмотрели ему прямо в лицо.

— Могу я с вами минуту поговорить о несчаст-

ном случае с мистером Мак-Нийлом? Существует целый ряд законов, и я считаю своим долгом поставить вас о них в известность… Кстати, я надеюсь, ему лучше?

— О да. Он скоро вернется домой.

— Можно войти? Это довольно долго объяснять.

— Я думаю, что можно. — Ее пухлые губки сложились в лукавую улыбку. — Я думаю, вы меня не съедите.

— Нет, честное слово, не съем. — Он нервно рассмеялся.

Она повела его в темную гостиную.

— Я не открываю ставен, чтобы вы не видели беспорядка.

— Позвольте представиться, миссис Мак-Нийл: Джордж Болдуин, восемьдесят восемь, Мэйденлейн. Моя специальность, видите ли, — несчастные случаи вроде вашего. В двух словах: вашего мужа переехал поезд и он чуть не погиб из-за преступной халатности служащих Нью-йоркской центральной железной дороги. Вы имеете все основания возбудить дело против железной дороги. Я также думаю, что «Эксцельсиор и К°» предъявит иск за убытки, причиненные фирме несчастным случаем, то есть за потерю лошади,

тележки и тому подобное.

— Вы хотите сказать, что Гэсу возместят все убытки?

— Совершенно верно.

— А как вы думаете, сколько он получит?

— Ну, это зависит от того, насколько тяжелы его увечья, от судебного решения и, может быть, от ловкости адвоката. Я думаю, десять тысяч долларов — подходящая сумма.

— А вы сейчас не берете денег?

— Гонорар адвоката редко уплачивается до того, как дело доведено до успешного конца.

— А вы настоящий адвокат? Правда? Вы выглядите слишком молодым.

Серые глаза метнули на него взгляд. Оба рассмеялись. Он почувствовал, как теплая, неизъяснимая волна пробежала по его телу.

— Я адвокат, моя специальность — несчастные случаи. Не далее как в прошлый вторник я взыскал шесть тысяч долларов в пользу одного клиента, который попал под почтовый фургон. В настоящее время, как вам, вероятно, известно, поднята усиленная кампания за упорядочение уличного движения на Одиннадцатой авеню. Момент, как мне кажется, чрезвычайно подходящий.

— Скажите, вы всегда так говорите? Или только в деловом разговоре?

Он откинул голову и рассмеялся.

— Бедный, старый Гэс, я всегда говорила, что ему везет!

Плач ребенка раздался из-за перегородки.

— Что это такое?

— Это ребенок. Малютка все время только пищит.

— Так у вас есть дети, миссис Мак-Нийл? — Это открытие несколько охладило его.

— Только один. А что?

— Ваш муж лежит в больнице скорой помощи?

— Да, и я думаю, что вам позволят повидаться с ним, если вы по делу. Он ужасно стонет.

— Если бы я мог достать несколько свидетелей…

— Майк Дойни, полисмен, все видел. Он приятель Гэса.

— Ей-богу, это верное дело! Мы им покажем. Я пойду прямо в больницу.

Новый взрыв плача раздался из соседней комнаты.

— Ах ты, дрянь, — прошептала она, скривив лицо. — Деньги нам очень пригодились бы, мистер Болдуин.

— Ну, мне пора. — Он взял шляпу. — Я, конечно, сделаю все возможное. Можно заходить к вам время от времени и докладывать о ходе дела?

— Надеюсь, вы придете.

Когда они прощались, стоя у дверей, он не мог сразу отпустить ее руку. Она покраснела.

— Ну, до свиданья и большое спасибо за то, что вы зашли, — сказала она.

Чувствуя головокружение и спотыкаясь, Болдуин спустился по лестнице. Кровь стучала ему в виски. «Самая красивая девочка, какую я когда-либо видел». На улице шел снег. Снежные хлопья робко ласкали его пылавшие щеки.

Небо над парком[56] было усеяно маленькими облачками, точно лужайка белыми цыплятами.

— Алиса, пойдем по этой тропинке.

— Нет, Эллен, папа приказал мне идти из школы прямо домой.

— Трусиха!

— Эллен, ты ведь знаешь, как воруют детей.

— Я же тебя просила не называть меня Эллен.

— Ну хорошо, Элайн.

---

56 Примечания: 56

Имеется в виду Центральный парк, большой парк в Среднем Манхэттене, замечательный своей живописностью и скульптурными сооружениями; считается одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка.

На Эллен было новое черное шотландское платьице. Алиса носила очки; ноги у нее были тонкие, как шпильки.

— Трусиха!

— Вот видишь, какие страшные люди сидят на скамейке. Идем, Элайн, красотка, идем домой!

— А я не боюсь. Я умею летать, как Питер Пен в сказке.

— Что же ты не летаешь?

— Сейчас не хочется.

Алиса начала хныкать:

— Эллен, какая ты скверная! Ну идем же домой, Элайн.

— Нет, я пойду гулять в парк.

Эллен спустилась с лестницы. Алиса несколько секунд стояла на верхней площадке, балансируя то на одной, то на другой ноге.

— Трусиха, трусиха, трусиха! — закричала Эллен.

Алиса убежала плача:

— Я скажу твоей маме.

Эллен шла по асфальтовой дорожке между кустами, высоко вскидывая ноги.

В новом шотландском платьице, купленном мамой в магазине Херна, Эллен шла по асфальтовой дорожке, высоко вскидывая ноги. Сереб-

ряная брошка сверкала на плече нового черного шотландского платьица, купленного мамой в магазине Херна. Элайн из Ламмермура шла к венцу.[57] Невеста. Там-там-там, там-там-там — гудят волынки по полям! У человека на скамье пятно под глазом. Подстерегающее, черное пятно. Черное, подстерегающее пятно. Черный шотландец, похититель детей. Среди шелестящих кустов похитители детей — на черной страже. Эллен уже не вскидывает ноги. Эллен ужасно боится черного шотландца, похитителя детей, огромного, скверно пахнущего шотландца с черным пятном под глазом. Она боится бежать. Ее отяжелевшие ноги шаркают по асфальту — она пытается бежать по дорожке. Она боится повернуть голову. Черный шотландец, похититель детей, в двух шагах за ней. «Когда я добегу до фонаря, я догоню няньку с ребенком, когда я догоню няньку с ребенком, я добегу до большого дерева, когда я добегу до большого дерева… Ох, как я устала… Я пробегу по Центральному западному парку и прямо по

57 Примечания: 57

Элайн из Ламмермура шла к венцу. — Эллен воображает себя героиней романа Вальтера Скотта (1771—1832) «Ламмермурская невеста» (1819), этот роман лег в основу либретто оперы Доницетти (1797—1848) «Лючия ди Ламмермур» (1835). Поверив клевете на своего жениха, Лючия выходит замуж за нелюбимого человека. Узнав правду, она убивает своего мужа и погибает сама.

улице домой». Она боялась свернуть. Она бежала, и у нее кололо в боку. Она бежала до тех пор, пока во рту у нее не стало горько.

— Куда ты бежишь, Элли? — спросила Глория Дрэйтон; она прыгала через скакалку на опушке парка.

— Так мне хочется! — задыхаясь, сказала Эллен.

Винная вечерняя заря окрашивала тюлевые занавески и просачивалась в голубой мрак комнаты. Они стояли у стола. Звездные нарциссы в горшке, еще завернутом в папиросную бумагу, блестели фосфорическим блеском и издавали влажный запах земли, смешанный с острым, бесстыдным ароматом.

— Вы очень любезны, мистер Болдуин. Я завтра снесу цветы Гэсу в больницу.

— Ради Бога, не называйте меня так.

— Но мне не нравится имя Джордж.

— А мне нравится ваше имя, Нелли.

Он стоял, глядя на нее. Тяжелый аромат струился с ее рук. Его руки болтались, как пустые перчатки. Ее глаза почернели, зрачки расширились, припухшие губы тянулись к нему из-за цветов. Она подняла руки, чтобы закрыть лицо. Он обнял ее худенькие плечи.

— Право, Джордж, мы должны быть осторожны. Вы не должны приходить сюда так часто. Я не хочу, чтобы все старые сплетницы в доме начали болтать.

— Не беспокойтесь… Не надо ни о чем беспокоиться.

— Всю прошлую неделю я вела себя как сумасшедшая. С этим надо покончить.

— А я разве вел себя как нормальный человек? Клянусь Богом, Нелли, я никогда ничего подобного не делал раньше. Я не из той породы.

Она улыбнулась, обнажив ровные зубы.

— От мужчин всего можно ожидать.

— Если бы это не было особенным, исключительным чувством, то я бы не бегал так за вами. Я никогда не любил никого, кроме вас, Нелли.

— Ну уж и никого!

— Правда, я никогда этим не интересовался. Я слишком усердно занимался в университете. У меня не было времени для ухаживанья.

— Теперь стараетесь наверстать потерянное?

— О Нелли, не говорите так!

— Честное слово, Джордж, я решила положить этому конец. Что мы будем делать, когда Гэс выйдет из больницы? Я совершенно забросила ребенка.

— Не все ли равно, что случится, Нелли?

Он повернул ее лицо к себе. Они прильнули друг к другу, шатаясь, губы их слились в диком поцелуе.

— Посмотрите — мы чуть не опрокинули лампу.

— Вы прекрасны, Нелли.

Ее голова упала к нему на грудь. Он чувствовал острый запах ее спутанных волос. Было темно. Зеленые змейки света от уличных фонарей извивались вокруг них. Ее глаза смотрели в его глаза — страшные, торжественные, черные.

— Нелли, пойдем в ту комнату, — прошептал он тонким, дрожащим голосом.

— Там бэби.

Они смотрели друг на друга. Руки их были холодны.

— Идите сюда, помогите мне. Я перенесу колыбель сюда… Осторожно, не разбудите ее, иначе она завопит во всю глотку. — Ее голос звучал хрипло.

Ребенок спал. Его маленькое красное личико было спокойно. Крошечные, розовые сжатые кулачки лежали на одеяльце.

— Она выглядит счастливой, — сказал он с насильственным хихиканьем.

— Потише вы! Вот что, снимите ботинки… Джордж, я никогда бы этого не сделала, но это сильнее меня.

Он нашел ее впотьмах.

— Дорогая… — Он неуклюже навалился на нее, прерывисто и тяжело задышал.

— Врешь, Хромой!..

— Честное слово, не вру, клянусь могилой матери! Тридцать семь градусов широты, двенадцать долготы… Вы бы посмотрели! Мы добрались до острова в шлюпке, когда «Эллиот П. Симкинс» пошел ко дну. Нас было четверо мужчин и семь женщин и детей. Да ведь я сам все рассказал репортерам. Потом это было во всех воскресных газетах.

— А скажи-ка, Хромой, каким же образом тебя оттуда вытащили?

— На носилках — лопни мои глаза, если я вру! Сукин сын буду, если я не тонул самым настоящим образом, точь-в-точь как старая лоханка «Симкинс».

Головы на толстых шеях откидываются назад, громыхает смех, стаканы стучат о круглый стол, ладони хлопают по ляжкам, локти въезжают в ребра.

— А сколько человек команды было на судне?

— Семеро, считая мистера Доркинса, второго офицера.

— Четыре и семь — это одиннадцать… Черт побери, по четыре и три одиннадцатых бабы на парня!.. Славный островок!

— Когда отходит следующий паром?

— Брось! Выпей лучше еще стаканчик. Эй, Чарли, налей!

Эмиль дернул Конго за рукав.

— Выйдем на минутку. J'ai que'quechose à te dire.[58]

Глаза у Конго были влажны, он слегка спотыкался, следуя за Эмилем.

— Oh, le p'tit mysterieux![59]

— Слушай, я иду в гости к одной даме.

— А, вот в чем дело. Я всегда говорил, что ты ловкий парень, Эмиль.

— Вот я тебе записал мой адрес на случай, если ты забудешь его: «Девятьсот сорок пять, Двадцать вторая улица». Можешь ночевать там, но только не приводи с собой женщин и вообще… Я в хороших отношениях с хозяйкой и не хочу портить

---

58 Примечания: 58
Мне надо тебе кое-что сказать *(фр.)*.

59 Примечания: 59
Ох, маленький заговорщик! *(фр.)*

их. Tu comprends?[60]

— А я хотел, чтобы ты пошел со мной на вечеринку. Faut fire un peu la noce, nom de Dieu![61]

— Мне утром надо работать.

— Брось! У меня в кармане жалованье за восемь месяцев.

— Нет, приходи завтра в шесть утра. Буду ждать.

— Tu m'emmerdes, tu sais, avec tes manières![62]

Конго сплюнул в плевательницу, стоявшую в углу под стойкой и нахмурившись отошел в глубь комнаты.

— Эй, Конго, садись! Барней нам сейчас споет.

Эмиль вскочил в трамвай и поехал в город. На Восемнадцатой улице он слез и зашагал по направлению к Восьмой авеню. Вторая дверь от угла — маленькая лавочка. Над одним из окон висела надпись «Кондитерская», над другим — «Гастрономия». Посредине, на стеклянной двери, была надпись эмалированными буквами: «Эмиль Риго, первоклассные деликатесы». Эмиль вошел.

---

60 Примечания: 60
Ты понимаешь? *(фр.)*

61 Примечания: 61
Надо устроить что-то вроде свадьбы. Боже ты мой! *(фр.)*

62 Примечания: 62
Ты мне осточертел, знаешь ли, со своими манерами! *(фр.)*

Задребезжал дверной колокольчик. Полная смуглая женщина с черными усиками на верхней губе дремала за кассой. Эмиль снял шляпу.

— Bonsoir, madame Rigaud![63]

Она вздрогнула, посмотрела на него, и на ее широко улыбающемся лице образовались две ямочки.

— Tieng, c'est comma ça qu'ong oublie ses amies![64] — сказала она громко, с сильным южнофранцузским акцентом. — Уже неделя, как месье Люстек не посещает своих друзей.

— У меня не было времени.

— Много работы — много денег, а? — Когда она смеялась, ее плечи и большие груди колыхались под тесной синей кофтой.

Эмиль прищурил глаз.

— Могло быть хуже. Но мне надоело быть лакеем… Это утомительно, никто и смотреть не хочет на лакея.

— Вы тщеславный человек, месье Люстек.

— Que voulez vous?[65] — Он покраснел и добавил

---

63 Примечания: 63
Добрый вечер, мадам Риго! *(фр.)*

64 Примечания: 64
Ну вот, так и забывают своих друзей! *(фр.)*

65 Примечания: 65
Чего же вы хотите? *(фр.)*

застенчиво: — Меня зовут Эмиль.

Мадам Риго закатила глаза.

— Так звали моего покойного мужа. Я привыкла к этому имени. — Она тяжело вздохнула.

— Ну а как идет дело?

— Comma ci, comma ça…[66] Ветчина опять вздорожала.

— Это чикагские дельцы вздувают цены… Спекульнуть на свинине — вот где можно заработать.

Эмиль заметил, что черные глаза мадам Риго глядят на него испытующе.

— Я так наслаждался вашим пением последний раз. Я часто о вас вспоминал. Музыка всегда хорошо действует, не правда ли?

Ямочки мадам Риго все больше расширялись.

— У моего бедного мужа не было слуха. Это меня очень огорчало.

— Не споете ли вы мне что-нибудь сегодня?

— Если вы хотите, Эмиль… Но кто будет заниматься с покупателями?

— Я выйду в магазин, если услышу звонок. Вы разрешите?

— Хорошо. Я выучила новую американскую

---

66 Примечания: 66
Так себе… *(фр.)*

песенку. C'est chic, vous savez.[67]

Мадам Риго заперла кассу ключом, висевшим у нее на поясе, и прошла в комнату за лавкой. Эмиль последовал за ней со шляпой в руках.

— Дайте мне вашу шляпу, Эмиль.

— О, не беспокойтесь, пожалуйста.

Задняя комната представляла собой маленькую гостиную с желтыми обоями в цветах и старыми красными портьерами. Под хрустальным газовым рожком стояло пианино, уставленное фотографическими карточками. Табурет перед пианино затрещал, когда мадам Риго села на него. Она пробежала пальцами по клавишам.

Эмиль сидел на самом краешке стула около пианино, держа шляпу на коленях и вытягивая лицо так, чтобы мадам Риго, играя, могла видеть его. Мадам Риго запела:

Прелестная резвая птичка
В клетке сидит золотой,
Поет и порхает,
И никто не знает,
Как пленнице тяжко порой.

В лавке громко зазвенел колокольчик.

---

67 Примечания: 67
Это шик, знаете ли *(фр.).*

— Permettez![68] — крикнул Эмиль, выбегая.

— Полфунта болонской колбасы. Нарежьте, — сказала маленькая девочка с крысиным хвостиком.

Эмиль провел ножом по ладони и старательно нарезал колбасу. Он на цыпочках вернулся в гостиную и положил деньги на край пианино. Мадам Риго продолжала петь:

Несладко бедняжке живется,
Она раньше пела в лесу,
Но старик богатый
Купил за злато
Ее молодую красу.

Бэд стоял на углу Вест-Бродвей и Франклин-стрит. Он грыз фисташки. Был полдень, и у него не было больше денег. Над его головой грохотала воздушная железная дорога. Пылинки танцевали перед глазами в изрешеченном солнечном свете. Обдумывая, в какую сторону пойти, он в третий раз произносил названия улиц. Черная, блестящая коляска, запряженная двумя черными лошадьми с блестящими крупами, обогнула угол прямо перед ним, грохоча по мостовой красны-

---

68 Примечания: 68
Позвольте! *(фр.)*

ми блестящими колесами. Подле кучера лежал желтый кожаный чемодан. В коляске мужчина в коричневом котелке громко разговаривал с женщиной в сером боа и с серыми страусовыми перьями на шляпе. Мужчина выстрелил себе в рот из револьвера. Лошади рванули и врезались в сбежавшуюся толпу. Полисмены локтями пробивали себе дорогу. Они вынесли на мостовую мужчину, плевавшего кровью: голова его свесилась на клетчатый жилет. Женщина стояла подле него, высокая и бледная, дергая боа; серые перья на ее шляпе кивали в полосатых лучах солнца.

— Его жена хотела увезти его в Европу… «Дойчланд» уходит в двенадцать… Я хотела проститься с ним навсегда… Он должен был уехать на «Дойчланд» в двенадцать… Он хотел проститься со мной навсегда…

— Прочь с дороги!

Фараон толкнул Бэда локтем в живот. Его колени тряслись. Он вышел из толпы и, дрожа, зашагал прочь. Машинально он очистил орех и положил его себе в рот. Остальные лучше сохранить до вечера. Он свернул кепи и сунул его в карман.

Под дуговым фонарем, плававшим в розовых и лиловых с зелеными краями пятнах, человек

в клетчатом костюме встретил двух девушек. У той, что ближе, было овальное лицо с полными губами; глаза ее были как удар ножа. Он прошел несколько шагов, потом повернул и пошел за ними, ощупывая свой новый шелковый галстук. Он удостоверился — булавка с бриллиантовой подковкой была на месте. Он перегнал их. Она отвернула лицо. Может быть, она… Нет, он бы не сказал… Хорошо, что пятьдесят долларов при нем. Он сел на скамейку и пропустил их вперед. Еще ошибешься и попадешь в участок. Они не заметили его. Он пошел за ними по аллее и вышел из парка. Его сердце колотилось. «Я дал бы миллион долларов за… Простите, вы не мисс Андерсон?» Девушки пошли быстрее. На площади Колумба он потерял их в толпе. Он помчался по Бродвею, квартал за кварталом. Полные губы, глаза, как удар ножа. Он смотрел направо и налево в девичьи лица. Куда она провалилась? Он помчался дальше по Бродвею.

Эллен сидела рядом с отцом на Бэттери.[69] Она глядела на свои новые коричневые ботинки с пуговками. Она качала ногами, и, когда ноги выходили из теневого круга платья, на носках ботинок и на каждой круглой пуговке дрожал солнечный блик.

— Подумай, как хорошо было бы, — говорил Эд Тэтчер, — поехать за границу на океанском пароходе. Вообрази только — пересечь великий Атлантический океан в семь дней!

— Папочка, а чем все это время занимаются пассажиры на пароходе?

— Не знаю. Наверно, гуляют по палубе, играют в карты, читают и тому подобное. Потом танцуют.

— Танцуют? На корабле? Я думаю, это ужасно весело. — Эллен хихикнула.

— На современных пароходах все можно делать.

— Папа, почему мы не едем?

---

69 Примечания: 69

Бэттери-парк — небольшой парк на южном окончании Манхэттена. Название восходит к артиллерийской батарее, установленной здесь в 1693 г., чтобы защищать город от атак французов (город так и не был атакован). Отсюда открывается вид на Аппер-бэй (Верхний залив); Говернер-Айленд — остров к югу от Манхэттена, с 1698 г. — определенное законом место жительства губернатора Нью-Йорка, получивший отсюда свое название; Стейтен-Айленд — остров, один из районов Нью-Йорка, в начале XX в. известный своими теннисными кортами и охотой; Эллис-Айленд — остров, на рубеже веков служивший пунктом приема европейских иммигрантов.

— Может быть, когда-нибудь поедем, если я накоплю денег.

— Папочка, поторопись! Накопи побольше денег. Мать и отец Алисы каждое лето ездят на Белые Горы, а будущим летом поедут за границу.

Эд Тэтчер смотрел на залив. Синим, сверкающим полем залив уходил в коричневую дымку канала Нэрроуз. Статуя Свободы[70] стояла, зыбкая, как лунатик, в клубящемся дыме, среди буксиров, стройных шхун и неповоротливых, неуклюжих барок, груженных кирпичом и песком. Тут и там яркие солнечные блики играли на белых парусах и пароходных трубах. Красные паромы сновали взад и вперед.

— Папочка, почему мы не богаты?

— Очень многие еще беднее нас, Элли. Разве ты любила бы своего папочку больше, если бы мы были богаты?

— О да, папочка!

Тэтчер рассмеялся.

— Может быть, когда-нибудь это случится… Как тебе нравится фирма: «Эдуард Тэтчер и компания,

---

70 Примечания: 70

Статуя Свободы («Свобода, светящая миру»; скульптор Бартольди, 1886) — всемирно известный монумент, возвышающийся на 120 м над уровнем моря. М-р Тэтчер любуется также проливом Нэрроуз, разделяющим Стейтен-Айленд и Лонг-Айленд.

присяжные счетоводы»?

Эллен вскочила.

— Посмотри-ка на этот огромный пароход! Вот на нем я хотела бы поехать.

— Это «Арабик», — произнес чей-то скрипучий голос около них.

— Да? — сказал Тэтчер.

— Да, сэр, лучший пароход в мире, — охотно пояснил обтрепанный человек, сидевший на скамейке рядом с ними.

Кепка со сломанным лакированным козырьком была надвинута на его маленькое, острое лицо. От него пахло виски.

— Да, сэр, это «Арабик».

— Хорошо выглядит.

— Один из самых больших пароходов, сэр. Я плавал на многих: и на «Мэджестик» и на «Тьютоник», сэр. Я тридцать лет служил официантом, а теперь, на старости лет, меня выкинули.

— У всех бывают тяжелые дни.

— Я был бы счастливым человеком, если бы мог вернуться на родину. Тут не место для старого человека. Тут могут жить только молодые и сильные. — Он протянул скрюченную подагрой руку по направлению к заливу и указал на статую. — Поглядите на нее — она смотрит в сторону

Англии.

— Папочка, уйдем отсюда, мне не нравится этот человек, — прошептала Эллен дрожащим голосом.

— Ладно, пройдемся, посмотрим на морских львов. Будьте здоровы!

— Не дадите ли вы мне на чашку кофе? Я изголодался.

Тэтчер сунул монету в грязную, узловатую руку.

— Но, папочка!.. Мама говорила, что никогда не нужно позволять кому-нибудь заговаривать с тобой на улице. Надо позвать полисмена, если к тебе будут приставать, и потом убежать как можно быстрее от этих ужасных похитителей детей.

— Я не боюсь похитителей детей, Элли. Они страшны только маленьким девочкам.

— Когда я вырасту большая, мне можно будет разговаривать с людьми на улицах?

— Нет, дорогая, конечно нет.

— А если бы я была мальчиком, то можно было бы?

— Я думаю, да.

Они остановились на минутку, чтобы еще раз посмотреть на залив. Океанский пароход, влекомый буксиром, который окутывал его нос

белым дымом, возвышался прямо перед ними над паромами и баржами. Чайки кружились и кричали. Солнце лило кремовые лучи на верхние палубы и на большую, желтую, с черной крышкой, трубу. Гирлянда флажков весело плясала на аспидном небе.

— Много народу приезжает из-за границы на этих пароходах? А, папочка?

— Посмотри сама… Видишь — палубы так и кишат людьми.

Бродя по Пятьдесят третьей улице, Бэд Корпнинг очутился перед кучей угля, лежавшей на тротуаре. По другую сторону этой кучи стояла седовласая женщина с кружевными воланами на блузе, с большой розовой камеей на высокой груди. Она смотрела на его небритый подбородок и на кисти рук, выглядывавшие из рваных рукавов. Потом он услышал свой голос:

— Не снести ли вам уголь, сударыня? — Бэд переступил с ноги на ногу.

— Об этом я как раз и думаю, — сказала женщина надтреснутым голосом. — Этот несчастный угольщик принес утром уголь и сказал, что вернется перенести его. Вероятно, напился. Я не знаю только, можно ли пустить вас в дом.

— Я с севера, — пролепетал Бэд.

— Откуда?

— Из Куперстоуна.[71]

— Хм… А я из Буффало.[72] Возможно, что вы громила, но ничего не поделаешь — надо внести уголь. Идемте, я вам дам лопатку и корзину, и если вы не растеряете уголь по дороге и на кухне, я дам вам доллар. На кухне только что мыли пол. Это всегда так, уголь приносят, когда моют пол.

Когда он внес первую корзину, она возилась на кухне; у него кружилась голова от голода, но он был счастлив, что работает, а не бродит бесцельно по тротуарам, с улицы на улицу, увертываясь от фургонов, колясок и трамваев.

— Почему у вас нет постоянной работы, голубчик? — спросила она, когда он вернулся с пустой корзинкой, едва переводя дыхание.

— Я думаю, что еще не приспособился к городским нравам. Я родился и вырос на ферме.

— А чего ради вы приехали в этот ужасный город?

— Не мог больше жить на ферме.

---

71 Примечания: 71

Куперстоун — городок севернее Нью-Йорка, основанный Уильямом Купером, отцом писателя Джеймса Фенимора Купера (1789—1851), описавшего эти места в романах о Кожаном Чулке.

72 Примечания: 72

Буффало — город на западе штата Нью-Йорк, расположенный на берегу озера Эри.

— Это ужасно! Что станет со страной, если все сильные молодые люди покинут землю и уйдут в город?

— Я думал, что найду работу в доках, но там никого не берут. Пожалуй, я бы и матросом мог быть, да никто не хочет брать неопытного. Я не ел уже два дня.

— Ужасно! Ах вы, несчастный… Почему же вы не пошли в какую-нибудь миссию или куда-нибудь в этом роде?

Когда Бэд принес последнюю корзину, он нашел на кухонном столе тарелку с холодным мясом, полкаравая черствого хлеба и стакан скисшего молока. Он ел быстро, едва прожевывая пищу, и остаток хлеба спрятал в карман.

— Как вам понравился завтрак?

— Благодарю вас, сударыня. — Он кивнул головой.

— Отлично, теперь вы можете идти. Благодарю вас.

Она сунула ему в руку четвертак. Бэд удивленно взглянул на монету, лежавшую на его ладони.

— Но, сударыня, вы сказали, что дадите мне доллар.

— Я никогда не говорила ничего подобного. Что за чушь! Если вы сейчас же не уйдете, то я позову

моего мужа, а то еще обращусь в полицию.

Бэд молча положил монету в карман и вышел, едва волоча ноги.

— Какая неблагодарность! — брюзжала женщина, пока он закрывал за собой дверь.

Судорога сводила его желудок. Он снова повернул на восток и шел вдоль реки, крепко прижимая кулаки к ребрам. Ему все время казалось, что он упадет. «Беда, если я потеряю сознание». Он дошел до конца улицы и лег на серый щебень около верфи. Из близлежащей пивоварни вязко и сладко тянуло хмелем. Заходящее солнце пылало в окнах фабрик Лонг-Айленда, вспыхивало в иллюминаторах буксиров, сверкало желтыми и оранжевыми курчавыми пятнами на коричнево-зеленой воде, горело на изогнутых парусах медленно плывущей вверх по течению шхуны. Боль внутри утихла. Что-то пламенное и знойное, как солнечный закат, просачивалось в его тело. Он сел. «Слава Богу, я не потерял сознание».

На рассвете на палубе сыро и холодно. Троньте рукой перила — на них влага. Коричневая вода гавани пахнет умывальником и мягко бьется в борта парохода. Матросы отдраивают люки. Грохот цепей, стук паровой лебедки. Высокий человек в синем халате стоит у рычага, среди

облаков пара, который хлещет по его лицу, как мокрым полотенцем.

— Мамочка, сегодня в самом деле четвертое июля?

Рука матери крепко сжимает его руку и ведет по трапу вниз, в салон-ресторан. Стюарды собирают багаж у лестницы.

— Мамочка, сегодня в самом деле четвертое июля?

— Да, кажется, дорогой мой. Это ужасно — приезжать в праздник, но я думаю, что нас все-таки будут встречать.

На ней синее саржевое платье, длинная коричневая вуаль, и вокруг шеи — маленький темный зверек с красными глазами и настоящими зубами. От платья пахнет нафталином, распакованными чемоданами, шкафами, устланными папиросной бумагой. В салоне жарко. За перегородкой уютно сопят машины. Он клюет носом над горячим молоком, чуть подкрашенным кофе. Три звонка. Он вскидывает голову. Тарелки звенят и кофе расплескивается от содроганий парохода. Потом толчок, лязг якорных цепей и постепенно тишина. Мать поднимается и выглядывает в иллюминатор.

— Будет прекрасный день, солнце прогонит

туман. Подумай, дорогой, наконец-то мы дома! Здесь ты родился, мой мальчик.

— Сегодня четвертое июля.

— Это как раз очень плохо… Джимми, посиди на палубе и будь умницей. Маме нужно укладываться. Обещай мне не шалить.

— Обещаю.

Он спотыкается о медную обшивку порога и выскакивает на палубу, потирая голые колени. Он успел увидеть, как солнце прорвалось сквозь шоколадные облака и пролило огненный поток в мутную воду. Билли с веснушчатыми ушами (его родители сторонники Рузвельта, а не Паркера, как мамочка) машет желто-белому буксиру шелковым флагом величиной с носовой платок.

— Ты видел восход солнца? — спрашивает он таким тоном, словно солнце принадлежит ему.

— Я еще из иллюминатора видел, — говорит Джимми и отходит, задерживаясь взглядом на флаге.

С другого борта земля совсем близко; ближе всего зеленая скамейка с деревьями, а подальше — белые дома с серыми крышами.

— Ну-с, молодой человек, как вы чувствуете себя дома? — спрашивает господин с длинными усами.

— Там Нью-Йорк? — Джимми протягивает руку над спокойной, яркой водой.

— Да, мой мальчик, вон там, за туманом, — Манхэттен.

— А что это такое, сэр?

— Это Нью-Йорк. Нью-Йорк расположен на острове Манхэттен.

— Неужели на острове?

— Вот так мальчик! Он не знает, что его родной город расположен на острове.

Золотые зубы длинноусого господина сверкают, когда он смеется, широко открывая рот. Джимми расхаживает по палубе, щелкая каблуками; внутри него все бурлит. Нью-Йорк расположен на острове!

— Вы, кажется, очень рады, что приехали домой, милый мальчик? — спрашивает дама.

— О да, мне хочется упасть и целовать землю.

— Какое прекрасное, патриотическое чувство! Я так рада слышать это.

Джимми весь горит. «Целовать землю, целовать землю!» — звенит у него в голове. Кругами по палубе…

— Вот то, с желтым флагом, — карантинное судно. — Толстый еврей с перстнями на пальцах разговаривает с длинноусым господином. — Мы

опять двигаемся… Быстро, правда?

— Будем как раз к завтраку, к американскому завтраку, к славному домашнему завтраку.

Мама идет по палубе. Ее коричневая вуаль развевается.

— Вот твое пальто, Джимми, понеси его.

— Мамочка, можно мне взять флаг?

— Какой флаг?

— Шелковый американский флаг.

— Нет, дорогой. Все убрано.

— Ну пожалуйста, мне так хочется взять флаг. Ведь сегодня четвертое июля. И вообще все…

— Не приставай, Джимми. Мама говорит «нет» — значит нет.

Колючие слезы. Он глотает их и смотрит матери прямо в глаза.

— Джимми, флаг запакован и мама очень устала — она достаточно возилась с чемоданами.

— У Билли Джойса есть флаг.

— Смотри, дорогой, ты все прозеваешь. Вот Статуя Свободы.

Высокая зеленая женщина в длинной рубашке стоит на острове, подняв руку.

— Что у нее в руке?

— Факел, дорогой мой. Свобода светит миру… А с другой стороны — Говернор-айленд, там, где

деревья. А вон там — Бруклинский мост… Чудный вид! А это — доки. А это — Бэттери… И мачты кораблей, и шпиль Троицы,[73] и Пулитцер-билдинг…[74]

Вопли пароходных гудков, свистки, красные пестрые паромы, ныряя как утки, пенят воду. Буксир содрогаясь тащит баржу с целым составом вагонов и выпускает похожие на вату клубы дыма, все одинаковой величины. Руки у Джимми холодные, и он все время внутренне содрогается.

— Дорогой, не надо так волноваться. Сойдем вниз и посмотрим, не забыла ли мамочка чего-нибудь.

Вода усеяна щепками, ящиками, апельсинными корками, капустными листьями, всё у́же и уже полоса между пароходом и пристанью. Оркестр сверкает на солнце, белые шапки, потные красные лица, играют «Янки Дудль».

— Это встречают посла, знаешь — того высокого господина, который никогда не выходил из

---

73 Примечания: 73

Шпиль Троицы — имеется в виду церковь Святой Троицы в Нижнем Манхэттене.

74 Примечания: 74

Пулитцер-билдинг — первое светское здание Нью-Йорка, возвысившееся над церковным. Выстроенное в 1892 г., оно превзошло по высоте церковь Св. Троицы (высота Пулитцер-Билдинг — 94 м). Названо по имени известного журналиста Иозефа Пулитцера (1847—1911).

своей каюты.

Вниз по пологим сходням, стараясь не бежать. «Yankee Doodle went to town…»[75] Блестящие черные лица, белые эмалевые глаза, белые эмалевые зубы.

— Да, мадам, да, мадам…

«Stuck
a feather in his hat, and called it macaroni…»[76]

— У нас есть пропуск.

Синий таможенный чиновник обнажает лысую голову, низко кланяясь… Трам-там, бум-бум, бум-бум-бум… «Cakes and sugar candy…»[77]

— А вот и тетя Эмили и все… Дорогие, как хорошо, что вы пришли!

— Дорогая, я тут уже с шести часов!

— Боже мой, как он вырос!

Светлые платья, искрящиеся брошки, лица и поцелуи, запах роз и дядиной сигары.

— Он настоящий маленький мужчина! Пойдите-ка сюда, сэр! Дайте взглянуть на вас!

---

75 Примечания: 75

«Янки Дудль поехал в город…» *(англ.);* начало популярной песенки.

76 Примечания: 76

«Вставил перо в шляпу и назвал это макаронами…» *(англ.);* продолжение той же песенки.

77 Примечания: 77

«Пирожные и конфеты…» *(англ.);* из той же песенки (см. выше).

— Ну, прощайте, миссис Херф. Если вы когда-нибудь будете в наших краях… Джимми, я не вижу, чтоб вы целовали землю.

— Ах, он ужасен! Такой старомодный ребенок…

Кэб пахнет плесенью, он грохочет, трясется по широкой авеню, вздымая облака пыли, по улицам, мощенным кубиками, пропитанными кислым запахом, полным злых, гогочущих детей. А чемоданы все время скрипят и подпрыгивают на крыше кэба.

— Мамочка, дорогая, а вдруг крыша провалится?

— Нет, голубчик! — смеется она, склоняя голову набок; она разрумянилась, и глаза ее сияют из-под коричневой вуали.

— Ах, мамочка! — Он привстал и целует ее в подбородок. — Сколько народу, мамочка!

— Это по случаю четвертого июля.

— А что делает тот человек?

— Кажется, пьет.

На маленьком возвышении, задрапированном флагами, человек с белыми бакенбардами и красной повязкой на рукаве говорит речь.

— А это оратор. Он читает Декларацию независимости.

— Почему?

— Потому что сегодня четвертое июля.

Бух… Хлопушка.

— Противный мальчишка! Мог испугать лошадь… Четвертое июля — это день независимости, провозглашенной в 1776 году во время войны и революции. Мой прадедушка Харлэнд был убит на этой войне.

Маленький смешной поезд с зеленым паровозом громыхает над их головами.

— Это воздушная железная дорога, а это — Двадцать третья улица. А вот и Утюг.[78]

Экипаж круто сворачивает на сверкающую солнцем, пахнущую асфальтом и толпой площадь, и останавливается перед большой дверью. Чернолицые люди с бронзовыми пуговицами выбегают навстречу.

— Ну, вот мы и приехали в отель на Пятой авеню.[79]

Мороженое у дяди Джеффа, холодный, сладкий налет оседает на нёбе. Смешно — когда сходишь

---

78 Примечания: 78

Утюг — двадцатиэтажное здание, имеющее форму утюга, построенное в 1902 г. на месте, где под углом пересекаются Пятая авеню и Бродвей. Являлось символом новой эры небоскребов в Америке.

79 Примечания: 79

…В отель на Пятой авеню. — Знаменитый мраморный отель был открыт в 1859 г. В 1860 г. там останавливался принц Уэльский.

с парохода, еще долго кажется, будто тебя везут. Синие глыбы сумерек падают на прямоугольные улицы. Ракеты взвиваются, вспарывая синий мрак, цветные огненные шары, бенгальские огни, дядя Джефф прикрепляет римские колеса[80] к дереву около входа и зажигает их своей сигарой. Римские свечи надо крепко держать.

— Будь осторожен, мальчик, не обожги лица!

В руках жар, гром и дребезг, овальные шары крутятся, красные, желтые, зеленые, пахнет порохом и паленой бумагой. На шумной, раскаленной улице звенит колокол, — звенит все ближе, звенит все громче. Подхлестываемые лошади выбивают искры подковами, пожарная машина гремит за углом — красная, дымящаяся, медная.

— Должно быть, на Бродвей.

Дальше выдвижная лестница и рысаки брандмайора. Дальше позвякивает карета скорой помощи.

— Кто-нибудь обгорел.

Ящик пуст, пыль и опилки забиваются под ногти, когда шаришь в нем рукой. Он пуст — нет, в нем есть еще несколько маленьких деревянных пожарных машин на колесах. Настоящие пожар-

---

80 Примечания: 80

Римские колеса — род фейерверка.

ные машины.

— Заведем их, дядя Джефф. Какие они чудные, дядя Джефф!

В них заложены пистоны, они жужжа катятся по гладкому асфальту, а за ними вьются хвосты огня и клубится дым, как у настоящих пожарных машин.

Он лежит на кровати в большой, незнакомой, неуютной комнате. Глаза горят, ноги ноют.

— Больно, дорогой, — сказала мама, укладывая его, склоняясь над ним в блестящем шелковом платье с широкими рукавами.

— Мама, что это у тебя за черная штучка на лице?

— Это? — Она рассмеялась, и ее колье тихонько зазвенело. — Это чтобы мама была красивее.

Он лежал среди высоких, настороженных комодов и шкафов. С улицы доносились крики и шум колес, изредка звуки далекой музыки. Ноги его болели, точно отваливались, и когда он закрывал глаза, то мчался сквозь пылающую темноту на красной пожарной машине, изрыгающей огонь, искры и разноцветные шары.

Июльское солнце проникало сквозь щели старых ставен в контору. Гэс Мак-Нийл сидел в соломенном кресле с костылями между колен. У

него было белое, опухшее после больницы лицо. Нелли, в соломенной шляпке с красными маками, раскачивалась на вертящемся стуле у стола.

— Сядь лучше около меня, Нелли. Адвокату может не понравиться, что ты сидишь за его столом.

Она сморщила нос и встала.

— Гэс, ты напуган до смерти.

— Ты тоже была бы напугана, если бы попала, как я, в лапы к железнодорожному доктору. Он выстукивал и выслушивал меня как арестанта, а потом еще этот адвокат сказал, что я на сто процентов нетрудоспособен. По-моему, он врет.

— Гэс, делай то, что я тебе говорю. Держи язык за зубами, пусть другие болтают.

— Ладно, я не пикну.

Нелли встала рядом с ним и погладила его курчавые, спутанные волосы, падавшие на лоб.

— Как хорошо снова быть дома, Нелли! Опять ты будешь стряпать… и вообще… — Он обнял ее за талию и притянул к себе.

— А может, я больше не хочу стряпать?

— Ну не знаю… Что мы будем делать, если не получим этих денег?

— Папа поможет нам, как помогал до сих пор.

— Бог даст, я не останусь калекой на всю

жизнь.

Джордж Болдуин вошел, хлопнув стеклянной дверью. Засунув руки в карманы, он остановился и поглядел на мужа и жену. Затем, спокойно улыбнувшись, сказал:

— Ну, господа, все улажено. Как только будет подписан отказ от дальнейших претензий, юрисконсульт железной дороги вручит мне чек на двенадцать с половиной тысяч долларов. Это сумма, на которой мы сошлись.

— Двенадцать тысяч, черт возьми! — задохнулся Гэс. — Двенадцать с половиной тысяч… Подождите минутку! Вот вам мои костыли, я пойду — пусть меня переедут еще раз. Расскажу эту штуку Мак-Джилликэди. Увидите — старый негодяй сейчас же бросится под товарный поезд. Мистер Болдуин… сэр… — Гэс приподнялся. — Вы великий человек. Правда, Нелли?

— Правда.

Болдуин старался не смотреть ей в глаза. Он нервничал, его знобило, ноги его ослабели и дрожали.

— Теперь вот что, — сказал Гэс, — возьмем кэб, поедем к Мак-Джилликэди и промочим горло в отдельном кабинете. Я плачу. Мне нужно подкрепиться. Едем, Нелли!

— Мне бы очень хотелось, — сказал Болдуин, — но боюсь, что я не смогу. Я все эти дни очень занят… Только подпишите, пожалуйста, перед уходом вот эту бумажку, и я завтра получу для вас чек. Распишитесь здесь… и здесь.

Мак-Нийл подковылял к столу и нагнулся над бумагами. Болдуин чувствовал, что Нелли пытается подать ему знак. Он сделал вид, что ничего не видит. После их ухода он заметил на краю стола ее кошелек — маленький кожаный кошелек с выжженными на нем цветочками. В стеклянную дверь постучали. Он открыл.

— Почему ты не хотел смотреть на меня? — сказала она, задыхаясь.

— Я не мог при нем.

Он протянул ей кошелек. Она обвила руками его шею и крепко поцеловала его в губы.

— Что мы будем делать? Прийти мне сегодня? Теперь Гэс опять будет напиваться до бесчувствия.

— Нет, не могу, Нелли… Дела, дела… Я ужасно занят.

— Ах ты занят?.. Ну как хочешь.

Она хлопнула дверью.

Болдуин сидел за столом и кусал костяшки пальцев, уставившись невидящим взглядом в

бумаги.

— С этим надо покончить, — сказал он вслух и встал.

Он ходил взад и вперед по узкой комнате, глядя на полки, заставленные юридическими книгами, на календарь, на телефон, на пыльные квадраты солнечного света у окна. Он посмотрел на часы: пора завтракать. Он провел ладонью по лбу и подошел к телефону.

— Сорок пять — девяносто два… Мистер Сэндборн? Что вы скажете, Фил, если я зайду за вами и мы вместе позавтракаем? Вы свободны?.. Конечно… Знаете, Фил, я выиграл дело молочника. Доволен, как черт. По сему поводу угощаю вас завтраком. Пока…

Он, улыбаясь, отошел от телефона, взял шляпу, аккуратно надел ее перед зеркалом и поспешно спустился вниз. На нижней площадке он встретил мистера Эмери из фирмы «Эмери и Эмери», помещавшейся в первом этаже.

— Ну, как дела, мистер Болдуин? — У мистера Эмери из фирмы «Эмери и Эмери» были седые волосы, седые брови, лошадиные челюсти и плоское лицо.

— Прекрасно, прекрасно, сэр!

— Говорят, вы делаете хорошие дела… Я что-то

слышал про Нью-йоркскую центральную железную дорогу…

— О, я столковался с Симзбери помимо суда.

— Хм, — сказал мистер Эмери из фирмы «Эмери и Эмери».

Они уже прощались, когда мистер Эмери вдруг сказал:

— Заходите к нам как-нибудь пообедать.

— С удовольствием.

— Я люблю поболтать с младшими коллегами… Я черкну вам накануне несколько слов… Как-нибудь вечерком на той неделе. Посидим, поболтаем.

Болдуин пожал испещренную синими жилками руку и пошел по Мэйден-лейн, бойко расталкивая толпу. На Пэрл-стрит он взобрался наверх по крутым ступенькам черной лестницы, на которой пахло пережаренным кофе, и постучал в матовую стеклянную дверь.

— Войдите! — раздался низкий бас.

Смуглый человек без пиджака вышел ему навстречу.

— Хелло, Джордж! Я думал, что вы никогда не придете. Я адски голоден.

— Фил, я угощу вас лучшим завтраком, который вы когда-либо ели.

— Ну, я только этого и жду.

Фил Сэндборн надел пиджак, выбил пепел из трубки на край чертежного стола и прокричал в темноту задней комнаты:

— Ухожу есть, мистер Спеккер!

— Хорошо, идите! — ответил визгливый, дрожащий голос из задней комнаты.

— Как поживает старик? — спросил Болдуин, когда они вышли.

— Старый Спеккер? У него парализованы ноги. Это давнишняя история. Несчастный старик… Поверите ли, Джордж, я был бы в отчаянии, если бы с бедным старым Спеккером что-нибудь случилось. Он единственный честный человек в Нью-Йорке и, кроме того, у него есть голова на плечах.

— Голова, которая никогда ничего не придумала, — заметил Болдуин.

— Еще придумает… Он может… Вы бы посмотрели на его чертежи зданий, построенных из одной стали. Он утверждает, что в будущем небоскребы будут строиться только из стали и стекла. Мы давно делали опыты со стеклянной черепицей… Честное слово, от некоторых его планов захватывает дух… Он раскопал где-то поговорку про римского императора, который нашел Рим

кирпичным, а оставил его мраморным. Так вот он говорит, что родился в кирпичном Нью-Йорке, а умрет в стальном. Сталь и стекло… Я покажу вам его проекты перестройки города. Умопомрачительно!

Они устроились на мягкой скамье в углу ресторана, где пахло мясом, жаренным на решетке. Сэндборн вытянул ноги под столом.

— Какая роскошь! — сказал он.

— Фил, возьмем коктейль, — сказал Болдуин, заглядывая в карточку. — Знаете, Фил, только первые пять лет тяжелы.

— Не беспокойтесь, Джордж, вы из тех, кто пробивается. А вот я — старая калоша.

— Почему? Вы всегда можете достать чертежную работу.

— Нечего сказать, приятная перспектива — провести всю жизнь, лежа брюхом на чертежном столе!.. Эх, дружище…

— «Спеккер и Сэндборн» еще могут стать известной фирмой.

— Люди будут летать в поднебесье к тому времени, а мы с вами будем лежать в земле с вытянутыми ногами.

— Бывает же все-таки удача…

Они выпили мартини и принялись за устри-

цы.

— Правда, что устрицы делаются кожаными в желудке, если запивать их спиртным?

— Не знаю. Кстати, Фил, как ваши дела с той маленькой стенографисткой?

— Вы себе представить не можете, сколько я на нее трачу денег! Угощение, театр… В конце концов она разорит меня. В сущности, уже разорила. Вы молодец, Джордж, что сторонитесь женщин.

— Пожалуй, — медленно сказал Болдуин и сплюнул в кулак косточку маслины.

Первое, что они услышали, был вибрирующий свисток — свистела вагонетка напротив пристани, где стоял паром. Маленький мальчик отделился от кучки эмигрантов, сбившейся на пристани, и подбежал к вагонетке.

— Она вроде паровика и полна земляных орехов! — орал он, бегом возвращаясь обратно.

— Падраик, стой здесь.

— А это — станция воздушной дороги. Южный паром, — продолжал Тим Халлоран, явившийся встретить их. — А вон там — парк Бэттери,

Баулинг-Грин,[81] Уолл-стрит[82] и коммерческий квартал… Идем, Падраик, дядя Тимоти повезет тебя по воздушной дороге.

На пристани остались трое: старуха с синим платком на голове, молодая женщина в красной шали, стоявшие около большого, перевязанного веревками сундука с медными ручками, и старик с зеленоватым огрызком бороды и лицом, изборожденным морщинами и сморщенным, как корень мертвого дуба. Глаза старухи слезились, она причитала:

— Dove andiamo, Madonna mia, Madonna mia![83]

Молодая женщина развернула письмо и смотрела на замысловатые буквы. Вдруг она подошла к старику.

— Non posso leggere.[84] — И протянула ему пись-

---

81 Примечания: 81

Баулинг-Грин — небольшой район к северу от Бэтте-ри-парка, известный своими постройками XVII—XVIII вв.

82 Примечания: 82

Уолл-стрит — узкая улица в Нижнем Манхэттене, центр финансовой жизни Нью-Йорка. Здесь находились и находятся крупнейшие биржи, конторы основных банковских фирм, здания страховых, железнодорожных и промышленных компаний. Название Уолл-стрит («Улица-стена») восходит к постройке на этом месте стены датскими колонистами в 1653 г. для защиты города от англичан и индейцев.

83 Примечания: 83

Куда мы идем, Боже мой, Боже мой! *(ит.)*

84 Примечания: 84

Я не умею читать *(ит).*

мо.

Он стиснул пальцы и замотал головой взад и вперед; он говорил без конца — слова, которые она не могла понять. Она пожала плечами, улыбнулась и вернулась к сундуку. Со старухой разговаривал загорелый сицилиец. Он ухватился за веревки и перетащил сундук на ту сторону улицы, к фургону, запряженному белой лошадью. Обе женщины пошли за ним. Сицилиец протянул молодой женщине руку. Старуха, все еще бормоча и причитая, с трудом вскарабкалась на повозку. Сицилиец наклонился, чтобы прочесть письмо, и толкнул молодую женщину плечом. Она выпрямилась.

— Ладно, — сказал он.

Он снял вожжи с крупа лошади, повернулся к старухе и крикнул:

— Cinque le due…[85] Ладно!

85 Примечания: 85
Пять за двоих… *(ит.)*

IV. Колея

Грохот и рокот ослабели, стихли; вдоль всего поезда лязгнули буфера. Человек соскочил на полотно. Он так закоченел, что не мог пошевелиться. Кругом был смоляной мрак. Он пополз очень медленно, встал на колени, поднялся на ноги и прислонился, задыхаясь, к товарному вагону. Тело казалось чужим, мускулы были древесной массой, кости раскалывались на куски. Фонарь ослепил его.

— Убирайтесь немедленно! Сыщики делают обход.

— Скажи, парень, это Нью-Йорк?

— Он самый, черт его побери. Идите за моим фонарем — вы выйдете на набережную.

Он еле передвигал ноги, он спотыкался о мерцающие римские «V» стрелок и скрещивающиеся рельсы. Он побежал рысью, наткнулся на сигнальную проволоку и упал. Наконец присел на краю верфи, опустив голову на руки. Вода, точно ласковый пес, тихо ворчала, набегая на сваи.

Он вынул из кармана сверток, развернул газетную бумагу и достал большой ломоть хлеба с куском жесткого мяса. Он жевал и жевал, пока у него хватало влаги во рту. Потом он неуверенно поднялся, стряхнул крошки с колен и осмотрелся. К югу, над путями, мрачное небо было затоплено оранжевым заревом.

— Веселая дорога! — сказал он хрипло и громко. — Веселая дорога!

В исхлестанное дождем окно Джимми Херф смотрел на пузыри зонтиков, медленно плывшие по течению Бродвея. Кто-то постучал в дверь.

— Войдите, — сказал Джимми и отвернулся к окну, заметив, что лакей чужой, не Пат.

Лакей зажег электричество. Джимми увидел его отражение в оконном стекле: худой, стриженый человек держал в одной руке на весу поднос с серебряными судками, похожими на церковные купола. Лакей, отдуваясь, прошел в глубь комнаты, волоча свободной рукой сложенный столик. Он толчком раскрыл его, поставил на него поднос, а круглый стол накрыл скатертью. От него жирно пахло кухней. Джимми подождал, пока он не ушел, и повернулся. Он обошел стол, приподымая серебряные крышки; суп с малень-

кими зелеными штучками, жареная баранина, картофельное пюре, тертая брюква, шпинат и никакого десерта.

— Мамочка!

— Да, дорогой? — донесся слабый голос из-за закрытой двери.

— Обед подан, мамочка.

— Кушай, мальчик, я сейчас приду.

— Я не хочу без тебя, мамочка.

Он еще раз обошел стол, привел в порядок ножи и вилки. Он перекинул салфетку через руку. Метрдотель ресторана Дельмонико[86] накрывал стол для слепого богемского короля и принца Генриха Мореплавателя...[87]

— Мама, кем ты хочешь быть — королевой Марией Стюарт или леди Джейн Грей?[88]

---

86 Примечания: 86

Дельмонико (1813—1891) — швейцарский бакалейщик, эмигрировавший в США и открывший сеть шикарных ресторанов.

87 Примечания: 87

...Слепого богемского короля и принца Генриха Мореплавателя... — В первом случае, очевидно, имеется в виду Иоганн Люксембургский (1296—1346), король Богемии с 1310 по 1346 г., который был известен своей воинственностью. Продолжал воевать даже после того, как ослеп, и был убит в одном из сражений. Принц Генрих Мореплаватель (1394—1460) — сын Жуана I, короля Португалии. Известен созданием морской исследовательской базы, обсерватории и школы по изучению географии и навигации. Внес значительный вклад в развитие навигационного искусства, а также в экспедиционные исследования Африки, заложившие основу для развития португальского колониализма.

88 Примечания: 88

Леди Джейн Грэй (1537—1554) — дочь Генри Грэя, маркиза Дорсетского, и Франсуазы Брандон, племянницы Генриха VIII. В результате интриг в возрасте 15 лет заняла английский престол после смерти короля Эдварда VI. Пробыла у власти с 10 по 19 июля 1553 г. Была казнена.

— Но им обеим отрубили голову, золото мое. Я не хочу, чтобы мне отрубили голову.

Мать была одета в розовое платье. Когда она открыла дверь, вялый запах, запах одеколона и лекарств проник из спальни, потянулся за ее длинными, отороченными кружевами, рукавами. Она напудрилась чуточку больше, чем следовало, но ее пышные каштановые волосы были убраны очень красиво. Они уселись друг против друга; она подала ему тарелку супа, держа ее двумя руками с голубыми жилками.

Он ел суп, водянистый и недостаточно горячий.

— Ах, детка, я забыла про гренки!

— Мамочка… мама, почему ты не ешь?

— Мне сегодня что-то не хочется есть. Не знаю, что мне делать. У меня очень болит голова. Впрочем, это неважно.

— А может быть, ты хочешь быть Клеопатрой? У нее был чудный аппетит, и она съедала все, что ей давали. Она была пай-девочка.

— Даже жемчуг… Она опустила жемчужину в уксус и выпила его… — Ее голос дрожал.

Она протянула ему руку через стол; он погладил ее руку, как мужчина, и улыбнулся.

— Только ты и я, Джимми, мой мальчик… Сол-

нышко, ты всегда будешь любить твою маму?

— Что случилось, мамочка, милая?

— О, ничего. Я себя чувствую сегодня как-то странно. Я так устала от этого вечного нездоровья.

— Но после операции…

— Да, после операции… Пожалуйста, дорогой, в ванной на подоконнике есть свежее масло. Я положу немного в пюре, если ты принесешь. Придется опять сделать замечание насчет стола. Баранина совсем неважная — надеюсь, что мы от нее не заболеем.

Джимми побежал через комнату матери в узенький коридор, где пахло нафталином и шелковыми платьями, разложенными на стуле. Красный резиновый наконечник душа качнулся ему в лицо, когда он открыл дверь ванной. От запаха лекарств у него болезненно сжались ребра. Он открыл окно за ванной. Подоконник был пыльный, и пушистая копоть осела на тарелке, которой было прикрыто масло. Он стоял несколько секунд, глядя во двор, дыша ртом, чтобы не чувствовать запаха угольного газа, поднимавшегося из топки. Под ним горничная, в белой наколке, высунувшись из окна, разговаривала с истопником; истопник смотрел вверх, скрестив

на груди голые, сильные руки. Джимми напряг слух, чтобы услышать, о чем они говорят; быть грязным и весь день таскать уголь, и чтобы волосы были жирные и руки грязные до подмышек.

— Джимми!

— Иду, мамочка. — Вспыхнув, он захлопнул окно и пошел в столовую как можно медленнее, чтобы румянец сбежал с лица.

— Опять замечтался, Джимми. Мой маленький мечтатель…

Он поставил масло возле тарелки матери и сел.

— Ешь скорее баранину, пока она горячая. Почему ты не берешь горчицы? Будет гораздо вкуснее.

Горчица обожгла ему язык, из глаз покатились слезы.

— Слишком острая? — смеясь, спросила мать. — Надо привыкать к острым вещам… Он любил все острое.

— Кто, мама?

— Тот, кого я очень любила.

Сидели молча. Слышно было, как работают его челюсти. Изредка сквозь закрытые окна долетал прерывистый грохот экипажей и трамваев. В трубах отопления щелкало и стучало. Во дворе

истопник, весь вымазанный маслом, шлепая дряблыми губами, говорил какие-то слова горничной в крахмальной наколке — грязные слова. Горчица такого цвета, как…

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем.

— У нас не должно быть тайн друг от друга, дорогой. Помни, ты у меня единственное утешение.

— Как ты думаешь, интересно быть тюленем?

— По-моему, очень холодно.

— Нет, холод не чувствуется… Тюлени защищены слоем жира — им всегда тепло, даже на льдине. Это было бы ужасно смешно… Можно плавать по морю, когда тебе захочется. Тюлени проплывают тысячи миль без остановки.

— Мамочка тоже плыла тысячи миль без остановки, и ты тоже.

— Когда?

— А когда мы ездили за границу и обратно. — Она смеялась, глядя на него сияющими глазами.

— Так ведь мы на пароходе…

— А когда мы плавали на «Марии Стюарт»…

— Мамочка, расскажи.

В дверь постучали.

— Войдите!

Показалась стриженая голова лакея.

— Можно убирать, мадам?

— Да, и принесите компот, но только из свежих фруктов. Сегодня обед был очень невкусный.

Лакей, отдуваясь, собрал тарелки на поднос.

— Очень жаль, мадам.

— Ну ничего, я знаю, что это не ваша вина. Что ты закажешь, Джимми?

— Можно мне безе с сиропом?

— Хорошо, если ты будешь умницей.

— Буду! — взвизгнул Джимми.

— Милый, нельзя так кричать за столом.

— Ну ничего, мамочка. Мы только вдвоем… Ура! Безе с сиропом!

— Джеймс, джентльмен ведет себя одинаково прилично как дома, так и в дебрях Африки.

— Ах, если бы мы были в дебрях Африки!

— Но мне было бы там страшно.

— Я кричал бы, как сейчас, и разогнал бы львов и тигров.

Лакей вернулся с двумя тарелками на подносе.

— К сожалению, мадам, пирожные кончились. Я принес молодому джентльмену шоколадное мороженое.

— Ой, мамочка…

— Не огорчайся, милый. Это тоже вкусно.

Кушай, а потом можешь сбегать вниз за конфетами.

— Мамочка, дорогая…

— Только не ешь мороженое так быстро… Ты простудишься.

— Я уже кончил.

— Ты проглотил его, маленький негодяй! Надень калоши, детка.

— Но дождика ведь нет.

— Слушай маму, дорогой, и, пожалуйста, не ходи долго. Дай слово, что ты скоро вернешься. Мама нехорошо себя чувствует сегодня и очень нервничает, когда ты на улице. Там столько опасностей…

Он присел, чтобы надеть калоши. Пока он натягивал их, она подошла к нему и протянула доллар. Рука ее в длинном шелковом рукаве легла на его плечо.

— Дорогой мой… — Она плакала.

— Мамочка, не надо. — Он крепко обнял ее; он чувствовал под рукой пластинки корсета. — Я вернусь через минутку, через самую маленькую минутку.

На лестнице, где медные палки придерживали на ступенях темно-красную дорожку, Джимми снял калоши и засунул их в карманы дождевика.

Высоко вскинув голову, он прорвался сквозь паутину молящих взглядов рассыльных мальчишек, сидевших на скамье у конторки. «Гулять идете?» — спросил самый младший, белобрысый мальчик. Джимми сосредоточенно кивнул, шмыгнул мимо сверкающих пуговиц швейцара и вышел на Бродвей, полный звона, топота и лиц; когда лица выходили из полосы света от витрин и дуговых фонарей, на них ложились теневые маски. Он прошел мимо отеля «Ансония».[89] На пороге стоял чернобровый человек с сигарой во рту, — может быть, похититель детей. Нет, в «Ансонии» живут хорошие люди — такие же, как в нашем отеле. Телеграфная контора, бакалейная лавка, красильня, китайская прачечная, издающая острый, таинственный, влажный запах. Он ускорил шаги. Китайцы — страшные; они крадут детей. Подковы. Человек с керосиновым бидоном прошел мимо него, задев его жирным рукавом. Запах пота и керосина. Вдруг это поджигатель? Мысль о поджигателе заставила его содрогнуться. Пожар. Пожар.

Кондитерская Хьюлера; из дверей — уютный

---

89 Примечания: 89

Отель «Ансония» — расположен на Бродвее, признанная архитектурная достопримечательность Нью-Йорка; в разное время здесь останавливались Артуро Тосканини, Теодор Драйзер, Игорь Стравинский.

запах никеля и хорошо вымытого мрамора, а из-под решетки, что под окнами, вьется теплый аромат варящегося шоколада. Черные и оранжевые фестоны в окнах. Он уже хочет войти, но вспоминает о «Зеркальной кондитерской» — это два квартала дальше; там вместе со сдачей дают маленький паровоз или автомобиль. Надо торопиться; на роликах было бы гораздо быстрее, можно убежать от бандитов, шпаны, налетчиков; на роликах, стреляя через плечо из большого револьвера. Бах! — один упал; это самый главный. Бах! — по кирпичной стене дома, по крышам, мимо изогнутых труб, на дом Утюг, по стропилам Бруклинского моста…

«Зеркальная кондитерская». Он входит без колебаний. Он стоит у прилавка, ожидая, пока освободится продавщица.

— Пожалуйста, фунт смеси за пятьдесят центов, — барабанит он.

Она блондинка, чуть косит и смотрит на него недружелюбно, не отвечая.

— Пожалуйста, будьте добры — я тороплюсь.

— Ждите очереди! — огрызается она.

Он стоит, мигая, с горящими щеками. Она сует ему завернутую коробку с чеком.

— Платите в кассу.

«Я не буду плакать».

Дама в кассе — маленькая и седая. Она берет доллар через узенькую дверцу. Через такие дверцы входят и выходят зверьки в Отделении мелких млекопитающих. Касса весело трещит, радуясь деньгам. Четвертак, десять, пять и маленькая чашечка — разве это сорок центов? Вот так раз, вместо паровоза или автомобиля — чашечка! Он хватает деньги, оставляет в кассе чашечку и выбегает с коробкой под мышкой. «Мама скажет, что я очень долго ходил». Он идет домой, глядя перед собой, переживая грубое обращение блондинки.

— За конфетами ходили? — спросил белобрысый рассыльный.

— Приходите потом, я вам дам, — шепнул Джимми, проходя.

Медные палки на ступеньках звенели, когда он на ходу задевал их ногами. Перед шоколадно-коричневой дверью, на которой белыми эмалевыми цифрами было написано 503, он вспомнил о своих калошах. Он поставил конфеты на пол и напялил калоши на мокрые ботинки. К счастью, мамочка не ждала его, хотя дверь была открыта. Может быть, она увидела его в окно.

— Мама!

В гостиной ее не было. Он испугался. «Она вы-

шла. Она ушла».

— Мама!

— Иди сюда, дорогой, — долетел ее слабый голос из спальни.

Он бросил кепи, дождевик и быстро вбежал.

— Мамочка, что случилось?

— Ничего, дитя мое… У меня головная боль, страшная головная боль. Намочи платок одеколоном и положи мне его аккуратненько на голову, но только, дорогой, не попади им в глаз, как в прошлый раз.

Она лежала на кровати, в небесно-голубом вышитом капоте. Лицо у нее было лиловато-бледное. Шелковое розовое платье висело на стуле, на полу валялся корсет с розовыми ленточками. Джимми аккуратно положил платок на ее лоб. Острый запах одеколона щекотал ему ноздри, когда он нагибался над ней.

— Как приятно! — раздался ее слабый голос. — Дорогой, вызови тетю Эмили, Риверсайд семьдесят шесть — пятьдесят девять, и спроси ее, не может ли она зайти сегодня. Я хочу с ней поговорить. Ох, у меня лопается голова…

С сильно бьющимся сердцем и затуманенными глазами он пошел к телефону. Голос тети Эмили раздался в трубке неожиданно скоро.

— Тетя Эмили, мама больна, она хочет, чтобы вы приехали… Сейчас придет, мамочка дорогая! — прокричал он. — Как хорошо! Она сейчас придет.

Он вернулся в комнату матери, ступая на цыпочках, поднял с пола корсет и платье и убрал их в шкаф.

— Дорогой, — раздался ее слабый голос, — вынь шпильки из моих волос, мне больно от них. Мальчик милый, у меня такое чувство, будто у меня раскалывается голова. — Он осторожно вынимал шпильки из ее каштановых волос, еще более шелковистых, чем ее платье. — Не надо, мне больно!

— Я нечаянно, мамочка.

Тетя Эмили, тонкая, в синем дождевике, накинутом поверх вечернего платья, быстро вошла в комнату; ее тонкие губы были сложены в сочувственную улыбку. Она увидела на кровати сестру, корчившуюся от боли, а подле сестры — худенького бледного мальчика в коротеньких штанишках. Руки у него были полны шпилек.

— Что случилось, Лили? — спокойно спросила она.

— Мне ужасно плохо, дорогая, — раздался прерывистый голос Лили Херф.

— Джеймс, — резко сказала тетя Эмили, — иди спать! Маме нужен полный покой.

— Спокойной ночи, мамочка, — сказал он. Тетя Эмили похлопала его по плечу.

— Не беспокойся, Джеймс, — я присмотрю за мамой. — Она подошла к телефону и тихим, отчетливым голосом произнесла номер.

Коробка с конфетами стояла на столе в передней; чувствуя себя виноватым, Джимми взял ее. Проходя мимо книжного шкафа, он вынул том энциклопедии и сунул его под мышку. Тетя не заметила, как он ушел. Ворота замка распахнулись. Снаружи ржал арабский скакун, и два верных вассала ждали его, чтоб переправить через границу в свободную страну. Третья дверь вела в его комнату. Комната была набита вязкой молчаливой тьмой. Выключатель щелкнул, и электричество послушно осветило каюту «Марии Стюарт». «Отлично, капитан, поднимите якорь, держите курс на Подветренные острова и не тревожьте меня до зари; мне нужно просмотреть кое-какие важные бумаги». Он сбросил платье, надел пижаму и встал на колени перед кроватью. «Господибоженаш ежесогрешихводнисем словомделомипомышлением якоблагичеловеколюбецпростими миренсонибезмятежендаруйми

ангелатвоегохранителяпосли покрывающаисоблюдающамяотвсякогозла».

Он открыл коробку конфет, сложил подушки в ноги кровати под лампой. Его зубы прокусили шоколад и вгрызлись в мягкую сладкую начинку. «Ну-с, посмотрим…»

> А — первая из гласных, первая буква всех европейских и большинства прочих алфавитов, за исключением абиссинского, в котором она занимает тринадцатое место, и рунического (десятое место)…

«Ох, какой волосатый!..»

> АА…
> Аахен — см. Экс-ла-Шапель.
> Аардварк…

«Смешной какой!»

> Стопоходящее млекопитающее из разряда неполнозубых. Встречается в Африке.
> АБД…
> Абдельхалим — египетский принц, сын Мехмета-Али и белой рабыни…

Его щеки вспыхнули, когда он прочел:

Повелительница белых рабов.

Абдомен лат. (этимология не установлена) — нижняя часть туловища, расположенная между диафрагмой и тазом…

Абеляр… но между учителем и ученицей не долго сохранялись такие отношения. Чувство более теплое, чем взаимное уважение, пробудилось в их сердцах, и неограниченная возможность встреч, поощряемых каноником, который всецело доверял Абеляру (ему в то время было около сорока лет), оказалась роковой для них обоих… Элоиза была в таком состоянии, что их отношения не могли далее оставаться скрытыми… Тогда Фульбер весь отдался мыслям о жестокой мести… ворвался в жилище Абеляра с кучкой приспешников и утолил свою жажду мести, произведя над Абеляром жестокую операцию оскопления…

Абелитизм — вид половых сношений, именуемый «служением дьяволу».

Абидос…

Абимелех I — сын Гедеона. Абимелех

добился царского престола, убив семьдесят братьев своих, за исключением Иофама, и был убит при осаде города Тевец…

Аборт…

«Нет!» Его руки были холодны, как лед, и его слегка тошнило от съеденного шоколада.

Абракадабра…

Он встал и выпил воды перед Абиссинией с изображением пустынных гор и сожжением Магдалы англичанами.[90] У него болели глаза. Он весь одеревенел, и ему хотелось спать. Он посмотрел на часы: одиннадцать часов. Ужас внезапно овладел им. Что, если мама умерла? Он припал лицом к подушке. Она стояла перед ним в белом бальном платье с хрупкими кружевами и шлейфом, ниспадающим шуршащими шелковыми волнами, нежной, душистой рукой ласково гладила его по щеке. Рыдания потрясли его. Он

90 Примечания: 90

Магдала — селение и крепость в центральной Эфиопии, в 1867 г. провозглашенная императором Теодором II столицей. Здесь подверглись тюремному заключению несколько британских дипломатов, которые были освобождены в результате английской военной экспедиции 1868 г., когда Магдала была сожжена, а Теодор II покончил самоубийством.

ворочался на кровати, уткнув лицо в измятые подушки, и долго не мог успокоиться.

Когда он проснулся, то увидел, что свет слабо мерцает. В комнате было душно и жарко. Книга валялась на полу, конфеты слиплись под ним в коробке. Часы остановились на 1 ч. 45 мин. Он открыл окно, спрятал шоколад в ящик стола и хотел погасить свет, но вдруг вспомнил… Дрожа от ужаса, он накинул халатик, туфли и на цыпочках прошел в темную переднюю. Он прислушался перед дверью. Там говорили вполголоса. Он тихо постучал и повернул дверную ручку. Кто-то распахнул дверь, и Джимми увидел чисто выбритого человека в золотых очках. Дверь в комнату матери была закрыта; перед ней стояла крахмальная сестра милосердия.

— Милый Джеймс, ложись в постельку и успокойся, — усталым шепотом сказала тетя Эмили. — Мамочка очень больна. Ей нужен полный покой. Ничего опасного.

— Пока ничего опасного, миссис Меривейл, — сказал доктор, протирая очки.

— Милый мальчик! — раздался голос сестры, низкий, чистый, бодрящий. — Он всю ночь волновался и ни разу нас не потревожил.

— Я уложу тебя в постель, — сказала тетя Эми-

ли. — Мой Джеймс это очень любит.

— Можно мне только взглянуть на мамочку? Тогда я буду знать, что все благополучно.

Джимми застенчиво взглянул на толстое лицо в очках. Доктор кивнул.

— Ну хорошо, мне пора уходить. Я забегу в четыре или пять часов посмотреть, как идут дела. Доброй ночи, миссис Меривейл. Доброй ночи, мисс Биллингс. Доброй ночи, мой мальчик.

— Идем, — сказала сестра милосердия, положив руку на плечо Джимми.

Он высвободился и пошел за ней. Свет в маленькой комнате был затемнен приколотым к абажуру полотенцем. С кровати слышалось хриплое дыхание, которого он не узнал. Ее измученное лицо было повернуто к нему. Опущенные фиолетовые веки, сведенный рот. Он минуту смотрел на нее.

— Хорошо, теперь я пойду спать, — шепнул он сестре.

Его кровь стучала оглушительно. Не глядя на тетю и на сестру милосердия он вышел твердой походкой. Тетя говорила что-то. Он побежал по коридору, хлопнул дверью и запер ее на замок. Он долго стоял посреди комнаты, окаменелый, холодный, со сжатыми кулаками.

— Я ненавижу их, я ненавижу их! — закричал он.

Потом, сдерживая сухие рыдания, погасил свет и скользнул в кровать, на холодную, как лед, простыню.

— У вас столько дел и хлопот, мадам, — говорит Эмиль певучим голосом, — что вам необходимо завести помощника в лавке.

— Знаю… Я убиваю себя работой. Я знаю, — вздыхала мадам Риго, сидя за кассой.

Эмиль долго молчал, глядя на большой кусок вестфальской ветчины, лежавший на мраморной доске около его локтя. Потом застенчиво сказал:

— Такая женщина, как вы, такая красивая женщина, как вы, мадам Риго, никогда не останется без друзей.

— Ah ça…[91] Я слишком много пережила… Я больше никому не верю. Все мужчины — грубые животные, а женщины… О, с женщинами я совсем не сближаюсь.

— История и литература… — начал Эмиль.

Задребезжал дверной колокольчик. Мужчина и женщина вошли в лавку. У нее были желтые волосы и шляпа, напоминающая цветочную

---

91 Примечания: 91
Ах это… *(фр.)*

клумбу.

— Только не будь расточителен, Билли, — говорила она.

— Но, Нора, должны же мы что-нибудь поесть. В субботу у меня будут деньги.

— Ничего у тебя не будет, если ты не бросишь играть.

— Ах, отстань, ради Бога. Возьмем ливерной колбасы. Кажется, холодная индейка хороша.

— Поросенок, — проворковала желтоволосая девица.

— Отстань от меня, я возьму индейку.

— Да, сэр, индейка очень хорошая. Есть прекрасные цыплята, еще совсем горячие. Emile, mon ami, cherchez-moi un d'ces petits poulets dans la cuisine.

Мадам Риго говорила точно оракул, неподвижно восседая на своей табуретке за кассой. Мужчина обмахивался широкополой соломенной шляпой с клетчатой лентой.

— Жарко сегодня, — сказала мадам Риго.

— И как еще!.. Знаешь, Нора, лучше было бы поехать на Кони-Айленд,[92] чем задыхаться в городе.

---

92 Примечания: 92

Кони-Айленд — полуостров на юге Лонг-Айленда, в Бруклине. Хорошо известный увеселительный парк Кони-Айленда служил одним из недорогих удовольствий для семей со средним достатком.

— Билли, ты же знаешь очень хорошо, почему мы не можем поехать.

— Довольно тебе хныкать. Я же тебе говорю: в субботу все будет в порядке!

— История и литература… — продолжал Эмиль, когда покупатели ушли, унося цыпленка и оставив мадам Риго полдоллара серебром (она тут же заперла их в кассу). — История и литература учат нас, что бывает дружба… что иногда встречается любовь, достойная доверия…

— История и литература, — смеясь, пробурчала мадам Риго, — хорошая штука.

— Но разве вы никогда не чувствовали себя одинокой в этом большом, чужом городе? Так все тяжело! Женщины глядят вам в карман, а не в сердце. Я не могу это больше выносить.

Широкие плечи и толстые груди мадам Риго заколыхались от смеха. Ее корсет затрещал, когда она, смеясь, поднялась с табурета.

— Эмиль, вы красивый малый, и притом вы настойчивы. Вы далеко пойдете… Но я никогда не отдам себя снова во власть мужчины. Я слишком много страдала. Никогда — даже если бы вы пришли ко мне с пятью тысячами долларов.

— Вы очень жестокая женщина!

Мадам Риго снова засмеялась.

— Пойдемте, вы мне поможете закрыть магазин.

Тихое, солнечное воскресенье висело над городом. Болдуин сидел в своем бюро без пиджака, читая юридический справочник в кожаном переплете. Изредка он делал на листке заметки твердым, размашистым почерком. В знойной тишине громко прозвонил телефон. Он дочитал параграф и снял трубку.

— Да, я один. Если хотите, зайдите. — Он повесил трубку. — Будь ты проклята! — пробормотал он сквозь зубы.

Нелли вошла не постучавшись. Он шагал взад и вперед перед окном.

— Хелло, Нелли! — сказал он не поднимая глаз.

Она стояла, глядя на него.

— Слушай, Джордж, так не может продолжаться.

— Почему нет?

— Мне тяжело все время притворяться и обманывать.

— Ведь никто же ни о чем не догадывается — так?

— О, конечно, нет.

Она подошла к нему и поправила ему галстук. Он нежно поцеловал ее в губы. На ней было крас-

новато-лиловое платье с воланами и голубой зонтик в руке.

— Как дела, Джордж?

— Чудесно! Знаешь, ты принесла мне счастье. Я получил массу хороших дел и завязал очень ценные знакомства.

— Зато мне это принесло мало счастья. Я не решилась даже пойти на исповедь. Священник подумает, что я стала язычницей.

— Как поживает Гэс?

— Носится со своими планами. Можно подумать, что он заработал эти деньги, — так он ими гордится.

— Послушай, Нелли… а что, если ты бросишь Гэса и станешь жить со мной? Ты могла бы развестись с ним, и мы бы обвенчались. Тогда все было бы в порядке.

— Глупости! Ты об этом всерьез не думаешь.

— Все-таки стоит, Нелли, честное слово.

Он обнял ее и поцеловал в твердые, неподвижные губы. Она оттолкнула его.

— Я не затем пришла сюда. О, я была так счастлива, когда шла по лестнице… хотела увидеть тебя… А теперь вам заплачено, и дело с концом.

Он заметил, что завитки на ее лбу распустились. Прядь волос висела над бровью.

— Нелли, не надо расставаться врагами.

— А почему нет, скажите пожалуйста?

— Потому что мы когда-то любили друг друга.

— Я не собираюсь плакать. — Она утерла нос маленьким платком, свернутым в комочек. — Джордж, я начинаю ненавидеть вас… Прощайте!

Дверь резко захлопнулась.

Болдуин сидел за столом, покусывая кончик карандаша, ощущая летучий запах ее волос. У него першило в горле. Он закашлялся. Карандаш выпал у него изо рта. Он стер с него слюну носовым платком и сел в кресло. Он вырвал исписанный листок из блокнота, прикрепил его к стопке исписанных бумаг. Он начал на новом листе: «Решение Верховного суда штата Нью-Йорк…» Внезапно он выпрямился и опять закусил кончик карандаша. С улицы донесся долгий, мрачный свист поезда.

— Ах, это поезд, — сказал он вслух.

Он опять начал писать размашистым, ровным почерком: «Иск Паттерсона к штату Нью-Йорк… Решение Верховного…»

Бэд сидел у окна в Союзе моряков. Он читал газету медленно и внимательно. Около него два человека со свежевыбритыми, красными, как сырое мясо, лицами, скованные крахмальными

воротничками и синими костюмами, шумно играли в шахматы. Один из них курил трубку. Когда он затягивался, она всхлипывала. За окном нескончаемый дождь сек широкий, мерцающий сквер.

> «Банзай!» — кричали маленькие серые солдаты четвертого японского саперного батальона, наводя мост через р. Ялу…[93] (Спец. корреспондент «Нью-Йорк геральд».)

— Шах и мат, — сказал человек с трубкой.

— К черту! Пойдем выпьем. В такую ночь невозможно быть трезвым.

— Я обещал моей старухе…

— Знаю я твои обещания! — Огромная, багровая, густо поросшая желтым волосом лапа сгребла шахматы в ящик. — Скажешь старухе, что ты выпил, чтобы не простудиться.

— И я не совру.

Бэд видел, как их тени мелькнули под дождем

---

93 Примечания: 93

«Банзай!» — кричали *маленькие серые солдаты четвертого японского саперного батальона, наводя мост через р. Ялу…* — Газета рассказывает о событиях русско-японской войны 1904—1905 гг., когда японские войска высадились в Северной Корее и атаковали Маньчжурию, наведя мост через р. Ялу, по которой частично проходила граница Северной Кореи с Россией.

мимо окна.

— Как вас зовут?

Бэд быстро отвернулся от окна, спугнутый пронзительным, квакающим голосом. Он глядел в яркие, синие глаза маленького желтого человечка: лицо жабы, широкий рот, выпученные глаза и жесткие, курчавые, черные волосы.

Бэд стиснул зубы.

— Мое имя Смис. А в чем дело?

Маленький человек неуклюже протянул ему квадратную, мозолистую ладонь.

— Очень приятно. А я Мэтти.

Бэд невольно протянул ему руку. Тот пожал ее так сильно, что Бэд поморщился.

— А дальше как?

— Просто Мэтти. Лапландец Мэтти… Пойдем, выпьем.

— Я пуст, — сказал Бэд. — Гроша медного нет.

— Ничего. У меня много денег, берите!

Мэтти сунул обе руки в карманы толстой полосатой куртки и показал Бэду две пригоршни ассигнаций.

— Спрячьте ваши деньги… А выпить я с вами выпью.

Пока они дошли до бара на углу Пэрл-стрит, локти и колени Бэда промокли насквозь. Холод-

ная струйка дождя сбегала по его спине. Они подошли к стойке, и Лапландец Мэтти выложил пятидолларовую бумажку.

— Я угощаю всех! Я счастлив сегодня.

Бэд набросился на даровую закуску.

— Сто лет не жрал, — пояснил он, возвращаясь к стойке за выпивкой.

Виски жгло ему горло, сушило мокрое платье. Он чувствовал себя маленьким мальчиком, идущим играть в бейсбол в субботу вечером.

— Молодец, Лапландец! — крикнул он, похлопывая маленького человечка по широкой спине. — Теперь мы с тобой друзья.

— Завтра мы с тобой садимся на пароход и уезжаем вместе. Что ты на это скажешь?

— Конечно, поедем.

— А теперь идем на Баури-стрит,[94] поищем девочек. Я плачу.

— Ни одна девочка с Баури не пойдет с тобой, япошка! — заорал высокий пьяный человек с висячими черными усами; он встал между ними, когда они шатаясь проходили в дверь.

— Не пойдет, говоришь? — сказал Лапландец, откидываясь всем телом назад.

---

94 Примечания: 94

Баури — бывший район нищих и бродяг в Нижнем Манхэттене.

Его кулак, похожий на молот, внезапно вылетел вперед и въехал в нижнюю челюсть черноусого. Черноусый поднялся с земли и поплелся обратно в бар; дверь захлопнулась за ним. Изнутри донесся рев голосов.

— Ах, будь я проклят, Мэтти, будь я проклят! — заорал Бэд и опять хлопнул его по спине.

Они шли рука об руку по Пэрл-стрит под пронизывающим дождем. Бары ярко светились на углах истекающих дождем улиц. Желтый свет зеркал, медных решеток и золотых рам вокруг картин с розовыми голыми женщинами качался и прыгал в стаканах виски, вливался огнем в запрокинутый рот, вспыхивал в крови, пузырился из ушей и глаз, вытекал струйками из кончиков пальцев. Облитые дождем дома нависали с обеих сторон, уличные фонари колыхались, точно факелы. Бэд очутился в набитой лицами комнате. Женщина сидела у него на коленях. Лапландец Мэтти обнимал за шею двух других женщин, расстегнув рубашку, показывая грудь. На груди были вытатуированы зеленым и красным голые мужчина и женщина. Они обнимались, змея туго обвивала их своими кольцами. Мэтти выпятил грудь, ущемил пальцами кожу на груди — мужчина и женщина задвигались, и кругом захохотали.

Финеас Блэкхэд распахнул широкое окно конторы. Он смотрел на гавань, сланцевую и слюдяную, прислушивался к прерывистому грохоту уличного движения, к голосам, к стуку молотов на новой постройке, вздымавшимся с улиц города и клубившимся, точно дым, в порывах жестокого норд-веста, который дул с Гудзона.

— Эй, Шмидт, принесите мне полевой бинокль! — крикнул он через плечо. — Смотрите!

Он навел бинокль на толстобрюхий белый пароход с закопченной желтой трубой, который стоял у Говернор-Айленда.

— Это, кажется, «Анонда»?

Шмидт был толстый, дряблый человек. Кожа на его лице свисала широкими сухими складками. Он глянул в бинокль.

— Да, это «Анонда».

Он закрыл окно. Шум сразу стал глуше; теперь он напоминал морской прибой.

— Однако они быстро справились. Они будут в доках через полчаса. Бегите и поймайте инспектора Малигана. Он все устроил… Не спускайте с него глаз. Старик Матанзас объявил нам открытую войну. Он добивается судебного приказа. Если к завтрашнему вечеру тут останется хоть одна чайная ложечка марганца, я убавлю вам

жалование вдвое. Поняли?

Дряблые щеки Шмидта затряслись от смеха.

— Будьте спокойны, сэр. За это время вы могли бы уже узнать меня.

— Я знаю… Вы хороший малый, Шмидт. Я пошутил.

Финеас Блэкхэд был высокий, худой человек с серебристыми волосами и красным ястребиным лицом. Он опустился в кресло красного дерева перед столом и нажал кнопку звонка. В дверях появился белобрысый мальчик.

— Проведи их сюда, Чарли, — сказал он.

Он тяжело поднялся и протянул руку.

— Как поживаете, мистер Сторроу? Здравствуйте, мистер Голд… Присаживайтесь, пожалуйста. Да, так вот… Эта забастовка… Позиция, занятая железной дорогой и доками, интересы которых я представляю, абсолютно искренна и чистосердечна, вы это знаете… Я убежден — могу сказать твердо убежден — в том, что мы сможем уладить все недоразумения самым дружественным и благоприятным образом. Конечно, вы должны пойти навстречу… Я знаю, в душе мы преследуем одни и те же интересы — интересы нашего великого города, нашего великого океанского порта…

Мистер Голд сдвинул шляпу на затылок и шум-

но откашлялся.

— Джентльмены, перед нами два пути…

На солнечном подоконнике сидела муха и гладила задними лапками крылышки. Она мылась, двигая передними лапками, точно человек, намыливающий руки, и тщательно терла свою большую голову. Джимми занес руку и опустил ее на муху. Муха жужжала и звенела в его кулаке. Он ухватил ее двумя пальцами и медленно растирал, пока она не превратилась в серое желе. Он вытер пальцы снизу о край подоконника. Ему стало жарко и противно. Бедная муха — она так старательно мылась! Он долго стоял, глядя на двор сквозь пыльное стекло, на котором мерцала солнечная пыль. Время от времени по двору пробегал человек без пиджака с тарелками на подносе. С кухонь доносились крики и звон перемываемой посуды.

Он смотрел на двор сквозь тонкое золотое мерцанье пыли. У мамы был удар, и на той неделе опять в школу.

— Послушай, Херфи, ты научился боксировать?

— Херфи и Кид будут драться за звание чемпиона веса мухи.

— Я не хочу.

— А Кид хочет… Вот он идет. Становитесь в кружок, ребята!

— Я не хочу. Ну пожалуйста…

— Дерись, черт тебя возьми, не то мы изобьем вас обоих!

— Фредди, с тебя пятак — ты опять выругался.

— Ах да, я забыл.

— Начинайте… Бей его почем зря!

— Валяй, Херфи, я на тебя поставил.

— Бей его!

Белое, искривленное лицо Кида качается перед ним, как воздушный шар. Он бьет Джимми кулаком по зубам. На рассеченной губе солоноватый вкус крови. Джимми бросается вперед, опрокидывает его на кровать, упирается коленом в его живот. Его оттаскивают, отбрасывают к стене.

— Валяй, Кид!

— Валяй, Херфи!

В носу и в легких вкус крови; он задыхается. Удар ногой опрокидывает его.

— Довольно, Херфи побежден.

— Девчонка! Девчонка!

— Послушай, Фредди, ведь он же повалил Кида.

— Заткнись, не ори ты так… Сейчас прибежит старик Хоппи.

— Ну что ты, Херфи?.. Ведь это только так — дружеская потасовка.

— Убирайтесь из моей комнаты, все убирайтесь! — взвизгивает Джимми; он ослеп от слез, машет обеими руками.

— Плакса! Плакса!

Он захлопывает дверь, придвигает к ней стол и, дрожа, заползает под одеяло. Он лежит ничком, корчится от стыда, кусает подушку.

Джимми смотрел на двор сквозь тонкое золотое мерцанье пыли.

«Дорогой мальчик! Твоя бедная мама чувствовала себя очень несчастной, когда она усадила тебя в поезд и вернулась в большие, пустые комнаты гостиницы. Милый мой, я очень одинока без тебя. Ты знаешь, что я сделала? Я достала всех твоих игрушечных солдатиков — помнишь, тех, что брали Порт-Артур, — и расставила их на книжной полке. Правда, глупо? Ну, ничего, дорогой мой, скоро Рождество, и мой мальчик вернется ко мне…»

Распухшее лицо уткнуто в подушку; у мамочки был удар, и на той неделе опять в школу. Под глазами у нее набухает темная, дряблая кожа, седина вползает в ее каштановые волосы. Мама никогда не смеется. Удар.

Он внезапно вернулся в комнату и бросился на кровать с тонкой кожаной книжкой в руках. Прибой с грохотом разбивался о риф. Ему не надо было читать. Джек быстро переплыл тихие, синие воды лагуны. Он вышел на желтый берег и стоял в лучах солнца, стряхивая с себя капли, раздувая ноздри, впитывая запах хлебных плодов, которые пеклись на его одиноком костре. Птицы с ярким опереньем щебетали и пели в широкой листве стройных кокосовых пальм. В комнате стояла сонная духота. Джимми заснул. Пахло земляникой и лимоном, на палубе пахло ананасом, и мама стояла там в белом платье, и смуглый человек стоял там в морской фуражке, и солнце зыбилось в молочно-белых парусах. Нежный мамин смех переходит в пронзительное «о-о-ой». Муха, величиной с паром, плывет к ним по воде, протягивая зубчатые, как у краба, щупальца. «Плыгай, Дзимми, плыгай. Двух плызков довольно будет!» — орет ему смуглый прямо в ухо. «Я не хочу… Ну пожалуйста, я не хочу!» — хнычет Джимми. Смуглый бьет его, раз, раз, раз…

— Да, одну минутку. Кто там?

За дверью тетя Эмили.

— Зачем ты запер дверь на ключ, Джимми? Я никогда не позволяю моему Джеймсу запирать

дверь.

— Мне так больше нравится, тетя Эмили.

— Разве можно спать днем?

— Я читал «Коралловый остров»[95] и заснул. — Джимми покраснел.

— Прекрасно. Ну, пойдем. Мисс Биллингс велела не останавливаться у маминой комнаты — мама заснула.

Они спускались в темном лифте, пахнувшем касторкой; негритенок ухмылялся Джимми.

— Что сказал доктор, тетя Эмили?

— Все идет не хуже, чем мы ожидали. Ты не беспокойся. Постарайся сегодня хорошо провести время с твоими кузенами. Ты слишком редко встречаешься с детьми твоего возраста, Джимми.

Они шли по направлению к реке, борясь с жестким ветром, под темным, серебристым небом.

— Я думаю, ты доволен, что возвращаешься в школу, Джимми?

— Да, тетя Эмили.

— Школа для мальчика — лучшая пора в жизни. Обязательно пиши маме, Джеймс, по крайней мере одно письмо в неделю… Кроме тебя, у нее

---

95 Примечания: 95

«Коралловый остров: сказка Тихого океана» — произведение для детей Роберта Баллантайна (1825—1894).

теперь никого нет… Мы с мисс Биллингс будем тебя обо всем извещать.

— Да, тетя Эмили.

— И вот еще что, Джеймс. Я бы хотела, чтобы ты поближе познакомился с моим Джеймсом. Он одного возраста с тобой, — может быть, только чуточку развитее тебя. Но вы подружитесь.

— Да, тетя Эмили.

Внизу, в вестибюле дома тети Эмили, были колонны из розового мрамора. Мальчик у лифта был одет в шоколадную ливрею с медными пуговицами. Лифт был четырехугольный; внутри него висели зеркала. Тетя Эмили остановилась перед широкой, красного дерева дверью на седьмом этаже и достала ключ из сумочки. В конце передней было окно, в которое можно было видеть Гудзон, пароходы и высокие деревья, дома, вздымавшиеся над рекой на фоне желтого заката. Когда тетя Эмили открыла дверь, раздались звуки рояля.

— Это Мэзи упражняется.

Комната, в которой стоял рояль, была устлана толстым, пушистым ковром и оклеена желтыми обоями с серебристыми розами. На стенах между светлыми панелями висели писанные масляными красками картины, изображавшие лес,

людей в гондоле и толстого кардинала, пьющего вино. Мэзи взмахнула косичками и спрыгнула с табурета. У нее было круглое, пухлое лицо и вздернутый нос. Метроном продолжал стучать.

— Хелло, Джеймс, — сказала она, подставив матери губы для поцелуя. — Я очень огорчена, что бедная тетя Лили так больна.

— А ты не поцелуешь кузину, Джеймс? — сказала тетя Эмили.

Джимми подошел к Мэзи и ткнулся лицом в ее лицо.

— Вот так поцелуй, — сказала Мэзи.

— Ну, детки, займите друг друга до обеда. — Тетя Эмили прошуршала за синие бархатные портьеры в соседнюю комнату.

— Нам будет очень трудно называть тебя Джеймс. — Мэзи остановила метроном и посмотрела серьезными темными глазами на кузена. — Ведь не может же быть двух Джеймсов.

— Мама зовет меня Джимми.

— Джимми — очень простое имя. Ну что ж, придется называть тебя так, пока мы не придумаем чего-нибудь получше.

— А где Джеймс?

— Он скоро придет. Он на уроке верховой езды.

Сумерки, повисшие между ними, стали свин-

цово-немыми. Из железнодорожного парка доносились свистки паровозов и лязг сцепляемых вагонов. Джимми побежал к окну.

— Мэзи, ты любишь паровозы? — спросил он.

— По-моему, они противные. Папа сказал, что мы переедем отсюда из-за этого шума и дыма.

Во мраке Джимми мог разглядеть конический обрубок огромного паровоза. Дым вырывался из его трубы громадными бронзово-лиловыми клубами. На пути красный огонь сменился зеленым. Зазвонил колокол — медленно, лениво. Поезд тронулся, громко храпя, грохоча, постепенно набирая скорость, и скользнул в темноту, покачивая красным фонарем заднего вагона.

— Как бы я хотел жить здесь! — сказал Джимми. — У меня есть двести семьдесят две фотографии паровозов. Если хочешь, я тебе их покажу. Я их собираю.

— Какая смешная коллекция! Опусти шторы, Джимми, я зажгу свет.

Когда комната осветилась, они увидели Джеймса Меривейла, стоявшего в дверях. У него были светлые, вьющиеся волосы, веснушчатое лицо и вздернутый, как у Мэзи, нос. Он был в бриджах, темно-коричневых крагах, со стеком в руках.

— Хелло, Джимми! — сказал он. — С приездом.

Из-за синих бархатных портьер показалась тетя Эмили. Он была одета в зеленую шелковую блузу с высоким воротником и кружевами. Ее седые волосы красивыми волнами обрамляли лоб.

— Детки, пора мыть руки, — сказала она, — через пять минут будем обедать. Поторопитесь. Джеймс, иди с кузеном в твою комнату и переоденься.

Все уже сидели за столом, когда Джимми вошел в столовую следом за кузеном. Ножи и вилки сдержанно поблескивали в свете шести свечей в красных и серебряных колпачках. В одном конце стола — тетя Эмили. Рядом с ней — человек с толстой красной шеей, без затылка, а на другом конце, в широком кресле — дядя Джефф, с жемчужной булавкой в клетчатом галстуке. За полосой света двигалась горничная-негритянка. Дядя Джефф громко говорил между глотками:

— Говорю вам, Вилкинсон: Нью-Йорк уже не тот, каким он был, когда мы с Эмми приехали сюда. Город переполнен евреями и ирландцами, вот в чем несчастье. Через несколько лет христианину тут негде будет жить… Вот увидите — католики и евреи выгонят нас из нашей собственной страны.

— Обетованная земля! — рассмеялась тетя

Эмили.

— В этом нет ничего смешного. Когда человек всю жизнь работает, как вол, и создает свое дело, то ему, естественно, не хочется, чтобы его вытесняла банда проклятых инородцев. Правда, Вилкинсон?

— Джефф, не волнуйся, — сказала тетя Эмили. — Ты ведь знаешь, у тебя от этого бывает несварение.

— Я не буду волноваться, мамочка.

— Дело вот в чем, мистер Меривейл. — Мистер Вилкинсон сосредоточенно нахмурился. — Мы слишком терпимы. Ни одна страна в мире не допустила бы этого. И что же получается? Мы создали эту страну, а теперь позволяем кучке иностранцев, подонкам Европы, отбросам польских гетто вытеснять нас.

— Все дело в том, что честный человек не будет пачкать себе руки политикой — у него нет желания заниматься общественными делами.

— Это верно. В наше время человеку нужно побольше денег. А на общественной работе их честным путем не заработаешь. Естественно, что лучшие люди обращаются к другим источникам.

— Прибавьте еще невежество этих грязных иммигрантов, которым мы даем право голоса,

прежде чем они научатся говорить по-английски… — начал дядя Джефф.

Горничная поставила перед тетей Эмили блюдо с жареными цыплятами. Разговор затих, пока обносили гостей.

— Я совсем забыла сказать, Джефф! — воскликнула тетя Эмили. — Мы поедем в воскресенье в Скарсдэйл.[96]

— Мамочка, я терпеть не могу ездить за город по воскресеньям.

— Вот любит сидеть дома!

— Но воскресенье — единственный день, когда я могу отдохнуть дома.

— Так вышло… Я пила чай с барышнями Арленд у Маярда и, представь себе, за соседним столом сидела миссис Беркхард…

— Не супруга ли Джона Беркхарда, вице-президента Национального городского банка?

— Джон — прекрасный малый. Он далеко пойдет…

— Так вот, миссис Беркхард пригласила нас к себе на воскресенье, и я не могла отказать.

— Мой отец, — вставил мистер Вилкинсон, — был домашним врачом у старого Джонаса Берк-

---

96 Примечания: 96

Скарсдэйл — богатый пригород к северу от Нью-Йорка в графстве Вестчестер.

харда. Старик был продувная бестия. Он нажил себе состояние на мехах. У него была подагра, и он вечно чертыхался самым невероятным образом. Я помню его — краснощекий старик с длинными белыми волосами и шелковой ермолкой на лысине. У него был попугай, по имени Тобиас, и люди, проходившие мимо его дома, никогда не знали, Тобиас ли это ругается или старик Беркхард.

— Да, времена переменились, — сказала тетя Эмили.

Джимми сидел на своем стуле; по ногам у него бегали мурашки. У мамы был удар, и на той неделе опять в школу. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник…

Он и Скинни шли с пруда — они там играли с лягушками; на них — синие костюмы, потому что сегодня воскресенье. За сараем цвели кусты. Мальчишки мучили малыша Гарриса — кто-то сказал, что он еврей. Он громко и певуче хныкал:

— Оставьте меня, братцы, не трогайте! На мне новый костюм.

— Ай вай! Мистер Соломон Леви надел новый костюмчик! — визжали радостные голоса. — Где вы его купили, Ицка? У старьевщика?

— Должно быть, на распродаже после пожара.

— Тогда надо полить его из кишки.

— Польем Соломона Леви из кишки!

— Заткнитесь! Не орите так громко.

— Они просто шутят. Они ему не сделают больно, — шепнул Скинни.

Гарриса потащили к пруду. Он брыкался и вырывался; его опрокинутое лицо было бледно и мокро от слез.

— Он вовсе не еврей, — сказал Скинни. — А вот Жирный Свенсон — еврей.

— Откуда ты знаешь?

— Мне сказал его товарищ по спальне.

— Смотри, что они делают.

Мальчишки разбегались во все стороны. Маленький Гаррис карабкался на берег; волосы его были полны ила, из рукавов текла вода.

Подали горячий шоколад с мороженым.

— Ирландец и шотландец шли по улице. Ирландец говорит шотландцу: «Сэнди, пойдем выпьем...»

Продолжительный звонок у входной двери отвлек внимание от рассказа дяди Джеффа. Горничная-негритянка поспешно вошла в столовую и что-то зашептала на ухо тете Эмили.

— А шотландец отвечает: «Майк...» Что слу-

чилось?

— Мистер Джо, сэр.

— Ах, черт!

— Надеюсь, он ведет себя прилично? — тревожно спросила тетя Эмили.

— Немножко навеселе, сударыня.

— Сарра, на кой черт вы его впустили?

— Я не впускала его, он сам вошел.

Дядя Джефф оттолкнул тарелку и хлопнул салфеткой по столу.

— Черт! Я пойду поговорю с ним.

— Заставь его уйти... — начала тетя Эмили и вдруг остановилась с открытым ртом.

Между портьерами, висевшими в широком проходе, который вел в смежную комнату, просунулась голова с тонким, крючковатым носом и массой прямых черных, точно у индейца, волос. Один глаз с красными веками подмигивал.

— Хелло!.. Как поживаете? Можно войти? — раздался хриплый голос, и высокая, костлявая фигура высунулась из-за портьер вслед за головой.

Губы тети Эмили сложились в ледяную улыбку.

— Эмили, вы должны... гм... э... извинить меня... Я чувствую, что вечер... гм... проведенный

за семейным столом… гм… будет… э-э… гм… вы понимаете… иметь… э-э… благотворное влияние… Понимаете — благотворное влияние семьи… — Он стоял, качая головой, за стулом дяди Джеффа. — Ну, Джефферсон, старина, как делишки? — Он хлопнул дядю Джеффа по плечу.

— Ничего. Садитесь, — проворчал тот.

— Говорят… если хотите послушаться старого ветерана… э… бывшего маклера… ха-ха… говорят, стоит присмотреться к «Интербороу Рапид Транзит»… Не смотрите на меня так косо, Эмили… Я сейчас уйду… Как поживаете, мистер Вилкинсон?.. Дети выглядят хорошо. А это кто? Я не я, если это не мальчишка Лили Херф!.. Джимми, ты не помнишь твоего… гм… кузена Джо Харленда? Помнишь?.. Никто не помнит Джо Харленда… кроме вас, Эмили… Но и вы хотите забыть его… ха-ха… Как поживает твоя мать, Джимми?

— Ей немного лучше, спасибо. — Джимми с трудом выговорил эти слова.

— Ну, когда ты пойдешь домой, засвидетельствуй ей мое почтение. Она поймет… Мы с Лили всегда были друзьями, несмотря на то, что я пугало всего семейства… Они не любят меня, они хотят, чтобы я ушел… Вот что я тебе скажу, мальчик: Лили лучше их всех. Верно, Эмили? Она

лучше нас всех.

Тетя Эмили кашлянула.

— Конечно, она самая красивая, самая умная, самая настоящая… Джимми, твоя мать — царица. Она была всегда слишком хороша для всего этого… Честное слово, я бы с удовольствием выпил за ее здоровье.

— Джо, умерьте немножко ваш голос. — Тетя Эмили выстучала эту фразу, точно пишущая машинка.

— Вы думаете, что я пьян?.. Запомни, Джимми, — он потянулся через стол, обдавая Джимми запахом винного перегара, — не всегда бываешь в этом виноват… Обстоятельства… э-э… гм… обстоятельства… — Вставая, он опрокинул стакан. — Эмили косо смотрит на меня… Я ухожу… Не забудь передать Лили Херф привет от Джо Харленда. Скажи, что он ее будет любить до могилы.

Он нырнул за портьеры.

— Джефф, я боюсь, что он уронит севрские вазы. Последи, чтобы он благополучно вышел, и возьми для него кэб.

Джеймс и Мази хихикали, прикрываясь салфетками. Дядя Джефф побагровел.

— Будь я проклят, если я посажу его в кэб! Он мне не кузен. В тюрьму его следовало бы поса-

дить! Когда ты увидишь его, Эмили, передай ему от моего имени, что если он еще раз придет к нам в таком виде, то я вышвырну его вон.

— Джефферсон, дорогой, не стоит огорчаться, ничего ведь не случилось, он ушел…

— Ничего? Подумай о детях. Предположи, что вместо мистера Вилкинсона здесь был бы чужой человек. Что бы он подумал про наш дом?

— Не беспокойтесь, — проскрипел мистер Вилкинсон, — это случается в приличных домах.

— Бедный Джо… Он такой славный малый, когда он в нормальном состоянии, — сказала тетя Эмили. — И подумать только, что несколько лет тому назад Харленд держал всю фондовую биржу в кулаке. Газеты называли его королем биржи. Помните?

— Это было до истории с Лотти Смизерс…

— Ну, дети, идите к себе, поиграйте, а мы будем пить кофе, — прощебетала тетя Эмили. — Им давно пора уйти.

— Ты умеешь играть в «пятьсот», Джимми? — спросила Мэзи.

— Нет.

— Как тебе нравится, Джеймс? Он не умеет играть в «пятьсот».

— Это игра для девочек, — надменно сказал

Джеймс. — Я только ради тебя играю в «пятьсот».

— Подумаешь, какой важный!

— Давайте играть в зверей.

— Но нас всего трое. Втроем скучно.

— А в последний раз ты сам смеялся так, что мама велела нам прекратить игру…

— Мама велела прекратить игру, потому что ты ударила маленького Билла Шмутца и он заплакал.

— А что если мы сойдем вниз и посмотрим на поезда? — предложил Джимми.

— Нам вечером не разрешают сходить вниз, — строго сказала Мэзи.

— Давайте играть в биржу. У меня на миллион долларов бумаг для продажи, Мэзи будет играть на повышение, а Джимми — на понижение.

— Хорошо. А что мы должны делать?

— Бегайте, громче кричите… Ну, я начинаю продавать.

— Прекрасно, господин маклер, я покупаю всю партию по пяти центов за штуку.

— Нет, ты неправильно говоришь… Говори: девяносто шесть с половиной или что-нибудь в этом роде.

— Я даю пять миллионов! — закричала Мэзи, размахивая пресс-папье с письменного стола.

— Сумасшедшая, они стоят только один миллион! — заорал Джимми.

Мэзи остановилась как вкопанная.

— Что ты сказал, Джимми?

Джимми почувствовал, как жгучий стыд пронизал его; он опустил глаза.

— Я сказал, что ты сумасшедшая.

— Разве ты никогда не был в воскресной школе? Разве ты не знаешь, что в Библии сказано: «Если ты назовешь своего ближнего сумасшедшим, то попадешь в геенну огненную»?

Джимми не смел поднять глаза.

— Я больше не буду играть, — сказала Мэзи, выпрямившись.

Джимми каким-то образом очутился в передней. Он схватил шляпу, сбежал вниз по белой мраморной лестнице, мимо шоколадной ливреи и медных пуговиц лифтера, в вестибюль с розовыми колоннами и выскочил на улицу. Было темно и ветрено. Во мраке маячили зыбкие тени и гулко раздавались шаги. Наконец он добежал до гостиницы, взобрался по знакомой красной лестнице. Он шмыгнул мимо маминой двери. Пожалуй, еще спросит, почему он так рано пришел домой. Он вбежал в свою комнату, запер дверь на ключ и прислонился к ней, задыхаясь.

— Ну, ты все еще не женат? — спросил Конго, как только Эмиль отворил ему дверь. Эмиль был в нижнем белье. В комнате, похожей на обувную коробку, было душно, она освещалась и отоплялась газовым рожком под жестяным абажуром.

— Где ты был все это время?

— В Бизерте,[97] в Трондье...[98] Я хороший моряк.

— Гнусное это дело — быть матросом... А я вот скопил двести долларов. Служу у Дельмонико.

Они сели рядом на неубранную кровать. Конго вынул пачку египетских папирос с золотыми мундштуками.

— Четырехмесячное жалованье! — Он хлопнул себя по ляжке. — Видел Мэй Свейтцер? — Эмиль покачал головой. — Надо мне разыскать этого пострелёнка... Знаешь, в этих проклятых скандинавских портах бабы подъезжают к пароходам в лодках — здоровые, жирные, все блондинки...

Оба молчали. Газ шипел. Конго вздохнул со свистом.

— C'est chic ça, Delmonico![99] Почему ты не же-

---

97 Примечания: 97

Бизерт (Бизерта) — тунисский порт на Средиземном море.

98 Примечания: 98

Трондье — второй по величине город и порт в Норвегии.

99 Примечания: 99

Дельмонико, это так шикарно! *(фр.)*

нился на ней?

— Ей хотелось, чтобы я околачивался около нее просто так… Я повел бы дело гораздо лучше, чем она.

— Ты слишком мягок. Надо быть грубым с женщинами, чтобы добиться от них чего-нибудь. Заставь ее ревновать.

— А ей это безразлично.

— Хочешь посмотреть открытки? — Конго достал из кармана пакет, завернутый в газетную бумагу. — Вот это Неаполь; там все мечтают попасть в Нью-Йорк… А это арабская танцовщица. Nom d'une vache,[100] как они танцуют танец живота!

— Стой, я знаю, что мне делать! — вдруг крикнул Эмиль, бросая открытки на кровать. — Я заставлю ее ревновать.

— Кого?

— Эрнестину… Мадам Риго…

— Конечно, пройдись несколько раз по Восьмой авеню с девочкой, и я ручаюсь, что она сдастся.

На стуле подле кровати зазвонил будильник. Эмиль вскочил, остановил его и начал плескаться под рукомойником.

---

100 Примечания: 100
Ну и телки *(фр.-амер. сленг).*

— Merde, надо идти на работу.

— Я пойду поищу Мэй.

— Не будь дураком, не трать все деньги, — сказал Эмиль; он стоял перед осколком зеркала и, скривив лицо, застегивал пуговицы на чистой рубашке.

— Абсолютно верное дело, я вам повторяю, — сказал человек, приблизив свое лицо к лицу Эда Тэтчера и похлопывая по столу ладонью.

— Может быть, это и так, Вилер, но я уже видел столько банкротств, что, честное слово, не хочу рисковать.

— Слушайте, я заложил женин серебряный чайный сервиз, мое бриллиантовое кольцо и все детские вещи. Это верное дело. Я не взял бы вас в долю, если бы мы не были друзьями и если бы я не был должен вам деньги. Вы получите двадцать пять процентов на вложенный капитал завтра к двенадцати часам. Потом, если захотите все придержать, — придерживайте, а нет — так продавайте три четверти, держите остальное два или три дня и вы будете крепки, как… как Гибралтар.

— Я знаю, Вилер, это заманчиво.

— Черт возьми, дружище! Неужели вам охота коптеть всю жизнь в этой проклятой конторе?

Подумайте о вашей дочке.

— О ней-то я и думаю.

— Но Эд, Гиббонс и Свендэйк начали уже покупать сегодня вечером перед закрытием биржи по три цента. Клейн теперь поумнел и явится завтра на биржу к первому звонку… Увидите — вся биржа набросится на них…

— До тех пор, пока раздувающая это грязное дело шайка не переменит курса… Я знаю эти дела насквозь, Вилер. Что и говорить, искушение большое… Но я проверял слишком много книг обанкротившихся фирм…

Вилер поднялся и бросил сигару в плевательницу.

— Ну, поступайте как знаете, черт с вами! Вам, стало быть, нравится быть рабом Хаккензака и работать по двенадцати часов в день…

— Я верю, что пробьюсь, если буду работать.

— Что за польза от нескольких тысяч, когда вы стары и ни от чего уже не получаете удовольствия? А я дойду до цели!

— Идите, идите, Вилер, — пробормотал Тэтчер.

Тот вышел, хлопнув дверью.

Большая контора с рядами желтых столов и пишущих машин в чехлах была погружена во мрак. Только на том столе, где сидел над счетами

Тэтчер, горела лампа. Три окна в глубине конторы не были завешены. В них Тэтчер видел отвесные громады домов, горевшие огнями, и плоский кусок чернильного неба. Он писал меморандумы на длинном листе бумаги:

Акц. О-во Фан-Тан. Импорт и экспорт. Отделения: Нью-Йорк, Шанхай, Ханькоу…

Баланс перенос — 345 789 84
Недвижимость — 500 087 12
Прибыли и убытки — 399 765 90

— Шайка бандитов! — проворчал вслух Тэтчер. — Ни одного слова правды. Никаких у них нет отделений. Ни в Ханькоу, нигде…

Он откинулся на спинку стула и уставился на улицу. Дома темнели. Он уже мог видеть звезду на кусочке неба. «Однако надо пойти поесть. Для желудка это очень вредно — так нерегулярно есть, как я ем. А что, если рискнуть и послушаться Вилера?.. Эллен, как тебе нравятся эти розы? У них стебли длиной в восемь футов. Ну-ка, посмотри на мой план заграничной поездки — мы с тобой поедем за границу, надо закончить твое образование. Да, все-таки жалко покидать нашу новую чудную квартиру — она выходит окнами

прямо в Центральный Парк… А в городе — Институт присяжных счетоводов, Председатель Эдвард С. Тэтчер…» Облака потянулись по кусочку неба, скрыли звезду. «Рискнуть, рискнуть… В сущности, все — спекулянты и игроки… Рискнуть — и выйти с руками, полными денег, с карманами, полными денег, с толстой чековой книжкой, с подвалами, полными денег. Если бы я только смел рискнуть. Глупо попусту думать об этом, только время терять. Ну-ка, займись Импортным о-вом «Фан-Тан». Облака, чуть окрашенные пурпурными отсветами улиц, быстро проплывали по кусочку неба, рассыпаясь.

Товары на американских складах — 325 666

«Рискнуть — и выиграть триста двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть долларов». Доллары проплывали, как облака, рассыпаясь, уносясь к звездам. Миллионер Тэтчер высунулся из окна сверкающей огнями, надушенной пачулями комнаты, чтобы полюбоваться темным, высоким городом, истекавшим голосами, смехом, звоном и огнями; позади него среди азалий играл оркестр, прямые провода стук-стук-стук-высту-

кивали доллары из Сингапура, Вальпараисо,[101] Мукдена, Гонконга, Чикаго. Сузи склонилась к нему в платье из орхидей, дышала ему в ухо.

Эд Тэтчер вскочил, сжимая кулаки, всхлипывая. «Несчастный дурак, к чему все это, раз ее нет? Я лучше пойду поем, а то Эллен рассердится».

101 Примечания: 101
Вальпараисо — главнейший порт и второй по величине город в Чили.

V. Паровой каток

Сумерки нежно гладят извилистые улицы. Мрак сковывает дымящийся асфальтовый город, сплавляет решетки окон, и слова вывесок, и дымовые трубы, и водостоки, и вентиляторы, и пожарные лестницы, и лепные карнизы, и орнаменты, и узоры, и глаза, и руки, и галстуки в синие глыбы, в черные огромные массивы. Из-под его катящегося все тяжелее и тяжелее пресса в окнах выступает свет. Ночь выдавливает белесое молоко из дуговых фонарей, стискивает угрюмые глыбы домов до тех пор, пока из них не начинают сочиться красные, желтые, зеленые капли в улицу, полную гулких шагов. Асфальт истекает светом. Свет брызжет из букв на крышах, перебегает под колесами, пятнает катящиеся бочки неба.

Паровой каток, грохоча, ползал взад и вперед по свежепропитанному дегтем щебню у кладбищенских ворот. Запах горелого масла, пара и раскаленной краски исходил от него. Джимми Херф пробирался по краю дороги. Острые камни кололи ноги сквозь истоптанные подметки. Он прошел мимо закопченных рабочих и пересек

новое шоссе, унося в ноздрях запах чеснока и пота. Пройдя сто ярдов, он остановился на пригородной дороге, туго стянутой с обеих сторон телеграфными столбами и проволокой. Над серыми домами и серыми лавками гробовщиков небо было такого цвета, как яйцо реполова. Майские червячки копошились в его крови. Он снял черный галстук и сунул его в карман. В голове у него дребезжала песенка:

Я так устала от фиалок,

Возьмите их скорей…

«Ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе, такожде и воскресение мертвых…» Он быстро шагал, шлепая по лужам, полным неба, стараясь вытряхнуть из ушей гудящие, хорошо смазанные слова, стряхнуть с пальцев ощущение черного крепа, забыть запах лилий.

Я так устала от фиалок,

Возьмите их скорей…

Он пошел быстрее. Дорога поднималась в гору. В канаве, вьющейся в траве среди одуванчиков, ярко журчала вода. Все реже попадались дома; на стенах сараев облезлые буквы выговарива-

ли: «Питательный экстракт Лидии Пинкхэм, Красный Петух, Лающая Собака…» А у мамы был удар, и ее похоронили. Он не помнил, как она выглядела; она умерла, вот и все. С забора донеслось влажное чириканье воробья. Крошечная, ржаво-красная птица полетела дальше, села на телеграфную проволоку и запела, перелетела на край брошенного котла и запела, полетела дальше и запела. Небо стало темно-синим, волокнистые, перламутровые облака клубились на нем. Еще на одно последнее мгновение он услышал подле себя шуршание шелка, почувствовал нежное прикосновение к своей руке руки в длинном, отороченном кружевами рукаве. Он лежит в колыбели, поджав ноги, похолодев от страха перед мохнатыми, подползающими тенями; и тени разбегаются и прячутся по углам, когда она склоняется над ним — кудри надо лбом, широкие шелковые рукава, маленький черный кружок в углу рта, целующего его рот. Он пошел быстрее. Кровь бурлила, густая и горячая, в его жилах. Волокнистые облака сливались в розовую пену. Он слышал, как шаги его звучат по гулкому асфальту. На перекрестке блики солнца играли на острых, колючих почках молодого бука. Напротив висела

доска «Йонкерс».[102] Посредине дороги валялась иззубренная консервная банка. Он погнал ее перед собой, сильно поддавая ногой. «Ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам…» Он шел дальше.

— Хелло, Эмиль!

Эмиль кивнул не поворачивая головы. Девушка побежала за ним и схватила его за рукав.

— Так-то ты поступаешь со старыми друзьями? Теперь, когда ты водишь компанию с этой королевой деликатесов…

Эмиль отдернул руку.

— Я очень спешу, вот и все.

— А что если я пойду к ней и расскажу, как мы с тобой стояли под ее окнами на Восьмой авеню и обнимались и целовались, чтобы заставить ее сдаться?

— Это была идея Конго.

— А разве она не помогла?

— Конечно.

— А мне разве ничего за это не полагается?

— Мэй, ты хорошая, милая девушка. На той неделе, в среду вечером, я свободен. Я поведу тебя

---

102 Примечания: 102

Йонкерс — небольшой город на левом берегу Гудзона, граничащий на севере с г. Нью-Йорком.

в театр… Ну, как вообще прыгаешь?

— Отвратительно. Пытаюсь устроиться танцовщицей у Кэмпеса. Там бывают парни с деньгой. Довольно с меня матросов и грузчиков… Я хочу стать респектабельной.

— О Конго что-нибудь слышала, Мэй?

— Получила от него открытку из какой-то чертовой дыры — не разобрала откуда… Смешно, право… Просишь денег, а присылают тебе открытки… Это за все-то ночи… И знаешь, Лягушатник, он ведь был у меня единственный.

— Прощай, Мэй. — Он внезапно сдвинул ей соломенную шляпу с незабудками на затылок и поцеловал ее.

— Перестань, Лягушатник! Нашел место целоваться — на Восьмой авеню, — заныла она, пряча желтую прядь под шляпку. — Можешь зайти ко мне, если хочешь.

Эмиль пошел дальше.

Пожарная машина, паровой насос и выдвижная лестница пролетели мимо, сотрясая улицу грохотом. Тремя кварталами дальше из-под какого-то дома клубился дым и вырывались языки пламени. Толпа напирала на цепь полисменов. Из-за спин и шляп Эмиль увидел на крыше соседнего дома пожарных и три блестящих, молчаливых

ручейка воды, играющих в верхних окнах. Кажется, это напротив магазина деликатесов. Он начал прокладывать себе дорогу в толпе на тротуаре. Вдруг толпа расступилась. Два полисмена тащили негра, руки которого болтались взад и вперед, точно сломанные палки. Третий шел сзади и бил негра дубинкой по голове, сначала справа, потом слева.

— Кажется, поджигатель.

— Поймали поджигателя.

— Это был поджог.

— Жалкий же у него вид.

Толпа сомкнулась. Эмиль стоял рядом с мадам Риго на пороге лавки.

— Chéri, que ça me fait une emotiong… J'ai horriblemong peur du feu.[103]

Эмиль стоял несколько позади нее. Одной рукой он медленно скользил по ее талии, а другой поглаживал ее руку выше локтя.

— Все кончено. Огня больше нет, только дым… Ты застрахована, не правда ли?

— Конечно, на пятнадцать тысяч.

Он сжал ее локоть, потом убрал руки.

---

103 Примечания: 103

Дорогой, это на меня так действует… Я ужасно боюсь огня *(фр.)*.

— Viens, ma petite, on va rentrer.[104]

Как только они вошли в лавку, он схватил ее пухлые руки.

— Эрнестина, когда мы обвенчаемся?

— В следующем месяце.

— Я не могу ждать так долго. Это невозможно. Почему не в ближайшую среду? Тогда я мог бы тебе составить инвентарь лавки… Я думаю, не продать ли нам это место и не переехать ли в город, чтобы побольше зарабатывать.

Она погладила его по щеке.

— P'tit ambitieux,[105] — сказала она с глухим смешком, от которого запрыгали плечи и высокий бюст.

На Манхэттене они пересаживались. У Эллен лопнула на большом пальце перчатка, и она нервно поглаживала дырку указательным пальцем. На Джоне был дождевик с поясом и красновато-серая шляпа. Когда он, улыбаясь, поворачивался к ней, она невольно отводила глаза и смотрела на длинные плети дождя, мерцавшие на мокрых рельсах.

---

104 Примечания: 104
Пойдем, малышка, надо возвращаться *(фр.)*.

105 Примечания: 105
Маленький честолюбец *(фр.)*.

— Ну вот, Элайн, дорогая… Теперь, принцесса, мы пересядем в поезд со станции Пенн. Смешное занятие!

Они вошли в вагон. Джон недовольно прищелкнул языком, заметив темные пятна от дождевых капель на светлой шляпе.

— Поехали, малютка… О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими…

Новый дорожный костюм Эллен был узок в локтях. Она старалась быть веселой и прислушиваться к журчанью его речи, но что-то заставляло ее лицо хмуриться; когда она выглядывала в окно, она видела только коричневые болота, миллионы черных фабричных окон, грязные улицы, ржавый пароход в канале, сараи, вывески «Булл Дурхэм» и круглолицых гномов «Спирмент», изрешеченных и исполосованных дождем. Блестящие полосы дождя на вагонных окнах стекали прямо, когда поезд останавливался, и становились все более и более косыми по мере того, как поезд ускорял ход. Колеса стучали в ее голове: «Ман-хэт-тен, Ман-хэт-тен». До Атлантик-Сити[106]

106 Примечания: 106

Атлантик-Сити — курортный город в штате Нью-Джерси на берегу Атлантического океана; известен своими пляжами и увеселительными заведениями.

было еще далеко. «Кстати, мы едем в Атлантик-Сити… Дождь лил сорок дней и сорок ночей… Я буду веселой… Опрокинулась в небе лейка… Я должна быть веселой».

— Элайн Тэтчер Оглторп — очень красивое имя, правда, дорогая? Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви…

Было так уютно сидеть в пустом вагоне на зеленом бархатном диване, слушать глупую болтовню склонившегося к ней Джона, смотреть на коричневые топи, мелькавшие за исхлестанными дождем окнами, вдыхать свежий воздух, пахнувший устрицами. Она посмотрела ему в лицо и рассмеялась. Он покраснел до корней рыжевато-белокурых волос. Он положил руку в желтой перчатке на ее руку в белой перчатке.

— Теперь ты моя жена, Элайн.

— Теперь ты мой муж, Джон.

Они смеясь смотрели друг на друга в уютном уголке пустого вагона. Белые буквы «Атлантик-Сити» изрекали приговор над рябым от дождя морем.

Дождь заливал тротуар и налетал порывами на окно, точно его выплескивали из ведра. Сквозь шум дождя она слышала монотонный ропот при-

боя на берегу у освещенного мола. Она лежала на спине, глядя в потолок. Рядом с ней на широкой кровати спал Джон, ровно, по-детски дыша, подложив под голову сложенную вдвое подушку. Он чувствовал ледяной холод. Она осторожно соскользнула с кровати, чтобы не разбудить его, встала у окна и глядела на длинные римские «V» огней на тротуаре. Она распахнула окно. Враждебный дождь хлестнул ей в лицо, исколол щеки, смочил ночную рубашку. Она прижала лоб к раме. «О, я хочу умереть! О, я хочу умереть!» Весь тугой холод ее тела сосредоточился в желудке. «Меня сейчас стошнит!» Она пошла в ванную комнату и закрыла дверь. Когда ее вырвало, она почувствовала себя лучше. Она опять забралась в постель, осторожно, чтобы не задеть Джона. Если она заденет его, то умрет. Она лежала на спине, крепко прижав руки к бокам, сдвинув ноги. Колеса поезда мягко рокотали в ее голове. Она заснула.

Ветер, трясший оконные рамы, разбудил ее. Джон лежал далеко, на другом краю кровати. От ветра и дождя, струившегося по окну, было так, словно комната и широкая кровать и все предметы двигались, неслись вперед, точно воздушный корабль над морем. «Шел дождь сорок

дней и сорок ночей…» В какую-то щель холодной окаменелости мотив песенки просачивался, как струя теплой крови… Опрокинулась в небе лейка. Она осторожно провела рукой по волосам мужа. Он поморщился во сне и захныкал: «Не надо!» — голосом маленького мальчика; этот голос заставил ее рассмеяться. Она лежала, смеясь, на другом краю кровати, смеясь безнадежно, как она когда-то смеялась с подругами в школе. И дождь хлестал в окно, и песня звучала все громче, пока не загремела в ее ушах духовым оркестром.

Шел дождь сорок дней и сорок ночей,
Опрокинулась в небе лейка,
Лишь один человек пережил потоп —
Длинноногий Джек с Перешейка.

Джимми Херф сидел напротив дяди Джеффа. Перед ним на синей тарелке — баранья котлета, жареная картошка, небольшая горка горошка, украшенная петрушкой.

— Так вот, подумай об этом, — говорит дядя Джефф.

Яркая люстра освещает отделанную ореховым деревом столовую, сверкает в серебряных ножах и вилках, в золотых зубах, в часовых цепочках, в галстучных булавках, утопает в темноте тонких

сукон, играет круглыми бликами на полированных блюдах, лысых головах, судках.

— Ну, что скажешь? — спрашивает дядя Джефф, заложив большие пальцы в проймы пестрого жилета.

— Шикарный клуб, — говорит Джимми.

— Богатейшие, лучшие люди страны завтракают здесь. Посмотри на тот круглый стол в углу. Это стол Гозенхеймера, налево… — Дядя Джефф нагибается и понижает голос. — А вот тот, с выдающейся челюстью, — Уайдлер Лапорт.

Джимми не отвечая разрезает баранью котлету.

— Ну-с, Джимми, ты, наверное, знаешь, почему я привел тебя сюда… Я хочу поговорить с тобой. Теперь, когда твоя бедная мать… ушла от нас, Эмили и я являемся твоими опекунами в глазах закона и исполнителями воли бедной Лили… Я хочу рассказать тебе, как обстоят дела.

Джимми кладет вилку и ножик и сидит, уставившись на дядю, сжимая холодными руками ручки кресла, следя, как двигается тяжелая синяя челюсть над рубиновой булавкой в широком шелковом галстуке.

— Тебе шестнадцать лет. Так, Джимми?

— Да, дядя.

— Ну так вот… Когда имущество твоей матери будет продано, ты будешь обладать состоянием приблизительно в пять тысяч пятьсот долларов. К счастью, ты умный малый и скоро поступишь в университет. Этой суммы при умелом обращении должно хватить тебе на жизнь и учение в Колумбийском университете, если ты настаиваешь на нем… Что до меня, то я, а также, наверное, и тетя Эмили, предпочли бы видеть тебя в Йэльском или Принстонском университете. По-моему, ты счастливый малый. В твои годы я подметал в Фредериксбурге контору и зарабатывал пятнадцать долларов в месяц. И вот что я еще хотел сказать: я не замечаю в тебе склонности к коммерческим делам… гм… не замечаю энтузиазма, желания зарабатывать и добиться материального благополучия. Посмотри кругом. Жажда денег и энтузиазм сделали этих людей такими, каковы они теперь. Эти же чувства дали мне возможность создать себе комфортабельный очаг, культурную обстановку, в которых ты сейчас живешь… Я понимаю, тебя несколько странно воспитывали; бедная Лили не сходилась с нами во многих взглядах. Но в настоящий момент оформление твоей жизни только начинается. Теперь как раз время для закладки фундамента

твоей будущей карьеры. Я советую тебе, мой друг, последовать примеру Джеймса и пробивать себе дорогу при содействии нашей фирмы… Отныне вы оба мои сыновья… Тебя ожидает тяжелый труд, но это хорошее начало; он открывает тебе широкие перспективы. И помни: если человеку повезет в Нью-Йорке, то ему повезет всюду и везде.

Джимми следит, как широкий серьезный рот дяди Джеффа произносит слова, и не дотрагивается до сочной бараньей котлеты.

— Ну, чем же ты намерен быть? — Дядя Джефф нагибается к нему через стол и глядит на него выпуклыми серыми глазами.

Джимми поперхнулся кусочками хлеба, краснеет и наконец говорит, заикаясь:

— Чем хотите, дядя Джефф.

— Значит, ты этим же летом будешь работать в течение месяца у меня в конторе? Войдешь во вкус работы и заработка, как подобает мужчине? Приглядишься, как делаются дела?

Джимми кивает.

— Ну-с, ты пришел к чрезвычайно разумному решению, — басит дядя Джефф, откидываясь на спинку кресла; полоса света пробегает по его серо-стальным волосам. — Между прочим, что ты

хочешь на десерт? Когда-нибудь, Джимми, когда ты будешь крупным дельцом, через много лет, ты вспомнишь этот разговор. Это начало твоей карьеры.

Девица у вешалки улыбается из-под презрительной башни белокурых волос, подавая Джимми его шляпу; среди великолепных котелков, канотье и величественных панам, висящих на крючках, она выглядит помятой, грязной и поношенной. В его желудке что-то кувыркается, когда лифт начинает спускаться. Он выходит в переполненный народом мраморный вестибюль. Не зная, куда идти, он некоторое время стоит, прислонившись к стене, засунув руки в карманы, наблюдая толпу, которая локтями прокладывает себе дорогу к вращающейся двери. Розовощекие девицы жуют резинку, востроглазые девицы с челками, желтолицые мальчики его возраста, юные франты в шляпах набекрень, потнолицые посыльные, перекрестные взгляды, подрагивающие бедра, тяжелые челюсти, жующие сигары, худые, вогнутые лица, плоские тела молодых мужчин и женщин, брюхатые старики — все течет, толкаясь, шаркая, через вращающиеся двери на Бродвей, с Бродвея, двумя бесконечными потоками. Поток засосал Джимми, он выносит его

из дверей и опять в двери, днем и ночью и утром, вращающиеся двери выдавливают из него годы, как фарш из сосиски. Внезапно все его мускулы каменеют. «Дядя Джефф может провалиться к черту вместе со своей конторой!» Эти слова звучат внутри него так громко, что он оглядывается по сторонам, не услышал ли их кто-нибудь.

Пусть все они идут к черту! Он расправляет плечи и прокладывает себе дорогу к вращающейся двери. Он наступает кому-то на ногу.

— Смотрите, куда идете, черт бы вас взял!

Он на улице. Резкий ветер набивает ему рот и глаза пылью. Он идет вниз к Бэттери, ветер дует ему в спину. На кладбище Святой Троицы стенографистки и конторские мальчики едят сандвичи среди могил. Чужеземцы толпятся у пароходных пристаней. Светловолосые норвежцы, широколицые шведы, поляки, чумазые, низкорослые, пахнущие чесноком, жители Средиземного побережья, огромные славяне, три китайца, несколько человек ласкарийцев. В маленьком треугольнике перед таможней Джимми поворачивается и долго смотрит в глубокую воронку Бродвея, лицом к ветру. «Дядя Джефф может провалиться к черту вместе со своей конторой!»

Бэд сел на край койки, потянулся и зевнул. В

комнате пахло потом, кислым дыханьем и мокрой одеждой. Храп, стоны и бормотанье спящих, скрип кроватей. Где-то далеко горела тусклая, одинокая электрическая лампочка. Бэд закрыл глаза и уронил голову на грудь. «Господи, как хорошо было бы заснуть. Боже мой, как хорошо было бы заснуть!» Он крепко обхватил колени руками, чтобы сдержать их дрожь. «Отче наш, иже еси на небеси, как хорошо бы заснуть!»

— В чем дело, дружище? Не можете уснуть? — послышался спокойный шепот с соседней койки.

— Никак не могу.

— Я тоже.

Бэд посмотрел на большую голову с курчавыми волосами. Сосед облокотился на кровать.

— Гнусная, вонючая, вшивая дыра, — продолжал он так же ровно. — А стоит сорок центов. Чтоб они провалились вместе со своими ночлежками…

— Давно вы в этом городе?

— В августе будет десять лет.

— Господи!

С другого конца комнаты кто-то зашипел:

— А ну-ка, вы, заткнитесь. Тут вам не пикник!

Бэд понизил голос:

— Как подумаешь, что я столько лет мечтал по-

пасть в этот город… Я родился и вырос на ферме.

— Почему же вы не едете обратно?

— Не могу.

Бэду было холодно; он пытался осилить дрожь. Он натянул одеяло до самого подбородка и, завернувшись в него, смотрел на говорившего.

— Каждую весну говорю себе: я уйду, поселюсь там, где трава, лужайки, где коровы идут с пастбища, — и все никак не могу уехать. Привязался!

— Что вы все это время делали в городе?

— Не знаю… Большей частью сидел на Юнион-плейс, потом в Мэдисон-сквер. Был в Хобокене и в Джерси, и в Флэтбуше,[107] а теперь я — бродяга с Баури.

— Клянусь, я сбегу отсюда завтра же! Страшно тут… Больно много фараонов и сыщиков…

— Вы могли бы просить милостыню. Но послушайтесь моего совета: возвращайтесь на ферму к старикам, и все пойдет на лад.

---

107 Примечания: 107

Юнион-плейс — небольшой парк в Среднем Манхэттене, служивший местом отдыха жителей окрестных дорогих особняков. Позднее здесь проводили свои митинги нью-йоркские социалисты. Мэдисон-сквер — небольшая площадь-парк к северу по Бродвею от Юнион-плейс, место прогулок нью-йоркской аристократии. *Хобокен* — город на правом берегу Гудзона (штат Нью-Джерси), напротив Манхэттена. Крупный железнодорожный узел и порт. *Джерси* (Джерси-Сити) — город, граничащий с Хобокеном. *Флэтбуш* — на рубеже веков модный пригород в Центральном Бруклине.

Бэд соскочил с кровати и грубо схватил собеседника за плечо.

— Идемте-ка к свету, я вам кое-что покажу. — Голос Бэда звенел как-то странно в его собственных ушах.

Он прошел вдоль ряда храпящих коек. Бродяга — расхлябанный человек с курчавыми, выцветшими волосами, такой же бородой и глазами, как бы вколоченными в лицо, — вылез из-под одеяла, совершенно одетый, и последовал за ним. Под лампочкой Бэд расстегнул рубашку и спустил ее с тощих плеч.

— Посмотрите на мою спину.

— Господи Исусе! — прошептал тот, проводя рукой с длинными желтыми ногтями по спине, исполосованной глубокими красными и белыми шрамами. — В жизни не видал ничего подобного.

— Вот что сделал со мной мой старик. Двенадцать лет он истязал меня, когда ему хотелось. Он полосовал меня плетью и прижигал спину каленым железом. Говорили, что он мой отец, но я знаю, что это вранье. Когда мне было тринадцать лет, я сбежал. Вот тогда-то он поймал меня и начал истязать. Теперь мне двадцать пять.

Они молча вернулись к своим койкам и улег-

лись. Бэд лежал, глядя в потолок, натянув одеяло до глаз. Он посмотрел на дверь в конце комнаты и увидел там человека в коричневом котелке, с сигарой во рту. Он закусил нижнюю губу зубами, чтобы не закричать. Когда он снова посмотрел туда, человека не было.

— Послушайте, вы еще не спите? — прошептал он.

Бродяга промычал что-то.

— Я хочу рассказать вам… Я размозжил ему голову мотыгой. Размозжил ее так, как вы раздавили бы гнойный нарыв. Я говорил ему, чтобы он оставил меня в покое, но он не хотел… Он был жестокий, богобоязненный человек и хотел, чтобы все его боялись. Мы копали землю за старым пастбищем… сажали картошку. Я оставил его там до ночи; голова у него была раздавлена, как гнойный нарыв. Из-за забора с дороги его не было видно. Потом я зарыл его, пошел домой и сварил себе кофе. Он никогда не давал мне кофе. Я встал до рассвета и вышел на дорогу. Я думал, что в большом городе я буду как иголка в стоге сена. Я знал, где он хранит свои деньги. У него была пачка денег, величиной с вашу голову. Но я боялся и взял только десять долларов… Вы еще не спите?

Бродяга замычал.

— Когда я был мальчишкой, то дружил с девочкой старика Саккета. Мы часто сидели вместе на старом леднике в лесу Саккета и говорили о том, как мы поедем в Нью-Йорк и разбогатеем. И вот я здесь, и не могу найти работы, и все время боюсь. Сыщики преследуют меня повсюду — люди в коричневых котелках, со значками под пальто. Прошлой ночью я хотел пойти с одной девкой, но она увидела в моих глазах этот страх и выгнала меня… Она видела его в моих глазах.

Он сидел на краю койки, нагнувшись к самому лицу бродяги, говоря свистящим шепотом. Бродяга внезапно схватил его за руку.

— Слушайте, сынок, вы совсем спятите с ума, если так будет продолжаться. Есть у вас деньги?

Бэд кивнул.

— Отдайте-ка их лучше мне на хранение. Я человек бывалый. Я вытащу вас. Одевайтесь и идите, погуляйте. Заверните в закусочную за углом. Вам надо как следует поесть. Сколько у вас денег?

— Сдача с доллара.

— Дайте мне четвертак и хорошенько поешьте на все остальные деньги.

Бэд натянул штаны и дал бродяге четвертак.

— Возвращайтесь скорее, выспитесь хорошень-

ко, а завтра мы сами отправимся на вашу ферму и заберем тот сверток с деньгами. Как вы сказали — величиной с мою голову?.. Мы спрячем его так, что никто не найдет. Поделим пополам. Идет?

Бэд стиснул его руку деревянными пальцами. Потом, не завязав шнурков на башмаках, поплелся к двери и вниз по заплеванной лестнице.

Дождь перестал, прохладный ветер, пахнущий лесом и травой, рябил лужи на чисто вымытых улицах. В закусочной на Чэтем-стрит три человека спали сидя, нахлобучив шапки на глаза. Бармен читал за стойкой спортивный листок. Бэд долго ждал, пока ему подадут. Он чувствовал себя спокойным, беззаботным, счастливым. Ему подали коричневатую молотую солонину, и он ел ее с наслаждением, растирая языком о зубы поджаренную картошку, запивая ее очень сладким кофе. Начисто вытерев тарелку хлебной коркой, он взял зубочистку и вышел.

Ковыряя в зубах, он вышел грязным, темным переулком к Бруклинскому мосту. Человек в коричневом котелке курил сигару, стоя на середине широкого туннеля. Бэд прошел мимо него бодро и непринужденно. «Плевать мне на него! Пусть идет за мной». Под арками моста было совершенно пусто. Только один полисмен стоял,

зевая и глядя на небо. Казалось, что идешь среди звезд. Внизу улицы разбегались во все стороны, унизанные огнями фонарей между черноокон-ными глыбами домов. Река мерцала внизу, как Млечный Путь наверху. Пучок огня на буксире безмолвно, мягко скользнул во влажную темноту. Автомобиль пронесся по мосту, сотрясая звоном разбитого банджо стальные стропила и паутину кабелей.

Дойдя до решетки воздушной дороги на той стороне моста, он повернул обратно. Все равно куда идти, теперь все равно некуда идти. Краешек синей ночи за его спиной побагровел, как багро-веет железо на наковальне. За черными трубами и линией крыш засияли бледно-розовые контуры загородных строений. Мрак становился жемчуж-ным, теплым. «Все они сыщики и охотятся за мной, все эти люди в котелках, бродяги с Баури, старухи в кухнях, трактирщики, трамвайные кондукторы, фараоны, девки, матросы, грузчики, швейцары… Так я и скажу ему, вшивому бродяге, где у старика лежат деньги!.. Один против всех. Один против всех этих проклятых сыщиков». Ре-ка была гладкая, ровная, как сине-стальной ствол ружья. Все равно куда идти, теперь все равно некуда идти. Тени между верфями и зданиями

были рассыпчаты, как синька. Мачты окаймляли реку; дым, пурпурный, шоколадный, мясисто-розовый, карабкался к свету. Теперь все равно некуда идти.

Во фраке с золотой цепочкой, с красной печаткой на пальце, он едет венчаться, сидя в карете рядом с Мэри Саккет, он едет в карете, запряженной четверкой белых лошадей, в ратушу, где мэр назначит его олдерменом; и свет сияет все ярче и ярче, он едет в шелку и бархате венчаться, он едет на розовом плюше в белой карете с Мэри Саккет, между шпалерами людей, которые машут сигарами, кланяются, бросают в воздух коричневые котелки, олдермен Бэд едет в карете, полной бриллиантов, со своей невестой-миллионершей… Бэд сидит на перилах моста. Солнце взошло за Бруклином. Окна Манхэттена охвачены пламенем. Он дергается вперед, скользит, висит на одной руке, солнце — в глаза. Вопль застревает у него в гортани, когда он падает.

Капитан буксира «Пруденс» Мак-Эвой стоял на капитанском мостике, положив руку на штурвал. В другой руке он держал кусочек бисквита, который он только что окунул в кофе; кофейная чашка стояла на полке подле нактоуза. Он был хорошо сложенный мужчина с густыми бровями

и пушистыми, черными, нафабренными усами. Он собирался было положить в рот кусок пропитанного кофе бисквита, как вдруг что-то черное с гулким всплеском упало в воду в нескольких ярдах от парохода. Тотчас же человек, высунувшийся из машинного отделения, закричал: «Кто-то спрыгнул с моста!»

— Будь он проклят! — сказал капитан Мак-Эвой, роняя бисквит и хватаясь за штурвал.

Течение швыряло пароход, как соломинку. В машинном отделении трижды прозвонил колокол. Негр побежал на нос с багром в руках.

— Помоги ему, Рыжий! — крикнул капитан Мак-Эвой.

После долгой возни они вытащили на палубу что-то длинное, черное, неподвижное. Колокол. Капитан Мак-Эвой, хмурясь и волнуясь, выровнял нос и вновь повел буксир по течению.

— Жив, Рыжий? — спросил он хрипло.

Лицо у негра было зеленое, его зубы стучали.

— Нет, сэр, он себе начисто свернул шею, — медленно ответил рыжий.

Капитан Мак-Эвой забрал усы в рот.

— Будь он проклят! — пробурчал он. — Нечего сказать, приятный сюрприз — как раз в день моей свадьбы.

Часть вторая

I. Великая дева на белом коне

Утро грохочет вместе с первым поездом на Аллен-стрит. Дневной свет гулко пробивается в окна, встряхивая старые кирпичные дома, осыпая стропила воздушной дороги ярким конфетти. Кошки убегают с помойных ям, клопы прячутся в стенные щели, покидая потные тела, покидая грязные, нежные шейки спящих детей. Мужчины и женщины копошатся под одеялами и простынями на матрацах в углах комнат, клубки малышей начинают расползаться, крича и брыкаясь.

На углу Ривертона старик с бородой из пакли, спящий неизвестно где, выставляет свой ларек. Кадки с огурцами, индейский перец, дынные корки, пикули пахнут влажной, острой и пряной зеленью — кажется, что из постельной прели и мерзкого гуда просыпающейся булыжной улицы возникает болотистый сад. Старик с бородой из пакли, спящий неизвестно где, сидит среди всего этого, как

Джимми Херф поднялся по четырем скрипучим ступенькам и постучал в белую дверь. Дверь была испятнана пальцами вокруг ручки, над которой висела карточка, аккуратно прикрепленная медными кнопками: «Сондерленд».

Он долго ждал около бутылки с молоком, двух бутылок со сливками и номера воскресной газеты. За дверью послышались шаги и шорох, затем все стихло. Он нажал белую кнопку на дверном косяке.

— А он говорит: «Марджи, у меня было ужасное столкновение из-за вас». А она говорит: «Войдите же, что вы стоите на дожде, вы совсем мокрый...»

С верху лестницы неслись голоса, показались мужские ноги в ботинках на пуговках, женские ноги в лодочках, розовые шелковые икры. Девица — в пышном платье и светлой шляпе, молодой человек — в жилете с белой каймой и пестром сине-зелено-лиловом галстуке.

— Ну, вы-то не из таких!

---

108 Примечания: 108

Ривертон (Ривингтон) — улица в восточной части Нижнего Манхэттена (Лоуэр Ист Сайд), известной на рубеже веков как еврейский квартал, район синагог и магазинов, принадлежавших еврейским семьям. Позднее — район иммигрантов из Восточной Европы. *Иона* — один из двенадцати пророков.

— Откуда вы знаете, из каких я?

Голоса замерли в низу лестницы. Джимми Херф позвонил еще раз.

— Кто там? — раздался в щелку шепелявый женский голос.

— Я хочу видеть мисс Принн.

Мелькнуло синее кимоно и пухленькое личико.

— Я не знаю, встала ли она.

— Она сказала, что будет готова.

— Подождите, пожалуйста, минутку, пока я убегу, — прощебетали за дверью, — а потом входите. Миссис Сондерленд думала, что это пришли за квартирной платой. Иногда за квартирной платой приходят в воскресенье, чтобы застать врасплох.

Жеманная улыбка перекинулась мостиком в щелке.

— Взять с собой молоко?

— Спасибо. Присядьте, пожалуйста, в передней, я сейчас позову Рут.

Передняя была очень темная, пахла сном, зубной пастой и вазелином. В углу стояла складная кровать, еще носившая отпечаток лежавшего на ее смятых простынях тела. Соломенные шляпы, шелковые манто и несколько мужских пальто

болтались в беспорядке на оленьих рогах вешалки. Джимми снял с качалки лифчик и сел. Из соседних комнат просачивались женские голоса, тихий шорох одевающихся людей и шелест воскресной газеты.

Дверь ванной открылась. Луч солнечного света, отраженного зеркалом, разрезал пополам темную переднюю; на фоне его возникли волосы, похожие на медную проволоку, темно-синие глаза, хрупкий, белый овал лица. В глубине передней волосы стали каштановыми; под ними — гибкая спина в желтом халате, розовые пятки, вылезающие при каждом шаге из ночных туфель.

— Ау, ау, Джимми! — запищала за дверью Рут. — Только не смотрите ни на меня, ни на мою комнату.

Голова в папильотках высунулась, как голова черепахи.

— Хелло, Рут.

— Можете войти, если обещаете не смотреть. Мы обе ужасно выглядим — и я и комната. Я сейчас причешусь. Тогда я буду совсем готова.

Маленькая серая комнатка была набита платьями и фотографиями артистов. Джимми стоял спиной к двери. Что-то шелковое, висевшее на гвозде, щекотало ему уши.

— Ну, как поживаете, господин репортер?

— Так себе… А вы уже нашли работу, Рут?

— М-м… Кое-что, может быть, выйдет на этой неделе. Но вероятнее всего — ничего. Я начинаю отчаиваться, Джимми.

Она тряхнула каштановой головой — папильотки вылетели; она стала причесываться. У нее было бледное, удивленное лицо с большим ртом и синими веками.

— Я помнила, что мне сегодня утром надо пораньше встать и быть готовой, но я никак не могла себя заставить. Так не хочется вставать, когда нет работы… Иногда мне кажется, что я лягу в кровать и буду лежать в ней до конца мира.

— Бедная старушка Рут!

Она бросила в него пуховку, осыпавшую его галстук и отвороты синего пиджака пудрой.

— Какая я вам старушка, крыса вы этакая!

— Ну вот, вы все погубили. А я так трудился, чтобы быть респектабельным… Ах вы чертенок!

Рут откинула голову и визгливо расхохоталась.

— Какой вы смешной, Джимми! Смахните пудру метелочкой.

Покраснев, он сдувал пудру с подбородка и галстука.

— Что это за забавная девушка открыла мне

дверь?

— Тс, за перегородкой все слышно. Это Касси, — шепнула она, хихикая, — Кассандра Вилкинс… танцует в труппе Моргана. Не надо смеяться над ней, она очень славная. Я ее очень люблю. — Она рассмеялась. — Вы душка, Джимми. — Она вскочила и ущипнула его за руку. — Я с вами всегда веду себя как сумасшедшая.

— Это от Бога… А знаете что? Я ужасно голоден. Я шел к вам пешком.

— Который час?

— Второй.

— О Джимми, я не знаю, куда девать время… Нравится вам эта шляпа?.. Да, совсем забыла сказать: я вчера была у Харрисона. Это прямо ужасно… Хорошо еще, что я успела подскочить к телефону и пригрозить, что вызову полицию.

— Посмотрите-ка на ту женщину напротив. У нее лицо совсем как у ламы.

— Я из-за нее должна весь день держать ставни закрытыми.

— Почему?

— О, вы еще слишком молоды для таких вещей. Вы будете шокированы, Джимми.

Рут наклонилась к зеркалу и намазала губы.

— Меня столь многое шокирует, что это уже не

имеет значения. Однако идем на улицу. Светит солнышко, люди идут из церкви домой, чтобы нажраться и почитать в воскресной газете про каучуковые плантации.

— Ах, Джимми, вы такой непоседа… Подождите минутку. Смотрите, вы зацепились за мой лучший шарф.

Девица с короткими черными кудряшками, в желтом джемпере, убирала в передней складную кровать. Под слоем розоватой пудры и румян Джимми не сразу узнал лицо, которое он видел в щелку двери.

— Хелло, Касси… Извините, мисс Вилкинс, разрешите представить вам мистера Херфа… Расскажи ему про женщину — знаешь, ту, что напротив… Сафо…

Кассандра Вилкинс надулась и зашепелявила:

— Разве она не увасна, мистер Херф? Она говорит уваснейшие вещи.

— Она просто дразнит вас.

— О, Херф, я так вада, что наконец-то познакомилась с вами. Вут столько гововила мне о вас… Может быть, несквомно с моей стовоны гововить это… Я увасно несквомная.

В конце передней приоткрылась дверь, и Джимми увидел белолицего человека с крючковатым

носом; рыжие волосы вошедшего торчали двумя неровными пучками по обе стороны прямого пробора. На нем были красные сафьяновые туфли и зеленый шелковый халат.

— Ну как, Кассандра? — спросил он. — Какие предсказания сегодня?

— Ничего, квоме телегваммы от миссис Фитц-симонс Гвин. Она хочет, чтобы я завтва пвиехала к ней в Скавсдейл погововить о ваботе в новом театве. Ах да, пвостите — мистев Хевф, мистев Оглтовп.

Рыжеволосый человек поднял одну бровь, опустил другую и протянул Джимми вялую руку.

— Херф, Херф… Дайте-ка вспомнить… Вы не из штата ли Джорджия? В Атланте есть старинная семья Херф…

— Нет, я думаю, что я не из тех.

— Очень жаль. Когда-то мы с Джозией Херфом были добрыми друзьями. Теперь он председатель Первого национального банка и один из самых уважаемых граждан Скрентона в Пенсильвании, а я… я только лицедей, скоморох, раскрашенная кукла. — Он пожал плечами, и его халат распахнулся, обнажив плоскую, гладкую, безволосую грудь.

— Знаете, мы с мистевом Оглтовпом исполняем

«Песнь Песней».[109] Он читает текст, а я интевпветивую его танцами. Вы должны обязательно пвийти к нам на вепетицию.

— «Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями…»

— Ой, только тепевь не начинайте! — Она хихикнула и сжала колени.

— Джоджо, закрой дверь, — раздался из соседней комнаты спокойный, глубокий женский голос.

— О, бедная, дорогая Элайн, она хочет спать… Очень приятно было с вами познакомиться, мистер Херф.

— Джоджо!

— Да, моя дорогая!

Несмотря на одолевавший его свинцовый сон, Джимми вздрогнул, услышав этот голос. Он молча стоял против Касси в темной передней. Откуда-то доносился запах кофе и жженых сухарей. Рут появилась позади них.

— Ну, Джимми, я готова. Не забыла ли я чего?

— Это безразлично, я умираю от голода. —

---

109 Примечания: 109

«Песнь Песней» — собрание еврейских лирических песен, одна из глав Ветхого Завета Библии. Основная тема «Песни Песней» — пылкая, чувственная любовь.

Джимми взял ее за плечи и мягко подтолкнул к выходу. — Уже два часа.

— Ну, до свиданья, Касси, дорогая. Я позвоню тебе около шести.

— Очень ховошо, Вут… Так вада, что познакомилась с вами, мистер Хевф…

Дверь заглушила шепелявый смех Касси.

— Ох, и неспокойная же у вас квартира, Рут!

— Джимми, вы брюзжите оттого, что вы голодны.

— Скажите-ка, Рут, что это за тип — этот мистер Оглторп? Ничего подобного я в жизни не видал.

— Разве Огл тоже выполз из своей норы? — Рут рассмеялась.

Они вошли в полосу солнечного света.

— А он рассказывал вам, что он, знаете ли, прямой потомок Оглторпов из Джорджии?

— А та прелестная женщина с медными волосами — его жена?

— У Элайн Оглторп рыжие волосы. И вовсе она не прелестная. Она еще ребенок, а держится как царица. Это потому, что она имела успех в «Персиковом бутоне». А в сущности она плохая актриса.

— Какой позор иметь такого мужа!

— Огл делает для нее все на свете. Если бы не

он, она все еще была бы хористкой.

— Красотка и чудовище…

— Вы лучше поберегитесь, чтобы он не воспылал к вам нежными чувствами.

— Почему?

— Он «такой», Джимми, он «такой».

Воздушный поезд пронесся над ними, заслонив солнечный свет. Джимми смотрел на беззвучно шевелившиеся губы Рут.

— Пойдем позавтракаем у Кэмпеса, а потом погуляем в парке! — прокричал он сквозь стихающий грохот.

— Чудесно!

Она, хохоча, взяла его под руку. Ее серебряная сумочка билась об его локоть.

— Ну а Касси, таинственная Кассандра?

— Не надо смеяться над ней, она душка. Если, бы только она не возилась со своим ужасным белым пуделем! Она держит его в своей комнате. Его никто не выводит, и он ужасно воняет. Ее комната рядом с моей… И потом, у нее есть друг сердца… — Рут хихикнула. — Он еще хуже, чем пудель. Они помолвлены, и он забирает у нее все деньги. Только, ради Бога, никому не говорите.

— Мне некому говорить.

— Потом, у нас есть еще миссис Сондерленд…

— Я мельком видел ее, когда она шла в ванную, — такая старая дама в розовой накидке и в ватном капоте…

— Джимми, вы шокируете меня! У нее все зубы вставные и… — начала Рут.

Промчавшийся над ними поезд не дал ей кончить фразу. Захлопнувшаяся дверь ресторана обрезала грохот колес.

Оркестр играл «Когда в Нормандии цветут яблони». Ресторан был полон дымных солнечных лучей, бумажных фестонов и плакатов, возвещавших: «Ежедневно свежие омары», «Отведайте наших изумительных французских устриц (одобр. департаментом земледелия)». Они сели под красным плакатом «Бифштексы — наверху».

— Джимми, как вы думаете, это безнравственно — позавтракать устрицами? Но прежде всего я хочу кофе, кофе, кофе.

— А я не прочь съесть бифштекс с луком.

— Нет уж, пожалуйста, если вы намерены провести со мной день, мистер Херф!

— Подчиняюсь, Рут, и кладу лук к вашим ногам.

— Это отнюдь не значит, что я разрешу вам поцеловать меня. — Рут прыснула.

Джимми побагровел.

— Я вас об этом и не прошу, мадам.

Солнечный свет капал на ее лицо сквозь маленькие дырочки в полях соломенной шляпы. Она шла быстрыми, слишком частыми из-за узкой юбки шагами. Сквозь тонкий шелк солнечные лучи щекотали ее спину, точно человеческая рука. В тяжелом зное улицы, магазины, люди в воскресных костюмах, соломенные шляпы, зонтики, трамваи, таксомоторы мчались на нее, ослепляя ее острым режущим блеском, точно она проходила мимо кучи металлических отбросов. Она шла на ощупь в путанице пыльного, иззубренного, ломкого шума.

По Линкольн-сквер в уличной толчее медленно ехала девушка верхом на белой лошади. Ее каштановые волосы ниспадали ровными, поддельными волнами на белый конский круп и на золоченое седло, на котором зелеными и красными буквами было написано «Антиперхотин». На ней была зеленая шляпа с ярко-красным пером; одна рука в белой перчатке небрежно держала повод, другая играла хлыстом с золотым набалдашником.

Эллен посмотрела ей вслед, потом пошла по направлению к парку. Мальчики, игравшие в бейсбол, пахли сожженной солнцем, истоптан-

ной травой. Все скамейки в тени были заняты. Когда она переходила автомобильную дорогу, ее острые французские каблуки вязли в асфальте. На скамейке на солнце развалились два матроса; один из них щелкнул языком, когда она проходила, она чувствовала, как их голодные глаза колют ей шею, бедра, лодыжки. Она постаралась не качать на ходу бедрами. Листва на молодых деревьях по обе стороны аллеи съежилась. С юга и востока облитые солнцем дома наступали на парк, на западе они были лиловыми от тени. Все было душно, пыльно, потно, стиснуто полисменами и воскресными платьями. Почему она не поехала по воздушной дороге? Она посмотрела в черные глаза молодого человека в соломенной шляпе, который медленно ехал вдоль тротуара в открытом автомобиле. Его глаза мигнули, он откинул голову, улыбнулся опрокинутой улыбкой и вытянул губы так, что они, казалось, достали до ее лица. Он дернул рукоятку тормоза и открыл свободной рукой дверцу. Она отвела глаза, вздернула подбородок и пошла дальше. Два голубя с металлически-зелеными шеями вспорхнули у нее из-под ног. Старик учил белку выуживать орехи из бумажного картуза.

«Вся в зеленом, на белом коне скачет дивная де-

ва ко мне… Дзин-дзин антиперхотин… Годива[110] в пышной мантии волос…»

Памятник генералу Шерману[111] перебил ее. Она остановилась на секунду, чтобы посмотреть на площадь, сверкавшую перламутром… Да, это квартира Элайн Оглторп… Она села в автобус, который шел на площадь Вашингтона. Воскресная, полуденная Пятая авеню пролетала, розовая, пыльная, стремительная. По теневой стороне шел человек в цилиндре и сюртуке. Зонтики, летние платья, соломенные шляпы сверкали на солнце, которое ложилось пламенными квадратами на нижние окна домов, играло яркими бликами на лаке лимузинов и такси. Пахло бензином и асфальтом, мятой, тальком и духами от парочек, которые прижимались друг к другу все теснее и теснее на скамьях автобуса. В пролетевшей

---

110 Примечания: 110

Леди Годива — жена Леофрика, графа Мерсийского. Была известна своими пожертвованиями монастырям, особенно монастырю в Ковентри, который она и ее муж основали в 1043 г. Легенда гласит, что в 1040 г. граф Леофрик согласился освободить от высоких налогов жителей Ковентри, если его жена обнаженной проедет через город на белом коне. Леди Годива выполнила условие мужа, проскакав по улицам и закрываясь своими длинными волосами.

111 Примечания: 111

Памятник генералу Шерману… — Генерал Уильям Шерман (1820—1891) — герой гражданской войны, известный своими победами в Джорджии и взятием Атланты. Памятник ему установлен в 1903 г. на Шерман-сквер, рядом с которой находился его дом.

витрине — картины, карминовые портьеры, лакированные старинные стулья за цельным стеклом. Магазин Шерри. Ее сосед был в гетрах и лимонных перчатках — наверно, приказчик. Когда они проезжали мимо церкви Святого Патрика, на нее пахнуло ладаном из высоких, открытых в темноту дверей. Дельмонико. Рука молодого человека, сидевшего напротив нее, блуждала по узкой, серой фланелевой спине сидевшей рядом с ним девицы.

— Да, бедняге Джо не повезло — пришлось ему жениться на ней. А ему только девятнадцать лет.

— А по-твоему, это большое несчастье?

— Миртл, я ведь не нас имел в виду.

— Держу пари, что именно нас. Ну ладно, а ты видел девочку?

— Я уверен, что это не от него.

— Что?

— Ребенок.

— Билли, какие гадости ты говоришь.

Сорок вторая улица. Клуб союзной лиги.[112]

— Очень интересное было собрание… очень интересное… Был весь город… Говорили прекрасные

---

112 Примечания: 112

Клуб союзной лиги — один из элитарных клубов Нью-Йорка. Здание клуба, находившееся на Мэдисон-авеню в начале века, архитектурная достопримечательность города, в настоящее время снесено.

речи, я даже вспомнил прежние времена, — проскрипел интеллигентный голос над ее ухом.

«Уолдорф Астория».[113]

— Хорошенькие флаги, Билли, правда?

— Вон тот, смешной, — это сиамский, потому что в гостинице живет сиамский посланник. Я прочел сегодня утром в газете.[114]

«Когда, любовь моя, с тобою — час расставания пробьет — прильну последним поцелуем — к твоим губам… поцелуем волнуем почуем… с тобою голубою прибою… Когда, любовь моя, с тобою…»

Восьмая улица. Она сошла с автобуса и вошла в кафе «Бревурт». Джордж сидел спиной ко входу, щелкая замком портфеля.

— Ну и поздно же вы, Элайн! Немного нашлось бы охотников сидеть и ждать вас три четверти часа.

— Джордж, вы не должны бранить меня. Я получила большое удовольствие. Мне много лет уже не было так хорошо. Я весь день принадлежала

---

113 Примечания: 113

«Уолдорф-Астория» — фешенебельный одиннадцатиэтажный отель в Среднем Манхэттене, принадлежавший миллионеру Уильяму Уолдорфу Астору. Был открыт в 1893 г.

114 Примечания: 114

Дос Пассос имеет в виду сообщение, напечатанное 28 ноября 1913 г. в «Нью-Йорк таймс», о прибытии в Нью-Йорк вновь назначенного сиамского министра.

самой себе. Я шла пешком от Сто пятой улицы до Пятьдесят девятой через парк. Я встретила массу забавных людей.

— Вы, наверно, устали? — Его худое лицо с блестящими глазами в паутине тонких морщин надвинулось на нее, точно бушприт корабля.

— Вы, вероятно, весь день были в конторе, Джордж?

— Да, рылся в делах. Я ни на кого не могу положиться, даже в мелочах. Все приходится делать самому.

— Знаете, я заранее знала, что вы это скажете.

— Что?

— Что вы ждали три четверти часа.

— Вы слишком много знаете, Элайн… Хотите пирожного к чаю?

— О, в том-то и несчастье, что я ничего не знаю… Я хочу лимонаду.

Вокруг них звенели стаканы. Лица, шляпы, бороды колыхались в синем папиросном дыму, отражались в зеленоватых зеркалах.

— Но, дорогой мой, это та же старая история. В отношении мужчины это, может быть, и правильно, но в женщине это ничего не определяет, — гудела женщина за соседним столиком.

— Ваш феминизм вырастает в преграду, ко-

торую невозможно перешагнуть, — отвечал тусклый, робкий мужской голос. — А что, если я эгоист? Видит Бог, сколько я выстрадал…

— Это очистительный огонь, Чарли…

Джордж говорил, стараясь поймать ее взгляд:

— Как поживает очаровательный Джоджо?

— Не будем говорить о нем.

— Чем меньше разговору о нем, тем лучше, а?

— Джордж, я не хочу, чтобы вы издевались над Джоджо. Худой ли, хороший ли, но он мой муж до тех пор, пока мы не разойдемся. Нет-нет, я не хочу, чтобы вы смеялись! Как хотите, но вы слишком грубый и простой человек, чтобы понимать его. Джоджо — очень сложная, пожалуй, даже трагическая натура.

— Ради Бога, не будем говорить о мужьях и женах! Важно только то, маленькая Элайн, что мы сидим вместе и что никто нам не мешает. Пожалуйста, когда мы увидимся снова, по-настоящему, реально?

— Не будемте такими реальными, Джордж. — Она тихо рассмеялась в свою чашку.

— Но мне так много надо сказать вам. Я хочу спросить вас о многом, многом.

Она глядела на него, смеясь, держа надкусанный кусочек вишневого торта розовыми

пальцами — указательным и большим.

— Вы так же разговариваете с каким-нибудь несчастным грешником, дающим свидетельские показания? По-моему, скорее надо так: где вы были ночью тридцать первого февраля?

— Я говорю серьезно. Вы не понимаете этого или не хотите понять.

Молодой человек остановился у их стола, слегка покачиваясь, упорно глядя на них.

— Хелло, Стэн! Откуда вы взялись? — Болдуин смотрел на него не улыбаясь.

— Я знаю, мистер Болдуин, это очень нескромно, но разрешите мне присесть на минутку к вашему столу. Меня тут ищет один человек, с которым мне не хочется встречаться. О Господи, тут зеркало… Впрочем, меня не заметят, если увидят вас.

— Мисс Оглторп, позвольте вам представить Стэнвуда Эмери, сына старшего компаньона нашей фирмы.

— Как это чудесно, что я познакомился с вами, мисс Оглторп. Я видел вас вечером, но вы меня не видели.

— Вы были в театре?

— Я чуть не перепрыгнул через рампу. Вы были так очаровательны!

У него была красновато-коричневая кожа; робкие глаза, посаженные слишком близко к острому, слегка выгнутому носу, большой, беспокойный рот, волнистые каштановые взъерошенные волосы. Эллен смотрела то на него, то на другого, внутренне посмеиваясь. Все трое застыли на своих местах.

— Я видела сегодня девицу с «Антиперхотином», — сказала она. — Она произвела на меня большое впечатление. Именно так я представляла себе «Великую Деву на белом коне».

— «На пальцах перстни, на ногах бубенцы, и несет она гибель во все концы», — отчеканил Стэн одним духом.

— Кажется, музыка заиграла! — рассмеялась Эллен. — Действительно, гибель пришла.

— Ну, что слышно в университете? — спросил Болдуин сухим, неприязненным тоном.

— Вероятно, он стоит на месте, — сказал Стэн, вспыхнув. — Я желаю ему сгореть до моего возвращения. — Он встал. — Простите мое нескромное вторжение, мистер Болдуин.

Когда он, повернувшись, наклонился к Эллен, на нее пахнуло запахом виски.

— Пожалуйста, простите меня, мисс Оглторп.

Она инстинктивно протянула ему руку; сухие,

тонкие пальцы крепко сжали ее. Он отошел, пошатываясь, налетев по дороге на лакея.

— Я не могу понять этого дьявольского молодого щенка! — разразился Болдуин. — У бедного старика Эмери разрывается сердце. Он чертовски умен, у него сильная индивидуальность и все такое прочее, но он ничего не делает — только пьет и скандалит… Мне кажется, что ему нужно было бы начать работать и постичь значение ценностей. Слишком много денег — вот несчастье всех этих студентиков… Ну, слава Богу, Элайн, мы опять одни. Я работал беспрерывно всю мою жизнь с четырнадцати лет. Теперь пришло время отдохнуть. Я хочу жить, путешествовать, думать и быть счастливым. Я больше не в силах переносить такой темп жизни. Я хочу научиться играть, ослабить напряжение… Вот в какой момент вы вошли в мою жизнь.

— Но я не хочу быть сторожем при вашем предохранительном клапане. — Она рассмеялась и уронила ресницы.

— Поедем вечером куда-нибудь за город. Я весь день задыхался в конторе. Терпеть не могу воскресенья.

— А моя репетиция?

— Вы можете захворать. Я вызову по телефону

автомобиль.

— Смотрите — Джоджо! Хелло, Джоджо! — Она помахала перчатками.

Джон Оглторп, с напудренным лицом, со ртом, аккуратно сложенным в улыбку над стоячим воротником, лавировал между столиками, протягивая руку, облитую желтой перчаткой с черными полосками.

— Здравствуй, дорогая. Какой приятный сюрприз!

— Вы не знакомы? Мистер Болдуин…

— Простите, если я помешал… э… вашему tête-â-tête.

— Ничего подобного! Садись, выпьем чего-нибудь. Я как раз до смерти хотела тебя видеть, Джоджо… Кстати, если тебе сегодня вечером не предстоит ничего более интересного, забеги на несколько минут в театр. Я бы хотела узнать твое мнение о моей новой роли.

— Разумеется, дорогая. Что может быть приятнее для меня?

Напрягаясь всем телом, Джордж Болдуин откинулся назад и сплел руки за спинкой стула.

— Человек… — Он отрывал слова, точно куски металла. — Три рюмки шотландского, пожалуйста.

Оглторп уперся подбородком в серебряный набалдашник трости.

— Доверие, Болдуин, — заговорил он, — доверие между мужем и женой — чудесная вещь. Пространство и время бессильны против него. Если бы кто-нибудь из нас уехал в Китай на тысячу лет, то это ни чуточки не отразилось бы на нашей взаимной привязанности.

— Понимаете, Джордж, все дело в том, что Джоджо в юности слишком много читал Шекспира… Ну, мне пора идти, а то Мертон опять будет ругаться… Поговорите об индустриальном рабстве… Джоджо, расскажи ему о равенстве.

Болдуин поднялся. Легкий румянец окрасил его скулы.

— Разрешите проводить вас до театра, — сказал он сквозь стиснутые зубы.

— Я никому не разрешаю провожать меня куда бы то ни было. А ты, Джоджо, пожалуйста, не напивайся, а то ты не сможешь смотреть, как я играю.

Пятая авеню была розовой и белой под розовыми и белыми облаками. Легкий ветер приятно холодил лицо после нудных разговоров, табачного дыма и коктейлей. Она весело махнула рукой шоферу такси и улыбнулась ему. Вдруг она уви-

дела пару робких глаз, серьезно смотревших на нее из-под высоких бровей на коричневом лице.

— Я давно поджидаю вас. Можно мне отвезти вас куда-нибудь? Мой «форд» стоит за углом. Пожалуйста.

— Но я иду в театр. У меня репетиция.

— Тогда разрешите мне довезти вас до театра.

Она задумчиво натягивала перчатку.

— Хорошо, если это вас не затруднит.

— Чудесно. Автомобиль тут же, за углом… Не правда ли, это ужасная наглость с моей стороны? Но это другой разговор — так или иначе, я еду с вами. Мой «форд» называется «Динго», но это опять-таки особый разговор.

— Приятно все-таки встретить по-настоящему молодого человека.

Его лицо побагровело, когда он нагнулся, чтобы открыть дверцу автомобиля.

— О да, я чертовски молод.

Автомобиль зарычал и снялся с места.

— Нас, наверно, арестуют: у меня глушитель не в порядке.

На Тридцать четвертой улице они промчались мимо девушки, медленно ехавшей в уличной толчее верхом на белой лошади. Ее каштановые волосы ниспадали ровными поддельными волна-

ми на белый конский круп и на золоченое седло, на котором зелеными и красными буквами было написано «Антиперхотин».

— «Перстни на пальцах, — запел Стэн, нажимая клаксон, — на ногах звонки, и гибнет перхоть от ее руки!»

II. Длинноногий Джек с перешейка

Полдень на Юнион-плейс. Распродажа. Надо закрывать торговлю. МЫ СОВЕРШИЛИ УЖАСНУЮ ОШИБКУ. Стоя на коленях на пыльном асфальте, мальчишки чистят шнурованные башмаки, полуботинки, туфли, штиблеты на пуговках. Солнце сияет, как одуванчик, на носках вычищенной обуви. «Прямо в конец, мистер, мисс, мадам, в конец магазина, получена большая партия материй фантази, высшего качества, цены вне конкуренции… Джентльмены, миссис, леди, цены понижены!» МЫ СОВЕРШИЛИ УЖАСНУЮ ОШИБКУ. Надо закрывать торговлю.

Полуденное солнце мутно спиралит в окно ресторана. Засурдиненный оркестр спиралит «Индостан». Он ест пирожки, она ест сладости. Они танцуют с набитым ртом, мягкий синий джемпер льнет к гладкому черному пиджаку, обесцвеченные перекисью завитки — к гладкому черному пробору.

По Четырнадцатой улице — «трам-там-там, трам-там-там!» — идет Армия, шагают девицы — «трам-там-там, трам-там-там!» — по четыре в ряд, гром, лазурь, блеск, оркестр Армии Спасения.[115]

«Высшего качества, цены вне конкуренции!» Надо закрывать торговлю. МЫ СОВЕРШИЛИ УЖАСНУЮ ОШИБКУ. Надо закрывать торговлю.

«Британский пароход «Рейли» из Ливерпуля, капитан Кетлуэл; 933 кипы, 881 ящик, 10 тюков, 8 мест готовых изделий; 57 ящиков, 89 кип, 18 тюков бумажных ниток; 156 кип войлока; 4 кипы асбеста, 100 ящиков катушек…»

Джо Харленд перестал стучать на пишущей машинке и посмотрел на потолок. Кончики пальцев болели. В конторе кисло пахло клеем, бумагой и мужчиной, снявшим пиджак. Он видел в открытое окно темный кусок стены, выходившей во

---

115 Примечания: 115

Армия Спасения — международная христианская организация, открытая лицам любого вероисповедания. Основана методистским священником Уильямом Бутом в Англии в 1861 г. Цель организации — служить духовным и физическим нуждам человека. Американская ветвь Армии Спасения была образована в 1880 г.; штаб ее разместился в Нью-Йорке. Военная форма, принятая в организации, служила постоянным напоминанием о «войне со злом», которую вели ее члены, так же как традиционные пение и марши по улицам под оркестр.

двор, и какого-то человека с зеленым щитком над глазами, глядевшего бесцельно из окна. Светловолосый конторский мальчик положил записку на край его стола: «М-р Поллок хочет видеть вас в 5:10». Твердый комок застрял у него в горле: «он меня уволит». Его пальцы снова начали выстукивать.

«Голландский пароход «Делфт» из Глазго, капитан Тромп; 200 кип, 123 ящика, 14 тюков…»

Джо Харленд долго бродил по Беттери, пока не нашел свободной скамейки. Он сел на нее. Солнце тонуло в шафрановом тумане за Джерси. Ну ладно, с этим мы покончили. Он долго сидел, глядя на солнечный закат — как на картину в приемной зубного врача. Большие облака валили из труб проходившего буксира и стояли над ними, черные и пурпурные. Он смотрел на закат и ждал. У меня было восемнадцать долларов пятьдесят центов, минус шесть долларов за комнату, один доллар и восемьдесят четыре цента за стирку белья и четыре доллара пятьдесят центов — долг Чарли; стало быть, семь долларов восемьдесят четыре цента, одиннадцать долларов восемьдесят четыре цента, двенадцать долларов тридцать четыре цента вычесть из восемнадцати долларов пятидесяти центов, остается у меня шесть дол-

ларов и шестнадцать центов. Хватит на три дня до новой работы, если я обойдусь без выпивки. Господи, неужели счастье никогда мне не улыбнется? Ведь раньше везло же мне. Его колени тряслись, в желудке жгло и ныло.

Славную вы себе устроили жизнь, Джозеф Харленд. Сорок пять лет — и ни одного друга, ни одного цента.

Паруса бота казались ярко-красным треугольником в нескольких шагах от асфальтовой набережной. Молодой человек и девушка крепко прижались друг к другу, когда стройный бот проплыл мимо. Они были бронзовыми от солнца, с выгоревшими желтыми волосами. Джо Харленд закусил губы, чтобы удержать слезы, когда бот скрылся в красноватом тумане залива. Ей-богу, надо выпить.

— Разве это не преступление? Разве это не преступление? — Человек, сидевший налево от него, без конца твердил эту фразу.

Джо Харленд повернул голову — у человека было красное рябое лицо и седые волосы. Он крепко держал пальцами театральное приложение к газете.

— Молодые актрисы выступают совсем нагишом… Неужели они не могут оставить человека

в покое?

— А вы не любите рассматривать портреты актрис в газетах?

— Я вам говорю: неужели они не могут оставить человека в покое? Если у вас нет работы и нет денег — какой с них толк?

— Что вы! Очень многие любят рассматривать их изображения в газетах. Да я сам в былые дни…

— В былые дни у вас, наверно, была работа. А теперь нет, так ведь? — проворчал он свирепо.

Джо Харленд отрицательно покачал головой.

— Так на какой они черт? Пусть они оставят нас в покое. Теперь не будет работы до снегопада.

— А что вы будете делать до тех пор?

Старик не ответил. Он снова наклонился над газетой, прищурился и забормотал:

— Они совсем голые. Это преступление, говорю я вам!

Джо Харленд поднялся и пошел. Было почти темно; его колени одеревенели от долгого сидения. Он плелся и чувствовал, как тугой кушак стягивает его живот. Жалкий старый одр, тебе нужно пропустить две-три стопки, чтобы ты мог как следует поразмышлять. Кислый запах пива ударил ему в нос из-за двери. Лицо буфетчика

было похоже на шафрановое яблоко на уютной полке красного дерева.

— Стопку горяченькой!

Теплое душистое виски обожгло ему горло. Вот от этого становишься человеком! Не допив стопки, он подошел к даровому буфету и съел бутерброд с ветчиной и маслину.

— Еще стопку, Чарли! От виски становишься человеком. А я слишком на него налегал — в этом-то и все дело. Вы теперь и смотреть на меня не хотите, друзья мои, а когда-то меня называли Чародеем Уолл-стрит. Вот вам живая иллюстрация — какую роль играет удача в делах… С удовольствием, сэр, с удовольствием… Уф, от этого становишься человеком… За ваше здоровье и процветание… Я думаю, среди вас, джентльмены, нет никого, кто в свое время не потерпел бы краха. А кто из вас стал от этого умнее? Еще одна иллюстрация — какую роль играет удача в делах… Но не так было со мной, джентльмены. В течение десяти лет я вертел биржей как хотел, в течение десяти лет я не выпускал из рук телеграфной ленты. И за все десять лет я только три раза промазал, не считая последнего раза. Джентльмены, я хочу открыть вам секрет… Я открою вам очень важный секрет… Чарли, дайте моим друзьям еще

по стопке — я угощаю! И сами тоже выпейте… Джентльмены, вот вам опять иллюстрация — какую роль играет в делах удача. Джентльмены, секрет моей удачи… абсолютная истина, уверяю вас… можете проверить по газетам, журналам, речам, лекциям того времени. Один человек — он оказался гнусным шантажистом — даже написал обо мне детективный рассказ под названием «Тайна успеха». Вы можете найти его в нью-йоркской публичной библиотеке, если вам интересно. Секрет моего успеха был… Когда вы услышите, вы будете смеяться, вы скажете, что Джо Харленд пьян, что Джо Харленд — старый дурак… Да, вы это скажете… В течение десяти лет, говорю вам, я играл на разнице, покупал направо и налево предприятия, названия которых я никогда не слыхал, и всякий раз зарабатывал. Я загребал деньги кучами. Четыре банка были у меня в кармане. Потом я занялся сахаром и гуттаперчей, но это оказалось преждевременным. Вы начинаете нервничать, вам хочется узнать мой секрет, вы думаете, что сможете использовать его… Нет, не сможете… Секрет моего успеха был в синем шелковом вязаном галстуке — моя мать связала его для меня, когда я был маленьким мальчиком… Не смейтесь, будьте вы прокляты!.. Нет-нет, я

ничего… Еще одна иллюстрация — какую роль играет удача… В тот день, когда я вместе с одним молодчиком впервые решил сыграть на разнице и сунул тысячу долларов в луизвильские и нэшвильские бумаги, на мне был тот галстук. Двадцать пять пунктов в двадцать пять минут! Это было начало. Потом я начал постепенно замечать, что всякий раз, когда я не надеваю этого галстука, я теряю деньги. Когда он обносился и истрепался, я попробовал носить его в кармане. Но это не помогло. Мне приходилось надевать его, вы понимаете?.. Дальше — старая-престарая история, джентльмены… Была одна девушка — пусть Бог ее накажет — и я любил ее… Я хотел доказать ей, что нет ничего на свете, чего я не сделал бы для нее, и я подарил ей галстук. Я думал, что это шутка, и смеялся: «Ха-ха-ха!» Она сказала: «Он же дрянной, он совсем обтрепанный» — и швырнула его в огонь… Только еще одна иллюстрация… Друзья, не угостите ли вы меня стопочкой? Я сегодня случайно не при деньгах… Благодарю вас, сэр… От этого опять становишься человеком.

В переполненном вагоне подземной дороги рассыльного мальчика притиснули к спине высокой блондинки, от которой сильно пахло духами. Локти, пакеты, плечи сдвигались все теснее

при каждом толчке скрежетавшего вагона. Его пропотелая форменная фуражка сбилась на ухо. «Если бы у меня была такая дамочка! Ради такой дамочки стоит остановить поезд, потушить огни, устроить крушение… Я бы мог иметь ее, если бы у меня были деньги». Когда поезд замедлил ход, она повалилась на него, он закрыл глаза, перестал дышать, его нос расплющился об ее шею. Поезд остановился. Стремительная толпа вынесла его из вагона.

Спотыкаясь, он вышел на свежий воздух, в мерцающие глыбы света. Бродвей был полон народа. Матросы по двое и по трое стояли на углу Девяносто шестой улицы. Он съел два сандвича с ветчиной и ливерной колбасой в гастрономической лавке. У женщины за прилавком были желтые волосы, как у той блондинки в вагоне, но она была толще и старше. Дожевывая корку сандвича, он поднялся в лифте в Японский сад. Там посидел минутку перед мигающим экраном. «Пожалуй, у меня, в моем костюме рассыльного, смешной вид. Лучше убраться отсюда. Пойду разносить телеграммы».

Он затянул кушак, спускаясь по лестнице. Прошел по Бродвею до Сто пятой улицы и свернул на восток по направлению к Авеню Колумба,

внимательно рассматривая подъезды, пожарные лестницы, окна, карнизы. Вот! Только во втором этаже горел свет. Он позвонил во второй этаж. Дверная задвижка щелкнула. Он взбежал по лестнице. Женщина с бесцветными волосами и красным от кухонного жара лицом высунула голову.

— Телеграмма для Сантионо!

— Нет тут такого.

— Извините, мадам, я ошибся звонком.

Дверь захлопнулась перед его носом. Его желтое, дряблое лицо сразу напряглось. Он легко, на цыпочках взбежал на самый верх, потом вскарабкался по маленькой лестнице к чердачному окошку. Болт загремел, когда он отодвигал его. Он затаил дыханье. Взобравшись на засыпанную золой крышу, он осторожно поставил ставень на место. Трубы возвышались стройными рядами вокруг него, черные на сияющем фоне улиц. Он ползком пробрался к заднему фасаду дома и спустился по желобу на пожарную лестницу. Его нога задела цветочный горшок, когда он дополз до цели, Кругом было темно. Он пролез через окно в душную, пахнущую женщиной комнату, просунул руку под подушку неубранной кровати, обшарил письменный стол, рассыпал

пудру, выдвинул ящик, нащупал часы, накололся пальцем на булавку. Брошь… А вот что-то есть в углу. Кредитки, пачка кредиток. Надо уходить. По пожарной лестнице в нижний этаж. Света нет. Опять открытое окно. Плевое дело! Такая же комната, пахнет собакой и ладаном. Он увидел свое смутное отражение в стекле бюро, попал рукой в банку с кольдкремом, вытер ее о брюки. Черт! Что-то мягкое и пушистое с визгом выскочило у него из-под ног. Он стоял, дрожа, посредине тесной комнаты. Маленькая собачка громко скулила в углу.

Свет качнулся в комнату. Женщина стояла на пороге, направив на него револьвер. За ней виден был силуэт мужчины.

— Что вы тут делаете? Да ведь это рассыльный…

Свет сплел медную паутину вокруг ее головы, очертил тело под красным шелковым кимоно. Мужчина был молод, строен, темен. Его рубашка была расстегнута.

— Ну, что же ты тут делаешь?

— О, мадам… Это я от голода. У меня старуха-мать умирает.

— Ну разве это не удивительно, Стэн? Хорош громила! — Она подняла револьвер. — Иди за

мной в переднюю.

— Хорошо, мисс, все, что вы велите, мисс, только не выдавайте меня фараонам. Подумайте о моей старушке матери!

— Хорошо, но если ты взял что-нибудь, отдай обратно.

— Честное слово, я ничего не успел взять!

Стэн упал в кресло, заливаясь смехом.

— Ловкая же ты, Элли! Никогда не думал, что ты на это способна.

— Да ведь я играла эту роль все прошлое лето… Отдай твой револьвер.

— У меня нет никакого револьвера, мисс.

— Ну ладно, хоть я и не верю тебе, но, так и быть, отпущу.

— Да благословит вас Бог!

— Но ведь ты зарабатываешь что-нибудь, раз ты рассыльный?

— Меня прогнали на прошлой неделе, мисс. Только голод заставил меня…

Стэн поднялся.

— Дадим ему доллар, и пусть он убирается к черту.

Когда он уже стоял на пороге, она протянула ему доллар.

— Вы — ангел, — сказал он, задыхаясь.

Он схватил руку, державшую доллар, и поцеловал ее; склонившись над рукой, целуя ее мокрым поцелуем, он уловил кусочек тела под мышкой в прорези широкого шелкового рукава. Когда он, все еще дрожа, спускался по лестнице, то оглянулся и увидел, что девушка и мужчина стоят, обнявшись, и смотрят ему вслед. Глаза его были полны слез. Он сунул доллар в карман.

«Паренек, если ты и дальше будешь так падок на женщин, то ты очутишься в той славной гостинице на реке…[116] А все-таки она душка!» Тихо посвистывая, он дошел до станции и сел в поезд воздушной дороги. Время от времени он ощупывал задний карман, где лежала пачка кредиток.

Он взбежал на третий этаж. Пахло жареной рыбой и газом. Он позвонил три раза у грязной стеклянной двери. Подождав несколько секунд, тихо постучал.

— Это ты, Майк? — послышался женский голос.

— Нет, это Ники Шатц.

Женщина с острым лицом и крашеными волосами открыла дверь. На ней было меховое пальто поверх гофрированного нижнего белья.

---

116 Примечания: 116

Имеется в виду городская тюрьма, расположенная на Райкерз Айленд — одном из островов Ист-ривер.

— Как дела, мальчик?

— Представь себе, шикарная дама поймала меня за работой. И как ты думаешь, что она сделала?

Возбужденно говоря, он последовал за женщиной в столовую с облупленными стенами. На столе стояли стаканы и бутылка виски.

— Она дала мне доллар и посоветовала стать пай-мальчиком.

— Черт ее побери!

— Вот часы.

— Это «Ингерсол». Какие это к черту часы!

— Хорошо, тогда посмотри-ка на это. — Он вытащил пачку кредиток. — Это не добыча, а? Да тут тысячи!

— Дай посмотреть. — Она выхватила у него кредитки; глаза ее засверкали. — Ты осел! — Она бросила кредитки на пол и заломила руки. — Ведь это же бутафорские деньги! Это бутафорские деньги, театральные деньги, телячья голова, дурак проклятый…

Они сидели рядышком на краю кровати и хохотали. Душная комната была пропитана вялым благоуханием чайных роз, стоявших в вазе на бюро. Повсюду была разбросана одежда и шелковое белье. Их объятия становились все теснее.

Внезапно он высвободился и нагнулся, чтоб поцеловать ее в губы.

— Громила, — сказал он беззвучно.

— Стэн…

— Элли…

— Я думала, что это Джоджо, — шепнула она хрипло. — Это похоже на него — подкрасться тайком.

— Элли, я не понимаю, как ты можешь жить с ним и со всеми этими людьми? Ты, такая очаровательная… Я не представляю себе тебя в этой среде.

— Было довольно легко до тех пор, пока я не встретила тебя… В сущности, Джоджо хороший. Он только не совсем обыкновенный и очень несчастный человек.

— Но ты совсем из другого мира, детка. Ты должна жить на крыше дома Вулворт[117] в хоромах из хрусталя и вишневых цветов.

— Стэн, какая у тебя коричневая спина.

— Это от купания.

— Так рано?

---

117 Примечания: 117

Путеводитель по Нью-Йорку так описывает это здание: «Часто осуждаемый за голубые готические детали и одновременно черно-угольную готическую корону, этот совершенный, вытянутый в струну дом — один из самых внушительных небоскребов Нью-Йорка. Поднявшийся на высоту 800 футов, он — парит…»

— Вероятно, осталось от прошлого лета.

— Ты счастливец! Я никак не могу научиться прилично плавать.

— Я научу тебя. Слушай, в ближайшее ясное воскресенье мы встанем рано и поедем в моем «Динго» на Лонг-Бич. Там в конце пляжа никого не бывает. Не надо даже надевать купальный костюм.

— Мне нравится, что ты такой худой и твердый, Стэн. Джоджо — белый и мягкий, почти как женщина…

— Ради Христа, не говори ты про него теперь! — Стэн стоял, расставив ноги, застегивая рубашку. — Элли, пойдем куда-нибудь, выпьем… знаешь, я теперь ни с кем не могу встречаться и врать… Клянусь Богом, я кого-нибудь отколочу стулом.

— У нас есть время. Никто не придет домой раньше двенадцати… Я сама дома, потому что у меня головная боль.

— Элли, ты любишь свою головную боль?

— До безумия, Стэн.

— Наверно, тот несчастный громила это знал… Черт побери!.. Налет, адюльтер, пожарные лестницы, водосточные трубы. Роскошная жизнь!

Когда они, шагая в такт, спускались с лестницы,

Эллен крепко сжала его руку. У почтового ящика в грязном вестибюле он внезапно схватил ее за плечи, откинул назад ее голову и поцеловал в губы. Тяжело дыша, они шли по направлению к Бродвею. Он держал ее под руку; локтем она крепко прижимала его руку к своим бедрам. Как бы сквозь толстые стекла аквариума она смотрела на лица, на фрукты в витринах, на консервные банки, на кадки с маслинами, на цветы, на пробегающие электрические рекламы. Когда они пересекали улицы, в лицо ей дышал свежий воздух с реки. Беглые, яркие взгляды из-под соломенных шляп, подбородки, тонкие губы, толстые губы, губы бантиком, голодные тени под скулами, лица девушек и молодых людей бились об нее, как мотыльки, пока она шла рядом с ним одинаковым шагом в звенящую желтую ночь.

Они сели где-то за стол. Гремел оркестр.

— Нет, Стэн, я ничего не буду пить. Пей ты.

— Элли, разве ты не чувствуешь себя так же хорошо, как я?

— Еще лучше… Но если мне будет еще лучше, я не выдержу… Я не могу сосредоточиться на стакане настолько, чтобы выпить его. — Она вздрогнула — так ярок был блеск его глаз.

Стэн был пьян.

— Я хотел бы, чтобы земные плоды были твоим телом и чтобы я мог есть их, — повторял он все время.

Эллен ковыряла вилкой тощего холодного зайца. Она начинала падать — толчками, как вагонетка на американских горах, — в холодные пропасти отчаяния. Посредине комнаты четыре пары танцевали танго. Она встала.

— Стэн, я иду домой. Я должна рано встать и репетировать весь день. Позвони мне в театр в двенадцать.

Он кивнул головой и налил себе еще одну рюмку. Секунду она стояла около его стула, глядя вниз на его длинную голову с густыми курчавыми волосами. Он тихо бормотал про себя стихи.

— «Я видел белую неумолимую Афродиту», черт побери… «Я видел ее распущенные волосы и стопы без сандалий», будь ты проклят!.. «Она сверкала, как пламя заката на морских водах…»

Выйдя на Бродвей, Эллен вновь почувствовала прилив веселья. Стоя посредине улицы, она ждала трамвая. Мимо нее пролетело такси. Теплый ветер с реки донес вой пароходной сирены. На дне пропасти, что была внутри нее, тысячи гномов строили высокие, хрупкие, сверкающие башни. Вагон, звеня, остановился. Влезая, она бес-

сознательно вспомнила запах тела Стэна, когда он, потный, лежал в ее объятиях. Она опустилась на скамью, кусая губы, чтобы не расплакаться. Господи, как это ужасно — любить. Напротив нее два человека с синими рыбьими лицами без подбородков весело разговаривали, похлопывая себя по жирным коленям.

— Я вам скажу, Джим, Ирена Кэсл сводит меня с ума. Когда я вижу, как она танцует уанстеп, мне кажется, что я слышу, как ангелы поют.

— Но она слишком тощая.

— Она имеет сумасшедший успех.

Эллен вышла из вагона и пошла по пустынному узкому тротуару Сто пятой улицы. Из узких окон домов сочилось зловоние, пахло матрацами и сном. Из сточных канав воняло кислым. В глубине подъезда мужчина и девушка покачивались, тесно сцепившись. Спокойной ночи. Эллен радостно улыбнулась. Сумасшедший успех. Эти слова возносили ее, как на лифте, на головокружительную, торжественную высоту, где электрические рекламы жужжали, пурпуровые, золотые и зеленые, где на крышах были яркие сады, пахнущие орхидеями, где трепетал замедленный ритм танго, которое она танцевала со Стэном в золотисто-зеленом платье, где рукоплес-

канья миллионов налетали на них порывами, как шквал. Сумасшедший успех.

Она поднялась по крутой белой лестнице. Перед дверью с надписью «Сондерленд» ее внезапно охватило болезненное отвращение. Она долго стояла с бьющимся сердцем, держа ключ в руках. Потом резким движением сунула ключ в замок и открыла дверь.

— Он такой, Джимми, он такой!

Херф и Рут Принн сидели в дальнем углу шумного ресторана с низким потолком и смеялись.

— Кажется, здесь столуется актерская накипь всего света.

— Какие новости с Балкан?

— На Балканах благополучно.

Поверх шляпы Рут — черной, соломенной, с красными маками вокруг тульи — Джимми смотрел на переполненные столы; лица сливались в одно серо-зеленое пятно. Два лакея с худыми ястребиными лицами проталкивались в гущу болтовни, жужжавшей, как пчела. Рут смотрела на него расширенными, смеющимися глазами, покусывая стебель петрушки.

— Я совсем пьяна, — бормотала она. — Вино ударило мне в голову… Ужасно!

— Ну так какой же скандал случился на Сто

пятой улице?

— Как жаль, что вы не видели. Красота!.. Все стоят в передней — миссис Сондерленд в папильотках, Касси плачет, а Тони Хентер стоит на пороге своей комнаты в розовой пижаме.

— Кто это?

— Такой юноша… Ах, Джимми, следовало бы рассказать вам про Тони Хентера. Он тоже «такой».

Джимми почувствовал, что краснеет. Он нагнулся над тарелкой.

— Ах вот в чем дело! — сказал он резко.

— Вы шокированы, Джимми, признайтесь, что вы шокированы.

— Нет, продолжайте, выкладывайте всю грязь.

— Ах, какой вы, Джимми… Ну ладно: Касси плачет, собака лает, невидимая мисс Костелло зовет полицию и падает в обморок на руки неизвестного человека во фраке. Джоджо потрясает маленьким никелевым револьвером, вероятно, игрушечным… Единственный человек, который был в здравом уме, это — Элайн Оглторп. Знаете, та тициановская красавица, которая произвела на вашу детскую душу такое впечатление…

— Честное слово, Рут, она не произвела никакого впечатления на мою детскую душу.

— Словом, Оглу в конце концов надоела эта сцена, и он заорал диким голосом: «Обезоружьте меня, иначе я убью эту женщину!» Тони Хентер отнял у него револьвер и унес к себе в комнату. Тогда Элайн Оглторп слегка поклонилась, как бы под занавес, сказала: «Ну, спокойной ночи, господа» — и шмыгнула к себе в комнату как ни в чем не бывало… Можете себе представить? — Рут внезапно понизила голос. — Однако весь ресторан слушает нас… Нет, право, все это было омерзительно! Но самое худшее я вам еще не рассказала. Огл еще раза два стукнул к ней в дверь и не получил ответа. Тогда он подошел к Тони и, вращая глазами, как Форос Робертсон в «Гамлете», обнял его и сказал: «Тони, можете ли вы приютить человека с разбитым сердцем у себя в комнате?» Честное слово, я была шокирована!

— Разве Оглторп тоже «такой»?

Рут несколько раз кивнула головой.

— Так почему же она вышла за него замуж?

— Ну, эта девица вышла бы замуж за ломовую телегу, если бы она знала, что ей это выгодно.

— Право, Рут, вы превратно истолковали всю эту историю.

— Джимми, вы совсем несмышленыш! Подождите, дайте мне докончить трагическую

повесть. Когда те двое исчезли и заперли за собою дверь, в передней поднялся дикий тарарам. Конечно, Касси для полноты картины закатила истерику. Когда я вернулась из ванной — я ходила туда за нашатырным спиртом для нее, — суд уже заседал. Красота! Мисс Костелло требовала, чтобы Оглторпы завтра же были выброшены вон; если это не будет сделано, она-де выедет. Миссис Сондерленд хныкала, что за тридцать лет театральной работы она ни разу не видела подобной сцены, а человек во фраке, Бенджамен Арден — вы знаете, он играет характерные роли, — заявил, что люди, подобные Тони Хентеру, должны сидеть в тюрьме. Когда я пошла спать, заседание еще продолжалось. Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему я так долго спала и заставила вас ждать меня битый час, бедный мой мальчик.

Джо Харленд стоял посредине спальни, засунув руки в карманы, уставясь на картину, которая висела криво на зеленой стене, подступавшей к железной кровати. Его холодные пальцы беспокойно двигались в карманах брюк. Он говорил громко, низким, ровным голосом:

— Все зависит от удачи, знаете ли, но я все-таки в последний раз попробую обратиться к Меривейлам. Эмили помогла бы мне, если бы не

этот проклятый старый дурак. У Эмили все-таки есть теплый уголок в сердце. Никто из них не понимает, что не всегда можно обвинять самого человека. Все, в сущности, зависит от удачи, и, видит Бог, они все когда-то кормились моими объедками.

Резкий голос утомил его слух. Он сжал губы. «Становишься болтливым, старина». Он ходил взад и вперед по узкому пространству между кроватью и стеной. Три шага. Три шага. Он подошел к умывальнику и выпил воды из кувшина. Вода отдавала гнилым деревом и помойным ведром. Он выплюнул последний глоток. «Мне нужен хороший сочный бифштекс, а не вода». Он сложил стиснутые кулаки. «Надо что-нибудь сделать. Надо что-нибудь сделать!»

Он надел пальто, чтобы скрыть дыру на брюках. Бахрома на рукавах щекотала кисти рук. Темные ступени скрипели. Он был так слаб, что держался за перила, чтобы не упасть. Старуха высунулась из двери в нижней передней. Тощая косичка торчала сбоку на ее голове, словно пытаясь удрать из-под серой наколки.

— Мистер Харленд, а как насчет платы за три недели?

— Я как раз иду получать по чеку, миссис Буд-

ковитц. Вы были очень любезны… и, может быть, вам будет интересно узнать, что мне обещали, то есть гарантировали, очень хорошее место с понедельника.

— Я жду три недели… Я больше не хочу ждать.

— Но, дорогая леди, уверяю вас словом джентльмена…

Миссис Будковитц начала дергать плечами. Ее голос, тонкий и пронзительный, скрипел, как вагонетка на рельсах:

— Вы мне уплатите эти пятнадцать долларов, или я сдам комнату кому-нибудь другому.

— Я вам заплачу сегодня же вечером.

— В котором часу?

— В шесть часов.

— Очень хорошо. Пожалуйста, отдайте мне ключ.

— Я не могу отдать вам ключ. Вдруг я приду поздно.

— Потому-то я и хочу получить ключ. Мне надоело ждать.

— Очень хорошо, возьмите ключ. Вы, я надеюсь, понимаете, что в результате вашего оскорбительного поведения я не считаю для себя возможным оставаться долее в вашем доме.

Миссис Будковитц хрипло рассмеялась:

— Очень хорошо! Как только вы мне заплатите пятнадцать долларов, можете забирать ваше барахло.

Он положил два связанных веревочкой ключа в ее серую ладонь и, хлопнув дверью, поплелся по улице.

На углу Третьей авеню он остановился и стоял, дрожа под горячими, полуденными солнечными лучами; пот стекал ему за уши. Он был слишком слаб, чтобы ругаться. Зубчатые квадраты грохота обрушились на его голову — над ним промчался воздушный поезд. Грузовики скрежетали по мостовой, вздымая пыль, пахнувшую бензином и раздавленным конским навозом. В мертвом воздухе воняло лавкой и рестораном. Он медленно зашагал по направлению к Четырнадцатой улице. На углу теплая волна сигарного дыма остановила его, точно рука, опустившаяся на его плечо. Он стоял несколько секунд, заглядывая в маленькую лавку, где тонкие, желтые пальцы завертывали хрупкие листья табака. Вспоминая марки сигар, он потянул носом. Развернуть мягкую фольгу, осторожно снять колечко, нежно, точно кусок мяса, отрезать ножичком с черенком из слоновой кости кончик… запах восковой спички… глубоко вдохнуть горьковатый, извилистый,

глубокий, сладкий дым. «Ну-с, итак, сэр, как же насчет того дельца с бумагами Северной Тихоокеанской?..» Он сжал кулаки в липких карманах непромокаемого пальто. «Взяла ключ, старая ведьма. Я еще покажу ей, будь она проклята! Джо Харленд может опуститься на самое дно, но у него все же есть гордость».

Он пошел по Четырнадцатой улице, не переставая думать. Он спустился в маленькую писчебумажную лавочку в подвальном этаже и неуверенным шагом направился в глубь ее. Он, пошатываясь, остановился в дверях маленькой конторы, где за американским столом сидел синеглазый, лысый, толстый человек.

— Хелло, Фельзиус! — крикнул Харленд.

Толстый человек испуганно поднялся.

— Боже мой, неужели это вы, мистер Харленд?

— Джо Харленд, он самый, Фельзиус… гм… несколько плох, а?.. — Хихиканье замерло у него в горле.

— Я… Ну, садитесь, мистер Харленд.

— Благодарю вас, Фельзиус… Фельзиус, я конченый человек.

— Лет пять прошло с тех пор, как я видел вас в последний раз, мистер Харленд.

— Проклятые пять лет… Все зависит от удачи…

У меня ее больше никогда не будет. Помните, как я тогда подрался с биржевиками и какой ад поднял в конторе? А какие были наградные служащим на Рождество…

— Да, мистер Харленд.

— Должно быть, скучная это штука — сидеть в лавке?

— Мне это по вкусу, мистер Харленд; тут я сам себе хозяин.

— А как поживают жена и ребята?

— Прекрасно, прекрасно. Старший мальчик только что окончил школу.

— Тот, которого вы назвали в честь меня?

Фельзиус кивнул. Его пальцы, толстые, как сосиски, беспокойно барабанили по краю стола.

— Помню, я еще думал, что когда-нибудь помогу этому мальчику. Смешно, ей-богу! — Харленд слабо засмеялся; он чувствовал, как страшная темнота подкрадывается к нему сзади.

Он обхватил руками колени и напряг все мускулы.

— Видите ли, Фельзиус, дело в том… В данный момент я нахожусь в довольно-таки затруднительном финансовом положении… Вы знаете, это бывает.

Фельзиус смотрел прямо перед собой на стол.

— У всех нас бывают полосы неудачи, верно? Я хочу занять у вас очень маленькую сумму на несколько дней, всего несколько долларов — ну, скажем, двадцать пять — для некоторых комбинаций…

— Мистер Харленд, я не могу. — Фельзиус встал. — Я очень огорчен, но принцип остается принципом. Я всю жизнь не брал и не давал в долг ни одного цента. Я уверен, что вы поймете.

— Хорошо, не говорите больше ни слова. — Харленд с трудом встал на ноги. — Дайте мне четвертак… Я не так уже молод и не ел два дня, — пробормотал он, глядя на свои рваные башмаки; он уперся рукой в стол, чтобы не упасть.

Фельзиус откинулся на спинку кресла, словно защищаясь от удара. Он протянул толстыми, дрожащими пальцами пятидесятицентовую монету. Харленд взял ее, повернулся, не говоря ни слова, и, пошатываясь, прошел лавкой на улицу. Фельзиус вынул из кармана платок с лиловой каймой, отер лоб и опять углубился в свои письма:

«Мы позволяем себе обратить ваше внимание на наш новый фабрикат Mullen superfine,[118] который мы самым горячим образом можем

---

118 Примечания: 118
Высококачественный Муллен *(англ.)*.

рекомендовать нашим клиентам как новое, несравненное достижение писчебумажной промышленности...»

Они вышли из кино, щурясь от ярких лучей электрического света. Касси смотрела, как он, расставив ноги, скосив глаза, закуривал сигару. Мак-Эвой был коренастый человек с бычьей шеей, в пиджаке на одну пуговицу и клетчатом жилете; в галстуке у него торчала булавка с собачьей головой.

— Гнусная картина, — проворчал он.

— А мне нравятся кавтины, изобвавающие путешествия, Мовис. Эти танцующие швейцавские квестьяне... Мне казалось, что я в Швейцавии.

— Жара чертовская! Хорошо бы выпить.

— Мовис, ты обещал... — заныла она.

— Я говорю — выпить содовой воды. Пожалуйста, не нервничай.

— Ах, это замечательно! Я тоже очень люблю содовую.

— А потом пойдем в парк.

Она опустила ресницы.

— Ховошо, Мовис, — прошептала она, не глядя на него; слегка вздрагивая, она взяла его под руку.

— Если бы я не был нищим...

— Мне все равно, Мовис.

— А мне нет.

На площади Колумба они зашли в аптекарский магазин; девушки в зеленых, лиловых, розовых летних платьях и молодые люди в соломенных шляпах стояли в три ряда у стойки с содовой водой. Она остановилась поодаль, с восхищением следя, как он пробивал себе дорогу. Позади нее, склонившись над столиком, разговаривали мужчина и женщина; их лица были скрыты полями шляп.

— Так я ему и сказал и тут же ушел.

— То есть он тебя выгнал?

— Нет, честное слово! Я сам ушел прежде, чем он успел меня выгнать. Он прохвост. Не желаю я больше терпеть его издевательства. Когда я выходил из его кабинета, он окликнул меня… «Молодой, говорит, человек, позвольте вам кое-что сказать. Из вас ничего не выйдет, пока вы не поймете, что не вы хозяин в этом городе».

Моррис протягивал ей содовую с малиновым мороженым.

— Опять замечталась, Касси.

Улыбаясь, играя глазами, она взяла мороженое; он пил кока-колу.

— Спасибо, — сказала она; пухлыми губами она

обсасывала ложку с мороженым. — О, Мовис, это восхитительно!

Аллея между круглыми пятнами дуговых фонарей была погружена во мрак. Из-за косых полос света и притаившихся теней пахло пыльными листьями, истоптанной травой, изредка — прохладным благоуханием сырой земли под земляникой.

— Я люблю гулять в павке! — пропела Касси; она подавила отрыжку. — Знаешь, Мовис, я не должна была есть мовоженое. У меня от него постоянно отвыжка.

Моррис ничего не сказал. Он обнял ее и так крепко прижал к себе, что его бедро терлось о ее бедро во время ходьбы.

— Вот Пирпонт Морган умер…[119] Ну что бы ему было оставить мне два-три миллиона!

— Ах, Мовис, это было бы замечательно! Где бы мы тогда жили? У Центвального павка?

Они остановились и оглянулись на сверкание электрических реклам на площади Колумба. Налево в окнах белого дома сквозь занавески

---

119 Примечания: 119

Морган Джон Пирпонт (183? — 1913) — американский миллионер, богатейший человек своего времени. Финансировал промышленность, шахты, контролировал банки, страховые компании, пароходные линии и железные дороги. Ему принадлежала первая в США биллион-долларовая корпорация — «Ю. С. Стил корпорейшн».

пробивался свет. Он украдкой оглянулся налево и направо, потом поцеловал ее. Она отвела губы.

— Не надо… Кто-нибудь может увидеть, — шепнула она, задыхаясь; внутри нее что-то жужжало, жужжало, как динамо. — Мовис, я до сих пор сквывала от тебя… Я думаю, что Голдвейзев даст мне самостоятельный номев в следующей постановке. Он вежиссев и имеет большое влияние. Он видел вчева, как я танцую.

— Что он сказал?

— Он сказал, что уствоит мне в понедельник свидание с хозяином… Но, Мовис, это не то, что мне хочется делать. Это так вульгавно, так увасно!.. А я мечтаю о квасоте. Я чувствую, что во мне что-то есть, что во мне что-то повхает и поет, как квасивая птичка в увасной велезной клетке.

— Вот в этом все твое несчастье. Ты никогда не будешь хорошо работать — ты слишком театральна.

Она взглянула на него влажными глазами, блестевшими в белом, мучнистом свете дугового фонаря.

— Только не плачь, ради Бога! Я ничего такого не хотел сказать.

— Я с тобой не театвальничаю, Мовис. — Она потянула носом и вытерла глаза.

— Ты славная девочка, вот что обидно. Я хочу, чтоб моя девочка любила меня, чуточку приласкала бы. Эх, Касси, жизнь — это не одни только удовольствия.

Они пошли дальше, тесно прижавшись друг к другу; они почувствовали под ногами камень. Они стояли на невысоком гранитном холме, обросшем кустами. Огни зданий, возвышавшихся в конце парка, горели им прямо в лицо. Они отстранились друг от друга, держась за руки.

— Возьми ту рыжеволосую со Сто пятой улицы… держу пари, что она не будет театральничать, когда останется одна с парнем.

— Она увасная женщина, ей все равно, с кем путаться! О, ты увасный человек… — Она опять начала плакать.

Он грубо дернул ее к себе, крепко прижал к себе, положив ей твердую руку на спину. Она почувствовала, как у нее дрожат и слабеют ноги. Она падала в цветные бездны обморока. Его рот не давал ей вздохнуть.

— Подожди, — шепнул он, отстраняясь от нее.

Они неверной походкой пошли дальше по тропинке между кустами.

— Нет, кажется, ничего…

— А что такое, Мовис?

— Фараон… Вот черт, негде приткнуться! Нельзя ли пойти к тебе?

— Мовис, нас там все увидят.

— Что ж с того? Там все этим занимаются.

— О, я ненавижу тебя, когда ты так гововишь!.. Настоящая любовь долвна быть чистой… Мовис, ты меня не любишь…

— Оставь меня хоть на одну минуту в покое, Касси… Какая мерзость — не иметь денег!

Они сели на скамейку под фонарем. За их спиной двумя беспрерывными потоками по гладкой дороге, жужжа, проносились автомобили. Она положила руку на его колено, и он покрыл ее своей большой, жесткой ладонью.

— Мовис, я чувствую, что мы будем счастливы, я чувствую! Ты получишь ховошее место. Я увевена, что ты его получишь.

— А я не уверен… Я не так уже молод, Касси. Мне нельзя терять время.

— Почему? Ты еще очень молод, тебе только твидцать пять лет, Мовис. И я думаю, что случится чудо… Мне дадут возможность танцевать.

— Тебе надо переплюнуть рыжеволосую.

— Элайн Оглтовп? Она не так уж ховоша. Я не похова на нее. Меня не интевесуют деньги. Я живу вади танцев.

— А я — ради денег. Когда у тебя есть деньги, ты можешь жить так, как тебе нравится.

— Мовис, вазве ты не вевишь, что мовно добиться всего, если очень сильно захотеть? Я вевю.

Он обвил свободной рукой ее талию. Она постепенно склонила голову на его плечо.

— Все вавно, — прошептала она пересохшими губами.

За ними лимузины и гоночные машины неслись по дороге, сверкая огнями, двумя ровными, беспрерывными потоками.

Коричневое саржевое платье, которое она складывала, пахло нафталином. Она нагнулась, чтобы положить платье в чемодан; она стала разглаживать рукой шелковую бумагу на дне — бумага зашуршала. Первые фиолетовые лучи рассвета проникали в окно, электрическая груша багровела, как бессонный глаз. Эллен внезапно выпрямилась и стояла, окаменев, опустив руки; лицо ее покрылось румянцем.

— Это подло, — сказала она.

Она покрыла уложенные платья полотенцем и начала бросать в чемодан щетки, ручное зеркало, туфли, рубашки, коробки пудры. Потом захлопнула крышку чемодана, заперла его и положила ключ в плоскую сумочку из крокодиловой кожи.

Она стояла, растерянно глядя вокруг себя, покусывая сломанный ноготь. Косые желтые лучи солнца заливали трубы и карнизы дома напротив. Она пристально смотрела на белые буквы «Э. Т. О.» на крышке чемодана.

— Отвратительно, гнусно, подло, — повторила она.

Потом схватила с письменного стола пилочку для ногтей и соскоблила «О» с крышки чемодана.

— Фу, — прошептала она и щелкнула пальцами.

Надев маленькую черную шляпку с вуалью, чтобы скрыть следы слез, она сложила стопку книг — «Так говорил Заратустра»,[120] «Золотой осел»,[121] «Воображаемые беседы»,[122] «Песни

---

120 Примечания: 120

«Так говорил Заратустра» — произведение Фридриха Ницше (1844—1900).

121 Примечания: 121

«Золотой осел» — сочинение Апулея (ок. 125 — ок. 180), известное также под названием «Метаморфозы». Герой Апулея, увлекшись черной магией, случайно обращается в осла.

122 Примечания: 122

«Воображаемые беседы» — речь идет о сочинении Уолтера Сэведжа Ландора (1775—1864), представляющем собой собрание диалогов из античной жизни в пяти томах. Включает «классические римские и греческие диалоги», «диалоги слуг и господ», «литературные диалоги», «диалоги знаменитых женщин» и «разные диалоги».

Билитис»,[123] «Афродиту»,[124] «Избранную французскую лирику» — в шелковую шаль и туго завязала ее.

В дверь слегка постучали.

— Кто там? — прошептала она.

— Это я! — раздался плачущий голос.

Эллен открыла дверь.

— Что случилось, Касси?

Касси уткнулась мокрым лицом в плечо Эллен.

— Касси, вы мнете мне вуаль. Что с вами случилось?

— Я всю ночь думала, как вы долвны быть несчастны.

— Но, Касси, я никогда в жизни не была так счастлива!

— Как увасны мувчины!

— Нет… Они все же гораздо лучше женщин.

— Элайн, мне надо кое-что сказать вам. Я знаю, что я вам совевшенно безвазлична, но я все-таки скажу.

— Вы мне вовсе не безразличны; не будьте

---

123 Примечания: 123

«Песни Билитис» — речь идет о сборнике стихотворений в прозе Пьера Луиса (1870—1925) «Les Chansons de Bilitis» (1894), положенном на музыку Клодом Дебюсси. На английском языке «Песни» вышли только в 1926 г., т. е. уже после публикации «Манхэттена».

124 Примечания: 124

«Афродита» — роман из истории античных нравов Пьера Луиса.

дурочкой… Но я теперь занята. Идите, ложитесь обратно в постель, потом вы мне все расскажете.

— Я долвна вам рассказать сейчас же!

Эллен покорно села на чемодан.

— Элайн, я разошлась с Мовисом… Не правда ли, это увасно? — Касси вытерла глаза рукавом светло-зеленой ночной рубашки и села рядом с Эллен на чемодан.

— Послушайте, дорогая, — мягко сказала Эллен, — подождите одну секунду, пока я вызову такси. Я хочу уехать, прежде чем встанет Джоджо. Меня тошнит от сцен.

В передней удушливо пахло сном и кольдкремом. Эллен очень тихо заговорила в трубку. Грубый мужской голос из гаража звучал в ее ушах, как музыка.

— Очень хорошо, мисс, сейчас пошлем.

Она на цыпочках вернулась в комнату и закрыла дверь.

— Я думала, что он любит меня… Пваво, я думала это, Элайн. О, мувчины — это такой увас! Мовис вассевдился, почему я не хочу жить с ним, а я думала, что это будет неховошо. Вади него я готова ваботать квуглые сутки, он это знает. И вазве я не делала этого в течение двух лет? А он сказал, что должен иметь по-настоящему; вы

понимаете, что он под этим подвазумевает? А я сказала: наша любовь так квасива, что мовет длиться годы. Я могу любить его всю визнь, даже не целуя его. Любовь долвна быть чистой, не пвавда ли? А он смеялся над моими танцами и гововил, что я была любовницей Чэлифа и что я его дувачу, и мы увасно поссовились, и он осыпал меня увасной бванью и ушел, сказав, что больше не вевнется.

— Не беспокойтесь, Касси, вернется.

— Элайн, вы такая матевиалистка! Я считаю, что в смысле духовном наш союз повван навсегда. Неувели вы не понимаете? Между нами была такая квасивая, небесная, духовная связь и вот… она поввалась… — Она опять начала всхлипывать, прижимаясь лицом к плечу Эллен.

— Касси, я не понимаю, какой же выход из всего этого?

— Ах, вы не понимаете! Вы слишком молоды. Я ваньше была такая же, как вы, с той только вазницей, что не была замувем и не путалась с мувчинами. Но тепевь я хочу духовной квасоты… Я хочу, чтобы квасота была в моих танцах и в моей жизни. Я всюду ищу квасоту. Я думала, что Мовису она тоже нужна.

— Как видно, Моррис ее и искал.

— О, Элайн, вы увасны, но я так люблю вас!

Элайн встала.

— Я пойду вниз, чтобы шофер такси не звонил.

— Но вы не можете так уйти!

— Подождите меня. — Эллен взяла связку книг в одну руку, черный кожаный чемодан — в другую. — Касси, дорогая, будьте так добры, отдайте ему сундук, когда он придет за ним. И еще: если позвонит Стэн Эмери, скажите ему, чтобы он пришел в «Бревурт»[125] или «Лафайет». Хорошо, что я не положила денег в банк на прошлой неделе. Касси, если вы найдете какие-нибудь вещи или мелочи, принадлежащие мне, то спрячьте их… До свиданья. — Она подняла вуаль и быстро поцеловала Касси в щеку.

— О, какая вы хвабвая!.. Вы уезжаете совсем одна. Можно будет мне и Вут пвийти к вам? Мы так любили вас… Элайн, вам предстоит блестящая кавьева, я в этом увевена.

— Обещайте не говорить Джоджо, где я. Он и так скоро узнает. Я позвоню через неделю.

Она столкнулась в вестибюле с шофером, читавшим доску с фамилиями. Он пошел за ее сундуком. Счастливая, она уселась на пыльное си-

---

125 Примечания: 125

Отель *«Бревурт»* находился в центре Гринич Виллиджа.

денье такси, жадно вдыхая утренний, пахнущий рекой воздух. Шофер широко улыбнулся ей, спуская сундук со спины на подножку автомобиля.

— Тяжеловат, мисс.

— Мне стыдно, что вам пришлось тащить его одному.

— Ну, я таскаю вещи потяжелее, чем этот сундук.

— Мне надо в «Бревурт-отель», Пятая авеню, не доезжая Восьмой улицы.

Он нагнулся, чтобы завести машину; он отодвинул шапку на затылок, и рыжеватые кудри упали ему на глаза.

— Пожалуйста, куда вам будет угодно, — сказал он, садясь на свое место в гудящий автомобиль.

Когда они свернули на пустой, солнечный Бродвей, радостное чувство начало шипеть и лопаться ракетами в ее груди. Свежий, трепетный воздух ударял ей в лицо. Шофер, обернувшись, сказал в открытое окно:

— Я думал, вы хотите поспеть на поезд, чтобы уехать куда-нибудь, мисс.

— Да, я уезжаю… куда-нибудь.

— Удачный день для отъезда.

— Я ушла от мужа. — Слова вырвались у нее, прежде чем она успела удержать их.

— Он выгнал вас?

— Вот уж нет! — смеясь, сказала она.

— А меня три недели тому назад прогнала жена.

— Как это случилось?

— Заперла дверь, когда я однажды ночью пришел домой, и не хотела меня впустить. Она переменила замок, пока я был на работе.

— Вот смешно.

— Она говорит, что я слишком часто напиваюсь. Я больше не вернусь к ней и не буду давать ей денег. Она доведет меня до каторги, если захочет. Хватит с меня! Я снял квартиру на Двадцать второй авеню вместе с одним парнем. Мы заведем пианино и будем жить припеваючи.

— Неважная штука брак, правда?

— Верно! Пока идешь к нему, все замечательно, а как женишься — на следующее же утро отплевываешься.

Ветер подметал Пятую авеню, пустую и белую. Деревья на Мэдисон-сквер были неожиданно ярки и зелены, как папоротник в тусклой комнате. В «Бревурт-отеле» заспанный ночной портье взял ее багаж. В низкой белой комнате солнечный свет дремал на выцветшем красном кресле. Эллен, как маленький ребенок, бегала по комнате, хлопая в

ладоши и брыкаясь. Надув губы и закинув голову, она расставляла свои туалетные принадлежности на бюро. Потом повесила желтую ночную рубашку на стул и начала раздеваться. Случайно увидев себя в зеркале, она подошла к нему нагая и стала разглядывать себя, положив руки на твердые, маленькие, как два яблока, груди.

Она надела ночную рубашку и подошла к телефону.

— Пошлите, пожалуйста, чашку шоколада и булочки в номер сто восемь… как можно скорее…

Потом она легла в кровать. Она лежала, смеясь, вытянув ноги на холодных, скользких простынях. Шпильки кололи ей голову. Она села, вытащила их и распустила тяжелые кольца волос по плечам. Прижав подбородок к коленям, она сидела в раздумье. С улицы по временам слышался грохот грузовиков. В кухне под ее комнатой начали стучать посудой. Со всех сторон доносился шум пробуждавшейся жизни. Ей захотелось есть, и она почувствовала себя одинокой. Кровать казалась ей плотом, на котором она, покинутая; одинокая, навсегда одинокая, плыла по бурному океану. По ее спине пробежала дрожь. Она крепче прижала колени к подбородку.

III. Чудо девяти дней

Солнце движется к Джерси, солнце — за Хобокеном.

Стучат крышки пишущих машинок, опускаются шторы американских столов, подъемные машины поднимаются пустыми, спускаются набитыми. Отлив в нижней части города, прилив на Флэтбуш, Вудлаун, Дикмэн-стрит, Нью-Лотс-авеню и Кэнерси.[126]

Розовые листки, зеленые листки, серые листки. ПОДРОБНЫЙ БИРЖЕВОЙ ОТЧЕТ. Строчки прыгают перед лицами, изношенными в лавках, изношенными в конторах, пальцы болят, ноги ноют, плечистые мужчины втискиваются в вагоны подземной железной дороги. 8 СЕНАТОРОВ, 2 ВЕЛИКАНА, ЗНАМЕНИТАЯ ДИВА НАШЛА ПОТЕРЯННОЕ ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ. ОГРАБЛЕНИЕ НА 600 000 ДОЛЛАРОВ.

---

126 Примечания: 126

Вудлаун — небольшой район в северном Бронксе; *Дикмэн-стрит* — улица на северном окончании Манхэттена; *Нью-Лотс-авеню* — улица в восточном Бруклине; *Кэнерси* — район в юго-восточном Бруклине.

Отлив на Уолл-стрит, прилив в Бронксе.

Солнце падает за Джерси.

— Черт побери! — закричал Фил Сэндборн, ударив кулаком по столу. — Я не согласен. Нравственная физиономия человека никого не касается. Нужно считаться только с его работой.

— Ну и…

— Ну и вот, я думаю, что Стэнфорд Уайт[127] сделал для Нью-Йорка больше, чем кто бы то ни было. До него никто понятия не имел об архитектуре… А этот мерзавец Тау хладнокровно застрелил его и ушел восвояси. Ей-богу, если бы у здешних жителей была хоть капля рассудка, они бы…

— Фил, вы волнуетесь по пустякам. — Его собеседник вынул изо рта сигару, откинулся на спинку вращающегося стула и зевнул. — Черт, скорее бы получить отпуск! Как было бы хорошо снова побывать в лесу.

— А адвокаты-евреи, а судьи-ирландцы… — за-

---

127 Примечания: 127

Уайт Стэнфорд (1853—1906) — американский архитектор. Проектировал эклектичные по стилю, богато украшенные здания. Был застрелен Гарри Тау, мужем актрисы Эвелин Несбит, в прошлом любовницы Уайта, 25 июня 1906 г. на крыше башни на Мэдисон-сквер, в свое время спроектированной Уайтом. (Башня является копией знаменитой Жиронды в Севилье.)

кипятился Фил.

— Ох, заткнись, старик!

— Вы, можно сказать, идеальный образец гражданина и общественника, Хартли.

Хартли рассмеялся и потер ладонью лысую голову.

— Все эти разговоры хороши зимой, но летом я их слышать не могу. Черт побери, ведь я же только и живу ради трехнедельного отпуска. Пусть все архитекторы Нью-Йорка провалятся в преисподнюю — лишь бы от этого не вздорожал билет до Нью-Рочел...[128] Пойдем-ка лучше позавтракаем.

Стоя в лифте, Фил снова заговорил:

— Я знал только еще одного человека, который был настоящим, прирожденным архитектором. Это был старик Спеккер, у которого я работал, когда впервые приехал на север. Чудесный старый датчанин! Бедняга умер от рака два года тому назад. Вот это был архитектор! У меня есть целая папка его планов и чертежей здания, которое он называл Коммунальным домом. Семьдесят пять этажей, расположенных террасами, с висячими

---

128 Примечания: 128

Нью-Рочел — город в графстве Вестчестер, так называемый спальный район, откуда многие жители каждый день ездили в Нью-Йорк на работу.

садами в каждом этаже, с отелями, театрами, турецкими банями, бассейнами для плавания, конторами, оранжереями, холодильниками, рыночной площадью — все в одном здании.

— Он нюхал кокаин?

— Ничего подобного.

Они шли по Тридцать четвертой улице. Был душный полдень, и народу на улице было мало.

— Черт возьми! — разразился вдруг Фил Сэндборн. — Девушки в этом городе становятся красивее с каждым годом.

— Вам нравится новая мода?

— Да. Было бы неплохо, если бы мы становились с каждым годом моложе, вместо того чтобы стариться.

— Да, единственное, что нам, старикам, остается, — это смотреть на них.

— И в этом наше спасение. Иначе наши жены бегали бы за нами с собаками-ищейками… Эх, если подумать о всех упущенных возможностях…

Когда они переходили Пятую авеню, Фил увидел девушку в такси. Из-под черных полей маленькой шляпки с красной кокардой два серых глаза, встретясь с его глазами, блеснули черно-зеленым блеском. Он затаил дыхание. Уличный гул умирал где-то вдали. Она не отводит глаз.

Сделать два шага, открыть дверцу и сесть рядом с ней, — рядом с ней, стройной, как птичка. Шофер гонит, как осатанелый. Ее губы тянутся к нему, ее глаза, как плененные серые птички.

— Эй, берегись!..

Тяжелый железный грохот обрушивается на него сзади. Пятая авеню кружится красными, синими, лиловыми спиралями. «О Господи!»

— Ничего, ничего, оставьте меня, я через минуту сам встану.

— Сюда, сюда! Несите его сюда. Посторонитесь!

Крикливые голоса, синие колонны полисменов. Его спина, ноги — теплые, резиновые от крови. Пятая авеню содрогается от растущей боли. Маленький колокольчик звенит все ближе, ближе. Когда его поднимают в автомобиль скорой помощи, Пятая авеню хрипит в агонии и лопается. Он выгибает шею, чтобы увидеть ее, слабый, как черепаха, опрокидывается на спину. «Мои глаза приковали ее...» Он слышит свой стон. «Она могла бы остановиться, посмотреть, убит ли я». Маленький колокольчик звенит все тише, тише — в ночь.

Тревожные звонки на улице не переставали трещать. Сон Джимми нанизывался на них, как бусины на тесемку. Стук разбудил его. Он сел на

кровати и увидел Стэна Эмери. Лицо Стэна было серо от пыли, руки засунуты в карманы красной кожаной куртки. Он стоял в ногах кровати, смеясь, раскачиваясь взад и вперед, с каблуков на носки.

— Который теперь час?

Джимми сидел на кровати и тер глаза кулаками. Он зевнул и недовольно посмотрел на мертвые, бутылочного цвета обои, на щель зеленого ставня, пропускавшую длинный луч солнечного света, на мраморную каминную доску, на которой стояла эмалированная, разрисованная пышными розами тарелка, на потрепанный синий халат в ногах кровати, на раздавленные окурки папирос в лиловой стеклянной пепельнице.

Лицо Стэна было красным и коричневым. Оно смеялось под меловой маской пыли.

— Половина двенадцатого, — сказал он.

— Предположим, что сейчас половина седьмого. Так будет хорошо… Стэн, какого черта ты тут делаешь?

— Нет ли у тебя чего-нибудь выпить, Херф? Нам с «Динго» ужасно хочется пить. Мы за всю дорогу из Бостона сделали только одну остановку — пили воду и бензин. Я два дня не ложился. Интересно, могу ли я продержаться так неделю?

— Черт возьми, я хотел бы провести неделю в кровати!

— Тебе нужно работать в газете, Херф. Тогда ты будешь чувствовать себя занятым человеком.

— Что с тобой только будет, Стэн? — Джимми извернулся и спустил ноги с кровати. — В одно прекрасное утро ты проснешься на мраморном столе в морге.

Ванная комната пахла зубной пастой и карболкой. Половик был мокрый, и Джимми сложил его вчетверо, прежде чем скинуть ночные туфли. Холодная вода взбудоражила его кровь. Он подставил голову под душ, выскочил и стал отряхиваться, как собака. Вода стекала ему в глаза и уши. Он надел халат и намылил лицо.

Теки, река, теки,

Вливайся в море, —

пел он фальшиво, скребя подбородок безопасной бритвой. «Мистер Гровер, боюсь, что на той неделе мне придется отказаться от работы у вас. Да, я уезжаю за границу. Заграничным корреспондентом. В Мексику. Нет, скорее всего в Иерихон,[129] корреспондентом «Болотной черепахи».

---

129 Примечания: 129

Иерихон — не существующий в настоящее время древний город в Палестине, в долине р. Иордан.

Было празднество в гареме,
И все евнухи плясали…

Он смазал лицо глицерином, завязал туалетные принадлежности в мокрое полотенце, проворно побежал по покрытой зеленым ковром, пахнущей капустой лестнице вниз и через переднюю в свою спальню. По дороге он встретил толстую квартирную хозяйку в чепце, чистившую ковер. Хозяйка подняла голову и бросила ледяной взгляд на его худые голые ноги, выглядывавшие из-под синего халата.

— Доброе утро, миссис Меджинис.

— Сегодня будет жарко, мистер Херф.

— Да, кажется.

Стэн лежал на кровати и читал «Восстание ангелов».[130]

— Черт возьми, я бы хотел знать несколько языков, как ты, Херфи.

— Французский я уже забыл. Я забываю языки еще скорее, чем выучиваю их.

— Кстати, меня выгнали из колледжа.

— Как так?

— Декан сказал, что лучше не возвращаться на будущий год. Он полагает, что есть другие

---

130 Примечания: 130

«Восстание ангелов» — роман Анатоля Франса (1844—1924).

поприща, где мои способности могут быть использованы гораздо лучше. Ты ведь его знаешь.

— Стыд и срам!

— Ничего подобного! Я страшно рад. Я только спросил его, почему же он не выгнал меня раньше, если он был обо мне такого мнения. Отец будет адски злиться. Но у меня хватит денег еще на неделю, чтобы не возвращаться домой. Ну, так как же, есть у тебя выпивка?

— Эх, Стэн, может ли такой жалкий раб, как я, получающий тридцать долларов в неделю, иметь собственный винный погреб?

— Паршивая у тебя, в общем, комната… Ты должен был бы родиться капиталистом, как я.

— Не так уж она плоха… А вот что меня действительно раздражает, так это сумасшедшие тревожные звонки на той стороне улицы… Всю ночь…

— Грабителей ловят, должно быть.

— Какие грабители! Там никто не живет. Провода соединились, или что-нибудь в этом роде. Не помню, когда они перестали звонить, но когда я ложился спать, я злился ужасно.

— Джеймс Херф, уж не хотите ли вы уверить меня, что вы ежедневно возвращаетесь домой трезвым?

— Надо быть глухим, чтобы не слышать этого проклятого звона, независимо от того, пьян ты или трезв.

— Ладно. В качестве паука-капиталиста приглашаю тебя позавтракать со мной. Известно ли тебе, что ты возился со своим туалетом ровным счетом час?

Они спустились по лестнице, пахнувшей сначала мыльным порошком, потом порошком для чистки меди, потом свиным салом, потом паленными волосами, потом помоями и светильным газом.

— Ты чертовски счастлив, Херфи, что никогда не был в колледже.

— Да ведь я окончил Колумбию, дурак ты эдакий! Ты бы не мог.

Колючий солнечный свет ударил Джимми в лицо, когда он открыл дверь.

— Это не считается.

Боже, как я люблю солнце! — воскликнул Джимми. — Я бы хотел жить в Колумбии.

— В университете?

— Нет, в настоящей, в той, где Богота, и Ориноко, и прочие штуки.

— Я знал одного чудесного парня, который уехал в Боготу. Он допился до смерти, чтобы из-

бежать смерти от слоновой болезни.

— Все что хочешь… Пускай слоновая болезнь, пускай бубонная чума, желтая лихорадка — лишь бы вырваться из этой дыры!

— Город оргий, радости и наслаждений.

— Какие к черту оргии!.. Понимаешь ли ты, я прожил всю свою жизнь в этом проклятом городе, за исключением четырех лет, когда был маленьким. Я родился здесь и, наверно, здесь умру. Мне бы хотелось поступить во флот и повидать свет.

— Как тебе нравится «Динго»? Он заново выкрашен.

— Он шикарен. Когда запылится, будет похож на настоящий «мерседес».

— Я хотел выкрасить его в красный цвет, как пожарную машину, но шофер настоял на синем, полицейском… Как ты насчет того, чтобы пойти к Мукену выпить абсента?

— Абсент на завтрак? Господи!

Они поехали по Тридцать третьей улице, сверкавшей отраженным блеском окон, световыми квадратами грузовых фургонов, вспыхивающими восьмерками никелевых автомобильных частей.

— Как поживает Рут, Джимми?

— Хорошо, но она еще не получила места.

— Посмотри — «даймлер»!

Джимми буркнул что-то неопределенное. Когда они завернули на Шестую авеню, их остановил полисмен.

— Что у вас с глушителем? — заорал он.

— Я еду в гараж, чтобы подправить его. Он сломан.

— Надо следить… В следующий раз заплатите штраф.

— Ты всегда выходишь победителем, Стэн, — сказал Джимми. — А я никогда, хоть и на три года старше тебя.

— Это особый дар.

В ресторане весело пахло жареным картофелем, сигарами и коктейлем. Душная комната была полна говорящих, потных лиц.

— Стэн, почему ты так романтически вращаешь глазами, когда спрашиваешь про Рут? Мы с ней только друзья.

— Право, я ничего плохого не думал… И все же мне очень больно слышать это. По-моему, это ужасно.

— Рут не интересуется ничем, кроме сцены. Она прямо помешана на том, чтобы добиться успеха. Ей плевать на все остальное.

— Почему это, черт возьми, все жаждут успеха? Я хотел бы встретить кого-нибудь, кто мечтал бы

о провале. Провал — единственная прекрасная вещь.

— Да, если у тебя есть средства.

— Все это чепуха… Ах, хорош коктейль! Херфи, я думаю, ты — единственный умный человек в этом городе. У тебя нет честолюбия.

— Почему ты знаешь, что нет?

— Ну, что ты будешь делать с успехом, когда достигнешь его? Ты не можешь ни съесть его, ни выпить. Конечно, я понимаю, что люди, у которых нет средств к существованию, должны выкручиваться, карабкаться. Но успех…

— Мое несчастье в том, что я никак не могу решить, чего я больше всего хочу. Поэтому я все время беспомощно топчусь на месте.

— Но Бог все решил за тебя. Ты это знаешь, но не хочешь себе признаться.

— Я знаю одно: больше всего я хочу выбраться из этого города, предварительно подложив бомбу под какой-нибудь небоскреб.

— Почему же ты этого не сделаешь? Это только следующий шаг.

— Но ведь надо знать, в каком направлении идти.

— Это уже не важно и не имеет значения.

— А потом — деньги…

— Ну, добыть деньги — это легче всего.

— Для старшего сына фирмы «Эмери и Эмери».

— Херф, нехорошо упрекать меня за грехи отца. Ты знаешь, что я не меньше тебя ненавижу всю эту банду.

— Я не обвиняю тебя, Стэн. Ты только чертовски счастливый малый, вот и все. Конечно, я тоже счастлив, счастливей многих. Оставленные моей матерью деньги поддерживали меня до двадцати двух лет. И у меня еще есть несколько сот долларов, отложенных на пресловутый черный день. А мой дядя — будь он проклят! — выискивает мне новую службу каждый раз, когда меня выгоняют.

— Бэ-бэ, черный барашек!

— Я положительно боюсь своих дядей и теток. Ты бы поглядел на моего кузена Джеймса Меривейла! Всю свою жизнь он делает только то, что ему приказывают. И процветает, как зеленое деревцо… Идеальный образец библейской мудрой девы.

— А как ты думаешь — хорошо жить с неразумной девой?

— Стэн, ты уже пьян. Ты начинаешь молоть чушь.

— Бэ-бэ! — Стэн положил салфетку и откинулся назад, смеясь горловым смехом.

Тошный, колючий запах абсента рос из стакана Джимми, как магический розовый куст. Он вдохнул его и поморщился.

— В качестве моралиста я протестую, — сказал он. — Удивительно все это…

— Мне бы сейчас виски с содовой — залить коктейль!

— Я буду следить за тобой. Ведь я — рабочий человек. Я должен уметь отличать неинтересные новости от интересных новостей… Черт! Не желаю я заводить об этом разговор… Как все это преступно глупо… Этот коктейль прямо-таки валит с ног.

— Пожалуйста, пей… И не думай, что я позволю тебе сегодня заниматься чем-нибудь другим. Я хочу тебя кое с кем познакомить.

— А я собирался честно сесть за стол и написать статью.

— О чем?

— Так, чепуха… «Исповедь репортера».

— Слушай, сегодня четверг?

— Да.

— Ага, тогда я знаю, где она.

— Скоро я все брошу, — мрачно сказал Джимми. — Поеду в Мексику и разбогатею. Я теряю лучшую часть моей жизни, прозябая в Нью-Йор-

ке.

— Каким образом ты разбогатеешь?

— Нефть, золото, разбой, все что угодно — только не газета.

— Бэ-бэ, черная овечка, бэ-бэ!

— Перестань, пожалуйста, блеять.

— Ну, к черту отсюда. Завезем «Динго» в гараж и починим ему глушитель.

Джимми стоял в воротах грязного гаража. Пыльное полуденное солнце копошилось яркими червями зноя на его лице и руках. Коричневые камни, красные кирпичи, асфальт, испещренный красными и зелеными буквами реклам, обрывки бумаги в водосточной канаве — все кружилось перед ним в медленном тумане. Два шофера разговаривали за его спиной:

— Понимаешь, я хорошо зарабатывал, пока не связался с этой паршивой бабой.

— А по-моему, она ничего, Чарли… И вообще после первой недели это уже безразлично.

Стэн вышел из гаража и повел его по улице, обняв за плечи.

— Будет готово не раньше пяти часов. Возьмем такси… Отель «Лафайет!» — крикнул он шоферу и хлопнул Джимми по колену. — Ну-с, Херфи, старое ископаемое, знаешь, что сказал губер-

натор Северной Каролины губернатору Южной Каролины?

— Нет.

— «Как долго длятся промежутки между выпивками!»

— Бэ-бэ, — блеял Стэн, когда они ворвались в кафе. — Элли, я привел барашка! — крикнул он смеясь.

Внезапно его лицо окаменело. За столом напротив Эллен сидел ее муж, очень высоко подняв бровь и опустив другую на самые ресницы. Между ними бесстыдно стоял чайник.

— Хелло, Стэн, присаживайтесь, — спокойно сказала она; затем продолжала, улыбаясь Оглторпу: — Не правда ли, это чудесно, Джоджо?

— Элли, разрешите вас познакомить с мистером Херфом, — сказал Стэн угрюмо.

— Очень приятно. Я часто слышала о вас у миссис Сондерленд.

Все сидели молча. Оглторп постукивал по столу ложечкой.

— Как вы поживаете, мистер Херф? — спросил он с внезапной любезностью. — Разве вы не помните — мы с вами встречались.

— Кстати, как обстоят дела дома, Джоджо?

— Ничего, понемножку. Кассандру покинул

ее друг сердца, и по этому поводу произошел невероятный скандал. На следующий вечер она вернулась домой пьяная в стельку и пыталась зазвать к себе шофера. Бедный парень всячески протестовал и заявлял, что ему нужна только плата за проезд. Это было что-то потрясающее!

Стэн медленно поднялся и вышел. Трое остальных сидели молча. Джимми старался не ерзать на стуле. Он собирался встать, но что-то бархатисто-мягкое в ее глазах удержало его.

— Рут нашла работу, мистер Херф?

— Нет, не нашла.

— Вот уж не везет ей!

— Это прямо безобразие. Я знаю, что она умеет играть. Но несчастье в том, что у нее слишком сильное чувство юмора, чтобы подыгрываться к антрепренерам и к публике.

— Сцена — гнуснейшее ремесло. Правда, Джоджо?

— Наигнуснейшее, дорогая.

Джимми не мог оторвать глаз от нее, от ее маленьких прекрасных рук, от ее словно изваянной шеи, от золотистого пушка на затылке, между рыжеватыми кольцами волос и воротником ярко-синего платья.

— Ну, дорогая… — Оглторп поднялся.

— Джоджо, я посижу здесь еще немного.

Джимми смотрел на маленькие треугольники лака, выглядывавшие из-за розовых гетр Оглторпа. Неужели в них могут поместиться ноги? Он стремительно встал.

— Мистер Херф, посидите со мной еще четверть часа. Я останусь здесь до шести часов. Я забыла взять с собой книгу и не могу ходить в этих туфлях.

Джимми вспыхнул, опустился на стул и пробормотал:

— О, конечно… я с восторгом… Может быть, выпьем чего-нибудь?

— Я допью чай. А почему вы не возьмете себе джина с содовой? Я люблю смотреть, как пьют джин с содовой. Мне тогда кажется, что я сижу в какой-то тропической роще и жду челнока, который повезет меня по какой-нибудь смешной, мелодраматической реке мимо малярийных деревьев.

— Человек, дайте джину с содовой.

Джо Харленд клонился со стула до тех пор, пока его голова не упала на руки. Его глаза тупо смотрели сквозь грязные, окостенелые пальцы на узоры мраморного стола. Грязная закусочная безмолвствовала в скудном свете двух лампочек,

висевших над стойкой, где под стеклянными колпаками лежало несколько пирожков и человек в белой куртке клевал носом, сидя на высоком табурете. Время от времени его глаза на сером, одутловатом лице широко раскрывались; он сопел и осматривался. За дальним столом горбились плечи спящих; лица, скомканные, как старая газета, покоились на локтях. Джо Харленд зевнул и потянулся. Толстая женщина в дождевике, с красными и лиловыми полосами на лице, похожем на кусок тухлого мяса, спрашивала кофе у стойки. Осторожно придерживая двумя руками кружку, она донесла ее до стола и села напротив Харленда. Он снова уронил голову на руки.

— А подавать вы не хотите? — Голос женщины царапал уши Харленду, как скрип мела по доске.

— Что вам надо? — проворчал человек за стойкой.

Женщина начала всхлипывать:

— Он спрашивает меня, что мне надо!.. Я не привыкла, чтобы со мной так грубо разговаривали.

— Если вам что-нибудь нужно, подходите и берите сами. Никто не станет подавать вам ночью.

Харленд почувствовал запах виски, когда женщина заплакала. Он поднял голову и уставился на нее. Она скривила вялый рот в улыбку и мот-

нула головой.

— Мистер, я не привыкла, чтобы со мной обращались грубо. Если бы мой муж был жив, он не потерпел бы этого. Не его это дело решать, нужно ли подавать ночью даме или нет. — Она откинула голову и расхохоталась так, что ее шляпа сползла на затылок. — Сморчок такой, невежа! А вот оскорблять ночью даму он умеет… — Несколько прядей седых волос со следами краски упали ей на лицо.

Человек в белой куртке подошел к столу.

— Послушайте, матушка Мак-Кри, я вас выброшу отсюда, если вы будете безобразничать… Чего вы хотите?

— Орехов на пять центов! — взвизгнула она, искоса глядя на Харленда.

Джо Харленд зарыл голову в сгиб локтя и старался уснуть. Он слышал, как поставили тарелку, слышал беззубое чавканье и всасывающий звук, когда она пила кофе. Вошел новый посетитель и заговорил низким, ворчливым голосом через стойку.

— Мистер, мистер, ведь это ужасно, когда хочется выпить! — Он снова поднял голову и увидел ее глаза цвета мутного, водянистого молока, устремленные на него. — Что вы намерены де-

лать, голубчик?

— Не знаю.

— Дева и пресвятые мученики, хорошо бы иметь мягкую кровать, нарядную ночную кофту и такого славного молодца, как вы, мистер.

— И это все?

— О мистер, если бы мой муж был жив, он не позволил бы так обращаться со мной. Мой муж утонул вчера на «Генерале Слокуме». Мне кажется, что это произошло вчера.

— Ему повезло.

— Но он умер нераскаянным, без священника, голубчик. Это ужасно — умереть нераскаянным.

— К черту! Я хочу спать.

Ее голос доносился к нему слабым, монотонным скрипом, от которого у него ныли зубы.

— Все пресвятые угодники против меня с тех пор, как я потеряла мужа на «Генерале Слокуме». Я не сумела остаться честной женщиной… — Она снова начала всхлипывать. — Дева и пресвятые угодники — все против меня, все, все против меня… Неужели меня никто не приголубит?

— Я хочу спать, заткнитесь!

Она наклонилась и подняла свою шляпу с пола. Она сидела, всхлипывая, растирая глаза распухшими, грязными кулаками.

— О мистер, неужели вы не хотите приголубить меня?

Джо Харленд вскочил, тяжело дыша.

— Будьте вы прокляты! Замолчите! — Его голос перешел в визг. — Неужели нигде нельзя найти хоть капельку покоя? Нигде нет покоя!

Он надвинул кепку на глаза, сунул руки в карманы и поплелся из забегаловки. Над Чатэм-сквер красно-фиолетовое небо просвечивало сквозь стропила воздушной железной дороги. Огни на пустом Баури казались двумя рядами медных пуговиц.

Прошел полисмен, помахивая дубинкой. Джо Харленд почувствовал на себе его взгляд. Он постарался идти быстро, как человек, идущий по делу.

— Итак, мисс Оглторп, как вам это нравится?

— Что именно?

— Вы же знаете… Быть чудом девяти дней.

— Ничего не понимаю, мистер Голдвейзер.

— Женщины все понимают, но никогда в этом не признаются.

На Эллен — шелковое зеленовато-стальное платье. Она сидит в кресле в углу длинной комнаты, гудящей голосами, мерцающей свечами и драгоценностями, пестрящей пятнами черных

фраков и серебристыми красками женских платьев. Кривой нос Гарри Голдвейзера переходит прямо в покатый лысый лоб, его большое туловище громоздится на треугольном золоченом табурете, маленькие карие глазки впиваются в ее лицо, точно щупальца, когда он говорит с ней. Женщина, сидящая неподалеку, пахнет сандаловым деревом. Женщина с оранжевыми губами и меловым лицом, в оранжевом тюрбане, ходит, разговаривая с мужчиной с остроконечной бородой. Женщина с ястребиным носом и красными волосами кладет сзади руку на плечо мужчине.

— Как поживаете, мисс Крюикшенк? Прямо удивительно, как все встречаются в одном и том же месте, в одно и то же время.

Эллен сидит в кресле и сонно слушает, холодок пудры на ее лице и руках, жир краски на ее губах, ее свежевымытое тело — фиалка под шелковым платьем, под шелковым бельем. Она сидит, мечтательно, сонно слушая. Мужские голоса обвивают ее. Она сидит холодная, белая, недосягаемая, как маяк. Мужские руки ползут, точно жуки по твердому стеклу. Мужские взгляды порхают и бьются об него беспомощно, как мотыльки. Но в глубокой, бездонной черноте внутри нее что-то гремит, как пожарная машина.

Джордж Болдуин стоял у накрытого стола с газетой в руках.

— Помни, Сесили, — говорил он, — что мы должны быть благоразумны.

— Разве ты не видишь, что я стараюсь быть благоразумной? — сказала она резким, простуженным голосом.

Он стоял, глядя на нее, не садясь, скатывая уголок газеты большим и указательным пальцами. Миссис Болдуин была высокая женщина с густыми, старательно завитыми каштановыми волосами, собранными в высокую прическу. Она сидела перед серебряным кофейным сервизом, постукивая по сахарнице белыми, как грибки, пальцами с острыми розовыми ногтями.

— Джордж, я не могу больше переносить это! — Она крепко сжала вздрагивающие губы.

— Дорогая, ты преувеличиваешь…

— Преувеличиваю?.. Наша жизнь была сплошным обманом.

— Но, Сесили, мы любили друг друга.

— Ты женился на мне из-за моего общественного положения, ты это сам знаешь… Я была так глупа, что влюбилась в тебя… Очень хорошо! Теперь все кончено.

— Это неправда. Я действительно любил тебя.

Разве ты не помнишь, какой ужасной тебе казалась мысль, что ты не сможешь полюбить меня?

— Ты изверг… Ты еще вспоминаешь об этом… Ужас!

Вошла горничная с яичницей и ветчиной на подносе. Они сидели молча, глядя друг на друга. Горничная вышла, прикрыв за собой дверь. Миссис Болдуин положила голову на край стола и заплакала. Болдуин сидел, уставившись на заголовки газеты: «Убийство эрцгерцога чревато тяжелыми последствиями. Мобилизация австрийской армии».[131] Он поднялся, подошел к ней и положил руку на ее завитые волосы.

— Бедная Сесили, — сказал он.

— Не трогай меня!

Она выбежала из комнаты, прижав платок к лицу. Он сел за стол и принялся за яичницу с ветчиной; все казалось ему безвкусным как бумага. Он прервал еду, чтобы записать кое-что на листке блокнота (блокнот лежал у него в грудном кармане вместе с платочком): «См. иск Коллинза к Арбэтноту; Касс. деп.». Шаги и щелканье ключа в прихожей привлекли его внимание. Лифт

---

131 Примечания: 131

Речь идет об убийстве в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 г., которое послужило поводом для начала первой мировой войны.

только что начал опускаться. Он сбежал по лестнице. В стеклянную с чугунной решеткой дверь вестибюля он увидел ее высокий застывший силуэт — она натягивала перчатки. Он выбежал на улицу и взял ее за руку как раз в тот момент, когда подъезжало такси. Пот выступил у него на лбу и потек за воротник. Он представил себе, как он стоит в смешной позе, с салфеткой в руке, а негр-швейцар говорит, ухмыляясь: «Доброе утро, мистер Болдуин, кажется, сегодня будет хорошая погода». Стиснув ее руку, он проговорил тихим голосом сквозь зубы:

— Сесили, я хочу кое о чем поговорить с тобой. Подожди минутку, мы поедем вместе.

— Подождите, пожалуйста, пять минут, — сказал он шоферу, — мы сейчас спустимся.

Крепко сжимая ее руку, он вместе с ней вернулся к лифту. Когда они очутились в прихожей, она внезапно посмотрела ему прямо в лицо сухими, сверкающими глазами.

— Иди сюда, Сесили, — сказал он мягко.

Он запер дверь спальни на ключ.

— Теперь давай поговорим спокойно. Присядь, дорогая.

Он подставил ей стул. Она села машинально, не сгибаясь, как марионетка.

— Слушай, Сесили, ты не должна так говорить о моих друзьях. Миссис Оглторп — мой друг. Мы иногда совершенно случайно вместе пили чай в общественных местах, и это все. Я пригласил бы ее сюда, но я боюсь, что ты будешь с ней резка… Ты не должна давать волю своей безрассудной ревности. Я предоставляю тебе полную свободу и безусловно доверяю тебе. Я думаю, что я имею право на такое же доверие с твоей стороны. Сесили, будь же снова моей разумной, милой девочкой. Ты поверила тому, что куча старых баб нарочно наплела для того, чтобы сделать тебя несчастной.

— Она не единственная.

— Сесили, я сознаюсь откровенно, что были случаи вскоре после нашей свадьбы… Но все это было много лет тому назад… И чья это вина? Сесили, женщина, подобная тебе, не может понять физических потребностей такого мужчины, как я.

— Разве я не делала все, что могла?

— Моя дорогая, в таких вещах никто не виноват… Я не обвиняю тебя. Если бы ты действительно любила меня тогда…

— Ради чего же я остаюсь в этом аду, если не ради тебя? О, какое ты животное! — Она сидела,

глядя сухими глазами на свои ноги в серых замшевых туфлях и комкая мокрый платок.

— Послушай, Сесили, развод отразится на моем положении в городе, особенно в данный момент. Но если ты действительно не хочешь больше оставаться со мной, то я подумаю, как это устроить… Во всяком случае, ты должна доверять мне. Ты знаешь, что я люблю тебя. И, ради Бога, не говори об этом ни с кем, не посоветовавшись предварительно со мной. Ты не хочешь скандала и жирных заголовков в газетах, не правда ли?

— Хорошо… Оставь меня сейчас… Мне все это безразлично.

— Ну и прекрасно! Я очень опаздываю. Я поеду в город на такси. Не хочешь ли поехать за покупками?

Она покачала головой. Он поцеловал ее в лоб, взял соломенную шляпу, тросточку в прихожей и шмыгнул за дверь.

— О, как я несчастна! — простонала она и поднялась.

Ее голова горела, как будто ее стянули раскаленной проволокой. Она подошла к окну и выглянула на улицу. Пламенно-голубое небо было загромождено лесами строящегося дома. Паровые заклепочники шумели беспрерывно;

время от времени свистела паровая машина, лязгали цепи, и стальная балка повисала наискось в воздухе. Рабочие в синих блузах копошились на лесах. Позади, на северо-западе, компактная, светящаяся масса облаков плыла по небу, точно кочан капусты. «Хоть бы дождь пошел!» Когда эта мысль пришла ей в голову, раздался раскат грома, заглушивший грохот стройки и уличного движения. «Хоть бы дождь пошел!»

Эллен повесила ситцевую занавеску на окно, чтобы замаскировать ее пестрым узором из красных и лиловых цветов вид на запущенные задние дворы и кирпичные стены домов. Посреди пустой комнаты стояла кушетка; на ней стояли чайные чашки и керосинка. Желтый деревянный пол был усеян обрезками ситца и обойными гвоздиками; книги, постельное белье, платья выпирали из сундука в углу. От новой швабры около камина пахло кедровым маслом. Эллен, прислонясь к стенке, в кимоно цвета нарцисса, весело осматривала большую комнату, похожую на сапожную коробку. Ее внимание отвлек звонок на парадной. Она отбросила прядь волос со лба и нажала на кнопку, открывающую дверной замок. В дверь слабо постучали. В темной передней стояла женщина.

— Это вы, Касси? Я никак не могла понять, кто это пришел? Войдите… В чем дело?

— Я вам не помефаю?

— Конечно, нет. — Эллен наклонилась, чтобы поцеловать ее.

Кассандра Вилкинс была очень бледна, ее веки нервно подергивались.

— Может быть, вы мне посоветуете… Я сейчас подниму занавески… Как вы думаете, подходит красный цвет к серым обоям? По-моему, так хорошо.

— По-моему, чудесно. Какая квасивая комната! Как вы будете счастливы тут!

— Поставьте керосинку на пол и садитесь. Я приготовлю чай. Тут есть кухонька в ванной комнате.

— А вас это не затвуднит?

— Нисколько… Но, Касси, в чем дело?

— Я пришла, чтобы рассказать вам все, но не могу начать.

— Я в восторге от этого помещения. Подумайте, Касси, первый раз в жизни у меня собственная квартирка. Папа хотел, чтобы я жила с ним, но я чувствую, что не смогу.

— А как мистер Оглторп? Впрочем, это нескво-мно с моей стовоны… Пвостите меня, Элайн, я

совсем сумафедфая. Я не знаю, что я гововю.

— О, Джоджо такой милый. Он даже согласен дать мне развод, если я захочу. Что бы вы сделали на моем месте?

Не ожидая ответа, она исчезла за дверью. Касси осталась сидеть на краю кушетки.

Эллен вернулась с синим чайником в одной руке и с кастрюлькой кипящей воды в другой.

— Вы не сердитесь, нет ни лимона, ни сливок. Там на камине есть сахар. Эти чашки чистые, я их только что мыла. Правда, они хорошенькие? Вы не можете себе представить, как уютно чувствуешь себя в собственной квартире! Я терпеть не могу жить в отеле. Честное слово, эта комната делает меня домоседкой… Конечно, самое курьезное — это то, что я должна буду отказаться от нее или сдать, как только приведу ее в порядок. Через три недели наша труппа уезжает в турне. Я хотела уйти из труппы, но Гарри Голдвейзер не пускает меня.

Касси пила чай маленькими глотками с ложечки. Она начала тихо плакать.

— Что такое, Касси, возьмите себя в руки! В чем дело?

— О, вы такая счастливая, Элайн, а я такая несчастная!

— Что вы! Я всегда думала, что мне надо выдать первый приз за невезение. В чем дело?

Касси поставила чашку и повисла у нее на шее.

— Дело в том… — сказала она сдавленным голосом. — Я думаю, что у меня скоро будет вебенок. — Она уронила голову на колени и заплакала.

— А вы в этом уверены?

— Я хотела, чтобы наша любовь всегда была чистой и квасивой, но он сказал, что никогда больше не придет, если я… Я ненавижу его! — Она произносила слова отрывисто, между рыданиями.

— Почему же вы не поженитесь?

— Не могу. Не хочу. Это помефает мне.

— Как давно вы об этом узнали?

— Дней десять тому назад. Я знаю, я бевеменна… А мне ничего не нужно, квоме танцев. — Она перестала плакать и опять начала пить чай маленькими глотками.

Эллен ходила взад и вперед перед камином.

— Послушайте, Касси, совершенно бесполезно так расстраиваться. Я знаю одну женщину — она вам поможет. Возьмите себя, пожалуйста, в руки.

— Не могу, не могу… — Блюдце соскользнуло с

ее колен на пол и разбилось. — Скажите, Элайн, вы когда-нибудь были в таком положении?.. Ах, какая жалость! Я куплю вам другое блюдце, Элайн. — Она поднялась, шатаясь, и поставила чашку с ложечкой на камин.

— Конечно, бывала. Когда я только что вышла замуж, мне было очень тяжело…

— Ах, Элайн, как все это отвратительно! Жизнь могла бы быть такой пвеквасной, свободной, естественной без этого… Я чувствую, как этот увас вползает в меня, убивает меня…

— Да, такова жизнь, — угрюмо промолвила Эллен.

Касси снова заплакала:

— Мувчины так гвубы и эгоистичны!

— Выпейте еще чашку чая, Касси.

— Не могу, довогая. Я чувствую смевтельную тофноту. Кажется, меня сейчас стофнит.

— Ванная комната направо в дверь, потом налево.

Эллен ходила взад и вперед по комнате, стиснув зубы. «Я ненавижу женщин. Я ненавижу женщин».

Через некоторое время Касси вернулась с зеленовато-белым лицом и полотенцем на лбу.

— Ложитесь сюда, бедняжка моя, — сказала

Эллен, очищая место на кушетке. — Теперь вам будет гораздо лучше.

— Пвостите меня, я пвичиняю вам столько волнений.

— Полежите минутку спокойно и забудьте все.

— Если бы я только могла успокоиться.

Руки Эллен были холодны. Она подошла к окошку и выглянула в него. Мальчик в ковбойском костюме бегал по двору, размахивая веревкой. Он споткнулся и упал. Эллен увидела его лицо — оно было все в слезах, когда он встал. В конце двора низенькая черноволосая женщина развешивала белье. Воробушки чирикали и дрались на заборе.

— Элайн, довогая, дайте мне немножко пудвы, я потеряла свою пудвеницу.

Эллен отошла от окна.

— Кажется… Да, на камине… Вы теперь чувствуете себя лучше, Касси?

— О да, — сказала Касси дрожащим голосом. — А губная помада у вас есть?

— К сожалению, нет… Я не крашу губ. Достаточно с меня грима на сцене.

Она ушла в альков, сняла кимоно, надела простенькое зеленое платье, собрала волосы и надвинула на лоб черную шляпу.

— Пойдемте скорее, Касси, я хочу поесть до

шести. Терпеть не могу обедать за пять минут до спектакля.

— Я так боюсь, Элайн… Обещайте, что вы не оставите меня одну.

— Но она ничего не будет делать сегодня… Она только осмотрит вас и, может быть, даст вам что-нибудь принять внутрь… Подождите-ка, взяла ли я ключ…

— Нам пвидется взять такси. А у меня только шесть доллавов, довогая.

— Я попрошу папу дать мне сто долларов на покупку мебели. Это будет замечательно!

— Элайн, вы ангел. Вы заслужили ваш успех.

На углу Шестой авеню они сели в такси. У Касси стучали зубы.

— Повалуйста, пойдем в двугой ваз, я увасно волнуюсь.

— Дорогая, это единственное, что осталось делать.

Джо Харленд, попыхивая трубкой, запер широкие, шаткие ворота и заложил их болтом. Последний отблеск гранатового солнечного света таял на высокой стене дома по ту сторону рва. Синие руки кранов казались на фоне ее черными. Трубка Харленда погасла, и он стоял, посасывая ее, спиною к воротам, глядя на ряд пустых

тележек, на кучи ломов и лопат, на небольшой навес для паровой машины и на паровые сверла, угнездившиеся на каменной глыбе, как хижины горцев на скале. Эта картина казалась ему мирной, несмотря на грохот уличного движения, просачивавшийся сквозь забор. Он вышел во двор через калитку, уселся на стул под телефоном, вытряхнул, снова набил и зажег трубку, развернул на коленях газету.

Предприниматели отвечают на забастовку строительных рабочих локаутом.

Он зевнул и откинул голову. Свет был слишком синим — нельзя было читать. Он долго сидел, глядя на свои рваные ботинки. В голове у него была приятная, легкая пустота. Вдруг он увидел себя во фраке, в цилиндре, с орхидеей в петлице. Чародей Уолл-стрит посмотрел на морщинистое красное лицо и седые волосы под грязной кепкой, на большие руки с грязными, опухшими суставами и, усмехнувшись, растаял. Он смутно вспомнил запах «корона-корона», когда полез в карман куртки за дешевым трубочным табаком.

— Какая разница, хотел бы я знать? — сказал он вслух.

Когда он зажег спичку, ночь вокруг него стала

чернильной. Он задул спичку. Его трубка была веселым маленьким красным вулканом, тихо булькавшим каждый раз, когда он затягивался. Он курил очень медленно, глубоко вдыхая дым. Высокие здания кругом были окружены красноватым ореолом от уличного освещения и электрических реклам. Глядя вверх, сквозь мерцающую пелену отраженного света, он увидел сине-черное небо и звезды. Табак был приятен на вкус. Он был очень счастлив.

Светящийся уголек сигары проплыл мимо калитки. Харленд поднял фонарь и вышел. Фонарь осветил белокурого молодого человека с толстым носом и толстыми губами, с сигарой в углу рта.

— Как вы сюда попали?

— Боковая калитка была открыта.

— Вранье! Кого вам надо?

— Вы тут ночной сторож?

Харленд кивнул.

— Очень приятно. Берите сигару. С вами-то я как раз и хотел поговорить. Я организатор сорок седьмого района. Покажите вашу карточку.

— Я не член союза.

— Ну так будете. Мы, строительные рабочие, должны держаться вместе. Мы вербуем в члены союза всех работников района от ночного сторо-

жа до инспектора — мы должны создать единый фронт против предпринимателей, грозящих нам локаутом.

Харленд зажег сигару.

— Вот что, паренек. Со мной вы понапрасну тратите слова. Ночной сторож всегда нужен, есть забастовка или нет. Я старый человек, у меня нет больше сил для борьбы. Это первое приличное место, которое я получил за пять лет. Прежде, чем отнять его у меня, вам придется меня застрелить. Вся эта ерунда — для таких ребят, как вы. Я уже вышел из этого возраста. Уверяю вас, вы зря потратите время, если будете ходить и агитировать ночных сторожей.

— Скажите, пожалуйста… По вашему разговору видно, что вы раньше не занимались этим делом.

— Может, и не занимался.

Молодой человек снял шляпу и провел рукой по лбу и курчавым стриженым волосам.

— Черт возьми, трудная это работа — уговаривать… Чудесная ночь, правда?

— Да, ночь хороша, — сказал Харленд.

— Меня зовут О'Киф, Джо О'Киф… Бьюсь об заклад, что вы могли бы рассказать много интересного. — Он протянул руку.

— Меня тоже зовут Джо… Джо Харленд. Двадцать лет тому назад это имя кое-что говорило многим.

— Двадцать лет тому назад?

— Знаете, вы мало подходите к роли бродячего агитатора… Послушайте совета старого человека — бросьте это дело. Для молодого парнишки, который хочет проложить себе дорогу в жизни, оно не годится.

— Времена меняются… В забастовке заинтересованы большие тузы. Не далее, как сегодня вечером, я говорил о создавшемся положении с членом торговой палаты Мак-Нийлом в его собственной конторе.

— Я вам повторяю: если вы на чем-нибудь можете свернуть себе шею в этом городе, так это на рабочем движении… Когда-нибудь вспомните слова старого пьяницы, но будет поздно.

— Стало быть, всему виной пьянство? Ну, этого я не боюсь. Я в рот не беру спиртного — разве что пива выпью за компанию.

— Будьте осторожны, сейчас наш сыщик будет делать обход. Лучше убирайтесь восвояси.

— Не боюсь я никаких сыщиков… Ну ладно, зайду к вам на днях.

— Прикройте дверь за собой.

Джо Харленд выпил воды из жестянки, уселся поудобнее на стуле, потянулся и зевнул. Одиннадцать часов. Сейчас начинается театральный разъезд: мужчины во фраках, женщины в открытых платьях; мужчины едут домой к своим женам и любовницам; город ложится спать. Такси гудели и хрипели по ту сторону забора, небо мерцало золотой пылью электрических реклам. Он бросил окурок и раздавил его каблуком. Он поежился и медленно побрел по строительному участку, освещая себе путь фонарем.

Уличный свет слабо золотил громадную вывеску, на которой был изображен небоскреб, белый с черными окнами, на фоне голубого неба и белых облаков. «Сегал и Хайнз воздвигнут на этом участке современное двадцатичетырехэтажное здание, предназначенное специально для контор и магазинов. Помещения сдаются с января 1915 года. Цены еще не повышены. Справки…»

Джимми Херф читал, сидя на зеленой кушетке под лампочкой в углу большой пустой комнаты. Он дошел до смерти Оливье в «Жане-Кристофе»[132] и читал со все возрастающим интересом. В его памяти воскресал шум Рейна, ревущего

132 Примечания: 132

«Жан-Кристоф» — известный роман Ромена Роллана (1866—1944).

и бьющегося о подножье сада того дома, где родился Жан-Кристоф. Европа казалась ему зеленым садом, полным музыки, красных флагов и движущихся толп. Порой снежно-мягкий, задыхающийся вой пароходной сирены врывался с реки в комнату. С улицы доносились гудки такси и ноющий визг трамваев.

В двери постучали. Джимми встал, его глаза горели и слезились от чтения.

— Хелло, Стэн. Откуда тебя черт несет?

— Херфи, я пьян в стельку.

— Это не новость.

— Я просто сообщаю тебе бюллетень погоды.

— Скажи мне лучше, почему в этой стране никто ничего не делает. Никто не пишет музыки, никто не устраивает революций, никто не влюбляется. Тут только и делают, что напиваются и рассказывают сальные истории. По-моему, это отвратительно…

— Ну-ну… говори за себя. Я бросаю пить… Нехорошо пить, надоедает это дело… слушай, есть ванна?

— Конечно, есть. Чья это, по-твоему, квартира? Моя?

— А чья?

— Лестера. Я только сторожу ее, пока он болта-

ется за границей, счастливец этакий!

Стэн начал раздеваться, роняя одежду к ногам.

— Я бы хотел поплавать… На кой черт люди живут в городах?

— Почему я влачу жалкое существование в этом сумасшедшем, эпилептическом городе?.. Вот что я хотел бы знать.

— Зови, Гораций, банщика-раба! — заорал Стэн, попирая ногами свою одежду и слегка покачиваясь, темнокожий, с тугими, закругленными мускулами.

— Прямо в дверь. — Джимми вытащил из сундучка, стоявшего в углу, полотенце, бросил его вслед Стэну и опять взялся за книгу.

Стэн, спотыкаясь, вернулся в комнату, отряхиваясь, бормоча из-под полотенца.

— Как тебе нравится? Я забыл снять шляпу. Херфи, ты должен сделать мне одно одолжение. Ты ничего не имеешь против?

— Конечно, нет. В чем дело?

— Можно мне воспользоваться твоей комнатой на сегодняшнюю ночь?

— Конечно, можно.

— Я буду не один.

— Распоряжайся комнатой, как хочешь. Можешь привести сюда хоть всех хористок из

«Зимнего сада». Никто ничего не узнает. Здесь есть пожарная лестница, она спускается прямо в аллею. Я пойду спать и запру свою дверь, так что в твоем распоряжении будет эта комната с ванной.

— Это наглость с моей стороны, но муж одной особы начинает кое-что подозревать, и нам приходится быть чрезвычайно осторожными.

— Утром можешь тоже не беспокоиться. Я уйду рано, так что вся квартира будет в вашем распоряжении.

— Чудесно!

— Ну, я пойду.

Джимми собрал свои книги, пошел в спальню и разделся. Часы показывали четверть первого. Ночь была лунная. Он погасил свет и долго сидел на краю кровати. От далекого воя сирены с реки у него пробежали мурашки по спине. С улицы доносились звуки шагов, мужские и женские голоса, тихий молодой смех идущих домой парочек. Где-то играл граммофон. Джимми лежал на спине поверх одеяла. В окно проникал запах бензина, кислой требухи, пыльных мостовых. Пахло прелью неубранных каморок, в которых извивались одинокие мужские и женские тела, мучимые ночью и юной весной. Он лежал,

уставившись сухими глазами в потолок, его тело горело и трепетало в лихорадке, как раскаленный докрасна металл.

Возбужденный женский шепот разбудил его; кто-то толчком открыл дверь:

— Я не хочу видеть его. Я не хочу видеть его. Ради Бога, Джимми, поговорите с ним. Я не хочу видеть его!

Элайн Оглторп, закутанная в простыню, вошла в комнату. Джимми вскочил с кровати.

— В чем дело?

— Спрячьте меня куда-нибудь. Я не хочу говорить с Джоджо, когда он в таком состоянии.

Джимми оправил свою пижаму.

— За спинкой кровати стоит шкаф.

— Хорошо… Джимми, будьте ангелом, поговорите с ним и заставьте его уйти.

Джимми угрюмо вышел в соседнюю комнату.

— Шлюха, шлюха! — кричал кто-то из окна.

Горел свет. Стэн, задрапированный, как индеец, в серое одеяло с розовыми полосами, сидел, скрючившись, между двумя кушетками, составленными вместе. Он бесстрастно глядел на Джона Оглторпа; тот, перегнувшись снаружи через подоконник, выл, размахивал руками и ругался, точно балаганный паяц. Его спутанные волосы

падали на глаза. Он размахивал тросточкой, а в другой руке держал светло-палевую фетровую шляпу.

— Иди сюда, шлюха! Я тебя поймал на месте преступления… На месте преступления! Недаром предчувствие привело меня по пожарной лестнице в квартиру Лестера Джонса. — Он замолчал и уставился на Джимми широко открытыми, пьяными глазами. — А, вот он, младенец-репортер, желтый журналист! Посмотрите, какой у него невинный вид! Хотите знать, что я о вас думаю? Хотите знать, какого я о вас мнения? Я достаточно слышал о вас от Рут и других. Я знаю, вы считаете себя динамитчиком и человеком, чуждым всем нам… Вы — проститутка, газетная проститутка, оплачиваемая построчно! Вам нравится ваш желтый билет? Вы думаете, что я актер, артист, что я ничего не смыслю в этих вещах? Я слышал от Рут ваше мнение об актерах.

— Послушайте, мистер Оглторп, вы ошибаетесь, уверяю вас.

— Я себе читаю и молчу. Я из числа молчаливых наблюдателей. Я знаю, что каждая фраза, каждое слово, каждая запятая, которая появляется в газете, обдумана, обработана, отшлифована в интересах лиц, дающих объявления, и держателей

акций. Река национальной жизни отравлена у самого источника!

— Валяйте, выкладывайте все! — закричал вдруг Стэн; он вскочил с кушетки и захлопал в ладоши.

— Я предпочитаю быть ничтожнейшим актеришкой на выходах... Я предпочитаю быть старушкой-уборщицей, подметающей сцену... Это лучше, чем сидеть в бархатном редакторском кресле самой большой газеты города. Быть актером — достойная, почетная, скромная, джентльменская профессия. — Речь внезапно оборвалась.

— Ну ладно, что же вы, в сущности, хотите от меня? — спросил Джимми, скрестив руки на груди.

— Ну вот, дождь пошел, — заговорил Оглторп дрожащим, хнычущим голосом.

— Вы бы лучше шли домой, — сказал Джимми.

— И пойду... Уйду туда, где нет шлюх — ни женщин-шлюх, ни мужчин-шлюх... Я уйду в великую ночь...

— Как ты думаешь, может он один дойти до дому, Стэн?

Стэн сидел на краю кушетки и трясся от смеха. Он пожал плечами.

— Моя кровь падет на твою голову, Элайн!.. Во веки веков… Ты слышишь? Во веки веков!.. В ночь, где никто не сидит и не издевается надо мной… Не думай, что я не вижу тебя… Если случится катастрофа, то не по моей вине.

— Спокойной но-очи! — заорал Стэн; в последнем спазме смеха он упал с кушетки и покатился по полу.

Джимми подошел к окну и посмотрел вниз на пожарную лестницу и на аллею. Оглторп исчез. Шел сильный дождь. Стены дома пахли мокрым кирпичом.

— Ну разве это не сумасшествие?

Он пошел к себе в комнату, не глядя на Стэна. В дверях мимо него шелково прошелестела Эллен.

— Я ужасно огорчена, Джимми… — начала она.

Он захлопнул дверь перед ее носом и повернул ключ.

— Проклятые дураки! Ведут себя как сумасшедшие! — проговорил он сквозь зубы. — Что они думают, черт бы их побрал?

Его руки были холодны и дрожали. Он натянул на себя одеяло. Он лежал и прислушивался к монотонному стуку дождя и журчанью льющейся по желобу воды. Время от времени холодный ветер ударял ему в лицо. В комнате все еще плавал

мягкий запах кедрового дерева, исходивший от ее волос, от шелкового тела, только что лежавшего на его простынях.

Эд Тэтчер сидел на подоконнике, обложившись воскресными газетами. Его волосы поседели, а щеки были изборождены морщинами. Верхняя пуговица на широких брюках была расстегнута, чтобы дать простор круглому брюшку. Он сидел у открытого окна, глядя на сверкающий асфальт, на бесконечный поток автомобилей, сновавших во всех направлениях мимо желто-кирпичных рядов магазинов и краснокирпичной станции, на фронтоне которой висела черная доска с мерцающими золотыми буквами: «Пассаик». Из смежных квартир доносился жалобный воскресный скрежет граммофонов. На коленях у него лежало театральное приложение «Нью-Йорк таймс». Он смотрел слезящимися глазами в дрожащий зной и чувствовал, как его ребра напрягаются от неотступной боли. Он только что прочел заметку в отделе «В городе и свете».

> Злым языкам дает обильную пищу то обстоятельство, что автомобиль молодого Стэнвуда Эмери ежевечерне дежурит у театра «Никербокер». Говорят, что он

постоянно отвозит домой некую очаровательную юную актрису, которая вскоре обещает стать звездой первой величины. Стэнвуд Эмери — тот самый молодой джентльмен, отец которого является главой одной из наиболее уважаемых в городе юридических контор. Он недавно покинул Гарвардский университет при довольно неблагоприятных обстоятельствах и долгое время удивлял горожан выходками, которые, как мы уверены, являются лишь следствием избытка юношеского темперамента. Sapienti sat.[133]

Три раза позвонили. Эд Тэтчер уронил газеты и поплелся к двери.

— Элли, как ты поздно! Я боялся, что ты совсем не придешь.

— Папа, разве я хоть раз тебя обманула?

— Нет-нет, дорогая.

— Как ты поживаешь? Как дела в конторе?

— Мистер Элберт в отпуску… Когда он вернется, я, должно быть, тоже получу отпуск. Я бы хотел, чтобы ты поехала со мной на озеро Спринг на

---

133 Примечания: 133
Для понимающего достаточно *(лат.)*.

несколько дней. Тебе это будет полезно.

— Не могу, папочка… — Она сняла шляпу и бросила ее на диван. — Смотри, папа, я принесла тебе розы.

— Спасибо. Твоя мать любила красные розы. Ты очень внимательна… Но мне так неприятно ехать в отпуск одному.

— О, ты, наверно, встретишь там множество старых друзей.

— Почему ты не можешь поехать со мной, хотя бы на неделю?

— Во-первых, мне нужно искать работу… Труппа едет в турне, и я с ними не еду. Гарри Голдвейзер ужасно об этом горюет.

Тэтчер снова сел на подоконник и положил газеты на стул.

— Папочка, зачем тебе отдел «В городе и свете»?

— О, я никогда не читаю его. Я просто хотел посмотреть, что это за штука. — Он покраснел и сжал губы, засовывая листок между газетами.

— Шантажный листок!

Эллен расхаживала по комнате. Она поставила розы в вазу. Острая прохлада разлилась от них в тяжелом, пыльном воздухе.

— Папа, я кое-что должна тебе сказать. Мы с

Джоджо собираемся развестись.

Эд Тэтчер сидел, положив руки на колени, сжав губы. Он кивал головой, не произнося ни слова. Лицо у него было серое и темное, почти такого же цвета, как его серый костюм.

— Тут ничего не поделаешь. Мы решили, что мы не можем больше жить вместе. Все будет сделано тихо-мирно, как полагается… Мой друг Джордж Болдуин взял это дело на себя.

— Он работает в фирме «Эмери и Эмери»?

— Да.

— Гм…

Они молчали. Эллен наклонилась над розами, глубоко вдыхая их запах. Она следила, как маленький зеленый червячок ползает по бронзовому листику.

— Честное слово, я очень люблю Джоджо, но я схожу с ума от жизни с ним… Я обязана ему очень многим, я это знаю.

— Лучше бы ты никогда не встречалась с ним.

Тэтчер кашлянул и отвернулся. Он смотрел в окно на два бесконечных ряда автомобилей, тянувшихся мимо станции. Они вздымали пыль, сверкали стеклом, эмалью и никелем. Эллен опустилась на диван и бродила глазами по выцветшим красным розам ковра.

Раздался звонок.

— Я открою, папа… Здравствуйте, миссис Колветир!

Толстая краснощекая женщина в черном с белыми полосами шифоновом платье, отдуваясь, вошла в комнату.

— Простите, пожалуйста, что я так ворвалась. Я только на минутку… Как поживаете, мистер Тэтчер?.. Знаете, Дорогая, ваш бедный отец чувствует себя очень плохо.

— Ерунда! У меня только немножко болела спина.

— Прострел, дорогая моя.

— Почему ты мне ничего не сказал, папочка?

— Проповедь сегодня была очень хорошая, мистер Тэтчер… Мистер Луртон был в ударе.

— Я думаю, мне бы следовало изредка ходить в церковь, но я, знаете ли, ужасно люблю сидеть дома по воскресеньям.

— Конечно, мистер Тэтчер, это ваш единственный день отдыха. Мой муж тоже любил сидеть дома по воскресеньям… Но мистер Луртон совсем не похож на других проповедников. У него такие современные взгляды! Право же, кажется, что вы не в церкви, а на какой-то интереснейшей лекции… Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Знаете что, миссис Колветир? В следующее воскресенье, если будет не слишком жарко, я, пожалуй, пойду. А то я совсем заплесневею.

— О, маленькая перемена всем приносит пользу!.. Миссис Оглторп, вы даже представить себе не можете, как мы внимательно следим за вашими успехами по воскресным газетам и… вообще… Это прямо удивительно! Я только вчера говорила мистеру Тэтчеру, что надо иметь большую силу воли и много глубокой христианской веры, чтобы противостоять всем искушениям артистической жизни… Душа радуется, когда подумаешь, какой чистой и неиспорченной вы остались!

Эллен упорно смотрела в пол, чтобы не встретиться глазами с отцом. Он барабанил пальцами по ручке кресла. Миссис Колветир сияла, сидя на диване. Наконец она встала.

— Ну, мне пора бежать. У меня ужасно неопытная кухарка, и я уверена, что обед испорчен… Не заглянете ли вы ко мне после обеда?.. Совсем запросто… Я испекла пирожки и у нас есть имбирное пиво на случай, если кто-нибудь зайдет.

— С величайшим удовольствием, миссис Колветир, — сказал Тэтчер, с трудом поднимаясь.

Миссис Колветир выпорхнула, шурша пышным платьем.

— Ну, Элли, пойдем кушать… Очень славная и добрая женщина… Постоянно носит мне варенье и мармелад! Она живет наверху у своей сестры. Она вдова коммивояжера.

— Она съязвила насчет актерской жизни, — усмехнулась Эллен. — Пойдем скорее, а то все будет полно. Избегать толпы — мой девиз.

— Ну что ж, не будем копаться, — ворчливым скрипучим голосом сказал Тэтчер.

Эллен раскрыла зонтик, когда они вышли на улицу из двери, увешанной с обеих сторон ящиками для писем и звонками. Стена серого зноя ударила им в лицо. Они прошли мимо станции, мимо аптекарского магазина на углу; оттуда из-под зеленой парусины капала тухлая прохлада холодильников для содовой и мороженого.

Они перешли через улицу, увязая в дымящемся расплавленном асфальте, и остановились у ресторана. Часы в окне, с надписью на циферблате «Пора есть», показывали ровно двенадцать. Под часами красовался запыленный папоротник; на карточке было написано: «Обеды — 1.25». Эллен задержалась на пороге и посмотрела на дрожащую улицу.

— Наверно, будет гроза, папа.

Невероятно белые облака громоздились на

аспидном небе.

— Какое красивое облако! Вот было бы хорошо, если бы разразилась гроза.

Эд Тэтчер взглянул, покачал головой и прошел в матовую стеклянную дверь. Эллен последовала за ним. В ресторане пахло лаком и кельнершами. Они сели за стол подле двери под жужжащий электрический вентилятор.

— Здравствуйте, мистер Тэтчер. Как ваше здоровье, сэр? Здравствуйте, мисс. — Скуластая кельнерша с обесцвеченными перекисью волосами дружески нагнулась над ними. — Что прикажете, сэр, жареную уточку или жареного молочного каплуна?

IV. Пожарная машина

В такие дни автобусы выстраиваются вереницей, как слоны в цирке. Фаты и щеголихи шатаются, обнявшись, из улицы в улицу, обнимаются, шатаясь из серого сквера в серый сквер, пока не увидят молодого месяца, пляшущего над Вихаукеном,[134] пока тяжкий ветер мертвого воскресенья не швырнет им пыль в лицо — пыль пьяных сумерек.

Они идут по алее Центрального парка.

— Выглядит так, словно у него нарыв на шее, — говорит Эллен перед статуей Бёрнса.[135]

— Да, — шепчет Гарри Голдвейзер с жирным вздохом, — но он был великим поэтом.

Она идет в большой шляпе, в светлом, свободном платье, которое время от времени под ударами ветра облипает ей ноги и руки; она

---

134 Примечания: 134

Вихаукен — улица в Гринич Виллидж, недалеко от Гудзона.

135 Примечания: 135

Роберт Бернс (1759—1796) — известный шотландский поэт. Памятник, выполненный скульптором Джоном Стиллом в романтической (по мнению критики — несколько слащавой) манере, был открыт в Центральном парке в 1880 г.

шелково, плавно идет среди больших розоватых, пурпуровых и фисташково-зеленых сумеречных пятен, возникающих от травы и деревьев и прудов, льнущих к высоким серым домам, которые окружают, точно гнилые зубы, южную часть парка, тающую в индиговом зените. Когда Голдвейзер заговаривает, роняя круглые сентенции с толстых губ, не сводя с ее лица коричневых глаз, она чувствует, как его слова давят ее тело, тыкаются в складки ее платья. Она едва дышит от страха, слушая его.

— «Zinnia Girls»[136] будут иметь большой успех, Элайн, я вам говорю, и эта роль написана специально для вас. Я с наслаждением проработаю ее с вами, честное слово… Вы какая-то особенная… Все девушки в Нью-Йорке одинаковые, монотонные… Вы будете прекрасно петь, если захотите. Я одурел в первый же миг, как увидел вас, а с тех пор прошло уже добрых шесть месяцев. Сажусь есть — еда не лезет мне в горло… Вы никогда не поймете, каким одиноким становится человек, когда он из года в год должен убивать в себе всякое чувство! Когда я был молодым парнем, я был совсем другой. Но что поделаешь? Надо было

---

136 Примечания: 136

«Zinnia Girls» — «Девочки-циннии» *(англ.).*

зарабатывать деньги и пробиваться. И так шло из года в год. Теперь я впервые радуюсь, что делал это, что продвигался и зарабатывал большие деньги, потому что теперь могу предложить все это вам. Понимаете, что я хочу сказать?.. Все идеалы, все красивое, что было придушено во мне, пока я пробивал себе дорогу, все это было как семя в душе, а теперь из семени вырос цветок, и этот цветок — вы.

Он то и дело дотрагивается до ее руки; она стискивает руку в кулак, угрюмо отдергивает ее от его горячих, жирных пальцев.

В парке бродят парочки и семейства в ожидании музыки. Пахнет детьми, подмышниками и рисовой пудрой. Продавец воздушных шаров проходит мимо них; он тащит за собой красные, желтые и розовые шары, точно ветку винограда.

— Купите мне шар. — Слова сорвались с ее губ прежде, чем она успела остановить их.

— Эй, дайте мне по одному шарику всех цветов! Вот-вот, и золотой тоже… Сдачи не надо.

Эллен вкладывает веревочки шаров в грязные руки трех обезьяноподобных девочек в красных шапочках. В каждом шаре трепещет фиолетовый свет дугового фонаря.

— Ах, вы любите детей, Элайн, да? Мне нравит-

ся, когда женщина любит детей.

Эллен неподвижно сидит за столиком на террасе казино. Горячий запах кушаний и ритм музыки удушливо кружатся вокруг нее; время от времени она намазывает маслом кусочек булки и кладет его в рот. Она чувствует себя очень беспомощной, как муха, пойманная его клейкими, тягучими словами.

— Никто во всем Нью-Йорке, кроме вас, не заставил бы меня идти так далеко… Я слишком много ходил в былые дни. А потом был рассыльным в игрушечном магазине Шварца… Я бегал весь день — только вечером отдыхал в вечерней школе. Я думал, что стану юристом. Все мальчишки с Истсайд мечтают быть юристами. Потом я одно лето служил капельдинером в театре на площади Ирвинга[137] и увлекся сценой… Оказалось, что это довольно выгодное дело, только хочу наверстать потерянное. Только об этом я и беспокоюсь. Мне тридцать пять лет, и мне на все наплевать. Десять лет тому назад я был клерком в конторе старого Эрлангера, а теперь многие люди, которым я когда-то чистил сапоги, будут

137 Примечания: 137

Здание театра на площади Ирвинга (Средний Манхэттен), где в разные времена помещались драматический театр, театр бурлеска и немецкий театр, было снесено в 1985 г.

рады и счастливы, если я позволю им подметать полы в моей квартире на Сорок восьмой улице… Я могу вас сейчас повезти, куда вы захотите, как бы дорого, как бы шикарно это ни было… А в былое время мы, ребята, думали, что мы в раю, когда у нас было пять долларов в кармане и мы могли повести наших девушек на Кони-Айленд… Держу пари, что вы жили совсем иначе, Элайн… Я хочу вернуть это старое чувство, понимаете? Куда мы поедем?

— А почему бы нам не поехать на Кони-Айленд? Я никогда там не была.

— Там много простонародья… Но все-таки поехать можно. Поедем! Я вызову мой автомобиль.

Эллен сидит одна и смотрит в свою чашку. Она кладет кусочек сахара на ложку, обмакивает его в кофе, кладет в рот и медленно растирает кристаллики сахара языком о нёбо. Оркестр играет танго.

Луч солнца, пробившись в контору из-под закрытых ставен, прорезал яркой полосой сигарный дым.

— Все очень просто, — цедил Джордж Болдуин. — Гэс, мы легко справимся с этим делом.

Гэс Мак-Нийл, с воловьей шеей, с багровым лицом и тяжелой часовой цепочкой, ползущей

по жилету, сидел в кресле, молча кивая головой и посасывая сигару.

При таком положении вещей никакой суд не поддержит подобного иска. Этот иск, по-моему, — чистейшая политика со стороны судьи Коннора. Но есть тут некоторые обстоятельства…

— Вы уже говорили… Послушайте, Джордж, я предоставляю все это темное дело вам. Вы вытянули меня из истсайдского болота, и мне кажется, что вы вытянете меня и теперь.

— Но, Гэс, в том деле вы все время действовали в пределах закона. Если бы это было не так, то я, конечно, не взялся бы за него, даже ради такого старого друга, как вы.

— Вы знаете меня, Джордж… Я никогда никого не оставлял в беде и не хочу, чтобы меня покидали друзья. — Гэс тяжело поднялся на ноги и стал ходить по кабинету, прихрамывая и опираясь на палку с золотым набалдашником. — Коннор — сукин сын! Вы не поверите, но он был порядочный малый до тех пор, пока не попал в Олбени.[138]

— Я построю мою защиту на том, что ваше поведение в этом деле все время намеренно

---

138 Примечания: 138

Олбени — столица штата Нью-Йорк, где располагалась его администрация, состоявшая в то время из представителей республиканской партии.

извращалось. Коннор использовал свое званье судьи ради политических целей.

— Господи, как бы мне хотелось подцепить его наконец! А я-то думал, что он порядочный человек; да он и был порядочным человеком, пока не выдвинулся и не спутался с этими вшивыми республиканцами. Много приличных людей погибло в Олбени.

Болдуин отошел от плоского стола красного дерева и положил руку на плечо Гэса.

— Не теряйте сна из-за этого.

— Я чувствовал бы себя прекрасно, если бы не интербороуские бумаги.

— Какие бумаги? Кто их видел?.. Ну-ка, позовем того парня, Джо... И вот еще что, Гэс. Ради Бога, держите язык за зубами... Если какой-нибудь репортер или вообще кто-нибудь сунется к вам, скажите, что вы ездили на Бермуды... У нас будет достаточно гласности, когда нам понадобится. А теперь мы как раз должны держать газеты в полном неведении, а то за вами будут стаями бегать реформисты.

— А разве вы сами не связаны с реформистами? Вы можете сговориться с ними.

— Гэс, я адвокат, а не политический деятель... Я вообще не впутываюсь в эти дела. Они меня не

интересуют.

Болдуин нажал ладонью стоячий звонок. Черноволосая молодая женщина со смуглым лицом и тяжелыми мрачными глазами вошла в комнату.

— Здравствуйте, мистер Мак-Нийл.

— Как вы чудно выглядите, мисс Левицкая!

— Эмили, пришлите того молодого парня, что ждет мистера Мак-Нийла.

Джо О'Киф вошел, слегка волоча ноги, держа в руках соломенную шляпу.

— Здравствуйте, сэр.

— Джо, что сказал Мак-Карзи?

— Союз домовладельцев и подрядчиков решил в понедельник объявить локаут.

— А как ваш союз?

— У нас полная касса денег. Мы будем бороться.

Болдуин сел на край стола.

— Я бы хотел знать, как относится ко всему этому мэр Митчел?

— Шайка реформистов, как всегда, толчет воду в ступе, — сказал Гэс, озлобленно покусывая сигару. — Когда же будет оглашено решение?

— В субботу.

— Прекрасно. Продолжайте держать с нами связь, Джо.

— Хорошо, сэр.

— Да, пожалуйста, не вызывайте меня по телефону. Это неудобно. Видите ли, это не моя контора. Могут подключиться к телефону. Эти молодцы ни перед чем не остановятся. Ну, мы еще увидимся, Джо.

Джо поклонился и вышел. Болдуин нахмурился и повернулся к Гэсу.

— Гэс, я не знаю, что я буду делать, если вы не бросите возиться с рабочим движением. Прирожденный политик, как вы, должен иметь больше здравого смысла. Так вы далеко не уйдете.

— Но весь город ополчился на нас.

— Я знаю множество людей в городе, которые и не подумали ополчаться. Но, слава Богу, это меня не касается. Дело с акциями в порядке, но если вы ввяжетесь еще и в забастовку, то я откажусь от вашего дела. Фирма не может отвечать за такие дела! — прошептал он яростно; потом сказал громко, обычным голосом: — Как поживает ваша жена, Гэс?

Снаружи в сияющем мраморном вестибюле Джо О'Киф в ожидании лифта насвистывал веселую песенку. «Славненькую он завел себе секретаршу, однако!» Он перестал свистеть и медленно выпустил изо рта набранный воздух. В

лифте он поздоровался с лупоглазым человеком в клетчатом костюме.

— Хелло, Бэк!

— Ну как, были в отпуску?

Джо стоял, расставив ноги и заложив руки в карманы брюк. Он покачивал головой.

— Нет, еду в субботу.

— А я намерен провести несколько дней в Атлантик-Сити.

— Как это вы устраиваетесь?

— Будьте спокойны — у меня башка работает.

Когда О'Киф вышел на улицу, ему пришлось прокладывать себе дорогу в толпе, собравшейся под навесом подъезда. Аспидное небо, проглядывая между высокими домами, заплевывало улицу серебряными монетами. Мужчины спасались бегством, пряча соломенные шляпы под пиджаки. Две девицы соорудили колпаки из газет и надели их на свои летние шляпки. Проходя мимо них, он поймал взглядом синеву их глаз, румянец губ и блеск зубов. Он быстро добежал до угла и вскочил на ходу в трамвай. Дождь продвигался по улице плотной завесой, блестя, кружась, прибивая к мостовой обрывки газет, танцуя серебряными нитями по асфальту, хлеща по окнам, играя бликами на лаке такси и трам-

ваев. На Четырнадцатой улице не было дождя, воздух был душный.

— Странная штука — погода, — сказал старик, стоявший рядом с О'Кифом.

О'Киф что-то промычал.

— Когда я был мальчиком, я раз видел, как на одной стороне улицы молния ударила в дом, а на противоположный тротуар не упало ни одной капли дождя… А один старик выставил в окно томаты и все ждал дождя.

Пересекая Двадцать третью улицу, О'Киф увидел башню на Мэдисон-сквер. Он спрыгнул с трамвая и по инерции пробежал за ним еще несколько шагов. Потом он отвернул воротник и перешел площадь. На скамейке под деревом дремал Джо Харленд. О'Киф шлепнулся рядом с ним.

— Хелло, Джо, возьмите сигару.

— Хелло, Джо, рад видеть вас, мой мальчик. Благодарю. Давно я не курил таких сигар… Ну, что поделываете?

— Мне что-то скучно последнее время. Возьму в субботу билет на бокс.

— А что с вами?

— Черт его знает… Все как-то не ладится. Я с головой влез в политическую игру, но ничего хорошего в ней не вижу. У нее нет будущего. Эх,

если б я был таким образованным, как вы!

— Подумаешь, помогло мне мое образование!

— Не скажите… Если бы я мог выбраться на ту дорогу, на которой вы стояли, я бы уже с нее не сошел, будьте уверены.

— Никто ничего не знает, Джо. Странные вещи случаются с человеком.

— Наверное, женщины и прочее такое?

— Нет, я не это имею в виду… Просто все становится противным.

— Черт возьми, я не понимаю, как это человеку с мошной вдруг все может опротиветь?

С минуту они сидели молча. Солнечный закат сверкал. Синий сигарный дым вился над их головами.

— Посмотрите-ка, какая шикарная баба!.. Посмотрите, как она идет! Ну не прелесть ли? Вот таких я люблю: стройная, гибкая, с накрашенными губами… Много, должно быть, денег стоит гулять с такими бабами.

— Они такие же, как все, Джо.

— Черта с два!

— Нет ли у вас, Джо, лишнего доллара?

— Может, и есть.

— У меня желудок что-то не в порядке… Мне бы надо принять чего-нибудь такого, а я до суббот-

ней получки пуст… Вы, надеюсь, не сердитесь? Дайте мне ваш адрес, и я пришлю вам в понедельник утром.

— Черт с ним, не беспокойтесь, встретимся еще.

— Спасибо, Джо. И, ради Бога, не покупайте больше угольных акций, не спросив меня предварительно. Может, я и бывший человек, но прибыльную сделку я могу учуять с закрытыми глазами.

— Я ведь вернул свои деньги…

— Исключительная удача!

— Да, забавно, в общем, что я одалживаю доллар человеку, которому принадлежала половина Уолл-стрит.

— Ну, в сущности у меня вовсе не было так много денег, как обо мне говорили.

— Странно…

— Что именно?

— Вообще странно… Ну, Джо, я, пожалуй, пойду, возьму билет… Говорят, интересный будет бой.

Джо Харленд смотрел на частые, подпрыгивающие шаги О'Кифа, который удалялся по дорожке, сдвинув соломенную шляпу набекрень. Потом поднялся и зашагал по Двадцать третьей улице. Тротуары и стены домов дышали зноем, хотя

солнце уже село. Он остановился у кабачка на углу и стал внимательно разглядывать серые от пыли чучела, красовавшиеся в центре витрины. Сквозь хлопающие двери на улицу просачивались спокойные звуки голосов и солодовая прохлада. Он вдруг покраснел, прикусил верхнюю губу, бросил беглый взгляд вверх и вниз по улице, шагнул через порог и неуклюжей походкой подошел к медной, сверкающей бутылками стойке.

После свежего воздуха затхлый запах кулис ударил им в нос. Эллен повесила мокрый дождевик на дверь и поставила в угол уборной зонтик. Под ним сразу же образовалась небольшая лужица.

— Единственное, что я помню, — тихо говорила она Стэну, который следовал за нею спотыкаясь, — это смешная песенка, которую кто-то пел мне, когда я была маленькой девочкой:

Лишь один человек пережил потоп —
Длинноногий Джек с Перешейка.

— Я не понимаю, почему люди имеют детей. Это признание своей слабости. Деторождение — это признание в несовершенстве своего организма. Деторождение — признание своей слабости.

— Стэн, ради Бога, не кричи так — рабочие услышат… Не следовало приводить тебя сюда. Ты

знаешь, сколько сплетен вокруг театра…

— Я буду тихий, как мышь… Только позволь мне остаться до тех пор, пока Милли придет одевать тебя. Видеть, как ты одеваешься, — это единственное мое удовольствие… Я сознаю, что мой организм несовершенен.

— У тебя вообще не останется никакого организма, если ты не перестанешь пить.

— Я буду пить… Я буду пить до тех пор, пока из любого пореза на моем теле не потечет виски. На что человеку кровь, когда есть виски?

— Ах, Стэн!

— Единственное, что остается делать несовершенному человеку, — это пить… Твой организм совершенен, прекрасен, он не нуждается в алкоголе… Я пойду, лягу бай-бай.

— Ради Бога, не надо, Стэн. Если ты сейчас выйдешь из моей уборной, я никогда не прощу тебя.

В дверь тихо постучали два раза.

— Войдите, Милли.

Милли была маленькой женщиной с черными глазами и морщинистым лицом. Примесь негритянской крови сказывалась в иссера-красных, толстых губах на очень бледном лице.

— Уже четверть девятого, дорогая, — сказала она, быстро окинув взглядом Стэна.

Она повернулась к Эллен, слегка нахмурившись.

— Стэн, тебе придется уйти. Я встречусь с тобой после в «Beaux Arts» или где-нибудь в другом месте.

— Я хочу бай-бай.

Сидя перед туалетным зеркалом, Эллен полотенцем стирала с лица кольдкрем. От гримировального ящика исходил запах жирных красок и кокосового масла.

— Я не знаю, что с ним делать, — шепнула она Милли, снимая платье. — О, как бы я хотела, чтобы он перестал пить.

— Я поставила бы его под душ и пустила бы на него струю холодной воды.

— Какой сбор сегодня, Милли?

— Очень небольшой, мисс Элайн.

— Это из-за погоды… Я буду ужасна сегодня…

— Не позволяйте ему утомлять вас, дорогая. Мужчины этого не стоят.

— Я хочу бай-бай, — Стэн раскачивался и морщился, стоя посередине комнаты.

— Мисс Элайн, я поведу его в ванную, никто его там не заметит.

— Хорошо, пусть спит в ванне.

— Элли, я пойду бай-бай в ванну.

Женщины втолкнули его в ванную комнату. Он шлепнулся в ванну и заснул в ней ногами кверху, головой на кранах. Милли укоризненно щелкнула языком.

— Он похож на спящего ребенка, — нежно шепнула Эллен.

Она подложила ему под голову сложенный мат и разгладила потные волосы на лбу. Он дышал тяжело. Она нагнулась и нежно поцеловала его глаза.

— Мисс Элайн, поторопитесь... Занавес поднимается.

— Посмотрите скорее, все ли на мне в порядке.

— Вы хороши, как картинка... Да благословит вас Бог!

Эллен сбежала вниз по лестнице, обогнула кулисы и остановилась, тяжело дыша, словно только что избежала опасности попасть под автомобиль. Она выхватила из рук помощника режиссера ноты, поймала реплику и вышла на яркую сцену.

— Как вы это делаете, Элайн? — говорил Гарри Голдвейзер, качая телячьей головой.

Он сидел на стуле позади нее. Она видела его в зеркале, перед которым снимала грим. Высокий человек с седыми усами и бровями стоял около

него.

— Помните, когда вас впервые пригласили на эту роль, я говорил мистеру Фаллику: «Сол, она не справится». Правда, я это говорил, Сол?

— Говорили, Гарри.

— Я думал, что молодая и красивая девушка никогда не сумеет изобразить… знаете ли… страсть и ужас… понимаете?.. Сол и я — мы были поражены этой сценой в последнем акте.

— Чудесно, чудесно! — простонал мистер Фаллик. — Скажите, как вам это удалось, Элайн?

Грим сходил, черный и розовый, на тряпку. Милли тихо двигалась в глубине комнаты с места на место, развешивая платья.

— Знаете, кто помог мне справиться с этой сценой? Джон Оглторп. Прямо удивительно, как он знает сцену.

— Да, это позор, что он так ленив… Он был бы очень ценным актером.

— Тут дело не только в лени.

Эллен распустила волосы и сплела их в косу обеими руками. Она видела, как Гарри Голдвейзер подтолкнул мистера Фаллика.

— Хороша, а?

— Как идет «Красная роза»?

— О, не спрашивайте, Элайн! Всю прошлую

неделю играли перед пустым залом. Не понимаю, почему эта вещь не идет… Она очень эффектна… У Мей Меррил прелестная фигура… Театральное дело теперь гроша не стоит.

Эллен воткнула последнюю шпильку в бронзовые кольца волос. Она вздернула подбородок.

— Я бы хотела попробовать что-нибудь в этом роде.

— Нельзя же делать две вещи зараз, моя милая юная леди. Мы только что начали выдвигать вас как эмоциональную актрису.

— Я ненавижу эти роли; они насквозь фальшивые. Иногда мне хочется подбежать к рампе и крикнуть публике: «Идите домой, проклятые дураки! Идиотская пьеса и фальшивая игра — как вы этого не понимаете?» В музыкальной комедии невозможно быть искренней.

— Не говорил я вам, что она душка, Сол? Не говорил я вам, что она душка?

— Я использую кое-что из вашей декларации для рецензии на будущей неделе. Я это как следует обработаю.

— Вы не позволите ей сорвать пьесу!

— Нет, но я могу использовать это для статьи о претензиях знаменитостей… Например, председатель компании «Зозодонт» обязательно хочет

быть пожарным. А другой, банкир, мечтает быть сторожем в зоологическом саду… Чрезвычайно любопытные человеческие документы…

— Можете написать, мистер Фаллик, что, по-моему, всем женщинам место в сумасшедшем доме.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Гарри Голдвейзер, обнажая золотые зубы в углу рта. — Вы танцуете и поете лучше всех, Элайн.

— Да ведь я два года служила в хоре, прежде чем вышла замуж за Оглторпа.

— Вы должны были стать актрисой еще в колыбели, — сказал мистер Фаллик, насмешливо глядя на нее из-под седых бровей.

— Ну, господа, я должна просить вас удалиться на минуту, пока я переоденусь. Я вся мокрая после последнего акта.

— Придется покориться… Можно мне зайти на секунду в ванную?

Милли стояла перед дверью в ванную. Эллен поймала злой взгляд ее черных глаз на бледном лице.

— Боюсь, что нельзя, Гарри, она не в порядке.

— Тогда я пойду к Чарли… Я велю Томсону прислать водопроводчика. Ну-с, спокойной ночи, дитя. Будьте паинькой.

— Спокойной ночи, мисс Оглторп, — сказал мистер Фаллик своим скрипучим голосом. — И если вы не можете быть паинькой, то будьте по крайней мере осторожны.

Милли закрыла за ними дверь.

— Фу, слава Богу! — воскликнула Эллен, потягиваясь.

— Дорогая, я ужасно испугалась… Никогда не приводите с собой в театр таких молодчиков. Я видела много прекрасных актеров, погибших из-за подобных вещей. Я говорю вам это потому, что я люблю вас, мисс Элайн, и потому, что я стара и хорошо знаю актерские дела.

— Вы совершенно правы, Милли… Посмотрим, нельзя ли разбудить его… Боже мой, Милли, поглядите-ка сюда!

Стэн лежал в той же позе, в какой они его оставили, но ванна была полна воды. Полы его пиджака и одна рука плавали на поверхности воды.

— Вылезай, Стэн, идиот!.. Ты насмерть простудишься. Сумасшедший, сумасшедший!

Эллен схватила его за волосы и изо всех сил трясла его голову.

— Ой, больно! — захныкал он сонным, детским голосом.

— Вставай, Стэн, ты весь промок.

Он откинул голову и открыл глаза.

— Вот так-так!

Он поднялся, держась руками за края ванны, и стоял, покачиваясь; вода, пожелтевшая от его платья и ботинок, капала с него. Он громко гоготал. Эллен прислонилась к двери ванной и тоже смеялась сквозь слезы.

— На него нельзя сердиться, Милли, — вот что ужасно. Ну, что мы будем делать?

— Счастье, что он не утонул… Дайте мне ваши бумаги и записную книжку, сэр. Я попробую высушить их полотенцем, — сказала Милли.

— Но как ты пройдешь мимо швейцара в таком виде… если даже мы тебя выжмем? Стэн, тебе придется снять твое платье и надеть мое. Потом ты наденешь мой дождевик, мы доберемся до такси и отвезем тебя домой. Как вы думаете, Милли?

Милли вращала глазами и качала головой, выжимая пиджак Стэна. Она разложила в умывальнике размокшие остатки блокнота, карандаш, складной карманный ножик, две катушки пленки, фляжку.

— Я все равно хотел принять ванну, — сказал Стэн.

— Я, кажется, побью тебя… Хорошо, что ты по

крайней мере трезв.

— Трезв, как пингвин.

— Прекрасно, тогда надевай мое платье.

— Я не стану надевать женское платье.

— Придется… У тебя ведь даже нет дождевика. Если ты не переоденешься, я запру тебя в ванной.

— Ну хорошо, Элли… Честное слово, я ужасно огорчен.

Милли заворачивала платье в газету, предварительно выжав его над ванной. Стэн смотрел на себя в зеркало.

— У меня прямо неприличный вид в этом платье… Какая мерзость!

— В жизни не видала ничего более отвратительного… Нет-нет, ты выглядишь очень мило… Только платье немного узковато. Ради Бога, повернись ко мне лицом, когда мы будем проходить мимо швейцара.

— Мои ботинки совсем размокли.

— Ничего не поделаешь… Благодари Бога, что у меня есть дождевик… Милли, вы прямо ангел.

— Спокойной ночи, дорогая, и помните, что я вам сказала… Я вам говорю, все это…

— Стэн, делай мелкие шаги. Если кого-нибудь встретишь, продолжай идти прямо и прыгай в

первое попавшееся такси… Ты проскользнешь незаметно, если пройдешь быстро.

Руки Эллен дрожали, когда они спускались по лестнице. Она взяла Стэна под руку и оживленно защебетала:

— Знаешь, дорогая, папочка пришел к нам в театр посмотреть пьесу два или три дня тому назад. Он был шокирован до смерти. Он сказал, что девушка унижает себя, обнажая свои сокровенные чувства перед толпой… Не правда ли, ужасно?.. Все же отзывы обо мне в воскресных номерах произвели на него большое впечатление… Спокойной ночи, Барней, какая скверная погода… А вот и такси. Куда ты поедешь?

В темном чреве такси его глаза под голубым капором казались такими черными и яркими, что она испугалась, словно она заглянула в глубокий колодец.

— Поедем ко мне… Шофер, поезжайте, пожалуйста, на Банк-стрит.

Такси тронулось. Они мчались по Бродвею сквозь зигзаги красного света, желтого света, зеленого света, унизанного бусами реклам. Вдруг Стэн наклонился и быстро, крепко поцеловал ее в губы.

— Стэн, ты должен перестать пить. Это уже

выходит за пределы шутки.

— А почему нельзя выйти за пределы шутки? Вот ты, например выходишь за пределы шутки, и я очень доволен этим.

— Но, дорогой, ты убьешь себя.

— Ну и что же?

— Я не понимаю тебя, Стэн.

— А я не понимаю тебя, Элли, но я очень, очень люблю тебя.

В его тихом голосе послышалась дрожь, которая наполнила ее счастьем.

Эллен расплатилась с такси. Сирена завыла, забралась наверх и оборвалась глухим стоном. Промчалась пожарная машина, красная и сверкающая, за ней — выдвижная лестница с звенящим колокольчиком.

— Пойдем на пожар, Эллен.

— В таком костюме?.. Нет-нет.

Он молча вошел вслед за нею в дом и поднялся по лестнице. В длинной комнате было прохладно и пахло свежестью.

— Элли, ты не сердишься на меня?

Она развязала мокрый узел с платьем и унесла его в кухню, чтобы высушить на газовой плите. Звуки граммофона заставили ее вернуться. Стэн снял с себя платье. Он танцевал по комнате со

стулом, ее голубой купальный халатик развевался вокруг его тонких волосатых ног.

— О, Стэн, дорогой глупыш…

Он поставил стул и направился к ней, коричневый, мужественный, стройный, в дурацком халатике. Граммофон доиграл песенку до конца, а пластинка все еще крутилась и крутилась, хрипя.

V. Пошли на базар к зверям[139]

Красный свет. Колокол. Сбитая в четыре ряда масса автомобилей застыла на скрещенье дорог, фонари сияют, жарко мурлычут моторы, тянет бензином, автомобили из Вавилона и с Ямайки, автомобили из Монтока, Порт Джефферсона, Патчога, лимузины с Лонг-Бич, Фар-Рокэвей, дорожные машины с Грейт-Нек…[140] *автомобили, полные астр и влажных купальных костюмов, спаленных солнцем шей, ртов, пересохших от содовой и пирожков… автомобили, осыпанные пыльцой золотарника и бессмертника.*

Зеленый свет. Моторы рвутся вперед, рычаги скрежещут, переходя на первую скорость. Автомобили расползаются, текут длинной лентой по призрачной

---

139 Примечания: 139

Пошли на базар к зверям — строка из популярной песенки.

140 Примечания: 140

Вавилон, Ямайка, Монток, Порт Джефферсон, Патчог, Лонг-Бич, Фар-Рокэвей, Грейт-Нек — небольшие курортные городки на восточном побережье Лонг-Айленда.

асфальтовой дороге, между темнооконными глыбами фабричных зданий, между грязными, яркими красками рекламных щитов, к зареву над городом, вздымающемуся неправдоподобно в ночное небо, точно зарево огромного шатра, точно желтый, высокий купол цирка.

«Сараево»… Слово застревало у нее в горле, когда она пыталась произнести его.

— Это ужасно, ужасно, — стонал Джордж Болдуин. — Биржа полетит ко всем чертям… Ее надо закрыть — это единственный исход.

— А я никогда не была в Европе… Должно быть, война — страшно интересная штука. Вот бы посмотреть! — Эллен, в синем бархатном платье и манто, откинулась на подушки плавно катившегося такси. — Я всегда представляла себе историю, как на литографиях в учебниках. Генералы произносят зажигательные речи, маленькие фигурки, растопырив руки, перебегают по полям, факсимиле подписей…

Конусы света врезаются в конусы света вдоль горячего, жужжащего шоссе, фонари окатывают деревья, дома, рекламные щиты, телеграфные столбы широкими мазками белил. Такси завернуло и остановилось перед гостиницей, источавшей

розовый свет и звуки рэгтайма из всех щелей.

— Большой съезд сегодня, — сказал шофер Болдуину, когда тот платил.

— Почему это? — спросила Эллен.

— Наверно, из-за убийства в Кэнэрси.

— Что за убийство?

— Я видел… Ужасная штука!

— Вы видели убийство?

— Нет, как убивали, я не видел. Я видел только труп перед тем, как его унесли в морг. Мы называли старика Санта-Клаусом, потому что у него была седая борода… Я помню его еще, когда был мальчишкой. — Позади них гудели и хрипели автомобильные клаксоны. — Ну, надо двигаться… Будьте здоровы, леди.

В красном вестибюле пахло омарами, креветками и коктейлем.

— Хелло, Гэс!.. Элайн, позвольте представить вам мистера и миссис Мак-Нийл… Мисс Оглторп…

Эллен пожала широкую руку курносого человека с красной шеей и маленькую, туго обтянутую перчаткой руку его жены.

— Гэс, мы еще увидимся перед уходом.

Эллен последовала за фрачными фалдами метрдотеля в конец танцевального зала. Они сели за

столик у стены. Оркестр играл «Все это делают». Болдуин подпевал. Он на секунду склонился над ней, укладывая манто на спинку ее стула.

— Элайн, вы очаровательная женщина… — начал он, усевшись напротив нее. — Ужас! Я не могу понять, как это возможно.

— Что именно?

— Война. Я ни о чем другом не могу думать.

— А я могу… — Она внимательно просматривала меню.

— Вы обратили внимание на ту пару, с которой я вас познакомил?

— Да. Это тот Мак-Нийл, о котором все время пишут в газетах? Какой-то шум по поводу забастовки строительных рабочих, интербороуских бумаг…

— Это все политика. Держу пари, что он рад войне, бедный старый Гэс. Она ему поможет. Благодаря войне газеты перестанут трепать его имя. Я вам потом расскажу о нем… Кажется, вы не любите креветок? Они тут очень хороши.

— Джордж, я обожаю креветки.

— Тогда мы закажем настоящий курортный обед. Как вы на это смотрите?

Откладывая в сторону перчатки, она задела вазу с увядшими красными и желтыми розами.

Дождь светлых сухих лепестков посыпался на ее руку, на перчатки, на стол. Она отряхнула лепестки.

— Велите убрать эти отвратительные розы, Джордж… Я ненавижу увядшие цветы.

Пар поднимался над мельхиоровым блюдом креветок и плавал в розовом свете абажура. Болдуин следил, как ее пальцы, розовые и тонкие, вытаскивали длинные шейки, погружали их в топленое масло и клали в рот. Она была поглощена едой. Он вздохнул.

— Элайн, я очень несчастный человек… Вот я встретил жену Мак-Нийла… В первый раз за много лет… Подумайте, когда-то я был безумно влюблен в нее, а теперь не могу даже вспомнить, как ее зовут… Смешно, не правда ли? Мои дела были ужасно плохи, когда я занялся самостоятельной практикой. Надо было торопиться, так как прошло всего два года с тех пор, как я окончил университет, а денег у меня не было ни гроша. Но я в те дни умел работать. Я решил, что если я не достану клиента, то я немедленно брошу все и опять стану клерком. Однажды я пошел прогуляться, чтобы освежить голову, и вот на Одиннадцатой авеню я увидел, как поезд налетел на молочную тележку. Это было ужасно! Я помог

поднять пострадавшего и сказал себе: либо я добьюсь, чтобы ему выплатили справедливое вознаграждение, либо разорюсь окончательно. Я выиграл дело, и это привлекло ко мне внимание многих деловых людей. Так началась его и моя карьера.

— Так он был молочником? По-моему, все молочники — милейшие люди. Мой молочник — прямо душка.

— Элайн, не говорите никому то, что я вам рассказал… Я доверяю вам безусловно.

— Это очень мило с вашей стороны, Джордж… Прямо удивительно, как нынче все женщины стараются быть похожими на миссис Кэсл. Посмотрите кругом.

— Она была как дикая роза, Элайн, — свежая, розовая, чистокровная ирландка. А теперь она скучная, деловая, усталая женщина.

— А он все такой же изящный и ловкий… Так всегда бывает.

— Удивительно… Вы не знаете, каким пустым и безотрадным казался мне мир до тех пор, пока я не встретил вас. Мы с Сесили только делаем друг друга несчастными.

— Где она теперь?

— В Бар-Харбор…[141] Мне везло, я имел успех, когда был молодым человеком… Мне еще нет сорока.

— Вы, наверно, любите свое дело, иначе вы не имели бы успеха.

— Ах, успех, успех… Что значит успех?

— Я бы хотела иметь хоть капельку успеха.

— Но, дорогая девочка, вы его имеете.

— О нет! Это не то, что я хочу.

— А меня мой успех не радует и не интересует. Я только и делаю, что сижу в конторе и заставляю моих молодых помощников работать. Мое будущее совершенно ясно для меня. Мне кажется, я стану торжественным, помпезным и буду предаваться разным маленьким порокам… А ведь я чувствую, что во мне есть нечто большее.

— Почему вы не займетесь политикой?

— К чему мне лезть в Вашингтон, в эту сточную канаву, когда я сижу в том месте, откуда фактически управляется страна? Как ни тошнит от Нью-Йорка, а уйти из него некуда. И это самое ужасное… Нью-Йорк — вершина мира. Нам остается только крутиться и крутиться, как белка в

---

141 Примечания: 141

Бар-Харбор — прибрежный городок в штате Мэн на севере страны; один из самых известных и дорогих курортов Новой Англии в конце XIX — начале XX в.

колесе.

Эллен смотрела на танцующих; на них были светлые летние платья, и они кружились на вощеном паркете в центре залы. В дальнем конце у стойки она увидела овальное, розовато-белое лицо Тони Хентера. Оглторпа с ним не было. Друг Стэна Херф сидел к ней спиной. Она следила за тем, как он смеялся, за его всклокоченной черной головой, посаженной несколько криво на тонкой шее. Двое мужчин, сидевших с ним, были ей незнакомы.

— На кого вы смотрите?

— Здесь несколько друзей Джоджо… Удивляюсь, как они могли попасть сюда. Здесь неподходящее для них место.

— Так всегда бывает, как только я захочу уединиться с кем-нибудь, — сказал Болдуин, криво усмехаясь.

— Мне кажется, что вы всю жизнь делаете только то, что вам хочется.

— Ах, Элайн, если бы вы только позволили мне сделать то, что мне сейчас хочется. Я хочу, чтобы вы позволили мне сделать вас счастливой. Вы, маленькая девочка, так храбро пробиваете себе дорогу в жизни. Вы полны любви, тайны и блеска… — Он запнулся, отпил большой глоток вина

и продолжал, багровея: — Я чувствую себя школьником… Я начинаю терять рассудок. Элайн, я готов сделать для вас все на свете.

— Хорошо. Пока я попрошу убрать омары. По-моему, они невкусные.

— Черт!.. Может быть… Человек!.. Я был так взволнован… не замечал, что я ем…

— Закажите мне вместо них цыпленка.

— Бедное дитя, вы, наверно, умираете от голода?

— И немного зелени… Я понимаю теперь, почему вы такой хороший юрист, Джордж. Любой присяжный разрыдался бы, услышав такую страстную речь.

— А вы, Элайн?

— Джордж, пожалуйста, не спрашивайте меня.

За столом, где сидел Джимми Херф, пили виски и содовую. Желтолицый человек со светлыми волосами, тонким кривым носом и детскими синими глазами говорил конфиденциальным певучим голосом:

— Честное слово, полиция чудовищно заблуждается, утверждая, что тут имели место изнасилование и самоубийство. Старик и его очаровательная дочка были убиты, зверски убиты! И вы знаете, кем? — Он ткнул толстым, желтым

от табака пальцем в Тони Хентера.

— Не приговаривайте меня к высшей мере, господин судья, я ни в чем не повинен, — сказал тот, опуская длинные ресницы.

— «Черной рукой»!

— Чепуха, Беллок! — рассмеялся Джимми Херф.

Беллок ударил кулаком по столу так, что зазвенели тарелки и стаканы.

— Кэнэрси полон «черных рук», полон анархистов, похитителей детей и нежелательного элемента. Наша обязанность — вывести их на чистую воду и отомстить за бедного старика и его дочь. Мы отомстим за бедную старую обезьяну!.. Кстати, как его звали?

— Макинтош, — сказал Джимми. — Его называли тут Санта-Клаусом. Все признают, что он уже много лет был сумасшедшим.

— Мы не признаем ничего, кроме великой американской нации… Но, черт возьми, что за польза от всех этих дел, когда проклятая война занимает всю первую полосу в любой газете? Я хотел написать статью на целую полосу — ее урезали до половины столбца. Разве это жизнь?

— Вы должны написать, что он был тайным наследником австрийского престола и что его

убили по политическим причинам.

— Неплохая идея, Джимми!

— Но это так ужасно… — сказал Тони Хентер.

— Вы думаете, что мы бессердечные звери, Тони?

— Нет, но только я не вижу удовольствия в чтении подобных вещей.

— Это наша повседневная работа, — сказал Джимми. — А вот что действительно приводит меня в ужас, так это мобилизация армий, бомбардировка Белграда, вторженье в Бельгию и прочее. Я просто не могу себе этого представить… Убили Жореса…[142]

— А кто он такой?

— Французский социалист.

— Эти проклятые французы — выродки, они только и умеют драться на дуэлях да спать с чужими женами. Я держу пари, что немцы будут в Париже через две недели.

— Это не может долго продолжаться, — сказал Фремингхэм, высокий, церемонный человек с пушистыми белокурыми усами, сидевший подле

---

142 Примечания: 142

Жан Жорес (1859—1914) — французский социалистический лидер и историк, один из основателей французской социалистической партии, яростный противник войны. Был убит патриотом-фанатиком в июле 1914 г.

Хентера.

— Я не прочь поехать военным корреспондентом.

— Скажите, Джимми, вы знаете здешнего хозяина? Он, кажется, француз?

— Конго Джека? Знаю, конечно.

— Он хороший малый?

— Ничего себе.

— Пойдем, поговорим с ним. Может быть, он расскажет нам детали убийства. Вот было бы хорошо, если бы можно было пристегнуть это дело к мировой войне!

— Я уверен, — начал Фремингхэм, — что англичане как-нибудь уладят это дело.

Беллок направился к стойке. Джимми последовал за ним. По дороге он увидел Эллен. Ее волосы казались очень красными в свете лампы, стоявшей около нее. Болдуин склонился к ней над столом; губы его были влажны, глаза блестели. Джимми почувствовал, что в его груди развернулась какая-то пружина. Он отвернулся; ему вдруг стало страшно, что она его увидит.

Беллок обернулся и толкнул его в бок.

— Скажите-ка, Джимми, кто эти два молодчика, что сидели с нами?

— Друзья Рут. Я не особенно хорошо их знаю.

Кажется, Фремингхэм работает по декоративной части.

За стойкой, под изображением «Лузитании», стоял смуглый человек в белой куртке, плотно облегавшей его широкую грудь гориллы. Он встряхивал волосатыми руками миксер с коктейлем. У стойки стоял лакей с подносом, уставленным стаканами. В стаканах пенился зеленовато-белый коктейль.

— Хелло, Конго, — сказал Джимми.

— Ah, bonsoir, monsieur d'Erf, ça biche?[143]

— Недурно, Конго. Я хочу познакомить вас с моим другом. Это — Грант Беллок, корреспондент «Америки».

— Очень приятно. Угодно вам выпить?

Лакей поднял звенящий поднос со стаканами на уровень плеча и поднес его, держа на ладони.

— Я думаю, что джин испортит мне вкус виски, но я, пожалуй, все-таки выпью. А вы выпьете с нами, Конго?

Беллок поставил ногу на медную решетку и отхлебнул из стакана.

— Интересно, — начал он медленно, — что у вас тут говорят про это убийство?

---

143 Примечания: 143
Добрый вечер, месье д'Эрф, как дела? *(фр.)*

— У всякого своя версия.

Джимми заметил, что Конго подмигивает ему глубоко сидящим черным глазом.

— Вы здесь живете? — спросил он, стараясь не рассмеяться.

— Я ночью услышал шум автомобиля, мчавшегося очень быстро с открытым глушителем. Я решил, что он наскочил на что-нибудь, потому что он остановился очень резко и помчался назад еще быстрее.

— А выстрел вы слышали?

Конго с таинственным видом покачал головой.

— Я слышал голоса, раздраженные голоса.

— Черт возьми, я этим делом займусь, — сказал Беллок, допивая коктейль. — Вернемся к девочкам.

Эллен глядела на сморщенное, как грецкий орех, лицо и мертвые, рыбьи глаза лакея, разливавшего кофе, Болдуин сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на нее из-под опущенных ресниц. Он говорил тихим, монотонным голосом:

— Неужели вы не видите, что я сойду с ума, если вы не будете моей? Вы единственное существо на свете, которым я жажду обладать.

— Джордж, я не хочу, чтобы мною обладал кто

бы то ни было. Как вы не понимаете, что женщине нужна свобода. Будьте благоразумны! Мне придется уехать домой, если вы не перестанете.

— Почему же вы позволяли мне ухаживать за вами? Я не из той породы мужчин, с которыми можно играть. Вы это отлично знаете.

Она посмотрела на него большими серыми глазами; свет играл золотыми искорками в коричневых точках ее ириса.

— Ужасно тяжело, когда ни с кем нельзя быть просто другом.

Она посмотрела на свои пальцы, лежавшие на краю стола. Его глаза были устремлены на медное мерцанье ее ресниц. Вдруг он разрезал натянувшееся молчание:

— Ну что ж, давайте танцевать.

J'ai fait trois fois le tour du monde
Dans mes voyages,[144] —

напевал Конго Джек, встряхивая волосатыми руками миксер. Узкий, оклеенный зелеными обоями бар взбухал и пузырился журчащими голосами, спиральными испарениями напитков, резким звоном льда и стаканов и изредка — вол-

---

144 Примечания: 144
Я путешествовал три раза вокруг света *(фр.).*

ной музыки из соседней комнаты. Джимми Херф одиноко стоял в углу, потягивая джин с содовой. Невдалеке Мак-Нийл хлопал Беллока по плечу и орал ему в ухо:

— Если биржу не закроют… Боже праведный!.. Перед общим крахом можно будет здорово нажиться… Только не зевать! Паника — самый подходящий случай сделать деньги для человека с головой на плечах.

— Было уже несколько крупных банкротств, а это еще только первый удар грома.

— Случай стучится в дверь к молодому человеку только один раз… Слушайте меня: когда банкротится крупный маклер, честные люди могут благословлять судьбу… Но вы, я надеюсь, не тиснете того, что я вам говорю, в газете? Нет?.. Будьте другом, а то ваш брат газетчик такое напишет, что человек никогда и не говорил. Никому из вас нельзя верить. Тем не менее я скажу вам, что локаут — замечательная штука для подрядчиков. Во время войны все равно никто не будет строиться.

— Да ведь война продлится не более двух недель, и я не вижу, какое она имеет к нам касательство.

— Она имеет касательство ко всему миру…

Хелло, Джо, какого черта вы здесь?

— Мне надо поговорить с вами наедине, сэр. Есть важные новости.

Бар постепенно пустел. Джимми Херф все еще стоял в углу, прислонившись к стене.

— Вас никогда не увидишь пьяным, мистер Эрф. — Конго Джек сел в глубине бара выпить чашку кофе.

— Я предпочитаю наблюдать.

— И хорошо делаете. Нет никакого смысла выбрасывать уйму денег, чтобы на следующий день встать с головной болью.

— Неподходящие речи для владельца бара.

— Я говорю, что думаю.

— Послушайте, я давно собираюсь спросить вас… Если вы не имеете ничего против, скажите мне, откуда у вас это имя — Конго Джек?

Конго рассмеялся грудным смехом.

— Сам не знаю… Когда я был мальчишкой и впервые вышел в море, меня называли Конго, потому что у меня были курчавые черные волосы, как у негра. Потом, когда я приехал в Америку и служил на американском пароходе, меня как-то спросили: «Как ты себя чувствуешь, Конго?» А я ответил: «Джек». С тех пор так и прозвали меня — Конго Джек.

— Стало быть, прозвище… А я думал, что вы навсегда останетесь моряком.

— Нет, у моряка несладкая жизнь. Знаете, мистер Эрф, меня всю жизнь преследуют несчастья. Самые ранние мои воспоминания — о том, как меня ежедневно избивает какой-то человек, не мой отец. Потом я удрал и работал на парусниках в Бордо. Знаете Бордо?

— Кажется, я в детстве бывал в Бордо…

— Наверно, бывали… Вы эти вещи понимаете, мистер Эрф. Впрочем, такой человек, как вы, — образованный, воспитанный и прочее такое — не знает, что такое жизнь. Когда мне стукнуло семнадцать лет, я приехал в Нью-Йорк. Ничего хорошего… Я думал только об удовольствиях и веселой жизни. Потом я опять попал на корабль и побывал всюду, в самом аду. В Шанхае я научился говорить по-американски и пристрастился к трактирному делу. Возвратился в Фриско и женился. Теперь я хочу быть американцем. И все-таки я несчастный человек… До женитьбы я жил с моей девочкой целый год вместе, и жил замечательно, а когда мы поженились — все пошло прахом. Она издевалась надо мной, называла меня французиком, потому что я плохо говорил по-американски, гнала из дому… Ну, я и

сказал ей, чтобы она убиралась к черту. Забавная штука — человеческая жизнь.

J'ai fait trois fois le tour du monde
Dans mes voyages, —

пропел он низким баритоном.

Кто-то положил руку на плечо Джимми. Он повернулся.

— Элли, что случилось?

— Со мной тут один сумасшедший. Вы должны мне помочь избавиться от него.

— Позвольте вам представить Конго Джека. Вы должны познакомиться с ним. Он хороший человек. А это — une très grande artiste,[145] Конго.

— Не угодно ли анисовой, сударыня?

— Выпейте с нами… Теперь, когда все ушли, тут очень уютно.

— Нет, благодарю, я пойду домой.

— В разгар вечера?

— Хорошо, я останусь. Только вам тогда придется заняться моим сумасшедшим спутником. Слушайте, Херф, вы видели сегодня Стэна?

— Нет, не видел.

— Он не пришел, а я ждала его.

---

145 Примечания: 145
Великая артистка *(фр.).*

— Я бы хотел, чтобы вы отучили его пить, Элли. Меня это начинает беспокоить.

— Я не нянька.

— Я знаю, но вы ведь понимаете, что я хочу сказать.

— Ну а что же думает наш друг о войне?

— Я не пойду воевать… У рабочего нет родины. Я приму американское гражданство… Я служил когда-то во флоте, но… — Он хлопнул себя по колену и рассмеялся. — Moi je suis anarchiste, vous comprenez, monsieur?[146]

— Но тогда вы не можете быть американским гражданином.

Конго пожал плечами.

— Он мне очень нравится, он интересный, — шепнула Эллен на ухо Джимми.

— А вы знаете, почему они воюют?.. Чтобы рабочие не сделали революции… Война отвлечет их. Вот потому-то Вильгельм, и Вивиани,[147]

---

146 Примечания: 146

Я анархист, вы понимаете, месье? *(фр.)*

147 Примечания: 147

Вивиани Рене (1863—1925) — французский политический деятель, соратник Жореса, с 1914 г. — премьер-министр Франции. После начала первой мировой войны призывал все партии к объединению в оборонительный «священный союз».

и L'Empereur d'Autriche,[148] и Крупп,[149] и Ротшильд,[150] и Морган, все кричат: «Давайте войну!» И что же они делают прежде всего? Они убивают Жореса, потому что он социалист. Правда, социалисты изменили Интернационалу, но все же…

— Но как же они могут заставить людей воевать, если те не хотят?

— В Европе люди были рабами тысячи лет. Не то, что здесь… Я уже раз был на войне. Очень забавно! Я держал бар в Порт-Артуре, совсем еще мальчишкой. Это было очень забавно.

— Я бы хотел быть военным корреспондентом.

— А я могла бы быть сестрой милосердия.

— Быть корреспондентом — хорошая штука… Сидишь себе, пьяный в лоск, где-нибудь в Америке в баре за тысячи миль от сражения.

Они рассмеялись.

— А мы разве не за тысячи миль от сражения, Херф?

---

148 Примечания: 148

Австрийский император *(фр.).*

149 Примечания: 149

Крупп — очевидно, имеется в виду Густав Крупп фон Болен (1870—1950), владелец крупнейших оружейных заводов в Германии.

150 Примечания: 150

Ротшильд — очевидно, имеется в виду Лайонел Ротшильд (1868—1937), один из членов знаменитой французской семьи потомственных финансистов, миллионеров Ротшильдов.

— Правильно! Давайте лучше потанцуем. Вы уж меня простите в случае чего — я очень плохо танцую.

— Я толкну вас ногой, если вы собьетесь.

Когда он обнял ее, его руки были как из гипса. Высокие серые стены с грохотом рушились внутри него. Он парил, как воздушный шар, над благоуханием ее волос.

— Следите за вашими ногами и двигайтесь в такт музыке. Двигайтесь по прямой линии, в этом весь секрет.

Ее голос резал воздух, как тонкая, острая, гибкая стальная пила. Локти, лица, выпученные глаза, жирные мужчины и тонкие женщины, тонкие женщины и жирные мужчины вертелись вокруг них. Он был крошащимся гипсом, что-то болезненно грохотало в его груди, она была сложная стальная зубчатая машина, ярко-белая, ярко-синяя, ярко-бронзовая в его руках. Когда они остановились, он почувствовал, как ее грудь и бедро плотно прижались к нему. Он, как скаковая лошадь, вдруг наполнился кровью, дымящейся потом. Ветерок, подувший из открытой двери, вымел табачный дым и спертый розовый воздух из ресторана.

— Херф, я хочу взглянуть на коттедж, где произо-

шло убийство. Поведите меня туда, пожалуйста.

— Я видел достаточно мест, где совершались преступления.

В вестибюле перед ними вырос Джордж Болдуин. Он был бледен как мел, его черный галстук сполз набок, ноздри его тонкого носа, испещренные маленькими красными венами, раздувались.

— Хелло, Джордж!

Его голос хрипел прерывисто, как клаксон.

— Элайн, я искал вас. Я должен поговорить с вами… Может быть, вы думаете, что я шучу?.. Я никогда не шучу.

— Херф, простите, пожалуйста, на одну минуту… Ну, что случилось, Джордж? Вернемтесь к столу… Джордж, я тоже не шутила… Херф, будьте добры, наймите мне такси.

Болдуин схватил ее за кисть руки.

— Довольно вы играли мной, слышите? Когда-нибудь вас пристрелят. Вы думаете, что мной можно играть, как любым сопливым щенком?.. Вы не лучше любой панельной проститутки.

— Херф, я просила вас пойти за такси.

Джимми закусил губы и вышел.

— Элайн, что вы намерены делать?

— Джордж, не приставайте ко мне.

Что-то никелевое блеснуло в руке Болдуина. Гэс Мак-Нийл ринулся вперед и схватил его за кисть своей огромной красной рукой.

— Отдайте, Джордж… Ради Бога, возьмите себя в руки! — Он сунул револьвер в карман.

Болдуин, шатаясь, припал к стене. Большой палец его правой руки сочился кровью.

— Такси подано, — сказал Херф, глядя на их напряженные, бледные лица.

— Ладно, отвезите дамочку домой… Ничего страшного не случилось, просто небольшой нервный припадок. Только не устраивайте паники! — Мак-Нийл орал таким голосом, словно он произносил речь, стоя на ящике из-под мыла.

Метрдотель и девица при вешалке смущенно переглянулись.

— Ничего не случилось… Джентльмен просто немножко нервничает… переработался, утомлен, понимаете? — Мак-Нийл понизил голос до ласкового мурлыканья. — Забудьте об этом.

Когда они садились в такси, Эллен внезапно сказала детским голосом:

— Я забыла… Мы ведь хотели посмотреть место убийства… Пусть он подождет. Я бы хотела немножко пройтись по свежему воздуху.

Пахло солончаком. Ночь была мраморная от

облаков и луны. Лягушки в канавах звенели, точно колокольчики.

— Это далеко? — спросила она.

— Нет, сразу за углом.

Их шаги поскрипывали на песке, потом застучали по асфальту. Фонарь осветил их, они остановились, чтобы пропустить автомобиль; запах бензина захлестнул их, потом растаял в запахе солончака.

Серый дом с остроконечной крышей и маленьким крыльцом прямо на дорогу; кругом — сломанный забор, Сзади росла акация. Полисмен расхаживал перед домом взад и вперед, тихо насвистывая. Молочный краешек луны высунулся на минутку из-за облаков, превратил обломок стекла в зияющем окне в фольгу, выхватил из мрака маленькие круглые листья акации и вновь закатился в щель между облаками, как потерянная монета.

Никто не произнес ни слова. Они пошли обратно к гостинице.

— Это правда, Херф, что вы не видели Стэна?

— Не видел. Я даже не представляю себе, где он скрывается.

— Если вы увидите его, скажите ему, чтобы он немедленно позвонил мне… Херф, как называ-

лись те женщины, которые следовали за армией во время французской революции?

— Дайте-ка вспомнить… Кажется, cantonnières.

— Да, что-то в этом роде… Так вот, я хотела бы быть cantonnières.

Электрический поезд свистнул где-то вдалеке, прогрохотал вблизи и исчез в гудящем пространстве.

Истекая звуками танго, ресторан таял розово, как мороженое. Джимми полез вслед за Эллен в такси.

— Нет, я хочу быть одна, Херф.

— Позвольте мне отвезти вас домой… Мне не хочется оставлять вас одну.

— Будьте другом, оставьте меня.

Они не подали друг другу руки. Машина метнула облако пыли и волну бензина ему в лицо. Он стоял на ступеньках; ему не хотелось возвращаться в шум и дым.

Нелли Мак-Нийл сидела одна за столом. Напротив нее боком стоял стул, на котором только что сидел ее муж; на спинке стула висела салфетка. Она пристально смотрела прямо перед собой — танцоры проплывали перед ней, как тени. В конце зала она увидела Джорджа Болдуина, бледного и осунувшегося; он медленно,

точно больной, пробирался к своему столу. Он постоял у стола, внимательно проверил счет, заплатил, опять постоял, растерянно поглядывая кругом. Он не мог не видеть ее. Лакей принес на подносе сдачу и низко поклонился. Болдуин обвел мрачным взглядом лица танцующих, круто повернулся и вышел. Вспоминая невыносимую сладость лилий, она почувствовала, что глаза ее наполняются слезами. Она достала из серебряной сумочки карне[151] и быстро пробежала его, ставя крестики серебряным карандашом. Потом подняла голову — усталая кожа ее лица была стянута отвращением — и кивнула лакею.

— Будьте добры, скажите мистеру Мак-Нийлу, что миссис Мак-Нийл хочет поговорить с ним. Он в баре.

— Сараево, Сараево… Телеграфные провода сходят с ума! — орал Беллок у стойки в лица и стаканы.

— Слушайте-ка, — конфиденциально говорил Джо О'Киф, ни к кому в частности не обращаясь, — один парень, работающий на телеграфе, рассказывал мне, что недалеко от Сент-Джона, Ньюфаундленд, было большое морское сражение.

---

151 Примечания: 151
Карне — книжка для записи танцев на балу.

Говорят, британцы потопили там сорок немецких военных судов.

— Война сейчас же прекратится.

— Да ведь она еще не объявлена.

— Откуда вы знаете? Кабели так забиты, что невозможно узнать ни одной новости.

— А вы слыхали — на Уолл-стрит еще четверо обанкротились?

— Чикагский хлебный рынок взбесился…

— Надо закрыть все биржи, пока не уляжется буря.

— А вот когда немцы снимут штаны с Англии, они дадут Ирландии свободу.

— Биржа будет завтра закрыта.

— У кого есть капитал и голова на плечах, тому теперь самое время заработать.

— Ну, Беллок, старина, я иду домой! — сказал Джимми. — Сегодня у меня день отдыха, и я хочу использовать его.

Беллок подмигнул и пьяно помахал рукой. Голоса дрожали в ушах Джимми резиновым гулом, близко, далеко, близко, далеко. «Умереть как собака, марш вперед!» — сказал он. Он истратил все деньги. У него оставался один четвертак. «Расстрелян на рассвете. Объявление войны. Начало военных действий. И они оставили его наедине

с его славой. Лейпциг, Пустыня, Ватерлоо — там построенные в боевом порядке парни стояли и стреляли…[152] Не могу взять такси, все равно, я хотел пройтись пешком. Ультиматум. Воинские поезда поют, несутся на бойню, засунув цветок за ухо. И позор тому, кто сидит дома, в то время как…»

Когда он шел по песчаной тропинке к шоссе, кто-то взял его под руку.

— Вы ничего не будете иметь против, если я пойду с вами? Я больше не хочу оставаться здесь.

— Конечно, идем, Тони, я собираюсь прогуляться.

Херф шел большими шагами, глядя прямо перед собой. Небо затянулось тучами и чуть заметно светилось молочным лунным светом. Справа и слева, за лиловато-серыми конусами случайных дуговых фонарей, мрак был испещрен редкими огоньками. Впереди смутными уступами вставало зарево улиц, желтое и красное.

— Вы не любите меня, правда? — задыхаясь,

---

152 Примечания: 152

Имеются в виду битва при Лейпциге (16—19 октября 1813 г.), известная также как Битва Народов, где австрийские, русские и прусские войска одержали победу над Наполеоном I; битва в Пустыне (май-июнь 1864 г.) — серия кровавых сражений в штате Виргиния во время гражданской войны в США; битва при Ватерлоо (18 июня 1815 г.), ознаменовавшая поражение Наполеона I в борьбе против европейской коалиции.

спросил Тони Хентер, помолчав несколько минут.

Херф замедлил шаги.

— Я вас мало знаю, но мне кажется, что вы очень славный человек…

— Не лгите! У вас нет никаких оснований лгать… Я покончу жизнь самоубийством сегодня же ночью.

— Не делайте этого… К чему?

— Вы не имеете права говорить, чтобы я не убивал себя! Вы ничего не знаете обо мне. Если бы я был женщиной, вы не были бы так равнодушны.

— Что же вас мучает?

— Я схожу с ума… Все так ужасно! Когда я впервые встретил вас у Рут, то подумал, что мы будем друзьями, Херф. Вы казались таким симпатичным, таким чутким… Я думал, что вы такой же, как я, но теперь вы стали таким бесчувственным…

— Я думаю, это из-за газеты. Но меня скоро выставят оттуда, не беспокойтесь.

— Я устал от вечной нищеты. Я хочу удачи.

— Ну, вы еще молоды… Вы, наверно, моложе меня.

Тони ничего не ответил.

Они шли по широкой улице, между двумя ря-

дами почерневших домов. Трамвай, желтый и длинный, со свистом и шипением промчался мимо них.

— Мы, должно быть, в Флэтбуше?

— Херф, я думал, что вы такой же, как я, но теперь я все время встречаю вас с женщинами.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я никогда никому не говорил об этом… Боже мой, если вы только кому-нибудь скажете!.. В детстве, когда мне было одиннадцать-двенадцать лет… Я ужасно рано созрел. — Он рыдал.

Проходя под фонарем, Джимми увидел блеск слез на его щеках.

— Я и вам бы ничего не рассказал, если бы не был пьян…

— Ну, в детстве это бывает почти со всеми… Не стоит из-за этого огорчаться.

— Но я и теперь такой, вот в чем ужас! Я не могу любить женщин. Я пробовал, пробовал… Вы понимаете, меня поймали. Мне было так стыдно, что я несколько недель не ходил в школу. Моя мать плакала. Мне так стыдно! Я так боюсь, что все узнают… Я борюсь, борюсь, скрываю свои чувства…

— Но, может быть, все это фантазия? Это может пройти. Пойдите к психоаналитику…

— Я никому не могу рассказать. Сейчас я пьян и потому говорю об этом. Я искал в энциклопедии… Этого нет даже в словаре! — Он остановился и, прислонясь к фонарному столбу, закрыл лицо руками. — Этого нет даже в словаре!

Джимми Херф погладил его по спине.

— Не убивайтесь, ради Бога. Таких, как вы, очень много. Сцена кишит ими.

— Я ненавижу их… В таких я не влюбляюсь… Я ненавижу себя. Я уверен, что теперь вы тоже будете ненавидеть меня.

— Что за глупости. Какое мне дело!

— Теперь вы знаете, почему я решил покончить с собой… Это несправедливо, Херф, несправедливо!.. Мне не повезло в жизни. Мне пришлось зарабатывать кусок хлеба, как только я окончил школу. Я служил лакеем в летних отелях. Моя мать жила в Леквуде, и я посылал ей все, что зарабатывал. Я много работал, чтобы стать тем, что я есть. Но если кто-нибудь узнает — будет страшный скандал, все откроется и я окажусь на улице.

— Этот грех приписывают всем юношам, и никто особенно не возмущается.

— Когда мне не дают какой-нибудь роли, я всегда думаю, что это из-за того. Я ненавижу и

презираю этих людей… Я не хочу быть «мальчиком»! Я хочу играть на сцене. Какой это ад, какой это ад!

— Но вы же сейчас репетируете что-то?

— Дурацкую пьесу, которая никогда не выйдет за пределы нашего театра. Ну вот, если вы теперь услышите, что я это сделал, то вы не будете удивлены.

— Что именно сделали?

— Покончил с собой.

Они шли молча. Начал накрапывать дождик. В конце улицы, за низкими, зелено-черными коробками домов изредка мелькала розовато-серая молния. От асфальта поднимался запах мокрой пыли, прибитой крупными каплями дождя.

— Тут должна быть поблизости станция подземной дороги… Кажется, там, вдали, синий фонарь… Пойдемте-ка скорее, а то мы промокнем.

— К черту. Тони, мне наплевать, промокну я или нет.

Джимми снял шляпу и махал ею. Дождевые капли холодили ему лоб, запах дождя, крыш, грязи и асфальта ослаблял едкий вкус виски и сигар во рту.

— Ужас! — вскричал он внезапно.

— Что?

— Все эти половые истории. Я никогда до сего дня не представлял себе всего ужаса этих переживаний. Господи, вы, должно быть, безумно страдаете… Мы все страдаем. Просто вам безумно не повезло. Мартин обычно говорил: «Все было бы много лучше, если бы вдруг зазвонили колокола и каждый рассказал каждому, как он жил, что делал, как любил…» Когда пытаешься скрыть некоторые вещи, они начинают гнить. Как все это ужасно! Как будто и без того жизнь недостаточно сложна и трудна.

— Я пойду на станцию.

— Вам придется целый час ждать поезда.

— Что же делать… Я устал и не хочу больше мокнуть.

— Ну, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Херф.

Раздался долгий раскат грома. Дождь пошел сильней. Джимми нахлобучил шляпу и поднял воротник. Ему хотелось бежать, и выть, и ругаться, надрывая легкие. Молния сверкала в стылых, мертвых окнах. Дождь барабанил по мостовой, по окнам магазинов, по бурым каменным ступеням. Его колени были мокры, дождевые капли щекотали спину, холодные струйки стекали из рукавов по рукам, все его тело зудело и чесалось.

Он шел по Бруклину. Полчища кроватей в спальнях-каморках, спящих людей, переплетенных и скрюченных, как корни растений в цветочном горшке. Полчища ног, скрипящих по ступеням меблированных домов, рук, нащупывающих дверные ручки. Полчища пульсирующих висков и одиноких тел, распростертых неподвижно на кроватях.

J'ai fait trois fois le tour du monde…
Vive le sang, vive le sang![153]

«Moi monsieur, je suis anarchiste…» И трижды приплывал прелестный наш корабль, и трижды приплывал… К черту! И погрузился на дно морское… Мы в мясорубке…

J'ai fait trois fois le tour du monde…
Dans mes voy… ages.

Объявление войны… рокот барабанов… едоки мяса маршируют в красных мундирах за стремительной палочкой тамбурмажора в мохнатой шапке, похожей на муфту, серебряные палочки выбивают стремительную дробь, дробь, дробь… перед лицом мировой революции… Начало во-

---

153 Примечания: 153
Да здравствует кровь! *(фр.)*

енных действий — бесконечным шествием по залитым дождем, пустым улицам. Экстренный выпуск, экстренный выпуск, экстренный выпуск! Санта-Клаус убил свою дочь, которую пытался изнасиловать. И сам застрелился из ружья… упер ружье в подбородок и нажал курок большим пальцем ноги. Звезды смотрят вниз на Фредериктаун. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Vive le sang, vive le sang!»

— Черт побери, я весь промок! — громко сказал Джимми Херф.

Куда он ни глядел, перед ним в пелене дождя простиралась пустынная улица между двумя рядами мертвых окон, кое-где унизанных лиловыми бляхами дуговых фонарей. Он безнадежно пошел дальше.

VI. Пять законных оснований

Пара поспешно садится. СТОЯТЬ В ВАГОНЕТКАХ СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ. Цепь скрежещет, цепляется за зубцы; вагонетка толчками всползает наверх, покидая жужжащие огни, покидая запах толпы и солонины и земляных орехов, карабкаясь и скрежеща в высокой ночи сентябрьских метеоров.

Море, болотные испарения, огни парохода, покидающего док. За широкой полосой лилового индиго мерцает маяк. Вниз. Море всхлипывает, огни взлетают. Ее волосы у его губ, его рука на ее ребрах, их бедра трутся.

Вихрь падения захлестнул их вопль, они с грохотом взлетают вверх мимо кружевных стропил. Вниз. Вверх. Пузырчатые огни в сандвиче из мрака и моря. Вниз. СОХРАНЯЙТЕ ВАШИ МЕСТА ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОЕЗДКИ.

— Войдите, Джо, я посмотрю — может быть, старуха даст вам что-нибудь поесть.

— Очень любезно с вашей стороны… э… я не… э-э… одет… все-таки дама…

— Ей все равно. Она же мне мать. Садитесь, я ее сейчас позову.

Харленд сел в темной кухне в кресло возле двери и положил руки на колени. Он смотрел на них. Они были красные, грязные, шершавые и дрожали. От дешевого виски, которое он пил всю последнюю неделю, его язык стал похожим на терку, во всем теле чувствовались оцепенение и тупая боль. Он смотрел на свои руки.

Джо О'Киф вернулся в кухню.

— Она внизу. Говорит, что на плите есть суп… Вот вам пока. Это вас подкрепит… Эх, Джо, вот бы вам туда, где я был вчера! Я был в ресторане за городом — возил хозяину известие о том, что на днях закрывается биржа… Ну и насмотрелся я там! Вы ничего подобного в жизни не видали. Один парень — кажется, он известный адвокат — стоял в прихожей и орал, как помешанный. Какой у него был вид! А потом он вытащил револьвер или что-то в этом роде, а мой хозяин спокойненько подходит — знаете, как он ходит, прихрамывая и опираясь на палочку, — отнимает у того револьвер и прячет его к себе в карман, прежде чем кто-нибудь успел рот раскрыть… Этот самый

адвокат, Болдуин, — его приятель, понимаете? Ничего подобного я в жизни не видал! А Болдуин, представьте себе, весь скрючился…

— Я вам говорю, паренек, — сказал Джо Харленд, — всем рано или поздно придет конец…

— А как они едят! Отчего вы, кстати, не едите?

— У меня нет аппетита.

— Ничего, ничего, поешьте… А скажите-ка, Джо, что это за история с войной?

— Кажется, на этот раз дело серьезное… Я знал, что война неминуема, еще во время Агадирского инцидента.[154]

— Черт побери, мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь снял штаны с Англии за то, что она не хочет дать автономию Ирландии.

— Нам придется помогать Англии… Но все-таки я не представляю себе, чтобы это затянулось надолго. Те люди, что держат в руках международные финансы, не допустят затяжной войны. В конце концов, кошелечек-то в руках у банкира.

— Мы не станем помогать Англии после всего, что она проделала с Ирландией и во время аме-

---

154 Примечания: 154

Агадир — город в Марокко на берегу Атлантического океана. В июле 1911 г., в целях защиты интересов Германии в Марокко, в агадирский порт вошло немецкое военное судно; после переговоров, в обмен на беспрепятственный протекторат над Марокко, Франция уступила Германии существенную часть Французского Конго.

риканской революции, и во время гражданской войны…

— Джо, вы напичкались историческими книгами из публичной библиотеки… Вы лучше читайте биржевые отчеты и не позволяйте дурачить себя газетной болтовней о забастовках, восстаниях и социализме… Я бы хотел, чтобы вам было хорошо, Джо… Ну ладно, я пойду.

— Куда вы? Подождите минутку, мы разопьем бутылочку.

Они услышали, как кто-то тяжело споткнулся и затопал по коридору.

— Кто там?

— Это ты, Джо?

Огромный парень с льняными волосами, широкими плечами, четырехугольным красным лицом и толстой короткой шеей, пошатываясь, ввалился в комнату.

— Кто это, по-вашему?.. Это мой брат Майк.

Майк стоял, покачиваясь, упирая подбородок в грудь. Его плечи уходили под низкий потолок кухни.

— Видали кита? Майк, сколько раз тебе говорил, чтобы ты не приходил домой, когда ты пьян!.. Этот верзила способен разнести весь дом в щепы.

— Что? Уж и домой приходить нельзя? С тех пор, как ты стал моим опекуном, Джо, ты придираешься ко мне еще больше, чем покойный отец. Слава Богу, что я скоро уезжаю из этого проклятого города. Тут с ума спятить можно! Если бы я мог попасть на какую-нибудь посудину, уходящую в море раньше «Золотых Ворот», клянусь Богом, меня бы уже тут не было.

— Да я вовсе не гоню тебя. Но я не хочу, чтобы у меня в доме вечно был кавардак.

— Я делаю, что хочу, понял?

— Уходи, Майк! Ты вернешься, когда протрезвишься.

— Хочу посмотреть, как ты меня отсюда выкинешь.

Харленд поднялся.

— Ну, я пойду, — сказал он. — Надо поглядеть — может быть, достану работу.

Майк со сжатыми кулаками лез на Джо. Тот выдвинул челюсть и схватил стул.

— Я тебе череп прошибу!

— Пресвятая Богородица, неужели старой женщине нет покою в собственном доме? — Маленькая седоволосая старуха, визжа, бросилась между ними.

У нее были блестящие черные глаза, широко

расставленные на сморщенном, как печеное яблоко, лице. Она махала заскорузлыми кулаками.

— Замолчите вы! Вы только и умеете ругаться и драться, безбожники проклятые!.. Майк, иди наверх, ложись в кровать и протрезвись.

— Это самое и я ему говорю, — сказал Джо.

Она повернулась к Харленду и скрипучим голосом крикнула:

— И вы тоже убирайтесь! Не желаю, чтобы ко мне в дом шлялись пьяные бродяги. Убирайтесь вон отсюда! Мне плевать, кто вас привел.

Харленд посмотрел на Джо со слабой, горькой улыбкой, пожал плечами и вышел.

— Поденщица, — пробормотал он, бредя по пыльной улице мимо темнолицых кирпичных домов.

Ноги у него окостенели и ныли. Знойное полуденное солнце било в спину, как кулаком. В ушах — голоса прислуг, поденщиц, кухарок, стенографисток, секретарш: «Да, мистер Харленд; благодарю вас, мистер Харленд; о сэр, благодарю вас; сэр, благодарю от всей души, мистер Харленд...»

Щекоча веки красными иглами, солнце будит ее; она вновь погружается в лиловые войлочные коридоры сна, вновь просыпается, переворачи-

вается, зевая, на другой бок, подгибает колени к подбородку, чтобы потуже натянуть вокруг себя сладкодремотный кокон. Тележка дребезжит на улице, солнце ложится жаркими полосами ей на спину. Она отчаянно зевает, опять поворачивается и лежит, уже совсем проснувшись, подложив руки под голову, глядя в потолок. Откуда-то издалека сквозь улицы и стены домов к ней проникает вопль пароходной сирены — так хилая водоросль пробивается сквозь прибрежный песок. Эллен садится на кровати, трясет головой, чтобы согнать севшую ей на лицо муху. Муха улетает и растворяется в солнечных лучах, но где-то внутри нее остается глухое, безотчетное гудение, какой-то остаток горьких ночных мыслей. Но она счастлива, она проснулась, и еще рано. Она встает и бродит в ночной сорочке по комнате.

Паркетный пол нагрелся от солнца и жжет подошвы ног. Воробьи чирикают на подоконнике. Из верхнего окна доносится стук швейной машины. Когда она выходит из ванны, ее тело становится упругим и гладким; вытираясь полотенцем, она считает часы предстоящего долгого дня. Прогулка по шумным пестрым городским улицам, к той пристани на Ист-ривер, где громоздятся большие брусья красного дерева, потом

утренний завтрак в одиночестве у «Лафайета», хрустящие булочки и сливочное масло, покупки у Лорда и Тэйлора[155] прежде, чем магазин будет полон и продавщицы устанут; второй завтрак с… И тут мука, терзавшая ее всю ночь, взбухает и прорывается.

— Стэн, Стэн, ради Бога! — говорит она громко.

Она сидит перед зеркалом и тупо смотрит в черноту своих расширенных зрачков.

Она поспешно одевается и выходит, идет вниз по Пятой авеню и потом по Восьмой улице ни на кого не глядя. Солнце уже стало жарким и закипает аспидно на тротуарах, на стеклах витрин, на мраморно-пыльных эмалированных вывесках. Лица проходящих мужчин и женщин смяты и серы, как подушки, на которых слишком долго спали. Когда она переходит Лафайет-стрит, ревущую грузовиками и фургонами, во рту у нее — вкус пыли; пыль хрустит на зубах. Она проходит мимо разносчиков с тележками; продавцы вытирают мраморные доски киосков с прохладительными напитками, шарманка заполняет всю улицу яркими, крикливыми завитушками

---

155 Примечания: 155

…Покупки у Лорда и Тэйлора… — Имеются в виду знаменитые магазины тканей и готового платья Лорда и Тэйлора (которые и сейчас существуют на Бродвее).

«Дунайских волн», от ларька с пряностями веет острым и едким. На Томпкинс-сквер дети, визжа, копошатся на влажном асфальте. У ее ног вьется рой мальчишек в грязных рваных рубашонках, со слюнявыми ртами; они толкаются, дерутся, царапаются, от них пахнет заплесневелым хлебом. Вдруг Эллен чувствует, что у нее слабеют колени. Она поворачивается и идет обратно той же дорогой.

Солнце — такое тяжелое, как его рука на ее спине, оно ласкает ее голые руки, как его пальцы ласкали ее; оно — его дыхание на ее щеке.

— Все пять законных оснований, — сказала Эллен в крахмальную грудь худощавого человека с выпуклыми, похожими на устрицы глазами.

— Стало быть, развод — дело решенное? — спросил он торжественно.

— Да, развод решен обоюдно.

— Мне, как старому другу обеих сторон, чрезвычайно прискорбно слышать это.

— Поверьте, Дик, я очень люблю Джоджо. Я ему многим обязана… Он — чудесный человек во многих отношениях, но мы должны развестись.

— Есть кто-нибудь третий?

Она посмотрела на него блестящими глазами и полуутвердительно кивнула.

— Но ведь развод — очень серьезный шаг, моя дорогая юная леди.

— Не такой серьезный, как все остальное.

Они увидели Гарри Голдвейзера. Он шел к ним через большой, с ореховыми панелями зал. Она повысила голос:

— Говорят, что битва на Марне решит исход войны.

Гарри Голдвейзер сжал ее руку двумя пухлыми ладонями и склонился над ней.

— Как это чудесно, Элайн, что вы приходите к старым холостякам, проводящим лето в городе, и не даете им надоесть друг другу до смерти! Хелло, Сноу! Как дела, старик?

— Почему вы еще в городе?

— Разные дела… И, кроме того, я ненавижу летние курорты… На Лонг-Бич[156] еще ничего. А в Бар-Харбор я не поеду и за миллион.

Мистер Сноу фыркнул.

— Как будто бы я слышал, что вы приобрели себе около какого-то курорта кусочек земли, Голдвейзер.

— Я купил себе дачу, вот и все. Прямо удивительно! Человек не может купить себе дачу,

---

156 Примечания: 156

Лонг-Бич — один из островов у южного побережья Лонг-Айленда.

чтобы об этом завтра же не знал каждый газетчик с Таймс-сквер.[157] Идемте обедать, сейчас сюда придет моя сестра.

Рыхлая женщина в усеянном блестками платье вошла, как только они уселись за стол в просторном, увешанном оленьими рогами обеденном зале; у нее был высокий бюст и желтоватый цвет лица.

— О, мисс Оглторп, я так рада видеть вас, — прощебетала она тихим голоском попугая. — Я часто видела вас на сцене. Вы душка… Я умоляла Гарри познакомить меня с вами.

— Это моя сестра Рэчел, — сказал Голдвейзер, обращаясь к Эллен и не вставая. — Она ведет мое хозяйство.

— Сноу, я хочу, чтобы вы помогли мне уговорить мисс Оглторп участвовать в «Zinnia Girls». Честное слово, эта роль прямо для нее написана.

— Но она такая маленькая…

— Конечно, это не главная роль, но с точки зрения вашей репутации как актрисы капризной и изысканной она — гвоздь пьесы.

---

157 Примечания: 157

Таймс-сквер — площадь в Среднем Манхэттене, получившая свое название в то время, когда здесь размещалась редакция газеты «Нью-Йорк таймс». Район магазинов, театров и ресторанов на пересечении Сорок Второй улицы и Бродвея.

— Хотите еще рыбы, мисс Оглторп? — пискнула мисс Голдвейзер.

Мистер Сноу фыркнул.

— Теперь нет больше великих актеров. Бутс,[158] Джефферсон,[159] Мэнсфилд[160] — все умерли. В наше время самое важное — реклама. Актеры и актрисы рекламируются на рынке, как патентованные лекарства. Ведь так, Элайн?.. Реклама, реклама!

— Нет, рекламой не создать успеха. Если бы вы могли посредством рекламы добиться всего, то любой режиссер в Нью-Йорке был бы уже миллионером, — вмешался Голдвейзер. — Нет, тут дело в какой-то таинственной, оккультной силе, которая заставляет уличную толпу идти именно в этот, а не в какой-нибудь другой театр и создает этому театру успех. Понимаете? Ни реклама, ни хвалебные статьи не помогут. Быть может, это

---

158 Примечания: 158

Бутс Эдвин (1833—1893) — американский актер, известный своей сдержанной, изысканной игрой. Брат актера Дж. Бутса, убившего Авраама Линкольна.

159 Примечания: 159

Джефферсон Джозеф (1829—1905) — американский актер, прославившийся исполнением роли Рипа ван Винкля в пьесе по рассказу Вашингтона Ирвинга (1783—1859).

160 Примечания: 160

Мэнсфилд Ричард (1854—1907) — американский актер, в свое время ведущий актер романтического репертуара.

гений, быть может, это удача, но если вы сумеете дать публике именно то, чего она хочет, в нужный момент и в нужном месте, то вы создадите гвоздь сезона. И именно это Элайн дала нам в последнем спектакле… У нее был контакт со зрительным залом. Вы можете взять лучшую пьесу в мире, раздать роли величайшим актерам — и пьеса провалится с треском… Я не знаю, в чем тут дело, да и никто этого не знает… Вечером вы ложитесь спать с головой, набитой трухой, а наутро просыпаетесь с блестящей идеей, которой обеспечен оглушительный успех. Режиссер так же мало в этом повинен, как метеоролог в хорошей погоде. Так ведь?

— Но вкусы нью-йоркского зрителя ужасно извратились со времен покойного Уоллока.[161]

— Ах нет, я видела несколько прелестных пьес, — чирикнула мисс Голдвейзер.

Весь долгий день любовь вилась в завитках волос… в темных завитках… вспыхивала в темной стали… билась… высоко… о Господи… высоко…

---

161 Примечания: 161

…Покойного Уоллока. — Здесь перевод В. Стенича неточен: у Дос Пассоса — «со старых уоллоковских времен». Уоллоки — Джеймс Уильям (1795—1864) и Лестер (1820—1888), отец и сын, — известные в XIX в. англо-американские актеры и менеджеры. Уоллок-старший прославился исполнением ролей в комедиях и мелодрамах; его сын — как комический и романтический актер. Лестер Уоллок был известен также как автор ряда пьес и режиссер-постановщик.

ярко… Она вонзала вилку в извилистое, белое сердце салата. Она произносила слова, в то время как совсем другие слова рассыпались внутри нее, точно разорванная нитка бус. Она сидела, разглядывая картину: две женщины и двое мужчин обедали за столом в комнате с высокими панелями под дрожащим хрустальным канделябром. Она подняла голову и увидела маленькие, грустные, птичьи глаза мисс Голдвейзер, устремленные на ее лицо.

— О да, летом Нью-Йорк гораздо приятнее, чем зимой. Летом меньше шума, суеты…

— О да, вы совершенно правы, мисс Голдвейзер. — Эллен вдруг обвела стол улыбкой.

Весь долгий день любовь вилась в завитках над высоким лбом, вспыхивала в темной стали глаз…

В такси толстые колени Голдвейзера прижимались к ее коленям, в его глазах трепетала тонкая паутина, его глаза ткали сладкую, душную сеть вокруг ее шеи и лица. Мисс Голдвейзер сидела, расползаясь рядом с ней. Дик Сноу сосал незажженную сигару, катая ее языком. Эллен старалась точно вспомнить, как выглядит Стэн, вспомнить его гибкое тело канатного плясуна. Она не могла вспомнить все его лицо полностью,

она видела глаза, губы, ухо.

Таймс-сквер была полна разноцветных огней, световых зигзагов, извилин. Они поднялись на лифте в отель «Астор». Эллен шла вслед за мисс Голдвейзер между столиками сада на крыше. Мужчины во фраках и женщины в легких муслиновых платьях оглядывались и провожали ее взглядами, которые прилипали к ней, как клейкие усики виноградных побегов. Оркестр играл «В моем гареме». Они сели за столик.

— Будем танцевать? — спросил Голдвейзер.

Она улыбнулась ему в лицо кривой, надломленной улыбкой и позволила обнять себя за талию. Его большое, поросшее торжественными, одинокими волосами ухо было на уровне ее глаз.

— Элайн, — дышал он ей в ухо, — честное слово, я думал, что я благоразумный человек. — Он перевел дух. — Но это не так. Вы волнуете меня, дорогая девочка, и я с ужасом признаюсь в этом. Почему вы не можете полюбить меня хоть немножко? Я бы хотел… чтобы мы обвенчались, как только вы официально получите развод… Неужели же вы не можете быть хоть немножко поласковее со мной? Я бы мог сделать для вас очень много… В Нью-Йорке я мог бы быть вам очень полезен…

Музыка замолкла. Они стояли в стороне под пальмой.

— Элайн, поедем в мою контору, подпишите контракт… Я хотел пригласить Феррари… Мы вернемся через пятнадцать минут.

— Я должна подумать… Я никогда ничего не делаю, не продумав ночь.

— Вы сводите меня с ума!

Внезапно она вспомнила все лицо Стэна. Он стоял перед ней в мягкой рубашке, с криво повязанным бантом, со встрепанными волосами, пьяный.

— Элли, я так рад видеть вас…

— Познакомьтесь с мистером Эмери, мистер Голдвейзер.

— Я только что вернулся из замечательно интересного путешествия. Жалко, что вас не было с нами… Мы ездили в Монреаль, Квебек[162] и вернулись через Ниагару. И с того момента, как только мы покинули милый, старый Нью-Йорк, мы ни одной минуты не были трезвы, пока нас не арестовали на Бостонском шоссе за то, что мы ехали с недозволенной скоростью. Так ведь, Перлайн?

Эллен пристально глядела на покачивав-

---

162 Примечания: 162

Монреаль, Квебек — города в Канаде, в провинции Квебек.

шуюся рядом со Стэном девушку в маленькой соломенной шляпке с цветами, надвинутой на водянистые голубые глаза.

— Элли, познакомьтесь с Перлайн… Красивое имя, правда? Я чуть не лопнул, когда она сказала мне, что произошло… Ах да, вы ничего не знаете!.. Мы так далеко забрались на Ниагаре, что, когда спохватились, оказалось, что мы женаты… У нас есть даже брачное свидетельство с анютиными глазками.

Эллен не могла смотреть на него. Оркестр, гул голосов, стук тарелок вздымались спирально вокруг нее все громче и громче.

— Спокойной ночи, Стэн. — Ее голос царапал ей язык; произнося слова, она отчетливо слышала их.

— Элли, пожалуйста, побудьте с нами…

— Нет… Спасибо…

Она снова начала танцевать с Гарри Голдвейзером. Сад закружился сначала очень быстро, потом медленнее. Колыхание шума вызывало тошноту.

— Простите, Гарри, я на минутку, — сказала она, — я вернусь к столу.

В дамской комнате она осторожно опустилась на плюшевый диван. Достала из сумочки круглое

зеркальце и поглядела в него. Из черных отверстий ее зрачков темнота изливалась до тех пор, пока все кругом не стало черным.

Джимми Херф устал: он гулял весь день. Он сел на скамейку неподалеку от Аквариума и стал смотреть на воду. Свежий сентябрьский ветер подернул сталью мелкую зыбь гавани и аспидно-голубое, пятнистое небо. Большой белый пароход с желтой трубой проходил мимо статуи Свободы. Дым тащившего его буксира был вырезан резкими зубцами, точно из бумаги. Несмотря на скученные постройки верфей, конец Манхэттэна казался ему носом баржи, медленно и ровно плывшей по водам гавани. С криком кружились чайки. Он внезапно вскочил. «Черт, надо что-нибудь начать делать!»

Он стоял в течение секунды, напрягая мускулы, балансируя на пятках. У оборванца, разглядывавшего иллюстрации в воскресной газете, было знакомое лицо.

— Хелло, — сказал он нерешительно.

— Я знаю, кто вы такой, — сказал оборванец не подавая ему руки. — Вы — сын Лили Херф… Я думал, что вы не заговорите со мной… И действительно, зачем вам со мной разговаривать?

— Ну да, конечно, вы кузен Джо Харленд!.. Я

ужасно рад вас видеть… Я часто думал о вас.

— Что думали?

— Не знаю… Знаете, это смешно… Родственники всегда кажутся совсем другими людьми, чем ты сам. — Херф опять сел на скамью. — Хотите папиросу?.. Плохую, правда…

— Мне все равно… Чем вы занимаетесь, Джимми? Вы не сердитесь, что я вас так называю? — Джимми Херф зажег спичку; она потухла, он зажег другую и поднес ее Харленду. — Я неделю не курил… Спасибо.

Джимми посмотрел на сидевшего рядом с ним человека. Глубокая впадина его серой щеки и резкая складка, тянувшаяся от угла рта, образовали острый угол.

— Должно быть, думаете, какой я подонок? — сказал Харленд, брызгая слюной. — Вы жалеете, что сели рядом со мной? Вам жалко, что ваша мать воспитала вас джентльменом, а не ханжой, как все прочие?

— Я работаю репортером в «Таймс»… Мерзкое занятие, меня тошнит от него, — сказал Джимми, с трудом выдавливая из себя слова.

— Не говорите так, Джимми, вы еще слишком молоды… С такими взглядами на жизнь вы недалеко уйдете.

— Предположите, что я и не хочу пойти далеко.

— Бедняжка Лили так гордилась вами. Она хотела, чтобы вы были великим человеком… Вы были предметом ее честолюбия… Вы не должны забывать вашу мать, Джимми. Она была мне единственным другом во всем этом проклятом семействе.

Джимми рассмеялся:

— А разве я говорю, что я не честолюбив?

— Ради Бога, ради вашей покойной матери, будьте осмотрительны. Вы только начинаете жить… Вся наша жизнь зависит от ближайших двух-трех лет. Взгляните на меня.

— Да, неважную, можно сказать, жизнь устроил себе Чародей Уолл-стрит… Нет, дело в том, что я не хочу больше подчиняться всему тому, чему нужно подчиняться в этом проклятом городе. Мне надоело подхалимствовать перед кучкой тупиц, которых я не уважаю… А вы что делаете, кузен Джо?

— Не спрашивайте…

— Смотрите… Вы видите тот пароход с красными трубами? Это французский крейсер. Смотрите — с кормового орудия снимают брезент… Я хочу пойти на войну… Одна беда — я плохой

вояка.

Харленд кусал губы. Помолчав, он вдруг заговорил хриплым, надтреснутым голосом.

— Джимми, я хочу вас кое о чем попросить… ради Лили… Э-э… у вас есть… э-э… какая-нибудь мелочь? Обстоятельства… так сложились, что я не ел как следует уже два-три дня… Я, знаете ли, немножко ослаб…

— Конечно! Я как раз хотел предложить вам выпить со мной чашечку кофе или чаю… На Вашингтон-стрит есть замечательный восточный ресторан.

— Пойдемте, — сказал Харленд, с трудом поднимаясь. — А вам не стыдно показаться с таким чучелом?

Харленд уронил газету. Джимми наклонился, чтобы поднять ее. Из бесформенных коричневых пятен клише всплыло лицо; что-то задергалось внутри Джимми, как нерв больного зуба. Нет, это не она, она так не выглядит, да… Талантливая молодая актриса, имевшая оглушительный успех в «Zinnia Girls».

— Спасибо, не беспокойтесь, я ее тут нашел, — сказал Харленд.

Джимми уронил газету. Она упала лицом вниз.

— Какие у них отвратительные фотографии,

правда?

— А я люблю их разглядывать… Я люблю быть в курсе всего, что делается в Нью-Йорке… Нищим, знаете ли, тоже не возбраняется смотреть на королей.

— Да нет, я только хотел сказать, что они отвратительно снимают.

VII. Американские горы

Свинцовый сумрак тяжело ложится на худые плечи пожилого человека, идущего по направлению к Бродвею. На углу у киоска что-то щелкает в его глазах. Сломанная кукла среди раскрашенных говорящих кукол, он бредет дальше, уронив голову в кипение и гуд, в жерло унизанного бусами букв зарева.

— Я помню, когда тут были луга, — ворчит он, обращаясь к маленькому мальчику.

«Ассоциация Луис Экспрессе» — красные буквы плаката пляшут джигу в глазах Стэна. Традиционные юбилейные танцы. Молодые люди и девушки входят. «Парами звери вошли — кенгуру слонов вели». Гром и звон оркестра вырывается из дверей зала. На улице дождь. «Еще река. Еще мне осталась одна река». Он отворачивает воротник пиджака, собирает губы в трезвую улыбку, платит два доллара и входит в большой, гулкий зал, увешанный красными, белыми и синими тряпками. Вдруг — такое головокружение, что на

минуту прислоняется к стене. «Еще мне осталась река…» Пол, на котором танцуют бесчисленные парочки, колышется, как палуба корабля. «У стойки вернее».

— Гэс Мак-Нийл здесь, — шепчут кругом. — Добрый старый Гэс.

Тяжелые руки хлопают по широким спинам, черные на красных лицах орут рты. Стаканы поднимаются и звенят, сверкая, поднимаются и звенят, танцуя. Рыхлый краснолицый человек с глубоко сидящими глазами и курчавыми волосами проходит по залу, хромая, опираясь на палку.

— Каков парень, а?

— Да, Гэс — это человек.

— Хозяйская голова!

— Молодчина старик Мак-Нийл!.. Наконец-то заглянул к нам.

— Здравствуйте, мистер Мак-Нийл.

В зале стихает. Гэс Мак-Нийл машет палкой.

— Спасибо, ребята… Ну-ну, веселитесь… Бэрк, старина, налейте всем за мой счет.

— И патер Молвени с ним… Молодец патер Молвени!

— Прямо король этот Мак-Нийл!

Он такой веселый, славный малый,

Кто посмеет это отрицать?..

Широкие, почтительно согнутые спины провожают медленно шагающую среди танцоров группу. «Павиан большой, озарен луной, расчесывал длинные волосы».

— Хотите танцевать?

Девушка поворачивается к нему белой спиной и уходит.

Я холостяк и живу одиноко,
Я ткацким живу ремеслом…

Стэн видит себя; он поет во все горло перед своим отражением в зеркале. Одна бровь у него вздернута кверху до самых волос, другая опустилась на ресницы.

— Нет, я не распутник, я женатый человек… Бейте всякого, кто скажет, что я не женат и не гражданин города Нью-Йорка, графство Нью-Йорк, штат Нью-Йорк… — Он стоит на стуле и говорит речь, ударяя кулаком правой руки по ладони левой. — Ри-имляне, сограждане, друзья, одолжите мне пять долларов!.. Я Цезаря пришел похоронить, а не хвалить… Согласно конституции города Нью-Йорка, графство Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, надлежащим образом засвидетельствованной и подписанной генеральным

прокурором, согласно акту от тринадцатого июля тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года… К черту римского папу!

— Брось трепаться!

— Ребята, выкиньте этого молодца за дверь… Он не из наших!

— Черт его знает, как он сюда попал… Он мертвецки пьян.

Стэн, закрыв глаза, прыгает в гущу кулаков. Его хватили в глаз, в челюсть, и, точно пуля, он вылетает на моросящую дождем, прохладную, тихую улицу «Ха-ха-ха!»

Ибо я холостяк и живу одиноко,

И еще мне осталась одна река,

Еще река до Иордана,

Еще мне осталась одна река…

Когда он опомнился, в лицо ему дул холодный ветер, и он сидел на скамье парома. Зубы его стучали, он трясся.

«У меня белая горячка. Кто я? Где я? Город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк… Стэнвуд Эмери, двадцати двух лет, род занятий — студент… Перлайн Андерсон, двадцати одного года, род занятий — актриса… Ну ее к черту! У меня было сорок девять долларов и восемьдесят центов. Где

я был, черт возьми? И никто меня не колотил. И никакой белой горячки у меня нет. Я чувствую себя прекрасно, только немножко хрупко. Мне ничего не нужно, кроме небольшой выпивки, а вам? Фу ты, черт, я думал — тут кто-то есть. Лучше помолчать».

Сорок девять долларов висели на стене,

Сорок девять долларов висели на стене.

За оловянной водой — высокие стены, над березовой рощей загородных домов мерцало розовое утро, точно призыв рога в шоколадно-буром тумане. Когда паром подошел ближе, дома сомкнулись в гранитную гору, изрезанную узкими, как лезвие ножа, каньонами. Паром прошел вплотную мимо бочкообразного парохода, стоявшего на якоре и накрененного в сторону Стэна так сильно, что он мог видеть всю палубу. Рядом с пароходом стоял буксир. С палубы, загроможденной, точно дынями, повернутыми кверху лицами, тянуло затхлым. Три дикие чайки с жалобными стонами кружились над ней. Одна из чаек взвилась спиралью, белые крылья поймали луч солнца, чайка неподвижно повисла

в бело-золотом сиянии. Край солнца поднялся над лиловой грядой облаков за Нью-Йорком. Миллионы окон загорелись пламенем. Глухой шум и рокот доносились из города.

И парами звери вошли —
Кенгуру слонов вели,
Еще мне осталась одна река,
Еще река до Иордана.

В белесом рассвете фольговые чайки кружились над разбитыми ящиками, над гнилыми кочанами капусты, над апельсинными корками, выглядывавшими из-за расщепленных свай, зеленые волны пенились под круглым носом, паром тормозил течение, глотал взволнованную воду, громыхал, скользил, медленно вошел в гнездо. Зажужжали лебедки, загрохотали цепи, распахнулись ворота. Стэн вместе с толпой вошел в деревянный, пропахший навозом туннель и вышел к солнечному стеклу и скамьям Бэттери. Он сел на скамью и обхватил колени руками, чтобы они не тряслись. Его голова звенела и бренчала, как механическое пианино.

Великая дева на белом коне…
Перстни на пальцах, на ногах бубенцы,

И несет она гибель во все концы…

«Были Вавилон и Ниневия, они были построены из кирпича. Афины — златомраморные колонны. Рим — широкие гранитные арки. В Константинополе минареты горят вокруг Золотого Рога, как огромные канделябры… О, мне осталась одна река… Сталь, стекло, черепица, цемент — из них будут строиться небоскребы. Скученные на узком острове, миллионнооконные здания будут, сверкая, вздыматься — пирамида над пирамидой — подобно белым грядам облаков на грозовом небе…»

Шел дождь сорок дней и сорок ночей,
Опрокинулась в небе лейка,
Лишь один человек пережил потоп —
Длинноногий Джек с Перешейка.

«Господи, я бы хотел быть небоскребом!»

Замок крутился, выталкивая ключ. Стэн искусно выждал момент и поймал замок. Он проскочил стремглав в открытую дверь, пробежал длинную переднюю и, зовя Перлайн, помчался в спальню. Пахло как-то странно, пахло запахом Перлайн. «К черту!» Он схватил стул — стул хотел убежать, он взлетел над головой Стэна и грохнулся в окно,

стекло задрожало и зазвенело. Он выглянул на улицу. Улица встала на дыбы. Выдвижная лестница и пожарная машина карабкались по ней, кувыркаясь, волоча за собой пронзительный вой сирены. Пожар, пожар, воды, воды! Убытков на тысячу долларов, убытков на сто тысяч долларов, убытков на миллион долларов. Небоскребы вздымаются пламенем, в пламени, в пламени. Он отскочил в комнату. Стол перекувырнулся. Горка с фарфором вскочила на стол. Дубовые стулья взобрались на горку, потянулись к газовому рожку. «Воды, воды! Не люблю я этого запаха — в городе Нью-Йорке, графство Нью-Йорк, штат Нью-Йорк». Он лежит на спине на полу вертящейся кухни и смеется, и смеется. «Один человек пережил потоп — он едет верхом на великой деве на белом коне. Вверх, в пламя, вверх, вверх!»

— Керосин, — прошептал потнорожий бидон в углу кухни.

«Воды, воды!»

Он стоял, шатаясь, на скрипучих, перевернутых стульях, на перевернутом столе. Керосин лизал его белым холодным языком. Он качнулся, вцепился в газовый рожок, газовый рожок поддался; он лежит на спине в луже, зажигает спички — влажные, не загораются. Спичка

вспыхнула, зажглась; он осторожно прикрыл огонек ладонями.

— Да, но мой муж ужасно честолюбив, — говорила Перлайн синей шерстяной женщине в бакалейной лавке. — Он любит хорошо пожить и тому подобное, но я в жизни не встречала более честолюбивого человека. Он хочет уговорить своего отца, чтобы тот послал нас за границу, — он будет изучать архитектуру. Он намерен стать архитектором.

— Ах, для вас это будет сплошным удовольствием. Такая поездка… Еще что прикажете, мисс?

— Нет, кажется, я ничего не забыла… Если бы это был кто-нибудь другой, я бы волновалась. Я его уже два дня не видела. Наверно, поехал к отцу.

— А вы только что обвенчались?

— Я бы вам не рассказывала, если бы что-нибудь было не в порядке. Нет, он ведет себя честно, хорошо… Ну, прощайте, миссис Робинзон.

Она взяла свертки под мышку и, размахивая бисерной сумочкой, вышла на улицу. Солнце еще пригревало, хотя в ветерке уже чувствовалось дыхание осени. Она подала монету слепцу, крутившему на шарманке вальс из «Веселой вдовы». Надо будет все-таки слегка побранить его, когда

он вернется домой, а то он будет часто пропадать. Она свернула в Двухсотую улицу. Люди смотрели из окон, собиралась толпа. Где-то горело. Она вдохнула запах гари. У нее побежали мурашки по спине; она любила пожары. Она заторопилась. «Ого, как раз перед нашим домом!» Дым, плотный, как джутовый мешок, валил из окна пятого этажа. Она вдруг начала дрожать. Мальчишка-негр, прислуживавший у лифта, бежал к ней навстречу. У него было зеленое лицо.

— В нашей квартире! — взвизгнула она. — Только неделю тому назад привезли мебель… Пустите меня!

Она уронила свертки, бутылка со сливками разбилась о плиты тротуара. Перед ней вырос полисмен, она бросилась на него и начала колотить его по широкой синей груди. Она не могла удержать свой визг.

— Все в порядке, дамочка, все в порядке, — бурчал он низким басом.

Она билась головой об его грудь и чувствовала, как в груди гудит его голос.

— Его снесли вниз, он только угорел, только угорел.

— Стэнвуд, мой муж! — завизжала она.

Все кругом почернело. Она ухватилась за две

блестящие пуговицы на мундире полисмена и упала в обморок.

VIII. Еще река до Иордана

Человек кричит, стоя на ящике из-под мыла на углу Второй авеню и Хаустона[163] *напротив кафе «Космополитен»:*

— Друзья… рабы заработной платы, каким когда-то был и я… Эти люди сидят у вас на шее… они вырывают у вас пищу изо рта. Где все те красивые девушки, которых я раньше видел на бульваре? Поищите их в загородных кабаках… Ребята, они выжимают нас, как губку… рабочие, нет, не рабочие, а рабы — так будет вернее… они отнимают у нас нашу работу, наши идеи, наших женщин… Они строят отели, клубы миллионеров, театры, стоящие много миллионов, военные корабли, а что они оставляют нам?.. Они оставляют нам недоедание, рахит и грязные улицы, залитые помоями… Вы бледны, друзья? Вам не хватает крови?.. Почему у вас нет крови в жилах?.. В России бедняки… немногим

---

163 Примечания: 163

Хаустон-стрит — улица в Нижнем Манхэттене; пересекается со Второй авеню в районе Баури.

беднее, чем мы… верят в вампиров, высасывающих по ночам кровь из людей… Вот это и есть капитализм… вампир, высасывающий вашу кровь… днем… и… ночью… Падает снег. Хлопья его золотятся, падая мимо уличных фонарей. Сквозь зеркальные стекла кафе «Космополитен», полное голубых, зеленых и опаловых расселин дыма, кажется мутным аквариумом; белые лица плавают вокруг столов, похожие на странных рыб. Зонтики пузырятся гроздьями над заснеженной улицей. Оратор поднимает воротник и быстро идет по Хаустону, неся грязный ящик из-под мыла на отлете, чтобы не замарать брюки.

Лица, шляпы, руки, газеты плясали в потном, ревущем вагоне подземной дороги, как зерна в жаровне.

— Джордж, — сказал Сэндборн Джорджу Болдуину, который висел на ремне возле него, — видите новый дом Фитцджералда?

— Я скоро увижу кладбище, если не выберусь отсюда сию же минуту.

— Вам, плутократам, иногда бывает полезно посмотреть, как путешествует простая публика…

Может быть, вы приглядитесь и уговорите ваших приятелей из Таммани-холла[164] прекратить болтовню и хоть сколько-нибудь облегчить нам, рабам заработной платы, существование… Черт побери, я бы мог им кое-что посоветовать… У меня есть план бесконечных движущихся платформ под Пятой авеню.

— Это вы придумали лежа в больнице, Фил?

— Я много чего придумал, лежа в больнице.

— Сойдем здесь и пойдем пешком. Я больше не могу… Я не привык.

— Хорошо… Я позвоню Эльзи, что опоздал к обеду… Нынче не часто с вами можно встретиться, Джордж… Совсем как в былые дни.

Клубок мужчин и женщин, рук, ног, сдвинутых на потные затылки шляп вынес их на платформу. Они пошли по Лексингтон-авеню, недвижной в винном закатном зареве.

— В самом деле, Фил, как это вас угораздило попасть под колеса?

— Честное слово, не знаю, Джордж… Последнее, что я помню, — я повернул голову, чтобы посмот-

---

164 Примечания: 164

Таммани — популярное название демократической политической организации в Манхэттене. *Таммани-холл* — известное место встречи представителей этой организации, ставшее синонимом коррупции и продажности.

реть на какую-то чертовски красивую женщину, проезжавшую в такси, а потом я сразу очнулся в больнице и пил воду со льдом из чайника.

— Стыдно, Фил, в ваши годы!..

— Знаю, знаю… Только не я один грешен.

— Да, удивительно, как такие вещи врываются в жизнь… Позвольте, а что вы обо мне слышали?

— Ничего, Джордж, не волнуйтесь — ничего особенного… Я видел ее в «Zinnia Girls»… Она имеет успех. Премьерша у них гораздо слабее.

— Послушайте, Фил, если вы услышите какие-нибудь сплетни про мисс Оглторп, ради Бога, пресекайте их. Это чертовски глупо! Стоит вам пойти выпить чашку чая с женщиной, как уже всякий и каждый считает себя вправе трепать языком по всему городу. Я не хочу скандала, хотя мне вообще наплевать.

— Придержите коней, Джордж.

— Я в настоящий момент нахожусь в очень щекотливом положении — этим все сказано. А затем мы с Сесили наконец как-то договорились, создали какой-то модус… Я не хочу опять нарушать его.

Они молча пошли дальше.

Сэндборн шел, держа шляпу в руке. Он был почти совсем сед, но брови у него были еще чер-

ные и густые. Через каждые несколько шагов он менял походку, точно ему было больно ступать. Он откашлялся.

— Джордж, вы спрашивали меня, не придумал ли я чего-нибудь, лежа в больнице… Помните, много лет тому назад старик Спекер говорил о стекловидной и суперэмалированной черепице. Так вот, в больнице я работал над его формулой… У одного из моих приятелей на заводе есть печь на две тысячи градусов каления; он обжигает в ней глиняную посуду. По-моему, это дело можно поставить по-коммерчески… Можно произвести революцию в промышленности. В соединении с цементом такая черепица невероятно увеличила бы податливость материалов, имеющихся в распоряжении архитекторов. Мы могли бы изготовлять черепицу любого цвета, размера и отделки… Вообразите себе этот город, когда все эти дома, вместо серо-грязного цвета, засверкают яркими красками. Представьте себе красные карнизы на небоскребах. Цветная черепица произведет переворот во всей городской жизни! Вместо того чтобы подражать готическому и романскому стилю, мы могли бы создать новые рисунки, новые краски, новые формы. Если бы город был хоть чуточку красочным, кончилась

бы вся эта жестокая, бессодержательная, скованная жизнь… Было бы больше любви и меньше разводов…

Болдуин расхохотался:

— Вот еще выдумал!.. Мы еще как-нибудь поговорим об этом, Фил. Приходите к нам обедать, когда Сесили будет дома, — расскажите нам все подробно… А почему Паркхерст вам не поможет?

— Я не хочу посвящать его в это дело. Он будет тянуть переговоры до бесконечности, а когда формула будет у него в руках, он меня оставит с носом. Я не доверю ему и пяти центов.

— Почему он не возьмет вас в компаньоны, Фил?

— Он крутит мной как хочет. Он знает, что на мне лежит вся работа в его проклятой конторе. Но он знает и то, что я почти ни с кем не умею ладить. Ловкая штучка!

— Все-таки, я думаю, вы могли бы предложить ему ваш проект.

— Он крутит мной как хочет и знает это… Я делаю всю работу, а он загребает деньги… Я думаю, что, в сущности, так и должно быть. Если бы у меня были деньги, я все равно бы их истратил. Я — непутевый человек.

— Но послушайте, Фил, вы же немногим старше

меня… У вас еще вся карьера впереди.

— Да-да, десять часов в день за чертежным столом… Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы заинтересовались моим проектом.

Болдуин остановился на углу и похлопал ладонью по своему портфелю.

— Вы знаете, Фил, что я рад оказать вам любую помощь… Но как раз в данный момент мои финансовые дела ужасно запутаны. Я впутался в кое-какие довольно рискованные предприятия, и Бог знает, как я из них выкручусь… Вот почему я сейчас не хочу ни развода, ни скандала, ничего вообще… Я не буду браться ни за какие новые дела по крайней мере в течение года. Из-за войны в Европе все наши дела стали ужасно неустойчивы. Бог знает, что может случиться.

— Ну ладно. Спокойной ночи, Джордж.

Сэндборн резко повернулся на каблуках и пошел обратно по авеню. Он устал. Ноги у него болели. Уже почти стемнело. По дороге к станции грязные кирпичные и каменные стены монотонно тянулись мимо него, как дни его жизни.

Железные тиски сдавливают виски под кожей; кажется, что голова вот-вот лопнет, как яйцо. Она начинает ходить большими шагами по комнате, духота колет ее иглами, цветные пятна картин,

ковры, кресла окутывают ее душным, жарким одеялом. Задний двор за окном исполосован синими, фиолетовыми и топазовыми лентами дождливых сумерек. Она открывает окно. Не поспеть за сумерками, как говорил Стэн. Телефон протянул к ней трепещущие, бисерные щупальца звона. Она с силой захлопывает окно. «Черт бы их побрал, не могут оставить человека в покое!»

— А, Гарри, я не знала, что вы вернулись… Не знаю, смогу ли я… Да, думаю, что смогу. Приходите после спектакля… Что вы говорите! Вы мне потом все расскажете… — Не успела она повесить трубку, как телефон опять зазвенел. — Хелло… Нет, не могу… Да, может быть, смогу… Когда вы приехали? — Она засмеялась звонким телефонным смехом. — Говард, я ужасно занята… Честное слово… Вы были на спектакле?.. Ужасно интересно, как вы съездили… Вы мне расскажете… Прощайте, Говард.

«Надо пойти погулять — лучше станет».

Она сидит за туалетным столиком и распускает волосы. «Сколько возни с ними. Надо будет вовсе остричься… Быстро отрастут… Тень белой смерти… Нельзя так поздно вставать, круги под глазами… И у дверей Невидимая Гибель… Если бы я могла плакать. Есть люди, которые могут

выплакать себе глаза, по-настоящему ослепнуть от слез… Все равно, развод надо довести до конца… Черт, уже шесть часов!» Она снова начинает ходить взад и вперед по комнате. «Я родилась ужасно далеко, невероятно далеко…»

Звонит телефон.

— Хелло… Да, это мисс Оглторп… А, Рут! Мы с вами целую вечность не виделись… со времен миссис Сондерленд… С радостью повидаю вас. Приходите, мы перекусим по дороге в театр… Третий этаж.

Она дает отбой и вынимает из шкафа дождевик. Запах меха, нафталина и платьев щекочет ей ноздри. Она снова распахивает окно и глубоко вдыхает холодный, влажный, гниловатый осенний воздух. С реки доносится пыхтенье большого парохода. «Ужасно далеко от этой бессмысленной жизни, от этой идиотской, тупой толчеи. Мужчина может обручиться с морем вместо женщины; а женщина?»

Телефон снова сыплет бисерный звон. Одновременно звонят на парадной.

— Хелло… Нет, к сожалению, не узнаю… Кто говорит?.. Ларри Хопкинс? А я думала, что вы в Токио… Вас еще не отправили?.. Конечно, мы должны повидаться… Дорогой мой, это просто

ужасно, но я эти две недели нарасхват. Сегодня вечером прямо сумасшедший дом. Позвоните завтра в двенадцать, может быть, я как-нибудь устроюсь… Обязательно встретимся, друг мой…

Рут Прин и Кассандра Вилкинс входят, отряхивая зонтики.

— Ну, будьте здоровы, Ларри… Как это мило с вашей стороны… Раздевайтесь. Касси, хотите с нами обедать?

— Я чувствовала, что довжна повидать вас. Вы имели такой успех, такой удивительный успех, — проговорила Касси надорванным голосом. — Ах, мивочка, я была в таком ужасе, когда узнала про мистева Эмеви. Я плакава, плакава… Пвавда, Вут?

— Какая у вас прелестная комната! — одновременно с ней восклицает Рут.

В ушах Эллен — болезненный звон.

— Мы все когда-нибудь умрем, — вырывается у нее неожиданно грубо.

Рут постукивает ногой в калоше по полу; она перехватывает взгляд Касси — та мямлит что-то и замолкает.

— Не пойти ли нам? Уже поздно, — говорит Рут.

— Простите меня на минутку, Рут.

Эллен бежит в ванную и захлопывает дверь. Она сидит на краю ванны и колотит себя сжатыми кулаками по коленям. «Эти женщины сведут меня с ума!» Потом напряжение ослабевает, она чувствует, как что-то вытекает из нее, точно вода из умывальника. Она спокойно подкрашивает губы.

Возвратившись в комнату, она говорит своим обычным голосом:

— Ну, пойдемте… Получили роль, Рут?

— Мне представлялась возможность поехать в Детройт с одной труппой. Я отказалась… Я не уеду из Нью-Йорка, что бы ни случилось.

— А я не знаю, что бы дала — лишь бы уехать из Нью-Йорка… Честное слово, если бы мне предложили петь в кино в самой глухой провинции, я бы сразу же согласилась.

Эллен берет зонтик, и три женщины спускаются гуськом по лестнице и выходят на улицу.

— Такси! — зовет Эллен.

Проезжающий автомобиль скрежещет и останавливается. Красное ястребиное лицо шофера вплывает в свет уличного фонаря.

— На Четырнадцатую улицу, — говорит Эллен, пока Рут и Касси влезают в автомобиль.

Зеленоватые огни и куски мрака мелькают

мимо унизанных бусинками света окон.

Она стояла под руку с Гарри Голдвейзером, глядя поверх перил сада на крыше. Гарри Голдвейзер был в смокинге. Под ними, мерцая огнями, испещренный туманными пятнами, лежал, как упавшее небо, парк. Сзади на них шквалами налетали звуки танго, шум голосов, шарканье танцующих ног.

— Бернар, Рашель,[165] Дузе,[166] Сиддонс… Понимаете, Элайн, нет выше искусства, чем театр. Никакое искусство не может так передать человеческие переживания… Если бы я только мог сделать то, что мне хочется, мы были бы величайшим в мире народом, а вы — величайшей актрисой… Я был бы великим режиссером, гениальным творцом — понимаете? Но публике не нужно искусство, наш народ не позволяет о себе заботиться. Ему нужна мелодрама с сыщиками или мерзкий французский фарс с дрыганьем ножками, смазливыми хористками и музыкой… Ну

---

165 Примечания: 165

Рашель (1821—1858) — сценический псевдоним Элизы Феликс, французской актрисы, признанной в свое время величайшей актрисой мира и известной более всего исполнением ролей в пьесах Расина и Корнеля.

166 Примечания: 166

Дузе Элеонора (1859—1924) — знаменитая итальянская актриса, пленявшая зрителей простотой и отсутствием театральности в своей игре.

что ж, обязанность режиссера — давать публике то, что она требует.

— По-моему, в этом городе живут легионы людей, жаждущих непостижимых вещей... Посмотрите на него.

— Ночью, когда ничего не разобрать, он хорош. Но в нем нет художественности, нет красивых зданий, нет духа старины — вот в чем ужас.

Минуту они стояли молча. Оркестр заиграл вальс из «Лилового домино».

Вдруг Эллен повернулась к Голдвейзеру и проговорила необычно резко:

— Вы можете понять женщину, которой порой хочется быть проституткой, простой девкой?

— Моя дорогая юная леди, как странно слышать такие слова от прелестной молодой женщины!

— Вы, наверно, шокированы?

Она не слыхала его ответа. Она чувствовала, что вот-вот расплачется. Он вонзила острые ногти в ладони рук; она задерживала дыхание до тех пор, пока не сосчитала до двадцати. Потом сказала дрожащим голосом маленькой девочки:

— Гарри, пойдем, потанцуем немножко.

Небо над картонными домами — свинцовый свод. Если бы шел снег, было бы не так мрачно. Эллен нанимает такси на углу Седьмой авеню,

падает на сиденье и трет онемевшими в перчатке пальцами правой руки ладонь левой.

— На Пятьдесят седьмую улицу, пожалуйста.

Из-под болезненной маски усталости она сквозь трясущееся окно провожает глазами фруктовые лавки, вывески, строящиеся дома, тележки, девушек, посыльных, полисменов. «Если у меня будет ребенок, ребенок Стэна, он вырастет, чтобы трястись по Седьмой авеню под свинцовым бесснежным небом и провожать глазами фруктовые лавки, вывески, строящиеся дома, тележки, девушек, посыльных, полисменов…» Она сдвигает колени, выпрямляется на краю сиденья, стискивает руками живот. «Господи, со мной сыграли гнусную шутку, у меня отняли Стэна, сожгли его, мне ничего не оставили — только то, что шевелится во мне и убьет меня!» Она всхлипывает в онемевшие ладони. «Господи, хоть бы снег пошел!»

Она стоит на серой мостовой и роется в кошельке. Порыв ветра, крутящий в сточной канаве клочки бумаги, набивает ее рот пылью. Лицо у лифтера круглое, из черного дерева с инкрустацией из слоновой кости.

— Миссис Стоунтон Уэллс.

— Да, мадам, восьмой этаж.

Лифт жужжит, поднимаясь. Она стоит, глядя на себя в узкое зеркало. Внезапно что-то неудержимо веселое прохватывает ее. Он смахивает пыль с лица скомканным носовым платком, отвечает улыбкой на улыбку лифтера, открывающего рот, как клавиатуру рояля, и бодро стучит в дверь. Дверь открывает плоеная горничная.[167] В квартире пахнет чаем, мехом и цветами, женские голоса щебечут под звон чайных чашек, точно куры на птичьем дворе. Взгляды порхают вокруг ее лица, когда она входит в комнату.

Скатерть была залита вином и томатным соусом. В ресторане было дымно; на стенах висели голубые и зеленые акварели с видами Неаполитанского залива. Эллен откинулась на спинку стула. Она сидела за столом в компании молодых людей и следила, как дым ее папиросы обвивается спиралью вокруг пузатой бутылки кьянти, стоявшей перед ней. На ее тарелке одиноко таял кусочек трехцветного мороженого.

— Но ведь есть же у человека хоть какие-нибудь права… Нет, промышленная цивилизация заставит нас, в конце концов, добиваться перемены правительства и всего социального строя…

---

167 Примечания: 167

…Плоеная горничная… — плоеный — крахмальный, со складками или гофрировкой (может быть передник, чепчик и т. д.).

— Какие длинные слова он употребляет, — шепнула Эллен Херфу, сидевшему рядом с ней.

— И все-таки он совершенно прав, — проворчал тот в ответ.

— Результатом явилось сосредоточение в руках немногих лиц такой власти, какой мы не знаем на протяжении всей мировой истории, начиная от рабовладельческих времен Египта и Месопотамии…

— Слушайте, слушайте!

— Я говорю совершенно серьезно… Единственный путь борьбы — это объединение рабочих, пролетариата, производителей, потребителей — называйте их как хотите — путем организации союзов. Эти союзы должны окрепнуть настолько, чтобы в один прекрасный день захватить власть.

— Вы не правы, Мартин, именно «ужасные капиталисты», как вы их называете, создали эту цветущую страну.

— Хороша страна!.. Я бы не поселил здесь и собаки.

— Я не согласен. Я восхищаюсь этой страной. Другой родины у меня нет… И, по-моему, все эти угнетенные массы сами хотят, чтобы их угнетали. Они ни на что другое не годны… если бы это

было не так, все они были бы преуспевающими дельцами… Люди, способные хоть на что-нибудь, всегда выдвигаются.

— Но я не думаю, чтобы преуспевающий делец был высшим идеалом человеческих стремлений.

— Во всяком случае, он больше приближается к идеалу, чем какой-нибудь сумасшедший агитатор-анархист. Все они либо доктринеры, либо сумасшедшие.

— Слушайте, Мид, вы ругаете то, чего вы не понимаете, о чем вы не имеете ни малейшего представления… Я не могу этого допустить… Вы должны постичь суть вещей, прежде чем ругать их сплеча.

— Вся эта социалистическая чепуха оскорбительна для интеллигентного человека.

Элли потянула Херфа за рукав.

— Джимми, я хочу домой. Вы меня проводите?

— Мартин, рассчитайтесь, пожалуйста, за нас. Нам надо идти… Элли, вы страшно бледны.

— Здесь немножко жарко… Уф, легче стало!.. Терпеть не могу споров. Я никогда не знаю, что мне говорить.

— Эти люди из вечера в вечер жуют одну и ту же жвачку.

Восьмая авеню была окутана густым, не да-

вавшим дышать туманом. Сквозь туман тускло мерцали фонари, лица всплывали и таяли, как рыбы в мутном аквариуме.

— Вы чувствуете себя лучше, Элли?

— Гораздо лучше.

— Я ужасно рад.

— Знаете, вы здесь единственный человек, который называет меня Элли. Мне это нравится… Все стараются дать мне почувствовать, что я взрослая, с тех пор как я на сцене.

— Стэн также называл вас Элли.

— Может быть, поэтому я так люблю это имя, — сказала она тихим протяжным голосом (так кричат ночью, стоя на берегу моря).

Джимми чувствовал, как что-то сжимает ему горло.

— О Господи, как все гнусно! — сказал он. — Если бы я мог все свалить на капитализм, как Мартин.

— Как приятно гулять… Я люблю туман.

Они шли молча. Колеса громыхали сквозь удушающий туман. Их сопровождал далекий вой сирен и пароходные свистки.

— У вас по крайней мере карьера… Вы любите вашу работу, вы имеете огромный успех, — сказал Херф на углу Четырнадцатой улицы и взял ее

под руку, чтобы помочь перейти на ту сторону.

— Не говорите так… Ведь вы сами в это не верите. Я не такой самовлюбленный ребенок, как вы думаете.

— Но ведь это же так!

— Это было так до моей встречи со Стэном, до того, как я полюбила его… Понимаете, я была глупой, обожающей сцену девочкой и окунулась в совершенно непонятный мне мир прежде, чем узнала, что такое жизнь. В восемнадцать лет я вышла замуж, в двадцать два развелась — славный рекорд… Но Стэн был так изумителен…

— Я знаю.

— Ничего не говоря, он заставлял меня чувствовать, что есть иные вещи… вещи необычайные…

— И все-таки я ненавижу его за его безумие… Все впустую…

— Я не могу говорить об этом.

— Не будем.

— Джимми, вы — единственный человек, с которым я могу говорить.

— Не доверяйте мне слишком. Я когда-нибудь тоже могу наброситься на вас…

Они рассмеялись.

— Господи, как я рад, что не мертв! А вы, Элли?

— Не знаю… Ну, вот мы и пришли. Не подни-

майтесь ко мне… Я сейчас же лягу. Я чувствую себя отвратительно…

Джимми стоял, держа шляпу в руках, и глядел на нее. Она рылась в сумочке, искала ключ.

— Джимми… Все равно, я вам скажу…

Она подошла к нему и быстро заговорила, отвернув голову и тыча в него ключом, в котором мерцали отсветы уличного фонаря. Густой туман был вокруг них, как шатер.

— У меня скоро будет ребенок… ребенок Стэна. Я откажусь от всей этой пустой жизни и буду воспитывать его. Все равно… Будь что будет.

— О, это самое честное и прекрасное, что может сделать женщина… Элли, вы — чудесная! Если бы я только мог сказать вам, как я…

— Нет, нет. — Ее голос оборвался, глаза наполнились слезами. — Я дурочка, вот и все. — Ее лицо сморщилось, как у маленького ребенка, и она побежала вверх по лестнице. Слезы струились по ее лицу.

— Элли, я хотел вам сказать…

Дверь захлопнулась.

Джимми Херф стоял внизу как вкопанный. В висках у него стучало. Ему хотелось взломать дверь. Он упал на колени и поцеловал ступеньку, на которой она только что стояла. Туман

обволакивал его, пестрел вокруг него красным конфетти. Потом трубное чувство восторга отхлынуло, и он начал падать в черный трюм. Он стоял как вкопанный. Полисмен, проходя, испытующе посмотрел на него — стройная синяя колонна, помахивающая дубинкой. Вдруг он сжал кулаки и пошел.

— Господи, как все гнусно, — сказал он вслух и вытер рукавом пальто пыль с губ.

Она берет его за руку, чтобы выйти из автомобиля, так как паром готов к отплытию — «спасибо, Ларри!» — и идет вслед за его высокой, подтанцовывающей фигурой на нос парома. Слабый ветерок с реки выдувает пыль и запах бензина из ее ноздрей. Среди жемчужной ночи квадратные остовы домов на том берегу мерцают, как догорающий фейерверк. Волны слабо бьются о борта парома. Горбун пилит на скрипке «Марионеллу».

— Ничто так не помогает, как успех, — говорит Ларри низким гудящим голосом.

— Ах, если бы вы знали, как мне все на свете безразлично, вы не стали бы терзать меня пустыми словами… Брак, успех, любовь — слова, слова…

— Но для меня они — все. Я думаю, вам понравится в Лиме, Элайн… Я ждал, пока вы будете свободны. И вот я здесь.

— Все мы — не те, что были… А я совсем окаменела.

Речной ветер пропитан солью. По виадуку над Сто двадцать пятой улицей трамваи ползут, как жуки. Паром входит в гнездо, и они слышат гул колес по асфальту.

— Поедем обратно в автомобиле, Элайн, чудесная.

— Правда, Ларри, забавно после такого дня опять окунуться в гущу города?

На грязной белой двери две кнопки с надписями «Дневной звонок» и «Ночной звонок». Она нажимает одну из них дрожащим пальцем. Низкий, полный человек с крысиным лицом и лоснящимися, черными, зачесанными на затылок волосами открывает дверь. Короткие, как у куклы, ручки цвета шампиньона болтаются вдоль его бедер. Он опускает плечи в поклоне.

— Вы и есть та дама?.. Войдите.

— Доктор Абрамс?

— Да… Мой друг мне звонил по телефону относительно вас… Садитесь, пожалуйста.

В комнате пахнет арникой. Ее сердце отчаянно колотится о ребра.

— Вы понимаете… — Ей противна дрожь ее голоса; она вот-вот потеряет сознание. — Вы

понимаете, доктор Абрамс, это необходимо. Я развожусь с мужем и должна жить на собственные средства.

— Такая молодая… Несчастное замужество… Как жалко! — Доктор мягко мурлычет, как бы про себя; он испускает свистящий вздох и неожиданно вглядывается в ее глаза черными, жесткими, как буравчики, глазами. — Не бойтесь, милая леди, это пустяковая операция… Вы в данный момент готовы?

— Да. Это, наверное, продлится недолго? Я к пяти часам приглашена на чай.

— Да вы совсем молодец! Через час вы обо всем забудете… Какая жалость… Очень грустно, что подобные вещи являются необходимостью… Дорогая леди, у вас еще будут и дети, и домашний очаг, и любящий муж… Не откажите пройти в операционную и приготовиться… Я работаю без ассистента.

Яркий пучок света падает с середины потолка на острый, как бритва, никель, на эмаль, на ослепительный футляр с острыми инструментами. Она снимает шляпу и опускается, содрогаясь от подступающей тошноты, на невысокий эмалированный стул. Потом, как одеревенелая, подымается и развязывает тесемки на юбке.

Уличный грохот разбивается, как прибой, о раковину вибрирующей агонии. Она смотрит в зеркало: кожаная шляпа, пудра, подрумяненные щеки, подведенные губки — маска на ее лице. Все пуговки на перчатках застегнуты. Она поднимает руку.

— Такси!

Мимо нее с грохотом проносится пожарная машина, автонасос с потнолицыми людьми, натягивающими резиновые куртки, гремящая выдвижная лестница. Все ее ощущения тают в тающем диком вопле сирены. Раскрашенный деревянный индеец поднимает руку на углу.

— Такси!

— Да, мадам.

— К «Ритцу».

Часть третья

I. Веселый городок

На всех флагштоках Пятой авеню — флаги. Яростный ветер истории рвет и мечет огромные полотнища на скрипучих, золотоверхих флагштоках Пятой авеню. Звезды на флагах медленно перекатываются из стороны в сторону по аспидному небу, красные и белые полосы корчатся, всползая к облакам.

В шквале духовых оркестров, конского топота, рокочущего грохота орудий — тени, подобные теням когтей, цепляются за тугие флаги, флаги — голодные языки, лижущие, вьющиеся, трепещущие. «Долог путь до Типперери... Вперед! Вперед!»

Гавань набита полосатыми, как зебры, полосатыми, как скунсы, пароходами, канал Нэрроуз забит золотом, золотые соверены громоздятся до потолка в Казначействе. Доллары хнычут по радио, провода всех кабелей выстукивают доллары.

«Долог путь туда ведет... Вперед! Впе-

ред!»
В вагоне подземки глаза вылезают из орбит, когда люди говорят про АПОКАЛИПСИС, тиф, холеру, шрапнель, восстание, смерть в огне, смерть в воде, смерть от голода, смерть в навозе.
«О, долог путь до мадмазелек за морями!
Янки идут, янки идут!»
На Пятой авеню гремят оркестры — День Займа Свободы,[168] День Красного Креста. Госпитальные суда вползают в гавань и тихонько выгружаются ночью в старых доках Джерси. На Пятой авеню флаги семнадцати держав сияют, вьются в яростном, голодном ветре.
«И ясень, и дуб, и плакучие ивы,
И в зелени яркой Господние нивы».
Огромные полотнища рвутся и мечутся на скрипучих золотоверхих флагштоках Пятой авеню.

Капитан Джеймс Меривейл лежал, закрыв глаза, пока мягкие пальцы нежно гладили его подбородок. Мыльная пена щекотала ему ноздри.

---

168 Примечания: 168
Заем Свободы — облигации военного займа.

Он вдыхал запах вежеталя, слышал гудение электрического вентилятора, стрекотание ножниц.

— Прикажете массаж лица, сэр, на предмет удаления угрей? — прожурчал парикмахер ему в ухо.

Парикмахер был лыс, у него был круглый синий подбородок.

— Хорошо, — сказал Меривейл, — делайте, что хотите. С момента объявления войны я в первый раз бреюсь как следует.

— Вы оттуда, капитан?

— Да… Боролся за идеалы демократии.

Парикмахер задушил его слова горячим полотенцем.

— Прикажете спрыснуть сиреневой водой, капитан?

— Нет, пожалуйста, никаких эссенций! Спрысните простым одеколоном или чем-нибудь антисептическим.

У белокурой маникюрши были слегка подведены ресницы; она смотрела на него зазывающе, раскрыв розовый бутон рта.

— Вы, вероятно, только что прибыли, капитан? Как вы загорели! — Он положил руку на маленький белый столик. — Давно вы не делали маникюр, капитан.

— Откуда вы знаете?

— Посмотрите, как отросла кожица.

— Мы были слишком заняты, чтобы заниматься маникюром. Я только с восьми часов утра свободный человек.

— О, должно быть, это было ужасно!

— Да, война была нешуточная.

— Представляю себе… А теперь вас совсем освободили?

— Да, но я остаюсь в запасе.

Кончив, она игриво ударила его по руке. Он поднялся, сунул чаевые в мягкую ладонь парикмахера и в жесткую ладонь негритенка, подавшего ему фуражку, и медленно спустился по белым мраморным ступеням. На площадке висело зеркало. Капитан Джеймс Меривейл остановился взглянуть на капитана Джеймса Меривейла. Он был высоким молодым человеком с прямыми чертами лица и легкой полнотой под подбородком; на нем был элегантный мундир с портупеей и петличками, украшенный немалым количеством орденских ленточек и нашивок. Серебро зеркала вспыхнуло на его ботфортах. Он кашлянул и оглядел себя с ног до головы. Молодой человек в штатском подошел к нему сзади.

— Хелло, Джеймс, уже почистились?

— Конечно… Не правда ли, глупо, что нам запрещают носить кобуру? Портит весь вид…

— Можете взять все кобуры и повесить их главнокомандующему на шею! Мне наплевать… Я — штатский.

— Не забудьте, что вы офицер запаса.

— Можете взять ваш запас и утопить его в море. Пойдем выпьем!

— Мне надо повидать родных.

Они вышли на Сорок вторую улицу.

— Ну, Джеймс, я пойду напьюсь на радостях. Подумайте только — наконец-то свобода!

— Прощайте, Джерри. Не делайте глупостей.

Меривейл пошел по Сорок второй улице. Флаги еще не были убраны; они свисали из окон, лениво колыхались на флагштоках в сентябрьском ветре. Он заглядывал в магазины, проходя: цветы, дамские чулки, конфеты, рубашки, галстуки, платья, цветные материи за сверкающими зеркальными стеклами, поток лиц, мужских, выскобленных бритвой лиц, женских лиц с накрашенными губами и напудренными носами. Кровь бросилась ему в голову. Он чувствовал возбуждение. Он нервничал, садясь в подземку.

— Смотри, сколько у этого нашивок. Все ордена… — услышал он, как перешептывались две

девицы.

Он вышел на Семьдесят второй и, выпятив грудь, зашагал по знакомой бурой улице к реке.

— Здравствуйте, капитан Меривейл, — сказал лифтер.

— Ты свободен, Джеймс? — крикнула мать, падая в его объятия.

Он кивнул и поцеловал ее. В черном платье она выглядела бледной и увядшей. Мэзи, тоже в черном, высокая, румяная, появилась позади матери.

— Прямо удивительно, как вы обе хорошо выглядите!

— Конечно, мы здоровы… насколько это возможно. Мы перенесли ужасное горе… Теперь ты глава семьи, Джеймс.

— Бедный папа!.. Так умереть…

— При тебе этой болезни не было… Тысячи людей умерли от нее в одном только Нью-Йорке.

Он обнял одной рукой Мэзи, другой — мать. Все молчали.

— Да, — сказал Меривейл, проходя в гостиную, — война была нешуточная.

Мать и сестра шли за ним по пятам. Он опустился в кожаное кресло и вытянул лакированные ноги.

— Вы себе представить не можете, как это замечательно — вернуться домой.

Миссис Меривейл придвинула к нему свой стул.

— Теперь, милый, расскажи нам обо всем.

На темной площадке перед дверью он прижимает ее к себе.

— Не надо, не надо, не будь грубым!

Его руки, точно узловатые веревки, обвивают ее спину; ее колени трясутся. Его губы скользят к ее рту по скуле, вдоль носа. Она не может дышать, его губы закупорили ей губы.

— Я больше не могу!

Он отстраняется. Спотыкаясь, задыхаясь, она прислоняется к стене, поддерживаемая его сильными руками.

— Не надо огорчаться, — шепчет он нежно.

— Мне надо идти, уже поздно… В шесть надо вставать.

— А как ты думаешь, когда я встаю?

— Мама может поймать меня.

— Пошли ее к черту.

— Когда-нибудь я еще не то сделаю, если она не перестанет грызть меня. — Она берет его колючие щеки ладонями и целует его в губы.

Она оторвалась от него и бежит на четвертый

этаж по грязной лестнице. Дверь еще заперта. Она снимает бальные туфельки и бесшумно проходит через кухню; у нее болят ноги. Из соседней комнаты доносится двойное храпение ее дяди и тети. «Кто-то любит меня, я не знаю кто…» Мотив проник в ее тело — он в трепете ее ног, в горячей спине, в том месте, где лежала его рука во время танцев. «Анна, ты должна забыть, иначе ты не заснешь. Анна, ты должна забыть». Тарелки на столе громко дребезжат — она задела стол.

— Это ты, Анна? — слышится сонный, сварливый голос матери.

— Я пью воду, мама.

Старуха, стиснув зубы, со стоном вздыхает, кровать скрипит, когда она поворачивается. Все во сне.

«Кто-то любит меня, я не знаю кто…» Она снимает бальное платье, надевает ночную сорочку. На цыпочках подходит к шкафу, чтобы повесить платье, потом скользит под одеяло, тихо, тихо, чтобы кровать не скрипнула. «Я не знаю кто…» Шаркают, шаркают ноги, яркие огни, розовые круглые лица, цепкие руки, тесные объятия, сплетающиеся ноги. «Я не знаю кто…» Шарканье, плач саксофона, шарканье в такт барабана, тромбон, кларнет. Ноги, объятия, щека к щеке.

«Кто-то любит меня…» Шаркают, шаркают ноги. «Я не знаю кто…»

Младенец с маленькими сморщенными кулачками и темно-красным личиком спал на койке парохода. Эллен нагнулась над черным кожаным несессером. Джимми Херф без пиджака глядел в иллюминатор.

— Уже видна статуя Свободы… Элли, надо подняться на палубу.

— Еще сто лет пройдет, пока мы доберемся… Иди наверх. Я через минуту поднимусь с Мартином.

— Идем, идем! Мы успеем уложить вещи, пока нас будут брать на буксир.

Они вышли на палубу в ослепительный сентябрьский зной. Вода была индигово-зеленая. Крепкий ветер выметал кольца коричневого дыма и хлопья белого, как вата, пара из-под огромной, высокой арки индигово-синего неба. На фоне туманного горизонта, изломанного баржами, пароходами, заводскими трубами, верфями, мостами, Нью-Йорк казался розовой и белой конусообразной пирамидой, вырезанной из картона.

— Элли, надо вынести Мартина — пусть он посмотрит.

— Он начнет реветь, как пароходная сирена… Пусть уж остается на месте.

Они нырнули под какие-то натянутые канаты и прошли мимо громыхающей лебедки на нос.

— Знаешь, Элли, — это лучшее зрелище в мире… Я не думал, что когда-нибудь вернусь обратно. А ты?

— Я всегда рассчитывала вернуться.

— Но не так.

— Да, пожалуй.

— S'il vous plait, madame…[169]

Матрос махал им рукой, чтобы они ушли. Эллен повернула лицо к ветру — ветер откинул ей со лба медные пряди волос.

— C'est beau, n'est-ce pas?[170] — Она улыбнулась ветру, красному лицу матроса.

— J'aime mieux le Havre…[171] S'il vous plait, madame.

— Ну, я пойду вниз, заверну Мартина.

Громкое пыхтение буксира, шедшего борт о борт с их паромом, заглушило ответ Джимми.

---

169 Примечания: 169
Прошу вас, мадам… *(фр.)*

170 Примечания: 170
Красиво, не правда ли? *(фр.)*

171 Примечания: 171
Мне больше нравится Гавр… *(фр.)*

Она отошла от него и спустилась в каюту.

У сходен они попали в самую давку.

— Подождем лучше носильщика, — сказала Эллен.

— Нет, дорогая, я все взял с собой.

Джимми потел и спотыкался с чемоданом в руках и свертками под мышкой. Ребенок ворковал на руках у Эллен, протягивая маленькие ручки к окружавшим его лицам.

— Знаешь, — сказал Джимми, спускаясь по сходням, — я бы хотел опять сесть на пароход… Не люблю приезжать домой.

— А я наоборот… Подожди, надо поискать Фрэнсис и Боба… Хелло…

— Будь я проклят, если…

— Елена, как вы похорошели, вы великолепно выглядите! Где Джимпс?

Джимми потирал руки, одеревеневшие от тяжелых чемоданов.

— Хелло, Херф!

— Хелло, Фрэнсис!

— Правда, замечательно?..

— Как я рада видеть вас!

— Знаешь что, Джимпс, я поеду с бэби прямо в «Бревурт-отель».

— Правда, он душка?

— Есть у тебя пять долларов?

— Только один доллар мелочью. И сотня чеком.

— У меня уйма денег, я поеду с Еленой в отель, а вы выкупайте багаж.

— Господин инспектор, можно мне пройти с ребенком? Мой муж займется багажом.

— Конечно, мадам, пожалуйста.

— Какой он славный! О Фрэнсис, как замечательно…

— Идите, Боб. Я один скорее справлюсь… Везите дам в «Бревурт».

— Неудобно вас оставлять одного.

— Идите, идите, ничего со мной не случится.

— Мистер Джеймс Херф с супругой и сыном — так?

— Да, так.

— Сию минуту, мистер Херф. Весь багаж тут?

— Какой он милый! — проговорила Фрэнсис, усаживаясь с Гилдебрандом и Эллен в автомобиль.

— Кто?

— Бэби, конечно.

— О, вы бы посмотрели!.. Ему ужасно нравится путешествовать…

Когда они выезжали из ворот, полицейский

агент в штатском открыл дверцу такси и заглянул внутрь.

— Прикажете подышать на вас? — спросил Гилдебранд.

У заглянувшего было лицо, как кусок дерева. Он прикрыл дверцу.

— Елена еще не знает, что у нас запрещены спиртные напитки?[172]

— Он напугал меня… Посмотрите-ка сюда.

— Боже милосердный!

Из-под одеяла, в которое был завернут бэби, она вытащила коричневый сверток.

— Две кварты коньяку… Gout famille d'Erf…[173] И еще кварта в грелке под корсажем… Потому у меня и вид такой, словно у меня скоро будет еще один бэби.

Гилдебранды покатились со смеху.

— У Джимпса тоже грелка на животе и фляжка шартреза на бедре… Нам, верно, придется вытаскивать его из тюрьмы.

Подъезжая к отелю, они смеялись до слез. В

---

172 Примечания: 172

В 1920 г. в Америке был принят сухой закон, запрещавший изготовление, продажу, импорт и экспорт спиртных напитков. Закон был отменен в 1933 г.

173 Примечания: 173

Вкус семьи д'Эрф… *(фр.)*

лифте бэби начал хныкать.

Как только она закрыла дверь большой, залитой солнцем комнаты, она вытащила из-под платья грелку.

— Боб, позвоните, чтобы принесли льду и сельтерской… Будем пить коньяк с сельтерской!

— Не подождать ли Джимпса?

— Он скоро будет здесь… У нас нет ничего, подлежащего оплате таможенным сбором… Мы люди бедные… Фрэнсис, где тут покупают молоко?

— Откуда мне знать, Елена? — Фрэнсис Гилдебранд покраснела и отошла к окну.

— Ну, надо его покормить… На пароходе он вел себя молодцом.

Эллен положила ребенка на кровать. Он лежал, дрыгая ногами, и глядел кругом темными, круглыми, золотистыми глазами.

— Какой он толстый!

— Он такой здоровый, что, по-моему, будет идиотом… Ай-ай-ай, я забыла позвонить папе!.. Семейная жизнь — ужасно сложная вещь.

Эллен поставила спиртовку на край умывальника. Мальчик принес стаканы, лед и сельтерскую на подносе.

— Ну, Боб, состряпайте нам коктейль. Надо

выпить все, а то спирт разъест резину… А потом пойдем в кафе «Д'Аркур».

— Вот вы не понимаете, девочки, — сказал Гилдебранд, — самое трудное при наличии сухого закона — это оставаться трезвым.

Эллен рассмеялась. Она склонилась над маленькой спиртовкой, от которой исходил уютный, домашний запах нагретого никеля и горящего спирта.

Джордж Болдуин шел по Мэдисон-авеню, перекинув легкое пальто через руку. Его утомленные мозги оживились в искрящемся осеннем сумраке улиц. Из квартала в квартал, под рокот автомобилей, в облаках бензина, два адвоката в черных сюртуках и крахмальных стоячих воротничках спорили в его мозгу. «Если ты пойдешь домой, в библиотеке будет уютно. В тихой сумеречной комнате ты будешь сидеть в туфлях в кожаном кресле под бюстом Сципиона Африканского, читать и есть поданный туда обед… Невада будет веселой и грубой, она расскажет тебе массу смешных историй… все городские сплетни… их полезно знать… Нет, ты больше не пойдешь к Неваде… опасно, она может серьезно увлечь тебя… А Сесили сидит, поблекшая, элегантная, стройная, кусает губы и ненавидит меня, нена-

видит жизнь… Господи, как мне выпрямить мое существование?»

Он остановился перед цветочным магазином. Влажный, теплый, медовый, дорогой аромат густой волной лился из дверей в живую, голубовато-стальную улицу. «Если бы мне хоть удалось раз навсегда укрепить мое финансовое положение…» В окне был выставлен миниатюрный японский садик с гнутыми мостиками и прудами, в которых золотые рыбки казались китами. «Все дело в пропорции. Начертить себе план жизни, как делает благоразумный садовник, прежде чем пахать и сеять… Нет, я сегодня не пойду к Неваде. Пожалуй, послать ей цветы… Желтые розы — те, с медным отливом… Их бы следовало носить Элайн… Представляю себе ее замужем и с ребенком».

Он вошел в магазин.

— Что это за розы?

— «Золото Офира», сэр.

— Мне нужно сейчас же послать две дюжины в «Бревурт-отель». Мисс Элайн… то есть мистеру и миссис Джеймс Херф. Я напишу карточку.

Он сел за конторку и взял перо. «Благоухание роз, благоухание темного пламени ее волос… Ради Бога, не болтай вздора…»

«Дорогая Элайн!

Надеюсь, что вы разрешите старому другу навестить вас и вашего мужа на этой неделе. Помните, что я искренне желаю (вы меня слишком хорошо знаете, чтобы принять эти слова за пустую вежливость) служить и вам и ему всем, что в моих силах и что может способствовать вашему счастью. Простите меня за то, что я подписываюсь в качестве вашего раба и поклонника.

Джордж Болдуин».

Письмо заняло целых три карточки с маркой цветочного магазина. Он перечел их с начала до конца, надув губы, заботливо подправляя букву «t» и ставя точки над «i». Потом вынул из заднего кармана пачку кредиток, расплатился и вышел на улицу. Было уже совсем темно, около семи часов. Все еще колеблясь, он стоял на углу и смотрел на проезжавшие такси — желтые, красные, зеленые, оранжевые.

Тупоносый транспорт медленно вползает под дождем в Нэрроуз. Старший сержант О'Киф и рядовой Дэтч Робертсон стоят на подветренной

стороне палубы и смотрят на длинный ряд судов, стоящих в карантине, и на низкий берег, застроенный верфями.

— Смотри-ка, на некоторых еще осталась боевая окраска… Это фонды морского ведомства. Они не стоят пороха, чтобы взорвать их.

— Будь они прокляты! — мрачно говорит Джо О'Киф. — Да, приветливо принимает нас Нью-Йорк…

— Мне наплевать, сержант, — что дождь, что вёдро.

Они проходят вплотную мимо стоящих на якоре пароходов, кренящихся то в одну, то в другую сторону, длинных с низкими трубами, широких с высокими трубами, красных от ржавчины, раскрашенных защитными серо-голубыми полосами и пятнами. Человек в моторной лодке машет руками. Люди в хаки, столпившиеся на серой, залитой дождем палубе парохода, начинают петь:

Пехота, пехота,
С грязью за ушами…

В жемчужном тумане, за низкими строениями Говернор-Айленда маячат высокие пилоны, провода, воздушное кружево Бруклинского моста.

Робертсон вытаскивает из кармана сверток и бросает его за борт.

— Что это такое?

— Мазь против насекомых… Мне она больше не нужна.

— Почему это?

— Буду жить в чистоте, найду работу и, пожалуй, женюсь.

— Неплохо придумано! Мне тоже надоело жить бобылем.

— Должно быть, на этих старых калошах люди здорово набивают карманы.

— Да, вот тут-то и наживают деньги.

— Будьте уверены, так оно и есть.

На палубе продолжают петь.

— Мы поднимаемся по Ист-ривер, сержант. Где эти дьяволы намерены высадить нас?

— Я прямо готов вплавь добраться до берега. И подумать только, сколько народу наживалось тут за наш счет… Десять долларов в день платили тут за работу в порту!

— Ничего, сержант, мы тоже кое-чему научились…

— Научились…

Après la guerre finie[174]

Обратно в Штаты едем…

— Держу пари, что шкипер нахлестался и принял Бруклин за Хобокен.

— Смотрите-ка — Уолл-стрит!

Они проходят под Бруклинским мостом. Над их головой жужжат и ноют трамваи, на мокрых рельсах вспыхивают фиолетовые искры. Позади них, за баржами, буксирами, паромами, высокие серые здания, в белых полосах пара и тумана, громоздятся в пухлые облака.

Пока ели суп, никто не разговаривал. Миссис Меривейл, в черном, сидела во главе овального стола, глядя в окно. Столб белого дыма клубился на солнце над паровозным парком, напоминая ей о муже и о том дне, когда, много лет тому назад, они пришли сюда смотреть квартиру в еще недостроенном доме, пахнувшем штукатуркой и краской. После супа она поднялась и сказала:

— Итак, Джимми, ты вернешься к журналистике?

— Вероятно.

— А Джеймс получил сразу три предложения.

---

174 Примечания: 174

После того, как кончилась война *(фр.)*.

По-моему, это замечательно.

— А я думаю, что лучше всего будет работать с майором, — сказал Джеймс Меривейл, обращаясь к Эллен, сидевшей рядом с ним. — Вы знаете майора Гудьира, кузина Елена?

— Гудьира из Буффало? Он заведует иностранным отделом банковского треста.

— Он говорит, что очень скоро выдвинет меня. На фронте мы с ним были друзьями.

— Это будет чудесно, — проговорила Мэзи воркующим голосом. — Правда, Джимми? — Она сидела напротив него, стройная, розовая, в черном платье.

— Он зовет меня поехать в Пайпинг-Рок.

— Это что такое?

— Неужели ты не знаешь, Джимми? Кузина Елена наверняка пила там чай десятки раз.

— Знаешь, Джимпс, — проговорила Эллен, не поднимая глаз, — туда каждое воскресенье ездил отец Стэна Эмери.

— О, вы знали этого несчастного молодого человека? Ужасная история! — сказала миссис Меривейл. — Столько ужаса было в эти годы… А я уже совсем про него забыла.

— Да, я его знала, — сказала Эллен.

Подали жаркое с зеленью и молодой картош-

кой.

— По-моему, это ужасно нехорошо, — сказала миссис Меривейл, раздав жаркое, — что никто из вас не хочет рассказать нам о фронте… Ведь, должно быть, вы пережили много интересного. Джимми, отчего бы вам не написать об этом книгу?

— Я написал несколько статей.

— Когда же они выйдут в свет?

— Никто не хочет печатать их… Я со многими людьми радикально расхожусь во взглядах…

— Миссис Меривейл, я сто лет не ела такой замечательной молодой картошки.

— Да, картошка вкусная… Я умею варить ее.

— Да, то была великая война, — сказал Меривейл. — Где ты был в день перемирия, Джимми?

— В Иерусалиме с Красным Крестом. Нелепо, правда?

— А я в Париже.

— И я тоже, — сказала Эллен.

— Значит, вы тоже были за океаном, Елена?.. Я когда-нибудь все равно буду называть вас просто Еленой, так что уж разрешите начать теперь… Вот замечательно! Вы там познакомились с Джимми?

— О нет, мы старые друзья… Но мы и там часто

сталкивались. Мы работали в одном и том же отделе Красного Креста — в отделе печати.

— Настоящий военный роман, — пропела миссис Меривейл. — Как это интересно!

— Так вот, друзья, дело обстоит так! — орал Джо О'Киф; пот градом катился по его красному лицу. — Будем добиваться военной премии или нет?.. Мы дрались за них, мы поколотили немцев — так или не так? А теперь, когда мы вернулись, нам преподносят кукиш. Работы нет, наши девушки повыходили тем временем замуж за других парней… Когда же мы требуем честного, справедливого, законного вознаграждения, с нами обращаются как с бандой бродяг и бездельников… Можем мы это потерпеть?.. Нет!.. Можем мы потерпеть, чтобы шайка политиканов обращалась с нами так, словно мы пришли с черного хода просить у них милостыню?.. Я вас спрашиваю…

Затопали ноги.

— Нет! К черту! Долой! — заорала толпа.

— А я добавлю: к черту политиканов! Мы начнем кампанию во всей стране… Мы обратимся к великому, славному, великодушному американскому народу, за который мы сражались, проливали кровь, жертвовали жизнью.

Длинный зал арсенала загремел аплодисментами. Калеки в первом ряду стучали по полу своими костылями.

— Джо — молодчина, — сказал безрукий одноглазому соседу с искусственной ногой.

— Это верно, Бэдди.

Когда собравшиеся стали выходить, предлагая друг другу папиросы, в дверях появился человек. Он закричал:

— Заседание комитета! Заседание комитета!

Четверо уселись вокруг стола в комнате, которую им уступил начальник арсенала.

— Давайте закурим, товарищи. — Джо подошел к конторке начальника и достал из нее четыре сигары. — Он не заметит.

— В сущности, это невинное жульничество, — произнес Сид Гарнетт, вытягивая длинные ноги.

— А горяченькой ты там случайно не нашел, Джо? — спросил Билл Дуган.

— Нет. Да я и не пью теперь.

— Я знаю место, где можно достать настоящее довоенное виски по шесть долларов за кварту, — вставил Сегал.

— А где достать шесть долларов?

— Слушайте, товарищи, — сказал Джо, садясь на край стола, — займемся делом. Мы должны

во что бы то ни стало создать денежный фонд. Согласны вы с этим?

— Все согласны, конечно, — сказал Дуган.

— Я знаю многих буржуев, которые тоже находят, что с нами поступили по-свински… Мы назовемся «Бруклинским агитационным комитетом по проведению военной премии»… Бесполезно делать что-либо, не подготовившись… Так как же, ребята, со мной вы или против меня?

— Конечно, с тобой, Джо. Поговори с ними, а мы назначим срок.

— Хорошо, пусть тогда Дуган будет председателем — он с виду получше других.

Дуган вышел, весь красный, и начал, заикаясь, говорить что-то невнятное.

— Ах ты красавец! — взвизгнул Гарнетт.

— …И я думаю, что мне лучше быть казначеем, потому что у меня есть опыт в этом деле.

— Потому что ты жуликоватее других, — тихо проговорил Сегал.

Джо выдвинул нижнюю челюсть:

— Слушай, Сегал, ты с нами или против нас? Лучше скажи откровенно, если ты не наш.

— Верно, перестань дурачиться, — сказал Дуган. — Джо доведет дело до конца, ты это знаешь, так что лучше перестань дурачиться… А если

тебе не нравится, можешь убираться.

Сегал потер тонкий крючковатый нос.

— Да ведь я пошутил, парни. Я не думал ничего дурного.

— Слушай, — продолжал Джо сердито, — как ты думаешь, на что я трачу время?.. Вчера я отказался от пятидесяти долларов в неделю — вот Сид свидетель. Ты видал, Сид?

— Конечно, видал, Джо.

— Ладно, не кипятитесь, братцы, — сказал Сегал, — я ведь только хотел подразнить Джо.

— Ну конечно… Сегал, ты должен быть секретарем — ты знаком с конторской работой…

— Конторская работа?

— Ну да, — сказал Джо, выпятив грудь. — У нас будет свой стол в конторе одного моего знакомого… Мы уже договорились. Он нам даст место до тех пор, пока мы не сорганизуемся, а потом подыщем себе подходящее помещение. В наше время без внешнего блеска далеко не уедешь.

— А я кем буду? — спросил Сид Гарнетт.

— Членом комитета, тупая голова!

После заседания Джо О'Киф пошел, посвистывая, вниз по Атлантик-авеню.[175] Было уже поздно,

---

175 Примечания: 175

Атлантик-авеню — улица в западном Бруклине.

и он торопился. В кабинете доктора Гордона горел свет. Джо позвонил. Бледный мужчина в белом халате открыл дверь.

— Хелло, доктор.

— Это вы, О'Киф? Входите, сынок.

Что-то в голосе доктора стиснуло ему хребет, точно холодная рука.

— Ну, что слышно с реакцией, доктор?

— Положительная.

— Господи!

— Не волнуйтесь, сынок, мы вас вылечим в несколько месяцев.

— «Месяцев»?

— Что вы хотите?.. По самым сдержанным статистическим данным, пятьдесят пять процентов людей, которых вы встречаете на улице, больны сифилисом.

— Я ведь всегда соблюдал осторожность.

— На войне это неизбежно.

— Избавиться бы!..

Доктор рассмеялся.

— Вы, вероятно, хотите избавиться от симптомов. Это зависит от вливаний. Вы у меня скоро будете здоровы, как новенький доллар. Хотите сейчас сделать вливание? У меня все готово.

Руки О'Кифа похолодели.

— Хорошо, можно. — Он заставил себя рассмеяться. — Воображаю… Я под конец превращусь в ртутный термометр.

Доктор сипло захохотал.

— Будете напичканы мышьяком и ртутью, а?.. То-то и есть.

Ветер дул холоднее. Его зубы стучали. Он шел домой сквозь скрежет чугунной ночи. «С ума сойти можно, когда он втыкает иглу!» Он до сих пор чувствовал боль от укола. Он заскрипел зубами. «Но зато потом мне будет везти… Мне будет везти…»

Один худощавый и два полных господина сидят за столом у окна. Свет, льющийся с цинкового неба, играет в гранях хрусталя, в столовом серебре, в устричных раковинах, в глазах. Джордж Болдуин сидит спиной к окну, Гэс Мак-Нийл по правую руку от него, Денш — по левую. Когда лакей тянется через их плечи за пустыми раковинами, он видит в окна за каменным парапетом крыши домов, немногочисленных, как деревья на краю обрыва, и фольговые воды гавани, усеянные пароходами.

— Теперь *я* вас буду учить, Джордж… Видит Бог, вы меня достаточно учили в былые времена. Откровенно говоря, это глупо до последней сте-

пени, — говорит Гэс Мак-Нийл. — Очень глупо в ваши годы упускать случай сделать политическую карьеру… Во всем Нью-Йорке на эту должность нет более подходящего человека, чем вы.

— Мне думается, это ваша обязанность, Болдуин, — говорит Денш басом, вынимая черепаховые очки из футляра и торопливо надевая их на нос.

Лакей принес объемистый бифштекс, окруженный баррикадой из грибов, моркови, горошка и жареного, мелко нарезанного картофеля. Денш укрепляет очки на носу и внимательно смотрит на бифштекс.

— Славное блюдо, Бен, славное блюдо, скажу прямо… Дело вот в чем, Болдуин… С моей точки зрения… страна находится в опаснейшей стадии реконструкции… назревают конфликты… банкротство континента… большевизм… революционные доктрины… Америка… — говорит он, вонзая острый стальной нож в пухлый наперченный бифштекс; он медленно прожевывает кусок и продолжает: — Америка ныне является кредитором всего мира. Великие демократические принципы, принципы коммерческой свободы, от которых зависит вся наша цивилизация, более чем когда-либо поставлены на карту. Никогда еще

мы так не нуждались в трудоспособных и идеально честных людях для замещения общественных должностей — в особенности в учреждениях, требующих специальных юридических познаний.

— Вот это самое я и пытался разъяснить вам вчера, Джордж.

— Все это очень хорошо, Гэс, но откуда вы знаете, что я буду избран?.. В конце концов, это значило бы отказаться на много лет от юридической практики и…

— Предоставьте это мне… Джордж, вы уже избраны.

— Чрезвычайно вкусный бифштекс, должен признаться, — говорит Денш. — Вот что: мне довелось узнать из безусловно заслуживающего доверия источника, что нежелательные элементы замышляют заговор против правительства… О Господи, про бомбу на Уолл-стрит помните?.. Надо, однако, сказать, что позиция, занятая прессой, сыграла в некотором отношении благотворную роль… Мы вскоре увидим национальное единодушие, не снившееся нам до войны…

— Джордж, — перебивает его Гэс, — вы представляете себе, что политическая деятельность может увеличить вашу адвокатскую практику?

— Может быть, да, Гэс, а может быть, и нет.

Денш снимает фольгу с сигары.

— Во всяком случае перед вами открываются широкие перспективы. — Он снимает очки и вытягивает толстую шею, чтобы посмотреть на сверкающие воды гавани, полные до затуманенных берегов Стэйтен-Айленда мачт, дыма, пара и темных силуэтов башен.

Яркие волокна облаков вздымались на ультрамариновом небе над Бэттери, где темные кучки грязно и бедно одетых людей толпились у пристани Эллис-Айленд, молча выжидая чего-то. Клубящийся дым буксиров и пароходов волочился по опаловой, стеклянно-зеленой воде. Трехмачтовая шхуна шла на буксире вниз по Норз-ривер. Ее кливер неуклюже плескался. Вдали, за гаванью, из тумана вырастал все выше и выше пароход; четыре красные трубы были слиты в одну, кремовые надстройки мерцали.

— «Мавритания» идет с опозданием на двадцать четыре часа! — заорал какой-то человек с подзорной трубой и биноклем. — Смотрите — «Мавритания», самый быстроходный океанский пароход, идет с опозданием на двадцать четыре часа!

«Мавритания», похожая на небоскреб, проталкивалась в гавань. Солнечный луч углубил

тень под ее широким мостиком, пробежал по белым настилам верхних палуб, вспыхнул в стеклах иллюминаторов. Трубы отделились друг от друга, корпус удлинился. Черная, мрачная глыба «Мавритании» подгоняла перед собой пыхтевшие буксиры, врезаясь, как длинный нож, в Норз-ривер.

Паром отвалил от эмигрантской пристани; шепот пробежал по толпе, сгрудившейся на краю верфи.

— Ссыльные… коммунисты… департамент юстиции высылает их… ссыльные… красные… ссылают красных…[176]

Паром отвалил. Несколько мужчин стояли на корме, неподвижные, маленькие, как оловянные солдатики.

— Высылают красных обратно в Россию…

Носовой платок взметнулся над паромом, красный носовой платок. Толпа осторожно, на цыпочках подошла к краю пристани — на цыпочках, как в комнате тяжелобольного.

За спинами мужчин и женщин, столпившихся у самого края воды, гориллолицые, квадратно-

---

176 Примечания: 176

Ссылают красных… — В 1919 г. приверженцы коммунистических и анархистских взглядов высылались из США по решению правительства страны.

плечие полисмены ходили взад и вперед, нервно помахивая дубинками.

— Высылают красных обратно в Россию… ссыльные… агитаторы… нежелательный элемент…

Дикие чайки кружились с жалобным криком. Пустая бутылка важно покачивалась на маленьких стеклянных волнах. Звуки песни донеслись с парома, становившегося все меньше и меньше, понеслись над водой.

Это будет последний и решительный бой,

С Интернационалом воспрянет род людской!

— Посмотрите на ссыльных! Посмотрите на гнусных чужеземцев! — заорал человек с подзорной трубой и биноклем.

Вдруг девичий голос запел:

Вставай, проклятьем заклейменный…

— Тс… посадят…

Пение неслось над водой. Оставляя мраморный след, паром уходил в туман.

С Интернационалом воспрянет род людской!

Пение замерло. С реки донесся стук машины. Какой-то пароход покидал доки. Дикие чайки кружились над толпой бедно и грязно одетых людей, которые все еще стояли, молча глядя на залив.

II. Пятицентовый рай

За пять центов можно до двенадцати ночи купить себе завтра… нападение бандитов в жирном шрифте газет, чашку кофе в автомате, билет в Вудлаун, Форт-Ли,[177] Флэтбуш… За пять центов можно купить в автомате жевательную резинку, «Кто-то любит меня, дивную крошку», «Ты в Кентукки», «Погляди», «Когда ты родилась»… Расхлябанные звуки фокстротов, хромая, выползают из дверей, блюзы, вальсы («Мы танцевали всю ночь напролет»), кружась, волочат фольгу воспоминаний… На Шестой авеню, на Четырнадцатой улице еще стоят засиженные мухами стереоскопы, в которых вы за пять центов можете взглянуть на пожелтевшее вчера. Рядом с душным тиром вы можете заглянуть в мигающие картинки: «ЖАРКИЙ ДЕНЬ. СЮРПРИЗ ХОЛОСТЯКА. УКРАДЕННАЯ ПОДВЯЗКА» —

---

177 Примечания: 177

Форт-Ли — городок в штате Нью-Джерси на берегу Гудзона, напротив Манхэттена.

в сорную корзину изодранных грез… За пять центов можно до двенадцати ночи купить наше вчера.

Рут Принн вышла от врача и укутала шею мехом. Она чувствовала себя слабой. Такси. Садясь в такси, она вспомнила запах косметики и кухни и загроможденный коридор в квартире миссис Сондерленд. «Нет, я не могу сейчас ехать домой».

— Шофер, поезжайте в «Английское кафе» на Сороковую улицу.

Она открыла свою длинную сумку зеленой кожи и заглянула в нее. «Боже мой, всего один доллар тридцать два цента!» Она посмотрела на цифры, выскакивавшие в таксометре. Ей хотелось упасть и заплакать… «Вот так уходят деньги!» Холодный резкий ветер хлестнул ее по лицу, когда она вышла из такси.

— Восемьдесят центов, мисс… У меня нет сдачи, мисс.

— Ладно, оставьте себе.

«Боже мой, только тридцать два цента!..»

В кафе было тепло и приятно пахло чаем и печеньем.

— Рут! Неужели это Рут? Дорогая, придите в мои объятия! Сколько лет не видались!

Это был Билли Уолдрон. Он стал еще толще и

еще больше поседел. Он обнял Рут театральным жестом и поцеловал ее в лоб.

— Как поживаете? Расскажите… Эта шляпа вам очень к лицу!

— Я только что лечила горло икс-лучами, — сказала она. — Чувствую себя ужасно.

— А что вы поделываете, Рут? Я сто лет не слыхал о вас.

— Списали меня в расход, а? — ядовито подхватила она.

— После того, как вы так блестяще играли в «Саду королевы»…

— Откровенно говоря, Билли, у меня потом началась полоса ужаснейших неудач.

— Знаю, знаю. Всем плохо.

— На той неделе мне назначено прийти к Беласко. Может, что-нибудь выйдет.

— Что ж, может быть… Вы кого-нибудь ждете?

— Нет… А вы все такой же. Билли… Не дразните меня сегодня. Я не расположена…

— Бедняжка, садитесь, выпьем чашку чая. Ужасный год!.. Самые лучшие актеры закладывают последнюю цепочку от часов. А почему вы не едете в провинцию?

— Не говорите об этом… Только бы мне вылечить горло… Оно меня вконец измучило.

— А помните сезон в Соммервиле?

— Еще бы не помнить, Билли… Чудесно было!

— В последний раз я видел вас в «Бабочке». Тогда я был в опале.

— Почему вы тогда не вернулись?

— Я все еще сердился на вас… Состояние было отвратительное, меланхолия… неврастения… в кармане ни гроша. В тот вечер я не владел собой. Я не хотел, чтобы вы увидели во мне зверя.

Рут налила себе чашку крепкого чая. Она вдруг почувствовала прилив лихорадочного веселья.

— Ах, Билли, как вы все это помните? Я была тогда глупой девчонкой… Я боялась, что любовь, замужество, все эти вещи помешают моей работе в театре, понимаете?.. Я бредила успехом.

— А теперь вы бы сделали то же самое?

— Не знаю… А что, Билли? — Она откинула голову и засмеялась. — Вы опять хотите сделать мне предложение?.. Ой, горло…

— Рут, лучше бы вы не лечились икс-лучами. Я слышал, что это очень опасно. Не пугайтесь, дорогая… но мне рассказывали, что от этого иногда бывает рак.

— Чепуха, Билли… Это возможно только в том случае, если икс-лучи применяются неправильно и если лечение продолжается несколько лет…

Нет, по-моему, доктор Уорнер — замечательный человек.

Позднее, сидя в вагоне подземной дороги, она еще чувствовала, как его мягкая рука гладит ее перчатку. «Прощайте, девочка, да хранит вас Бог», — сказал он сухо. «Стал прохвостом, настоящим актером, — все время злорадствовало что-то внутри нее». «Слава Богу, вы никогда не узнаете…» — Он взмахнул широкополой шляпой, тряхнул шелковистыми белыми волосами, как в роли месье Бокэра, повернулся и исчез в толпе на Бродвее. «Мне может быть очень скверно, но я никогда не буду такой дрянью, как он… Он говорит — рак…» Она обвела взглядом вагон и плясавшие напротив нее лица. «Кто-нибудь из этих людей наверно болен раком. На каждых пятерых человек приходится четверо… глупости, конечно, это не рак… потребителей Нужоля». Она схватилась рукой за горло. Ее горло страшно распухло, ее горло лихорадочно вибрировало. «Может быть, еще что-нибудь похуже. Что-то живое вырастает на твоем мясе, пожирает всю твою жизнь, превращает тебя в отвратительную гниль…» Люди, сидевшие напротив нее, смотрели прямо перед собой, молодые мужчины и молодые женщины, люди средних лет, зеленые лица в

мутном свете под пестрыми объявлениями. «На каждых пятерых человек приходится четверо…» Туловища плясали, головы кивали и мотались из стороны в сторону, поезд с пронзительным ревом летел по направлению к Девяносто шестой улице. На Девяносто шестой улице ей надо было пересаживаться.

Дэтч Робертсон сидел на скамье на Бруклинском мосту, подняв воротник военной шинели, и читал газетные объявления. Был сырой, туманный день; мост блестел, залитый дождем, и казался одиноким, как дерево, в густом саду пароходных свистков. Прошли два матроса.

— Замечательный кабак — давно я в таком не был…

> Компаньон в кинематограф… на бойком месте… верное помещение денег… 3000 долларов…

«Да, но у меня нет трех тысяч…»

> Табачный киоск на бойком месте… по семейным обстоятельствам… Магазин музыкальных и радиопринадлежностей на полном ходу… Вполне оборудованная

типография и переплетная с акцидентными кассами и линотипами… Кошерная столовая…[178] Кегельбан… На бойком месте танцевальный зал и др. аттракционы… Покупаю вставные зубы, золото, платину, старинные драгоценности…

«Черта с два!.. „Спрос труда“… Вот это больше по нашей части…»

Первоклассные каллиграфы для надписывания адресов…

«Ну, это не для меня…»

Рабочий в авторемонтную мастерскую…

Он достал из кармана старый конверт и записал адрес.

Чистильщики сапог…

«Нет еще пока».

---

178 Примечания: 178

Кошерная столовая — столовая, где продавалась пища, разрешенная к употреблению еврейскими религиозными законами.

Рассыльный мальчик…

«Нет, я уже не мальчик…»

В гастрономический магазин… Судомойка… Уборщики в гараж… Заработок на дому. Зуботехническое дело — вернейший путь к успеху… Нет больше безработицы…

— Хелло, Дэтч… А я уже думала, что никогда не доберусь. — Девушка с серым лицом, в красной шляпке и серой кроликовой шубке, подсела к нему.

— Меня тошнит от этих объявлений. — Он потянулся и зевнул; газета соскользнула с его колен.

— Тебе не холодно тут сидеть?

— Да, немного… Пойдем, поедим.

Он вскочил на ноги, повернул к ней свое красное лицо с тонким перебитым носом и заглянул бледно-серыми глазами в ее черные глаза. Он крепко стиснул ее руку.

— Хелло, Фрэнси… Как живешь, девочка?

Они пошли обратно по направлению к Манхэттену той дорогой, которой она пришла. Река мерцала под ними сквозь туман. Большой пароход медленно плыл по течению. Уже зажигались

фонари. Они поглядели через перила на черные трубы парохода.

— Ты ехал в Европу на таком же большом пароходе?

— Еще больше.

— Мне бы тоже хотелось…

— Я возьму тебя когда-нибудь с собой и покажу все, что есть на свете… Мне пришлось кое-где побывать, когда я был в Американском легионе.[179]

У станции они нерешительно остановились.

— Фрэнси, у тебя есть деньги?

— Да, доллар… Но он мне нужен завтра.

— А у меня осталось двадцать пять центов. Давай съедим два обеда по пятьдесят пять центов в китайском ресторане… Будет стоить доллар и десять центов.

— Мне нужно пять центов, чтобы поехать завтра на работу.

— Ах, черт побери, когда же у нас будут деньги!..

— А ты еще не нашел работу?

— Разве бы я тебе не сказал?

---

179 Примечания: 179

…Когда я был в Американском легионе. — Здесь перевод В. Стенича неточен; Дос Пассос имеет в виду не Американский легион — национальную ассоциацию ветеранов войны, а AWOL (absent without leave) — специальное сокращение-термин, которым обозначались военнослужащие, находящиеся в самовольной отлучке.

— Ну идем, у меня есть дома в копилке полдоллара, возьму из них завтра на трамвай.

Она разменяла доллар и опустила два пятака в автомат. Они сели в поезд, шедший на Третью авеню.

— Как ты думаешь, Фрэнси, меня пустят танцевать в хаки?

— Почему же нет, Дэтч, — это очень прилично выглядит.

— А я боюсь, что не пустят.

Джаз-банд в ресторане играл «Индостан». Пахло китайскими блюдами. Они сели в отдельную кабинку. Молодые люди с прилизанными волосами и стриженые девушки танцевали, тесно прижимаясь. Они сели и улыбнулись друг другу.

— Я ужасно голоден.

— Неужели, Дэтч?

Он выдвигал колени, пока они не прикоснулись к ее коленям.

— Ты — славная девочка, — сказал он, съев суп. — Честное слово, я на этой неделе достану работу. И тогда мы снимем хорошую комнату и поженимся — все как следует.

Когда они пошли танцевать, то были так взволнованы, что никак не могли попасть в такт музыке.

— Мистер, нельзя танцевать в таком костюме, — сказал маленький китаец, кладя руку на плечо Дэтча.

— Что ему нужно? — проворчал тот, продолжая танцевать.

— Кажется, он насчет твоего хаки, Дэтч.

— Черт бы его побрал!

— Я устала. Лучше посидим, поболтаем…

Они вернулись в свою кабинку и съели десерт. Потом они пошли по Четырнадцатой улице.

— Дэтч, нельзя ли пойти в твою комнату?

— У меня нет комнаты. Старая карга выгнала меня и забрала все мое барахло. Честное слово, если я на этой неделе не достану работы, я опять пойду в солдаты.

— Не надо, Дэтч! Тогда мы с тобой никогда не поженимся… Но почему ты мне ничего не говорил?

— Я не хотел огорчать тебя, Фрэнси… Шесть месяцев без работы… С ума можно сойти!

— Но куда же мы пойдем, Дэтч?

— Можно бы отправиться на верфи… Я знаю одну верфь…

— Холодно.

— Мне не холодно, когда ты со мной, козочка.

— Не говори так… Я этого не люблю.

Они шли в темноте, прижавшись друг к дру-

гу, по грязным, шумным набережным, между огромными, раздутыми цистернами, мимо поломанных заборов и длинных многооконных складов. На углу, под уличным фонарем, какой-то мальчишка замяукал кошкой, когда они проходили.

— Вот я тебе сейчас набью морду, пащенок! — цыкнул на него Дэтч.

— Не задевай его, — зашептала Фрэнси, — а то за нами увяжется вся шайка.

Они скользнули в маленькую калитку; за высоким забором были сложены штабеля дров. Пахло рекой, кедровым деревом и опилками. Они слышали, как река лизала сваи у их ног. Дэтч притянул ее к себе и прижался губами к ее губам.

— Эй, вы, здесь нельзя шляться ночью! — рявкнул чей-то голос.

Сторож направил луч фонаря прямо им в глаза.

— Ладно, не орите. Мы просто гуляем.

— Как бы не так!

Они снова поплелись по улице. Черный ветер с реки дул им в лицо.

— Осторожно!

Полисмен, тихо насвистывая, прошел мимо них. Они отодвинулись друг от друга.

— Знаешь, Фрэнси, нас заберут, если мы будем так ходить. Пойдем к тебе.

— Хозяйка выкинет меня.

— Я не буду шуметь… Ключ при тебе? Я уйду до рассвета. Черт побери, прямо как вор…

— Хорошо, Дэтч, идем ко мне… Мне все равно — будь что будет.

По запакощенной лестнице они поднялись в верхний этаж.

— Сними сапоги, — шепнула она ему на ухо, осторожно вкладывая ключ в замочную скважину.

— У меня носки рваные.

— Пустяки, глупый! Я посмотрю, все ли благополучно. Моя комната — за кухней, так что, если все спят, нас никто не услышит.

Она оставила его. Он слышал, как колотится его сердце. Через секунду она вернулась. Он на цыпочках пошел следом за ней по скрипучему полу передней. За дверью раздавался чей-то храп. В передней пахло капустой и сном. Попав к себе в комнату, она заперла дверь и приставила к ней стул. Треугольник пепельного света лежал на подоконнике.

— Только, ради Бога, Дэтч, потише.

Все еще держа сапоги в руках, он добрался до

нее и обхватил ее.

Он лежал рядом с ней и шептал, приложив губы к ее уху:

— И я буду хорошим Фрэнси честное слово буду на фронте я был представлен к производству в сержанты это доказывает что во мне что-то есть как только мне посчастливится я накоплю денег и мы с тобой поедем туда и ты увидишь Шато-Тьерри и Париж и всякую всячину честное слово тебе понравится Фрэнси города там старые и смешные спокойные удобные и трактирчики чудесные сидишь прямо на улице за маленьким столиком и смотришь как люди гуляют и еда вкусная тебе понравится и можно переночевать и никто тебя там не спросит женат ли ты или нет у них там большие кровати удобные деревянные и завтрак тебе подают в постель Фрэнси тебе понравится.

Они шли по снежной улице обедать. Тяжелые снежные хлопья порхали и кружились вокруг них, расцвечивая улицу синим, розовым и желтым, смазывая перспективу.

— Элли, мне не хочется, чтобы ты бралась за это дело… Оставайся в театре.

— Но, Джимпс, нам ведь надо жить.

— Знаю, знаю… Ты, наверно, была не в своем

уме, когда выходила за меня замуж.

— Не будем больше говорить об этом.

— Давай повеселимся сегодня… Первый снег…

— Нам сюда. — Они стояли перед темной дверью, прикрытой решеткой. — Попробуем.

— Звонок звонит?

— Кажется.

Внутренняя дверь открылась; выглянула девушка в розовом переднике.

— Bonsoir, mademoiselle![180]

— Ah… bonsoir, monsieur 'dame![181]

Она ввела их в освещенную газом, пахнувшую жареным переднюю, полную пальто, шляпок и шалей. Из-за занавешенной двери ресторан дохнул на них горячим дыханием хлеба, коктейлей, горелого масла, духов, губной помады, стука и жужжащей болтовни.

— Пахнет абсентом, — сказала Эллен. — Кутнем вовсю!

— Смотри-ка — тут Конго… Помнишь Конго Джека из загородного ресторана?

Конго возвышался глыбой в конце коридора, кивая им. Его лицо сильно загорело; у него были

---

180 Примечания: 180
Добрый вечер, мадемуазель! *(фр.)*

181 Примечания: 181
Ах… добрый вечер, месье и мадам! *(фр.)*

пышные черные усы.

— Хелло, мистер Эрф… Как поживаете?

— Замечательно! Конго, познакомьтесь с моей женой.

— Если вы ничего не имеете против кухни, то мы там выпьем по рюмочке.

— С удовольствием… Кухня — лучшее место в доме. Почему вы хромаете?.. Что с вашей ногой?

— Foutu…[182] Я ее оставил в Италии… Не мог привезти ее с собой — мне ее отрезали.

— Как это случилось?

— Дурацкая история на Монте-Томба… Мой шурин преподнес мне замечательный протез… Садитесь сюда. Теперь, мадам, отгадайте, которая нога настоящая?

— Не знаю! — проговорила Эллен, смеясь.

Они сидели за маленьким мраморным столиком в углу битком набитой кухни. Девушка накладывала кушанья на блюда за большим столом. Два повара хлопотали у плиты. Конго подковылял к ним с тремя стаканами на маленьком подносе. Он стоял подле них, пока они пили.

— Salut![183] — сказал он, поднимая свой ста-

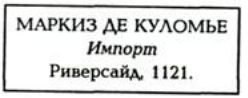
---

182 Примечания: 182
Крышка… *(фр.)*

183 Примечания: 183
Салют! *(фр.)*.

кан. — Коктейль из абсента — вроде того, что делают в Новом Орлеане. Прямо с ног валит.

Конго вынул карточку из жилетного кармана:



— Может быть, вам понадобится когда-нибудь… Я торгую исключительно довоенным привозным товаром. Я первый бутлегер[184] в Нью-Йорке.

— Если у меня когда-нибудь будут деньги, я обязательно истрачу их у вас, Конго… Как идет торговля?

— Очень хорошо. При случае я вам расскажу, сейчас слишком занят… Я вам найду столик в ресторане.

— Это тоже ваше предприятие?

— Нет, моего шурина.

— Я и не знал, что у вас есть сестра.

— Я тоже.

Когда Конго, прихрамывая, отошел от их столика, между ними, как огнеупорный занавес в театре, опустилось молчание.

---

184 Примечания: 184

Бутлегеры — подпольные торговцы спиртным в США во время сухого закона.

— Смешной парень, — произнес наконец Джимми, принужденно засмеявшись.

— Да.

— Слушай, Эллен, выпьем еще коктейль.

— Хорошо.

— Надо будет вытянуть из него какие-нибудь истории про бутлегеров.

Когда Джимми вытянул ноги под столом и дотронулся до ее ног, она отдернула их. Джимми чувствовал, как жуют его челюсти; они стучали под кожей так громко, что он боялся, как бы Элли не услышала. Она сидела напротив него в сером костюме, ее шея победительно выступала из выреза мягкого кружевного воротника, ее голова в тугой серой шляпке качалась, ее губы были накрашены. Она резала мясо на маленькие кусочки, не дотрагиваясь до них, и не говорила ни слова.

— Выпьем еще коктейль.

Он чувствовал себя парализованным, как в кошмаре; она была фарфоровой фигуркой под стеклянным колпаком. Струя свежего, очищенного снегом воздуха, залетевшая откуда-то, внезапно закрутилась в мглистом, тяжелом, неровном свете ресторана, вымела запах пищи, алкоголя и табака. Он на секунду уловил запах ее волос. Коктейль жег его внутренности. «Господи,

только бы меня не стошнило!»

Они сидят в буфете Лионского вокзала рядышком на черной кожаной скамье. Его щека касается ее щеки, когда он тянется, чтобы положить ей на тарелку селедку, масло, сардинки, анчоусы, сосиски. Они торопятся, жадно глотают, хохочут, прихлебывают вино, вскакивают при каждом паровозном гудке… Поезд покидает Авиньон, они проснулись, глядят друг другу в глаза в купе, переполненном спящими, храпящими людьми. Он пробирается по переплетенным ногам в тусклый, качающийся коридор. «Тра-та-та, тра-та-та, едем на юг, тра-та-та, тра-та-та, едем на юг!» — поют колеса, пробегая долину Роны. Высунувшись из окна, он пробует раскурить сломанную папиросу, придерживая пальцем разорванное место. Глюк-глюк-глюк-глюк — из кустов, из сребротоочащих тополей вдоль полотна.

— Элли, Элли, тут соловьи поют!

— Милый, я спала.

Она ощупью идет к нему, спотыкаясь о ноги спящих. Бок о бок у окна, в пляшущем скрипучем коридоре. «Тра-та-та, тра-та-та, едем на юг!» Всхлипы соловьев в сребротоочащих тополях вдоль полотна. Сумасшедшая, облачная, лунная ночь пахнет садами, чесноком, рекой и свежеунаво-

женными полевыми розами. Всхлипы соловьев.

Кукла Элли напротив него вдруг заговорила:

— Он сказал, что омаров больше нет… Как это досадно.

Внезапно к нему возвращается дар слова.

— Если бы только это…

— Что ты хочешь сказать?

— Зачем мы вернулись в этот гнусный, гнилой город?

— Ты был в восторге, ты все находил тут чудесным, когда мы вернулись.

— Знаю. Зелен виноград… Я выпью еще коктейль… Элли, ради Бога, что с нами случилось?

— Нас стошнит, если мы столько будем пить.

— Пускай… Пусть нам будет хорошо и тошно.

Когда они сидят на широкой кровати, им виден противоположный берег гавани, видны реи парусника, и белая яхта, и красный и зеленый игрушечный буксир, и гладкие фасады домов за полосой воды цвета павлиньего хвоста. Когда они ложатся, им видно небо и дикие чайки на нем. В сумерки они быстро одеваются, путаются и блуждают по заплесневелым коридорам гостиницы, выходят на шумные, как духовой оркестр, улицы, полные тамбуринного треска, медного блеска, хрустального сияния, гуда и воя автомобилей.

В сумерки, одинокие вдвоем, они пьют шерри под широколиственной пальмой, одинокие вдвоем — точно невидимки в пестрой, шумной толпе. И страшная весенняя ночь надвигается из-за моря, из Африки, и падает на них.

Они допили кофе. Джимми пил очень медленно, словно его ожидала агония, когда он сделает последний глоток.

— Я боялась, что мы встретим здесь Барнеев, — сказала Эллен.

— Разве они знают о существовании этого кабака?

— Ты ведь их сам сюда приводил, Джимпс… Эта ужасная женщина весь вечер болтала со мной о детях. Я ненавижу эти разговоры.

— Хорошо бы пойти в театр.

— Поздно уже.

— Да и как можно тратить деньги, которых у меня нет?.. Выпьем напоследок коньяку. Все равно — давай разоримся.

— Все равно разоримся — не тем, так иным путем.

— Ну, Элли, выпьем за здоровье главы семейства, добывающего деньги.

— А знаешь, Джимми, это будет даже смешно, если я начну работать в редакции.

— По-моему, работать вообще смешно… Ну что ж, я буду сидеть дома и нянчить ребенка.

— Не огорчайся, Джимми, это ведь временное явление.

— Жизнь тоже временное явление.

Такси довезло их домой. Джимми заплатил последний доллар. Элли открыла своим ключом наружную дверь. Улица металась в вихрях алкогольно-пятнистого снега. Дверь квартиры захлопнулась за ними. Кресла, столы, книги, оконные занавеси толпились вокруг них, покрытые горькой, вчерашней, позавчерашней, третьегодняшней пылью. Запах камчатного полотна,[185] кофейной посуды, масла для пишущей машинки подействовал на них угнетающе.

Эллен выставила за дверь пустую бутылку из-под молока и легла в кровать.

Джимми продолжал нервно шагать по комнате, выходившей окнами на улицу. Его опьянение прошло — он был льдисто-трезв. В опустелой комнате его мозга, точно монета, звенело двуликое слово: «Успех-Провал», «Успех-Провал».

Я схожу с ума по Гарри,
Гарри мною увлечен, —

---

185 Примечания: 185
Камка — шелковая цветная ткань с узором.

тихонько напевает она, танцуя. Длинная зала; в конце залы помещается оркестр. Она освещена зеленоватым светом двух электрических люстр, свисающих с середины потолка среди бумажных фестонов. В самом конце, там, где дверь, лакированные перила удерживают толпу. Анна танцует с высоким квадратным шведом; его огромные ноги неуклюже волочатся вслед за ее маленькими, проворно переступающими ножками. Музыка замолкает. Теперь ее партнер — маленький, черноволосый, ловкий еврей. Он пробует обнять ее покрепче.

— Бросьте! — Она отстраняется.

— У вас нет сердца.

Она не отвечает — она танцует с холодной точностью. Она смертельно устала.

Я и мой дружочек,

Мой дружок и я…

Итальянец дышит ей чесноком в лицо, потом моряк-сержант, грек, белокурый молодой мальчишка с розовыми щеками — она улыбается ему, — пьяный пожилой человек, пытающийся поцеловать ее…

Чарли, мой мальчик,

О Чарли, мой мальчик…

Гладковолосые, веснушчатые, курчавые, угреватые, курносые, прямоносые, хорошие танцоры, плохие танцоры…

Ты на Юг уйдешь…

И как сахар мне в рот попадешь…

На ее талии — тяжелые руки, горячие руки, потные руки, холодные руки, записок с приглашением на танцы все больше и больше в ее кулачке. Теперешний ее партнер прекрасно вальсирует и очень мило выглядит в своем черном костюме.

— Ох, как я устала, — шепчет она.

— А меня танцы никогда не утомляют.

— Да, но танцевать со всяким…

— Не хотите ли пойти куда-нибудь потанцевать только со мной?

— Мой друг поджидает меня.

И только фотография

Расскажет мне о нем…

— Который час? — спрашивает она широкогрудого молодца.

— Час нашего знакомства, милочка.

Она качает головой. Музыка переходит на другой мотив. Она бросает партнера и бежит в толпу девиц, сдающих свои приглашения на танцы.

— Слушай, Анна, — говорит толстая белокурая девица, — ты заметила парня, который танцевал со мной? Так вот, он говорит, этот парень: «Как бы нам, говорит, потом повидаться?» А я ему, этому парню, говорю: «В аду мы с тобой повидаемся», — а он говорит…

III. Вращающаяся дверь

Поезда, как светляки, ползут во мраке по туманным, сотканным из паутины мостам, лифты взвиваются и падают в своих шахтах, огни в гавани мерцают. В пять часов мужчины и женщины, как растительный сок при первых заморозках, начинают каплями вытекать из высоких зданий нижней части города: серолицый поток затопляет улицы, исчезает под землей.

Всю ночь огромные дома стоят, тихие и пустые, миллионы их окон темны. Истекая светом, паромы оставляют изжеванный след на лакированных водах гавани. В полночь четырехтрубные пароходы скользят в темноту из своих ярко освещенных гнезд. Банкиры с усталыми от секретных совещаний глазами слышат совиные крики буксиров, когда сторожа, при свете потайных фонарей, выпускают их боковыми дверями. Ворча, они падают на подушки лимузинов и уносятся в верхнюю часть города, на звонкие

Сороковые улицы, к белым, как джин, к желтым, как виски, к шипучим, как сидр, огням.

Она сидела за туалетным столом и причесывалась. Он стоял, склонившись над ней; отстегнутые лиловые подтяжки свисали с его фрачных брюк. Толстыми пальцами он просовывал брильянтовую запонку в рубашку.

— Джек, я бы хотела, чтобы ты бросил это дело! — захныкала она, не выпуская шпилек изо рта.

— Какое дело, Рози?

— Компанию «Пруденс»... Право, я очень беспокоюсь.

— Почему же? Все идет прекрасно. Нам надо только обставить Николса, вот и все.

— А что, если он потом будет преследовать нас?

— Не будет. Он потеряет на этом уйму денег. Ему гораздо выгоднее войти с нами в соглашение... Кроме того, я могу через неделю заплатить ему наличными. Если нам только удастся убедить его, что у нас есть деньги, то он станет совсем ручным. Он сказал, что будет сегодня в Эль-Фей.

Рози только что вставила черепаховую гребенку в свои черные волосы. Она кивнула и встала.

Она была пухлая женщина с широкими бедрами, большими черными глазами и высокими бровями дугой. Она была в корсете, отделанном желтыми кружевами, и розовой шелковой рубашке.

— Надень на себя все, что у тебя есть, Рози. Я хочу, чтобы ты была разукрашена, как рождественская елка. Мы поедем в Эль-Фей и уложим Николса на обе лопатки. А завтра я поеду к нему и предложу ему то, о чем мы говорили… А пока давай выпьем.

Он подошел к телефону.

— Пришлите колотого льду и две бутылки минеральной воды в сорок четвертый… Да, Силвермен… И поживее!

— Джек, бросим это дело! — вдруг крикнула Рози; она стояла у дверей шкафа, держала платье на руке. — Я не вынесу этого волнения… Оно убивает меня. Поедем в Париж, в Гавану, куда хочешь, и начнем все заново.

— И тогда-то уж мы наверняка попадемся. Нам пристегнут обвинение в мошенничестве. Неужели ты хочешь, чтобы я всю жизнь ходил в синих очках и накладной бороде?

Рози рассмеялась.

— Нет, я думаю, ты в гриме будешь выглядеть

не очень хорошо… Хоть бы мы по крайней мере были по-настоящему обвенчаны!

— А какая разница, Рози? Тогда меня будут преследовать еще и за двоеженство. Вот было бы хорошо!

Рози вздрогнула, когда в дверь постучали. Джек Силвермен поставил ведерко со льдом на бюро и вынул из шкафа четырехугольную бутылку виски.

— Не наливай мне. Я не хочу пить.

— Дитя, ты должна подтянуться. Одевайся скорее и идем в театр. Черт возьми, я бывал в худших переделках. — Он подошел к телефону со стаканом в руках. — Дайте мне газетный киоск… Здравствуйте, барышня… Мы с вами старые друзья… Конечно, вы знаете меня… Послушайте, вы можете достать два места в «Фолли»?..[186] Я так и думал… Нет, я не могу сидеть дальше восьмого ряда… Вы — славная барышня… Вызовите меня через десять минут, хорошо?

— Послушай, Джек, в этом озере действительно есть бура?

— Конечно, есть! Разве ты не видела заключения четырех экспертов?

---

186 Примечания: 186

«Фолли» — театр Фолли Бержер, открытый в 1911 г. на Бродвее как театр-ресторан. В настоящее время не существует.

— Видела. Я все время удивлялась… Послушай, Джек, если это пройдет, ты обещаешь мне больше не принимать участия в таких сумасшедших делах?

— Конечно. Да мне больше и не нужно будет… Ох, какая ты знойная в этом платье!

— Нравится тебе?

— Ты выглядишь бразильянкой… Что-то тропическое…

— В этом — тайна моего очарования.

Пронзительно задребезжал телефон. Они вскочили.

Она прижала руку к губам.

— Два в четвертом ряду? Отлично… Мы сейчас сойдем вниз и возьмем их… Рози, нельзя быть такой нервной! Ты и меня этим заражаешь. Подтянись!

— Пойдем покушаем, Джек. У меня с утра, кроме сливок, ничего во рту не было. Я больше не хочу худеть; от этих волнений я и так достаточно сдала.

— Брось, Рози… Ты действуешь мне на нервы.

Они остановились у стойки с цветами в вестибюле.

— Дайте мне гардению, — сказал он.

Он выпятил грудь и скривил губы в улыбку,

когда цветочница укрепляла цветок в петличке его фрака.

— А тебе какой, дорогая? — величественно повернулся он к Рози.

Она надула губы.

— Я не знаю, что подойдет к моему платью…

— Покуда ты будешь выбирать, я пойду за билетами.

Он распахнул пальто, чтобы был виден накрахмаленный пластрон его рубашки, вытянул из рукавов манжеты и торжественно направился к газетному киоску. Пока заворачивали в серебряную бумагу красные розы, Рози видела уголком глаза, как он, наклонившись над журналами, болтал со светловолосой девушкой. Когда он вернулся с пачкой денег в руке, глаза его блестели.

Она приколола розы к своему меховому манто, взяла его под руку, и они вместе вышли через вращающуюся дверь в холодную, сверкающую, электрическую ночь.

— Такси! — крикнул он.

В столовой пахло гренками, кофе и газетой. Меривейлы завтракали при электрическом освещении. Мокрый снег бил в окна.

— Бумаги «Парамаунт» упали еще на пять пунктов, — сказал Джеймс из-за газеты.

— Джеймс, ну зачем ты меня дразнишь? — захныкала Мэзи, тянувшая кофе маленькими, куриными глотками.

— Джек ведь больше не работает в «Парамаунт», — сказала миссис Меривейл. — Он заведует рекламой у «Фэймос плэйерз».

— Он приедет через две недели. Он писал, что надеется быть здесь к Новому году.

— Ты получила еще телеграмму, Мэзи?

Мэзи кивнула головой.

— Ты знаешь, Джеймс, Джек никогда не пишет писем. Он всегда телеграфирует, — сказала миссис Меривейл.

— Он, вероятно, забрасывает весь дом цветами, — буркнул Джеймс из-за газеты.

— Все по телеграфу, — хвастливо сказала миссис Меривейл.

Джеймс отложил газету.

— Ну что ж, будем надеяться, что он приличный человек.

— Джеймс, ты отвратительно относишься к Джеку… Это гадость! — Мэзи встала и исчезла за портьерами гостиной.

— Поскольку он собирается стать мужем моей сестры, я полагаю, что могу высказывать мое мнение о нем, — проворчал Джеймс.

Миссис Меривейл пошла за дочерью.

— Иди сюда, Мэзи, кончай завтрак, он просто дразнит тебя.

— Я не хочу, чтобы он говорил так о Джеке!

— Но, Мэзи, я считаю, что Джек — прекрасный мальчик. — Она обняла дочь и подвела ее к столу. — Он такой простой и, я знаю, у него бывают хорошие порывы... Я уверена, что ты будешь счастлива.

Мэзи села; ее лицо под розовым чепчиком надулось.

— Мама, можно еще чашку кофе?

— Дорогая, ты знаешь, что ты не должна пить так много кофе. Доктор Ферналд говорит, что это тебе расстраивает нервы.

— Мне, мама, очень слабого. Я хочу доесть булочку, я не могу съесть ее сухой. А ты ведь не хочешь, чтобы я теряла в весе?

Джеймс отодвинул стул и вышел с газетой под мышкой.

— Уже половина девятого, Джеймс, — сказала миссис Меривейл. — Он способен целый час читать так газету.

— Ну вот, — раздраженно сказала Мэзи, — я сейчас лягу обратно в кровать. Это глупо — вставать в семь часов к завтраку. В этом есть что-то вуль-

гарное, мама. Никто этого больше не делает. У Перкинсов завтрак подают на подносе в кровать.

— Джеймс должен быть в девять часов в банке.

— Это еще не причина, чтобы мы все вставали с петухами. От этого только цвет лица портится.

— Но тогда мы не будем видеть Джеймса до обеда. И вообще я люблю рано вставать. Утро — лучшая часть дня.

Мэзи отчаянно зевнула.

Джеймс появился в дверях передней, чистя щеткой шляпу.

— Где же газета, Джеймс?

— Я оставил ее там.

— Ничего, я возьму ее… Дорогой, ты криво вставил булавку в галстук. Дай я поправлю… Так.

Миссис Меривейл положила руки на плечи сыну и заглянула ему в лицо. На нем был серый костюм со светло-зеленой полоской, оливково-зеленый вязаный галстук, заколотый маленькой золотой булавкой, оливково-зеленые шерстяные носки с черными крапинками и темно-красные полуботинки; шнурки на них были аккуратно завязаны двойным узлом, который никогда не развязывался.

— Джеймс, ты не возьмешь тросточку?

Он обмотал шею оливково-зеленым шерстя-

ным шарфом и надел темно-коричневое зимнее пальто.

— Нет, я заметил, что тут молодые люди не носят тросточек, мама. Могут подумать, что я немножко… сам не знаю что.

— Но мистер Перкинс носит тросточку с золотым набалдашником.

— Да, но он один из вице-президентов… Он может делать все, что хочет… Ну, мне пора.

Джеймс Меривейл наскоро поцеловал мать и сестру. Спускаясь в лифте, он надел перчатки. Наклонив голову против сырого ветра, он быстро пошел по Семьдесят второй улице. У спуска в подземную железную дорогу он купил «Трибуну» и сбежал по ступеням на переполненную, кисло пахнущую платформу.

«Чикаго! Чикаго!» — орал патефон. Тони Хентер, стройный, в черном глухом костюме, танцевал с девушкой, склонившей кудрявую пепельную головку на его плечо. Они были одни в гостиной отеля.

— Душка, ты чудесный танцор, — ворковала она, прижимаясь к нему.

— Ты так думаешь, Невада?

— Угу… Душка, ты ничего не заметил во мне?

— Что именно, Невада?

— Ты ничего не заметил в моих глазах?

— У тебя самые очаровательные глазки в мире.

— Да, но в них есть еще что-то.

— Ах, да! Один — зеленый, а другой — карий.

— Значит, ты заметил, малыш!

Она протянула ему губы. Он поцеловал ее. Пластинка кончилась. Они оба подбежали и остановили патефон.

— Ну какой же это поцелуй, Тони? — сказала Невада Джонс, откидывая волосы со лба.

Они поставили новую пластинку.

— Послушай, Тони, — сказала она, когда они снова начали танцевать, — что тебе вчера сказал психоаналитик?

— Ничего особенного. Мы просто разговаривали, — сказал Тони, вздыхая. — Он считает, что все это только воображение. Он советует мне поближе сойтись с какой-нибудь девушкой. Он — порядочный человек, но он не знает, о чем он говорит. Он ничего не может сделать.

— Держу пари, что я смогла бы!

Они перестали танцевать и посмотрели друг на друга. Их лица пылали.

— Невада, — сказал он жалобно, — встреча с тобой имела для меня большое значение… Ты такая милая! Все другие были мне противны.

Она задумчиво отошла и остановила патефон.

— Интересно, что сказал бы Джордж?

— Мне ужасно тяжело об этом думать. Он был так любезен… Не будь его, я никогда не попал бы к доктору Баумгардту.

— Он сам виноват. Дурак!.. Он думает, что меня можно купить за номер в гостинице и два-три билета в театр. Ну вот, я ему покажу!.. Нет, право, Тони, ты должен лечиться у этого доктора. Он сделал чудеса с Гленом Гастоном… Гастон был до тридцати пяти лет уверен, что он «такой», а недавно я слышала, что он женился и у него двое детей… Ну, теперь поцелуй меня по-настоящему, дорогой мой… Вот так! Давай потанцуем еще. Ты чудно танцуешь. «Такие» всегда хорошо танцуют. Я не знаю, почему это…

Внезапно раздался резкий звонок телефона — точно завизжала пила.

— Хелло… Да, это мисс Джонс… Конечно, Джордж, я вас жду… — Она повесила трубку. — Ну, Тони, удирай. Я позвоню тебе потом. Не спускайся в лифте, ты встретишь его.

Тони исчез за дверью. Невада поставила «Дивную крошку» и начала нервно ходить по комнате, переставляя стулья, поправляя растрепанную прическу.

— А, Джордж!.. Я думала, вы никогда не приедете… Здравствуйте, мистер Мак-Нийл! Не знаю почему, но я сегодня ужасно нервничаю. Мне казалось, что вы никогда не приедете. Давайте завтракать. Я очень голодна.

Джордж Болдуин положил котелок и тросточку на стол в углу.

— Что вы хотите, Гэс? — спросил он.

— Я всегда заказываю баранью котлету с жареной картошкой.

— А я буду есть бисквит с молоком — у меня желудок немножко не в порядке… Невада, соорудите мистеру Мак-Нийлу чего-нибудь выпить.

— А мне, Джордж, закажите жареного цыпленка и салат из омаров! — крикнула Невада из ванной комнаты, где колола лед.

— Она большая любительница омаров, — усмехнулся Болдуин, идя к телефону.

Невада вернулась из ванной комнаты с двумя стаканами на подносе; она накинула на плечи пурпурный с зелеными разводами шарф.

— Только мы с вами и будем пить, мистер Мак-Нийл… Джордж сидит на водичке. Ему доктор велел.

— Невада, пойдем потом в оперетку. Я хочу встряхнуться после всех моих дел.

— Я очень люблю утренние представления. А вы ничего не будете иметь против, если мы возьмем с собой Тони Хентера? Он звонил мне. Он очень одинок и хотел зайти сегодня после полудня. Он эту неделю не работает.

— Хорошо… Невада, вы извините нас, если мы немного поговорим о деле. Мы на минутку отойдем к окну. Как только завтрак будет готов, мы забудем о делах.

— Хорошо, я пока переоденусь.

— Садитесь сюда, Гэс.

Минуту они сидели молча, глядя в окно на леса строящегося напротив здания.

— Ну, Гэс, — неожиданно резко сказал Болдуин, — я решил принять участие в выборах!

— Великолепно, Джордж! Мы нуждаемся в таких людях, как вы.

— Я иду по списку реформистов.

— Вы с ума сошли!

— Я предпочитаю сказать вам об этом раньше, чем вы услышите стороной, Гэс.

— Кто же будет голосовать за вас?

— Ну, у меня крепкая поддержка… И пресса будет у меня хорошая.

— Пресса — чушь!.. У нас — избиратели… Черт возьми, если бы не я, ваша кандидатура на пост

окружного прокурора вообще никогда бы не обсуждалась.

— Я знаю, вы всегда были мне другом, и надеюсь, что вы будете им и впредь.

— Я еще никого не предавал, Джордж. Но вы знаете, теперь ведь один лозунг: «давай — бери».

— Ну? — перебила их Невада, подходя к ним танцующими шажками; на ней было розовое шелковое платье. — Наговорились?

— Мы кончили, — проворчал Гэс. — Скажите, мисс Невада, откуда у вас это имя?

— Я родилась в Рено, штат Невада. Моя мать ездила туда, чтобы развестись, — там это легко. А я как раз тогда и родилась.

Анна Коген стоит за прилавком под вывеской «Лучшие сандвичи в Нью-Йорке». Ее ноги болят в остроносых туфлях на высоких каблуках.

— Ну, я думаю, скоро начнется, иначе у нас будет скверная торговля, — говорит продавец содовой воды рядом с ней; у него топорное лицо и выпирающий кадык. — Всегда так — публика налетает сразу.

— Можно подумать, что у всех появляются в одно и то же время одни и те же мысли.

Они глядят сквозь стеклянную перегородку на бесконечную вереницу людей, входящих и

выходящих из туннеля подземной дороги. Вдруг она выскальзывает из-за прилавка и пробирается в душную кухню, где толстая пожилая женщина чистит плиту. В углу на гвозде висит зеркало. Анна достает из кармана пальто, висящего на вешалке, пудреницу и пудрит нос. На секунду она замирает с пуховкой в руке и смотрит на свое широкое лицо с челкой на лбу, с прямыми подстриженными волосами.

— Паршивая еврейка! — горько говорит она.

Она возвращается на свое место за прилавком и натыкается на управляющего — маленького жирного итальянца с лоснящейся лысиной.

— Вы только и делаете, что смотритесь целый день в зеркало. Очень хорошо… Вы уволены.

Она смотрит на его маслянистое лицо.

— Можно мне еще дослужить сегодня? — лепечет она.

Он кивает.

— Ну-ну, пошевеливайтесь, тут не институт красоты!

Она бежит на свое место за прилавок. Все стулья уже заняты. Девицы, конторские мальчики, серолицые бухгалтеры.

— Сандвич с цыпленком и чашку кофе.

— Сандвич с сыром и стакан сливок.

— Сандвич с яйцом и кофе.

— Чашку бульона.

Едят торопливо, не глядя друг на друга, уставив глаза в тарелки, в чашки. Позади сидящих ожидающие очереди проталкиваются ближе. Одни едят стоя, другие — повернувшись спиной к прилавку, глядя через стеклянную перегородку с надписью «яанчосука3» на стремительный поток, льющийся из серо-зеленого мрака подземки.

— Ну, Джо, расскажите мне все подробно, — сказал Гэс Мак-Нийл, выпустив большой клуб дыма и откинувшись на спинку вертящегося стула. — Что это вы, ребята, затеваете в Флэтбуше?

О'Киф откашлялся и переступил с ноги на ногу.

— Видите ли, сэр, у нас там агитационный комитет.

— Я знаю... Но это не причина делать налет на вечеринку швейников, а?

— Я к нему не имел никакого касательства... Очень уж наши ребята злятся на пацифистов и на красных.

— Все эти шутки были хороши год тому назад... Общественные настроения меняются. Я вам скажу, Джо: здешняя публика сыта по горло героями войны.

— У нас сильная и гибкая организация.

— Знаю, знаю, Джо. Верю… Хотя я лично решил больше не нажимать на военную премию… Штат Нью-Йорк исполнил свой долг в отношении бывших солдат.

— Это верно.

— Эта премия означает новый налог на средних деловых людей и ничего больше. Довольно налогов!

— А наши ребята думают, что они кое-что получат.

— Всем нам казалось, что мы многое получим, и ничего мы не получили… Ради Бога, не говорите мне об этом… Джо, возьмите себе сигару из того ящика. Мне их прислал из Гаваны приятель с одним морским офицером.

— Спасибо, сэр.

— Берите, не стесняйтесь. Возьмите четыре, пять штук.

— Благодарю вас.

— Скажите, Джо, какой линии будут держаться ваши ребята на выборах мэра?

— Это зависит от того, как кто отнесется к нуждам бывших солдат.

— Слушайте, Джо. Вы — парень толковый…

— Будьте спокойны, сэр, все будет в порядке. Я

с ними поговорю.

— Сколько их у вас там?

— Да около трехсот членов, и каждый день записываются новые… Мы вербуем их повсюду. Мы хотим устроить на Рождество танцы и кулачный бой в Арсенале, если достанем боксера.

Гэс Мак-Нийл откинул голову на воловьей шее и расхохотался:

— Вот это да!

— Но, честное слово, военная премия — это единственное, что может удержать наших парней.

— А что, если я приду как-нибудь вечером и потолкую с ними?

— Это было бы хорошо, но они слушать не хотят тех, кто не был на войне.

Мак-Нийл вспыхнул:

— Смотрите-ка, какими вы бойкими вернулись с фронта! — Он рассмеялся. — Это будет продолжаться год или два, не дольше. Я видел, как возвращались солдаты с испано-американской войны…[187] Запомните это, Джо.

Конторский мальчик вошел и положил на стол карточку.

---

187 Примечания: 187

Испано-американская война (1898) — вооруженный конфликт между Испанией и США, возникший из-за испанской политики на Кубе.

— Вас хочет видеть дама, мистер Мак-Нийл.

— Простите… Это старая дура из школьного совета… Ну, до свиданья, Джо. Загляните на той неделе… Я буду держать вас в курсе дел — вас и вашу армию.

Дуган ждал в конторе. Он подошел с таинственным видом.

— Ну, Джо, как дела?

— Очень хорошо, — сказал Джо, выпячивая грудь. — Гэс сказал мне, что Таммани-холл будет поддерживать нас в деле с премией… Мы составляем план широкой национальной кампании. Он дал мне несколько сигар — ему их привезли из Гаваны на аэроплане… Закуривайте.

С торчащими в углу рта сигарами они гордо зашагали через площадь Ратуши. Против старого здания ратуши возвышались строительные леса. Джо ткнул в них сигарой.

— Тут мэр ставит новую статую Гражданской Добродетели.[188]

---

188 Примечания: 188

…Зашагали через площадь Ратуши… Тут мэр ставит новую статую Гражданской Добродетели. — Статуя (скульптор Фредерик Мак-Моннис), воздвигнутая в 1922 г. напротив здания Ратуши в Нижнем Манхэттене и изображавшая стоящего мужчину, у ног которого изогнулись две женщины-змеи, позднее, под давлением противников женской дискриминации, была перенесена в Квинс, подальше от центра. Там она находится и сейчас.

Запах жареного мяса терзал его пустой желудок, когда он проходил мимо ресторана «Чайлд». Рассвет сеял мелкую, серую пыль на черный, чугунный город. Дэтч Робертсон уныло переходил Юнион-плейс, вспоминая теплую постель Фрэнси, острый запах ее волос. Он глубоко засунул руки в пустые карманы. Ни гроша, и Фрэнси ничего не могла ему дать. Он прошел по Пятнадцатой улице мимо отеля. Негр подметал ступени. Дэтч посмотрел на него с завистью: у него есть работа. Грузовики с молоком дребезжали по мостовой. На площади Стайвезент мимо него прошел молочник, держа в каждой руке по бутылке молока. Дэтч выдвинул нижнюю челюсть и грубо сказал:

— Дай глотнуть молока. Ну!

Молочник был худой розоволицый юнец. Его голубые глаза расширились.

— Пожалуйста… Зайдите за фургон, там под сиденьем есть открытая бутылка. Только чтобы никто не видел…

Он пил большими глотками сладкое молоко, ласкавшее его пересохшее горло. Не стоило говорить с ним так грубо. Он подождал, пока мальчик вернулся.

— Спасибо, малый, знатное молоко.

Он прошел в тенистый парк и сел на скамью.

На асфальте сверкал иней. Он поднял обрывок вечерней газеты.

> Похищено пятьсот тысяч долларов. Средь бела дня на Уоллстрит ограблен банковский артельщик.
>
> В самый разгар делового дня два человека напали на Адольфуса Ст. Джона, артельщика компании «Гаранта-трест», и выхватили у него из рук портфель, в котором находилось полмиллиона долларов ассигнациями…

Дэтч чувствовал, как колотится его сердце, когда он читал заметку. Он весь похолодел. Он встал и начал размахивать руками.

Конго миновал турникет воздушной дороги. Джимми Херф шел за ним, глядя по сторонам. На улице было темно, холодный ветер свистел в ушах. Одинокий «форд» стоял у входа.

— Как вам тут нравится, мистер Эрф?

— Очень славно, Конго. Что это? Вода?

— Залив Шипсхед.[189]

Они шли по дороге, обходя сине-стальные лу-

---

189 Примечания: 189

Залив Шипсхед — залив у южной оконечности Бруклина.

жи. Дуговые фонари, точно увядшие гроздья, качались на ветру. Вдали, направо и налево маячили светящиеся кучки домов. Они остановились у длинного здания, построенного на сваях над водой. «ПРУДОК». Джимми с трудом различал буквы над темным окном. Дверь открылась, когда они подошли к ней.

— Хелло, Майк, — сказал Конго. — Это мистер Эрф, мой друг.

Дверь закрылась за ними. Внутри было темно, как в печи. Мозолистая рука схватила в темноте руку Джимми.

— Рад познакомиться, — послышался голос.

— Скажите, как вы нашли мою руку?

— О, я вижу в темноте. — Кто-то хрипло рассмеялся.

Конго открыл внутреннюю дверь. Оттуда хлынул свет, осветив бильярдные столы, ряды киев и длинную стойку в конце.

— Это Майк Кардинал, — сказал Конго.

Джимми увидел перед собой высокого, бледного, застенчивого человека с курчавыми черными волосами, сползающими на лоб. В соседней комнате были полки с посудой и круглый стол, покрытый желтой клеенкой.

— Eh, la patronne![190] — крикнул Конго.

Толстая француженка с красными, как яблоки, щеками показалась на пороге. Вместе с ней в комнату ворвалось шипенье кипящего масла и чеснока.

— Это мой друг… Ну что ж, будем есть? — крикнул Конго.

— Это моя жена, — гордо сказал Кардинал. — Она глухая, с ней надо говорить громко. — Он повернулся и старательно закрыл на засов дверь в переднюю. — Чтобы с дороги не видно было огня, — сказал он.

— Летом мы иногда отпускаем в день по сто и по полтораста обедов, — сказала жена Кардинала.

— А выпивки у вас не найдется? — спросил Конго; он крякнул и опустился на стул.

Кардинал поставил на стол толстую бутылку и несколько стаканов. Они выпили вина и облизнулись.

— Куда лучше красного. Правда, мистер Эрф?

— Да. Похоже на настоящее кьянти.

Жена Кардинала поставила на стол шесть тарелок, положила в них по ржавой ложке, вилке и ножу и внесла дымящуюся миску с супом.

---

190 Примечания: 190
Эй, хозяйка! *(ит.)*

— Pronto pasta![191] — крикнула она пронзительно.

— А это Аннет, — сказал Кардинал.

Краснощекая черноволосая девушка с длинными изогнутыми ресницами и яркими черными глазами вбежала в комнату. За ней вошел очень загорелый молодой человек в хаки с кудрявыми, выгоревшими от солнца волосами. Все сразу уселись и начали есть наперченную жирную похлебку, низко нагибаясь над тарелками.

Кончив есть, Конго поднял голову.

— Майк, видишь огни?

Кардинал кивнул.

— Да… Сейчас он будет здесь.

В то время, как они ели яичницу с чесноком и телячьи котлеты с жареной картошкой и брюквой, Херф услышал отдаленное пыхтенье моторной лодки. Конго встал из-за стола, махнул рукой, чтобы в комнате не шумели, и выглянул из окна, осторожно приподняв край занавески.

— Это он, — сказал он и вернулся к столу. — Правда, мы здесь хорошо едим, а, мистер Эрф?

Молодой человек встал, вытирая рукой рот.

— Есть у тебя пятак, Конго? — спросил он, шар-

---

191 Примечания: 191
Суп готов! *(ит.)*

кая ногами.

— На, Джонни.

Девушка последовала за ним в соседнюю комнату. Через минуту механическое пианино заиграло вальс. Джимми видел в дверь, как они танцевали в полосе света. Стук моторной лодки приближался. Конго вышел, за ним последовали Кардинал и его жена. Джимми остался один. Он потягивал вино, один среди остатков ужина. Он чувствовал себя возбужденным и немного пьяным; он уже начал сочинять в уме рассказ. С дороги донесся грохот грузовика, потом другого. Стук моторной лодки резко оборвался. Толчок лодки о сваи, всплеск волны и тишина. Механическое пианино тоже замолкло. Джимми сидел, потягивая вино. Он чувствовал болотистый запах, проникавший в комнату. Под ним слышался легкий плеск воды о сваи. Еще одна моторная лодка застучала вдалеке.

— Есть у вас пятак? — спросил Конго, внезапно входя в комнату. — Заведем опять музыку… Забавная сегодня ночь! Пойдите к Аннет, последите за пианино… Я не видел, как Мак-Джи высаживался… Может, сюда зайдет один человек… Он должен быть здесь очень скоро.

Джимми встал и пошарил в карманах. У пиа-

нино он столкнулся с Аннет.

— Хотите танцевать?

Она кивнула. Пианино играло «Невинные глазки». Они рассеянно танцевали. Снаружи послышались голоса и шаги.

— Простите, — сказала она внезапно и перестала танцевать.

Вторая лодка была совсем уже близко; ее мотор еще кашлял и стучал.

— Пожалуйста, останьтесь здесь, — сказала она и выскользнула за дверь.

Джимми Херф ходил взад и вперед, взволнованно попыхивая папиросой. Он опять принялся сочинять рассказ. «В заброшенном танцевальном зале у залива Шипсхед… очаровательная юная итальянка… вдруг резкий свисток из мрака… Надо было пойти посмотреть, что там делается». Он нащупал ручку двери. Дверь была заперта. Он подошел к пианино и опустил в него еще одну монету. Потом закурил свежую папиросу и стал ходить взад и вперед. «Всегда так… паразит в драме жизни, репортер, на все смотрит в замочную скважину. Никогда ни в чем не принимает участия. Пианино играло «У нас нет бананов».

— А, черт! — бормотал он, скрежеща зубами и расхаживая взад и вперед.

Топот за окном становился все слышнее, слышались рычащие голоса, толчки, удары. Раздался треск дерева и звон разбиваемых бутылок. Джимми выглянул в окно столовой. Он увидал на пристани силуэты дерущихся людей. Он бросился на кухню и наткнулся на Конго. Весь потный, Конго ковылял внутрь дома, опираясь на толстую палку.

— Будь они прокляты… Они сломали мне ногу! — простонал он.

— Боже милостивый! — Джимми помог ему пройти в столовую.

Конго стонал.

— Мне стоило пятьдесят долларов починить ее, когда я в последний раз ее сломал.

— Ах, у вас протез сломан?

— Конечно. А вы что думали?

— Сухие агенты?

— Какие там сухие агенты… Бандиты, будь они прокляты!.. Пойдите, опустите монету в пианино…

«Царица грез моих» — весело ответило пианино. Когда Джимми вернулся, Конго сидел на стуле, поглаживая свою культяпку обеими руками. На столе лежал сломанный протез из пробки и алюминия.

— Regardez-moi ça… c'est foutu… complètement foutu.[192]

Вошел Кардинал. Его лоб был рассечен. Струйка крови сочилась из раны вниз по щеке и капала на пиджак и рубашку. Его жена шла за ним, закатив глаза; она несла лоханку и губку, которую прикладывала ко лбу мужа. Он оттолкнул ее.

— Я хорошо хватил одного из них куском трубы. Кажется, он упал в воду. Надеюсь, утонул.

Высоко держа голову, вошел Джонни. Аннет обнимала его за талию. Один глаз был у него подбит, рукав рубашки изорван в клочья.

— Совсем как в кино! — сказала Аннет, истерически смеясь. — Правда, он молодец, мама?

— Прямо счастье, что они не стреляли. У одного из них был револьвер.

— Боялись, я думаю.

— Грузовики уехали?

— Да, только один ящик разбился… Их было пять человек.

— Джонни дрался один со всеми! — взвизгнула Аннет.

— Заткнись, — проворчал Кардинал.

Он опустился на стул. Жена снова начала обти-

---

192 Примечания: 192

Посмотрите-ка на это… пропащее дело… совсем пропащее *(фр.)*.

рать ему лицо губкой.

— Ты хорошо разглядел лодку? — спросил Конго.

— Было чертовски темно, — сказал Джонни. — Кажется, они приехали из Джерси… Сначала один из них подходит ко мне и говорит, что он сборщик налогов, а я бью его по башке, прежде чем он успевает вытащить револьвер, и он летит за борт… Вот тут-то они и заорали… А Джордж с лодки хватил одного из них по лбу веслом. Ну, тут они и убрались в своей лоханке.

— Но откуда они узнали, где наша пристань? — прорычал Конго, багровея.

— Кто-нибудь выболтал, — сказал Кардинал. — Если я узнаю, кто это сделал, клянусь Богом, я его… — Он издал отрывистый звук губами.

— Знаете, мистер Эрф, — сказал Конго прежним слащавым тоном, — там было шампанское на праздники. Ценный груз, а?

У Аннет пылали щеки, и она все время глядела на Джонни; губы у нее были полуоткрыты, а глаза сияли слишком ярко. Херф чувствовал, что краснеет, когда смотрит на нее.

Он встал.

— Ну ладно, мне пора в город. Спасибо за ужин и за мелодраму, Конго.

— Найдете дорогу к станции?

— Найду.

— Спокойной ночи, мистер Эрф. Может быть, купите к Рождеству ящик шампанского? Настоящий «Мумм»…

— Я совершенно обнищал, Конго.

— Ну тогда предложите вашим друзьям, а я вам заплачу комиссионные.

— Хорошо, я посмотрю.

— Я позвоню вам завтра, скажу цену.

— Отлично. Спокойной ночи.

По пути домой, трясясь в пустом поезде через пустые окраины Бруклина, Джимми старался думать про рассказ о бутлегерах, который он напишет для воскресного номера. Румяные щеки девушки и ее слишком блестящие глаза мешали ему, прерывали правильное течение мыслей. Он постепенно все глубже и глубже погружался в грезы. У Элли тоже иногда бывали такие, слишком блестящие, глаза — до того, как родился ребенок. Тот день на горе, когда она вдруг упала ему на руки, и ее стошнило, и он оставил ее среди мирно жевавших коров на поросшем травой склоне, и побежал в хижину пастуха, и принес ей оттуда молока в деревянном ковше… И потом, когда горы истаяли в вечерней мгле, краска вновь

появилась на ее щеках, и она взглянула на него такими блестящими глазами и сказала с сухим отрывистым смешком: «Это во мне шевелится маленький Херф!» «Господи, почему я постоянно думаю о том, что давно прошло?» А потом родился ребенок, и Элли лежала в американском госпитале в Нейи, а он бродил по ярмарке в каком-то сумасшедшем тумане, забрел в цирк, катался на карусели и на качелях, покупал игрушки, сладости, играл в лотерею, пытаясь выиграть куклу, шел, пошатываясь, в больницу с большой гипсовой свиньей под мышкой. Смешные попытки укрыться в прошлом. «А что, если бы она умерла? Я думал, что она умрет. Прошлое было бы полным, оно было бы совершенно круглое, вставленное в рамку, его можно было бы носить, как камею, на шее, его можно было бы переписать на пишущей машинке, отлить в стереотип и отпечатать в воскресном номере, как первый рассказ Джеймса Херфа о бутлегерах». Расплавленные цепочки мыслей падали, каждая в свое гнездо, извергаемое звонким линотипом.

В полночь он бродил по Четырнадцатой улице. Ему не хотелось идти домой спать, хотя резкий, холодный ветер рвал острыми ледяными когтями его шею и подбородок. Он пошел по Шестой

и седьмой авеню, нашел имя «Рой Шефилд» на дощечке рядом со звонком в слабо освещенном вестибюле, позвонил и взбежал по лестнице. Рой высунул из двери большую кудрявую голову со стеклянно-серыми выпученными глазами.

— Хелло, Джимми, входите. Мы все пьяны в дым!

— Я только что видел драку бутлегеров с бандитами.

— Где?

— У залива Шипсхед.

— Джимми Херф пришел! Он только что дрался с сухими агентами! — крикнул Рой своей жене.

У Алисы были темно-каштановые кукольные волосы и розовато-желтое кукольное лицо. Она подбежала к Джимми и поцеловала его в подбородок.

— Джимми, расскажите нам… Нам ужасно скучно.

— Хелло! — крикнул Джимми.

Он только что заметил Фрэнсис и Боба Гилдебранд на диване в темном углу комнаты. Они подняли свои стаканы, приветствуя его. Джимми усадили в кресло и сунули ему в руку стакан с джином пополам с имбирным пивом.

— Ну, так что же было? Драка? Расскажите все

подробно — не станем же мы покупать «Трибуну», — сказал Боб Гилдебранд низким басом.

Джимми отпил большой глоток.

— Я был там с одним человеком — главой всех французских и итальянских бутлегеров. Он чудесный парень, и у него пробковая нога. Он угостил меня прекрасным ужином и настоящим итальянским вином на заброшенном поплавке на берегу залива Шипсхед…

— Кстати, — спросил Рой, — где Елена?

— Не перебивай, Рой, — сказала Алиса. — И вообще никогда не следует спрашивать человека, где его жена.

— Потом там начали вспыхивать разные световые сигналы и прочее подобное, к поплавку причалила моторная лодка, нагруженная шампанским «Мумм» extra dry[193] для рождественских праздников. А потом в другой лодке примчались бандиты… Не иначе, как у них был гидроплан, так быстро они прилетели…

— Как это интересно! — проворковала Алиса. — Рой, почему ты не бутлегер?

— Это была драка, какой мне не приходилось видеть и в кино. Шесть-семь человек с каждой

---

193 Примечания: 193
Сухое *(англ.).*

стороны лупили друг друга на узенькой пристани, шириной с эту комнату, веслами и свинцовыми трубами.

— Кого-нибудь ранили?

— Всех… Я думаю, два бандита утонули. Во всяком случае, они отступили, предоставив нам подлизывать разлитое шампанское.

— Должно быть, это было ужасно! — воскликнул Гилдебранд.

— А вы что делали? — спросила Алиса, затаив дыхание.

— О, я прыгал кругом, стараясь избежать ударов. Я не знал, кто на чьей стороне. Было темно, мокро, непонятно… В конце концов я вытащил моего друга бутлегера из драки. Ему сломали ногу… деревянную ногу.

Все закричали. Рой снова наполнил стакан Джимми.

— Ах, Джимми, — ворковала Алиса, — вы живете потрясающе интересной жизнью.

Джеймс Меривейл читал только что расшифрованную каблограмму, отчеркивая отдельные слова карандашом. «„Тасманское марганцевое о-во“ просит открыть кредит…»

Зажужжал настольный телефон.

— Джеймс, говорит твоя мать. Приходи скорее,

случилось нечто ужасное.

— Но я не знаю, смогу ли я уйти…

Она уже дала отбой. Меривейл почувствовал, что бледнеет.

— Соедините меня, пожалуйста, с мистером Эспинуоллом… Мистер Эспинуолл, говорит Меривейл… Моя мать внезапно заболела… Боюсь, что у нее удар. Можно мне сбегать домой на часок? Я вернусь и составлю телеграмму по поводу «Марганцевого общества»…

— Ладно… Соболезную вам, Меривейл.

Он схватил шляпу, пальто, позабыв шарф, выбежал из банка и побежал к станции подземки.

Он влетел в квартиру, едва переводя дух, щелкая пальцами от волнения. Миссис Меривейл с серым лицом встретила его в передней.

— Дорогая, я думал, ты заболела!

— Нет, несчастье случилось с Мэзи…

— Несчастный случай?

— Идем, — сказала миссис Меривейл.

В гостиной сидела маленькая круглолицая женщина в круглой меховой шапочке и длинной ильковой шубе.[194]

— Дорогой мой, эта женщина говорит, что

---

194 Примечания: 194

Ильковая шуба — шуба из меха американского хорька.

она — жена Джека Канингхэма и у нее есть брачное свидетельство.

— Не может быть.

Посетительница кивнула с меланхолическим видом.

— А мы уже разослали приглашения! После его последней телеграммы Мэзи заказала приданое.

Женщина развернула длиннейшую бумагу, изукрашенную цветами и купидонами, и передала ее Джеймсу.

— Может быть, оно подложное?

— Оно не подложное, — сладко сказала женщина.

— «Джон К. Канингхэм, 21 года… Джесси Линкольн, 18-ти лет…» — читал он громко. — Я ему череп размозжу, шантажисту! Это действительно его подпись. Я видел ее в банке… Шантажист!

— Джеймс, не волнуйся.

— Я подумала, что лучше сделать это теперь, чем после бракосочетания, — вставила женщина сладким голосом. — Я не хотела допустить Джека до двоеженства, ни за что на свете не хотела.

— Где Мэзи?

— Бедняжка в своей комнате.

Лицо Меривейла побагровело. Пот стекал ему за воротничок.

— Дорогой мой, — сказала миссис Меривейл, — обещай мне, что ты не сделаешь ничего неосмотрительного.

— Да, репутация Мэзи должна быть сохранена любой ценой.

— Дорогой мой, я думаю, самое лучшее, что можно сделать, — это вызвать его сюда и дать ему очную ставку с этой… с этой… дамой… Вы согласны, миссис Канингхэм?

— О да, конечно.

— Подождите минуту! — крикнул Меривейл и побежал в переднюю к телефону. — Ректор двенадцать — триста пять. Алло, попросите, пожалуйста, мистера Джека Канингхэма… Алло… Это контора мистера Канингхэма? Говорит Джеймс Меривейл… Уехал из города?.. А когда он вернется?.. Хм… — Он вернулся в гостиную. — Проклятый негодяй уехал из города.

— Все время, что я его знала, — заметила дама в круглой шапочке, — он вечно в разъездах.

За широкими окнами конторы — серая, туманная ночь. Там и сям мерцают редкие черточки и звездочки огней. Финеас Блэкхед сидит за письменным столом, откинувшись на спинку кожаного кресла. Он держит в руке обернутый шелковым носовым платком стакан с горячей

водой и двууглекислой содой. Денш, лысый и круглый, как бильярдный шар, сидит в глубоком кресле, играя очками в черепаховой оправе. Глубокая тишина; лишь изредка что-то щелкает и стучит в трубах отопления.

— Денш, заранее прошу прощения… Вы знаете, я редко позволяю себе делать замечания касательно чужих дел, — медленно говорит Блэкхед, отпивая из стакана; потом неожиданно выпрямляется в кресле. — Это безумное предложение, Денш, клянусь Богом, безумное! Прямо даже смешно…

— Мне так же мало хочется пачкать руки, как и вам… Болдуин — прекрасный парень. Я думаю, мы ничем не рискуем, если окажем ему поддержку.

— Что общего имеет с политикой экспортно-импортная фирма? Если какому-нибудь чертову политикану нужна милостыня, то пусть приходит сюда. Наше дело — это цена на бобы. А она чертовски упала… Если бы кто-нибудь из ваших болтунов-адвокатов мог восстановить баланс денежного рынка, то я сделал бы для него все на свете… Все они жулики… Клянусь Богом, все до одного жулики!

Его лицо побагровело. Он сидит выпрямив-

шись, стуча кулаком по столу.

— Вы разволновали меня… Это вредно для моего желудка и для сердца.

Финеас Блэкхед громко рыгает и отхлебывает из стакана с двууглекислой содой. Потом снова отваливается на спинку кресла и опускает тяжелые веки.

— Ну ладно, старина, — устало говорит мистер Денш. — Может быть, это глупо, но я обещал поддержать реформистского кандидата. В конце концов, это мое частное дело, оно ни с какой стороны не касается фирмы.

— Черта с два не касается!.. А Мак-Нийл и его банда?.. Они всегда вели себя прилично по отношению к нам, а мы только и преподнесли им, что два ящика виски да несколько штук сигар… А теперь эти реформисты перевернули вверх дном все городское самоуправление… Клянусь Богом…

Денш поднялся.

— Мой дорогой Блэкхед, я считаю своим гражданским долгом способствовать искоренению взяточничества, коррупции и интриг, распустившихся махровым цветом в городском самоуправлении… Я считаю это своим гражданским долгом. — Он направляется к двери, гордо выпятив круглый живот.

— И все-таки позвольте мне сказать вам, Денш, что это идиотство! — кричит Блэкхед ему вслед.

Когда его компаньон уходит, он сидит минуту с закрытыми глазами. Его лицо сереет, огромное мясистое тело оседает, точно лопнувший воздушный шар. Наконец он, кряхтя, поднимается, берет шляпу, пальто и выходит из конторы медленным, тяжелым шагом.

Еле освещенная прихожая пуста. Он долго ждет лифта. При мысли о том, что в пустом здании где-нибудь прячутся бандиты, у него перехватывает дыхание. Он боится оглянуться, как ребенок в темной комнате. Наконец появляется лифт.

— Вилмер, — говорит он ночному сторожу, стоящему в лифте, — нужно лучше освещать прихожую… Теперь развелось столько преступников. Надо освещать все здание.

— Да, сэр, вы правы, сэр. Только сюда никто не может войти без моего ведома.

— Но если их будет много, они вас одолеют, Вилмер.

— Хотел бы я посмотреть! Пусть попробуют.

— Пожалуй, вы правы… У меня просто нервы шалят.

Синтия сидит в «паккарде» и читает газету.

— Ну что, дорогая, ты, наверно, думала, что я

никогда не приду?

— Я почти дочитала книгу, папочка.

— Ну, хорошо… Бутлер, в центр, как можно быстрее… Мы опоздали к обеду.

Лимузин несется по улице Лафайета. Блэкхед поворачивается к дочери.

— Если ты когда-нибудь услышишь, как человек говорит о своем гражданском долге, — ради Бога, не верь ему… В девяти случаях из десяти это значит, что он собирается подложить тебе свинью. Ты не представляешь себе, как я доволен, что ты и Джо устроены.

— В чем дело, папочка? У тебя деловые неприятности?

— Рынков нет!.. На всей проклятой земле нет ни одного рынка, который не был бы набит до отказа… Темное дело, Синти! Никто не знает, что случится… Да, чтобы не забыть, — ты можешь быть в банке завтра в двенадцать часов?.. Я посылаю Худкинса с некоторыми ценностями — личными, как ты сама понимаешь, — в банк. Я хочу положить их в твой сейф.

— Но он уже переполнен, папочка.

— Сейф в «Астор-тресте» на твое имя, да?

— На мое и Джо вместе.

— Прекрасно! Ты возьмешь новый сейф в бан-

ке на Пятой авеню на свое собственное имя… Я отправлю туда вещи ровно в полдень. И помни, что я говорю тебе, Синти: если ты когда-нибудь услышишь, что деловой человек говорит о гражданских добродетелях, то смотри в оба.

Они едут по Четырнадцатой улице. Отец и дочь смотрят сквозь стекло на исхлестанные ветром лица пешеходов, ждущих на перекрестке возможности перейти улицу.

Джимми Херф зевнул и отодвинул стул. Никелевый блеск пишущей машинки утомлял глаза. Кончики пальцев ныли. Он приоткрыл дверь и заглянул в холодную спальню. Он едва мог разглядеть Элли, спавшую на кровати в алькове. В дальнем конце комнаты стояла колыбель ребенка. Чувствовался легкий молочно-кислый запах детского белья. Он прикрыл дверь и начал раздеваться. «Если бы хоть немного простору, — бормотал он. — Мы живем, как в клетке». Он стянул пыльное покрывало с дивана и вытащил из-под подушки пижаму. «Простор, простор, чистота, спокойствие…» Слова жестикулировали в его голове, словно он обращался к обширной аудитории.

Он погасил свет, приоткрыл окно и, одеревенев от жажды сна, бросился на кровать. И тотчас же

начал писать письмо на линотипе. «Вот я ложусь спать… Мать великих белых сумерек…» Рука линотипа была женской рукой в длинной белой перчатке. Сквозь стук машины голос Элли: «Не надо, не надо, не надо, ты делаешь мне больно!» — «Мистер Херф, — говорит человек в халате, — вы портите машину, мы не сможем выпустить книгу, черт бы вас побрал!» Линотип — глотающий рот со сверкающими никелевыми зубами, глотает, крошит. Он проснулся, сел на кровати. Ему было холодно, зубы стучали. Он натянул одеяло и снова заснул. Когда он проснулся во второй раз, был день. Ему было тепло. Он был счастлив. Хлопья снега танцевали, медлили, кружились за высоким окном.

— Хелло, Джимпс, — сказала Элли, подходя к нему с подносом.

— Что случилось? Я умер, попал на небо?

— Нет, сегодня воскресенье… Я решила побаловать тебя… Я испекла булочки.

— Ты прелесть, Элли… Подожди немного, я встану и почищу зубы.

Он вернулся с вымытым лицом, в купальном халате. Ее рот дрогнул под его поцелуем.

— Еще только одиннадцать часов. Я выиграл целый час. А ты будешь пить кофе?

— Сейчас… Слушай, Джимпс, я хотела поговорить с тобой кое о чем. По-моему, нам нужно другое помещение. Ты теперь опять работаешь по ночам…

— Ты думаешь, нам нужно переехать?

— Нет. Я думала, может быть, ты найдешь где-нибудь поблизости еще одну комнату и будешь там ночевать. Тогда никто не будет беспокоить тебя по утрам.

— Но, Элли, мы никогда не будем видеться… Мы и теперь редко видимся.

— Правда, это ужасно… Но что же делать, если часы наших занятий не совпадают?

Из соседней комнаты послышался плач Марти: Джимми сидел на краю кровати, с пустой кофейной чашкой на коленях, и смотрел на свои голые ноги.

— Как хочешь, — сказал он грустно.

Желание схватить ее за руки, прижать ее к себе так чтобы ей стало больно, пронзило его, как ракета, и умерло. Она собрала кофейный прибор и вышла. Его губы знали ее губы, его руки знали, как умеют обвиваться руки, он знал рощу ее волос, он любил ее. Он долго сидел, глядя на свои ноги — тонкие, красноватые ноги со взбухшими синими жилами, с пальцами, искривленными

обувью, лестницами, тротуарами. На маленьких пальцах обеих ног были мозоли. Его глаза наполнились слезами от жалости к себе. Ребенок перестал плакать. Джимми пошел в ванную комнату и повернул кран.

— Виноват тот парень, Анна. Он приучил вас думать, что вы ни на что не способны… Он сделал вас фаталисткой.

— А что это такое?

— Это такой человек, который думает, что не стоит бороться; человек, который не верит в человеческий прогресс.

— Вы думаете, он такой человек?

— Во всяком случае, он скэб.[195] У этих южан нет никакого классового самосознания… Ведь он заставил вас прекратить взносы в союз.

— Мне надоело работать на швейной машине.

— Но вы могли бы заняться рукоделием и хорошо зарабатывать. Вы — наша… Я создам вам сносную жизнь. У вас будет приличная работа. Я никогда не позволил бы вам, как он, работать в танцевальном зале… Анна, мне ужасно больно видеть, как еврейская девушка гуляет с таким парнем.

---

195 Примечания: 195

Скэб — штрейкбрехер, человек, срывающий забастовку.

— Ну ладно. Он ушел, и у меня нет работы.

— Такие парни, как он, — злейшие враги рабочих. Они думают только о себе.

Они медленно идут по Второй авеню[196]. Туманный вечер. Он — рыжеволосый, худощавый, молодой еврей с бледными, впалыми щеками. У него кривые ноги швейника. Анне жмут туфли. У нее синие круги под глазами. В тумане бродят кучки людей, говорящих по-еврейски, по-русски, по-английски с неправильным акцентом. Теплые потоки света из гастрономических магазинов и киосков с прохладительными напитками отсвечивают на тротуарах.

— Если бы я не чувствовала себя все время такой усталой, — бормочет Анна.

— Зайдем сюда, выпьем что-нибудь. Выпейте стакан сливок, Анна. Это вам будет полезно.

— Мне не хочется сливок, Элмер. Я лучше возьму содовой воды с шоколадом.

— Будет еще хуже… Впрочем, берите, если вам хочется.

Она садится на высокий никелированный стул. Он стоит рядом с ней. Она слегка откидывается назад и прислоняется к нему.

---

196 Примечания: 196

Вторая авеню находится в районе Лоуэр Ист-Сайд.

— Все горе рабочих в том… — Он говорит тихим, чужим голосом. — Все горе рабочих в том, что мы ничего не знаем… Мы не. знаем, как нужно есть, не знаем, как нужно жить, не знаем, как защищать наши права… Да, Анна, я хочу заставить вас думать обо всем этом так же, как думаю я. Вы понимаете — мы в самой гуще сражения, совсем как на войне.

Длинной ложечкой Анна вылавливает кусочки мороженого из густой пенистой жидкости в стакане.

Джордж Болдуин смотрел на себя в зеркало, моя руки в маленькой комнате за кабинетом. Его все еще густые волосы были почти совсем седы. От углов рта к подбородку тянулись глубокие складки. Под яркими, острыми глазами кожа висела мешками. Он медленно и тщательно вытер руки, достал из жилетного кармана коробочку с пилюлями стрихнина, проглотил одну из них и, почувствовав желанное возбуждение, вернулся в контору. Мальчик-рассыльный вертелся около его стола с карточкой в руке.

— Вас хочет видеть дама, сэр.

— Ей назначено прийти? Спросите мисс Рэнк… Нет, подождите минутку. Проведите даму прямо ко мне.

На карточке было написано «Нелли Линих-эм Мак-Нийл». Нелли была одета очень богато: на ней была масса кружев и широкое меховое манто, на шее висела лорнетка на аметистовой цепочке.

— Гэс просил меня зайти к вам, — сказала она, садясь на предложенный ей стул.

— Чем могу быть полезным? — Его сердце почему-то сильно билось.

Она посмотрела на него в лорнет.

— Джордж, вы переносите это лучше, чем Гэс.

— Что именно?

— Да все это… Я стараюсь уговорить Гэса поехать со мной за границу… Мариенбад или что-нибудь в этом роде… Но он, говорит, так влез, что теперь уже не может просто вылезти.

— Я думаю, что это относится ко всем нам, — сказал Болдуин, холодно улыбаясь.

Они на минуту замолкли; потом Нелли Мак-Нийл встала.

— Слушайте, Джордж… Гэс ужасно волнуется. Вы знаете, что он всегда готов постоять за своих друзей и требует от них того же.

— Никто не может сказать, что я не постоял за него… Все дело просто в том, что я не политический деятель и сделал, по-видимому, большую

глупость, приняв предложенную мне должность. А теперь я уже должен действовать на основании закона, вне партийных симпатий.

— Джордж, это еще не все, вы сами знаете.

— Скажите ему, что я всегда был и буду ему преданным другом… Он это отлично знает. Во всей этой истории я дал себе слово бороться с тем элементом, с которым Гэс имел неосторожность спутаться.

— Вы прекрасный оратор, Джордж Болдуин. Вы всегда им были.

Болдуин побагровел. Они стояли неподвижно друг против друга у двери кабинета. Его рука лежала на дверной ручке, как парализованная. За окном, на лесах строящегося здания, оглушительно стучали молотки клепальщиков.

— Надеюсь, ваша семья в добром здравии? — сказал он наконец с усилием.

— Да, все чувствуют себя прекрасно, благодарю вас… До свиданья. — Она вышла.

Болдуин минуту стоял у окна, глядя на серое здание с черными окнами напротив. «Глупо так возбуждаться по пустякам. Надо развлечься». Он снял с гвоздя шляпу, пальто и вышел.

— Джонас, — сказал он сидевшему в библиотеке человеку с круглой, лысой, похожей на тыкву

головой, — принесите мне на дом все бумаги, что лежат у меня на столе... Я просмотрю их сегодня вечером.

— Слушаюсь, сэр.

Когда он вышел на Бродвей, то почувствовал себя мальчиком, играющим в хоккей. День был зимний, сверкающий, с быстрыми сменами солнца и туч. Он вскочил в такси, откинулся на сиденье и задремал. На Сорок второй улице он проснулся. Все сплелось в хаос ярких, пересекающихся плоскостей, цветов, лиц, ног, витрин, трамваев, автомобилей. Он выпрямился, положил руки в перчатках на колени, дрожа от возбуждения. Перед домом, где жила Невада, он расплатился с такси. Шофер был негр и, получив на чай пятидесятицентовую монету, оскалил белоснежные зубы. Лифта не было. Болдуин, сам себе удивляясь, легко взбежал по ступеням. Он постучал в дверь Невады. Ответа не было. Он снова постучал — Невада осторожно приоткрыла дверь. Он увидел ее кудрявую пепельную головку. Он вбежал в комнату прежде, чем она успела остановить его. На ней было только кимоно поверх розовой рубашки.

— Господи, — сказала она, — я думала, что это прислуга.

Он сгреб ее и поцеловал.

— Не знаю почему, но я чувствую себя сегодня трехлетним младенцем.

— У вас такой вид, будто вас хватил солнечный удар. Вы же знаете — я не люблю, когда вы приходите, не предупредив по телефону.

— Не сердись, это в первый раз. — Вдруг Болдуин увидел на кушетке пару аккуратно сложенных темно-синих брюк. — Я ужасно чувствовал себя в конторе, Невада. Я думал, что приду к тебе, поболтаю, отдохну немного.

— А я как раз репетировала танцы под патефон.

— А, это очень интересно… — Он зашагал по комнате вприпрыжку. — Слушай, Невада… Нам надо поговорить. Мне все равно, кто у тебя сидит в спальне.

Она посмотрела ему в лицо и села на кушетку рядом с брюками.

— В сущности, я уже давно знаю, что ты путаешься с Тони Хентером.

Она сжала губы и скрестила ноги.

— По правде сказать, эта история с его хождением к психоаналитику и двадцатью пятью долларами за часовой сеанс меня только забавляла… Но теперь я решил, что с меня достаточно…

Вполне достаточно!

— Джордж, вы сумасшедший, — заикаясь, произнесла она и вдруг начала смеяться.

— Вот что я намерен сделать, — продолжал Болдуин ясным, официальным голосом. — Я пришлю вам чек на пятьсот долларов, потому что вы славная девочка и я люблю вас. За квартиру заплачено до первого числа. Это вас устраивает? И покорнейше прошу вас не пытаться возобновлять со мной какие бы то ни было отношения.

Она каталась по кушетке в припадке смеха и мяла аккуратно сложенные синие брюки. Болдуин махнул шляпой и перчатками и вышел, очень мягко прикрыв за собой дверь. «Благополучно отделался», — сказал он себе, осторожно прикрывая за собой дверь.

Очутившись на улице, он направился в центр города. Он чувствовал себя возбужденным и разговорчивым. Он не знал, к кому пойти. Перебирая в памяти имена друзей, он пришел в отчаяние. Он почувствовал себя одиноким и покинутым. Ему захотелось поговорить с женщиной, чтобы ей стало жалко его, его опустошенной жизни. Он зашел в табачный магазин и стал просматривать телефонную книжку. Легкий трепет пробежал по его телу, когда он дошел до буквы «Х». Наконец

он нашел фамилию — Херф, Елена Оглторп.

Невада Джонс долго сидела на кушетке, истерически смеясь. Наконец из спальни вышел Тони Хентер в рубашке и кальсонах, с галстуком, тщательно завязанным бабочкой.

— Ушел?

— Ушел, ушел навсегда! — взвизгнула она. — Он увидел твои проклятые брюки.

Он опустился на стул.

— Господи, я самый несчастный человек на свете!

— Почему? — Она захлебывалась смехом, слезы текли по ее лицу.

— Все пропало… Пропала служба в театре.

— И мне, стало быть, опять надо жить на три доллара в день… Плевать! Мне всегда была противна роль содержанки.

— Но ты не думаешь о моей карьере… Женщины так эгоистичны! Если бы ты не соблазнила меня…

— Замолчи, дурачок! Ты думаешь, я не знаю про тебя все? — Она встала и запахнула кимоно.

— Я так долго ждал случая показать себя. А теперь все пропало! — стонал Тони.

— Ничего не пропало, если ты будешь делать то, что я тебе скажу. Я решила сделать из тебя че-

ловека, глупыш, и сделаю. Мы придумаем сценку и будем играть. Старик Хиршбейн устроит нас. Он, кажется, чуточку влюблен в меня… Иди сюда, а то я тебя побью. Давай подумаем… Мы начнем с танцевального антре… Потом ты сделаешь вид, что пристаешь ко мне, понимаешь?.. А я жду трамвая… а ты подходишь и говоришь: «Здравствуйте, деточка»… А я зову полисмена…

— В длину достаточно, сэр? — спросил закройщик, делая мелком отметки на брюках.

Джеймс Меривейл посмотрел вниз на маленькую лысую голову закройщика и на широкие коричневые брюки, свободно спадавшие на ботинки.

— Немного покороче… По-моему, длинные брюки старят.

— Хелло, Меривейл! Я не знал, что вы тоже шьете у Брука. Рад видеть вас.

Кровь застыла в жилах Меривейла. Он смотрел прямо в голубые глаза Джека Канингхэма — глаза алкоголика. Он закусил губы и, не говоря ни слова, пытался придать себе строгий и холодный вид.

— Ай-ай-ай! Знаете, что случилось? — воскликнул Канингхэм. — Мы шьем себе одинаковые костюмы… абсолютно одинаковые.

Меривейл удивленно смотрел то на коричневые брюки Канингхэма, то на свои собственные: тот же самый цвет, та же тонкая красная полоска, те же едва заметные зеленые крапинки.

— Слушайте, два будущих шурина не могут носить одинаковые костюмы. Люди подумают, что это форма… Это смешно!

— Но что же нам теперь делать? — ворчливо спросил Меривейл.

— Бросим жребий, посмотрим, кому достанется костюм — вот и все. Дайте-ка мне четвертак, — повернулся Канингхэм к закройщику. — Так… Ну, говорите.

— Решка, — машинально произнес Меривейл.

— Костюм ваш… Придется мне выбирать другой… Как я рад, что мы встретились… Слушайте, — кричал он из занавешенной кабинки, — отчего бы вам сегодня не пообедать со мной в «Салмагунди-клубе»? Я буду обедать с единственным человеком на свете, который еще больше помешан на гидропланах, чем я… со стариком Перкинсом! Вы его знаете, он один из вице-президентов нашего банка… И вот еще что — когда вы увидите Мэзи, скажите ей, что я завтра буду у нее. Ряд непредвиденных событий помешал мне написать ей… У меня буквально не было ни

минуты свободной. Я вам потом расскажу.

Меривейл откашлялся.

— Хорошо, — сказал он сухо.

— Все в порядке, сэр, — сказал закройщик, легонько хлопнув Меривейла по спине.

Меривейл ушел в кабинку и стал переодеваться.

— Ну, дружище, — заорал Канингхэм, — я буду выбирать другой костюм!.. Жду вас в семь.

Руки Меривейла дрожали, когда он застегивал ремень. «Перкинс, Джек Канингхэм, проклятый шантажист, гидропланы, Джек Канингхэм, Салмагунди, Перкинс». Он пошел в телефонную будку в углу магазина и вызвал мать.

— Хелло, мама… Я сегодня не буду обедать дома… Я обедаю с Рандольфом Перкинсом в «Салмагунди-клубе»… Да, это очень приятно… О, мы с ним всегда были в прекрасных отношениях… Да, да, это очень важно… Надо дружить с людьми, стоящими выше тебя… Я видел Джека Канингхэма. Я выложил ему все напрямик, он был страшно смущен. Он обещал все объяснить в течение двадцати четырех часов… Нет, я был очень сдержан. Я помнил, что надо сдерживаться ради Мэзи. Я уверен, что он шантажист, но пока нет доказательств… Ну, спокойной ночи, дорогая. Я, должно

быть, приеду поздно… Нет, нет, пожалуйста не жди. Скажи Мэзи, чтоб она не беспокоилась, я расскажу ей все подробно. Спокойной ночи, мама.

Они сидели за маленьким столиком в глубине слабо освещенного кафе. Абажур на лампе срезал верхнюю часть их лиц. Эллен была в ярко-синем платье и маленькой синей шляпке с зеленой отделкой. У Рут Принн было под уличным гримом грустное, утомленное лицо.

— Элайн, вы должны пойти, — говорила она хнычущим голосом. — Там будет Касси, будет Оглторп, вся старая компания… Если вы и имеете успех в журнальном деле, то это еще не резон пренебрегать старыми друзьями. Вы не знаете, как много мы говорим о вас, как мы вами восхищаемся.

— Видите ли, Рут, я просто терпеть не могу большие сборища. Вероятно, это признак старости. Впрочем, я заеду на минутку.

Рут отложила сандвич, который она грызла, и нежно погладила руку Эллен.

— Я была уверена, что вы пойдете.

— Но, Рут, вы мне ничего не рассказали о летнем турне.

— Господи! — разразилась Рут. — Это было ужасно. Содом, сущий содом! Во-первых, муж

Изабель Клайд, Ральф Нелтон, наш режиссер, оказался алкоголиком… А потом, прелестная Изабель не позволяла ни одной мало-мальски приличной актрисе выходить на сцену — она боялась, что публика не разберет, кто премьерша. Просто не хочется рассказывать… Это вовсе не смешно, это трагично… Ах, Элайн, я падаю духом. Я старею, моя дорогая. — Она вдруг расплакалась.

— Не надо, Рут, — тихо и твердо сказала Эллен; она рассмеялась: — В конце концов, никто из нас не молодеет.

— Вы не понимаете, дорогая… Вы никогда не поймете…

Они долго сидели молча, обрывки тихих разговоров доносились к ним из других углов сумрачного зала. Светловолосая кельнерша подала им две порции фруктового компота.

— Уже поздно, должно быть, — нерешительно сказала Рут.

— Еще только половина девятого… Не стоит приходить слишком рано.

— Кстати… как поживает Джимми Херф? Я целую вечность не видала его.

— Джимпс чувствует себя очень хорошо… Но ему ужасно надоело работать в газете. Я бы хотела, чтобы он занялся чем-нибудь, что ему

действительно по душе.

— Он никогда не успокоится. Ах, Элайн, я была так счастлива, когда узнала, что вы поженились. Я вела себя как дура. Плакала, плакала… Вы, должно быть, ужасно счастливы, особенно после рождения Мартина.

— Да, ничего… Мартин растет… Нью-Йорк, видимо, действует на него хорошо. Он все время был такой спокойный и толстый, мы просто боялись, что у нас родился идиот. Знаете, Рут, я думаю, что у меня больше не будет детей… Я так боялась, что ребенок будет урод или что-нибудь в этом роде… Я прихожу в ужас при одной мысли…

— А все-таки это, должно быть, замечательно.

Они позвонили в звонок под маленькой медной дощечкой, на которой было написано «Пластические танцы». Они поднялись на третий этаж по скрипучим, свежеокрашенным ступеням. На пороге переполненной комнаты они встретили Кассандру Вилкинс в греческой тунике, в венке из поддельных роз и с золоченой деревянной свирелью в руках.

— Ах, довогие мои! — воскликнула она и сразу обняла обеих. — Эстер сказала, что вы не пвиедете, но я знала, что вы будете… Входите, ваздевайтесь, мы начинаем вечев с витмических

танцев.

Они вошли вслед за ней в длинную, освещенную свечами, пахнущую ладаном комнату, набитую мужчинами и женщинами в туниках.

— Дорогая моя, вы не сказали нам, что у вас будет костюмированный бал.

— Ах, да. Вы видите — тут все гвеческое, абсолютно гвеческое… А вот и Эстев… Эстев, вы знакомы с Вут. А это — Элайн Оглтовп.

— Моя фамилия теперь Херф, Касси.

— Ах, пвостите, так твудно уследить… Вы как ваз вовремя. Эстев будет танцевать восточный танец — «Витмы тысячи и одной ночи»… Это ужасно квасиво!

Когда Эллен вышла из спальни, где она оставила свое манто, к ней подошел высокий мужчина в египетской прическе, с рыжими бровями дугой.

— Позвольте приветствовать Елену Херф, знаменитую редакторшу «Мэннерс», журнала изысканной жизни.

— Джоджо, ты вечно меня дразнишь!.. Я страшно рада тебя видеть.

— Пройдем в укромный уголок и поговорим, о единственная женщина, которую я когда-либо любил…

— Пойдем… Мне тут не очень нравится.

— Ты слыхала, дорогая моя, что Тони Хентер выправлял свою половую жизнь у психоаналитика, сублимировался и теперь разыгрывает водевили с некой женщиной, по имени Калифорния Джонс?

— Лучше смотри, что тут делается, Джоджо.

Они сели на кушетку в оконной нише. Краем глаза она видела, как танцевала девушка в зеленых шелковых покрывалах. Граммофон играл симфонию Сезара Франка.

— Смотри, не пропусти танцев Касси. Бедняжка будет ужасно обижена.

— Джоджо, расскажи мне про себя. Как ты жил?

Он покачал головой и махнул рукой.

— «Поговорим о горестных вещах, о смерти королей…»

— Ах, Джоджо, меня от всего этого тошнит… Глупо и безвкусно… Зачем меня заставили снять шляпу?

— Это, вероятно, для того, чтобы я мог любоваться запретной рощей твоих волос.

— Джоджо, перестань болтать глупости.

— Как поживает твой муж, Элайн, или, вернее, Елена?

— Очень хорошо.

— Ты это говоришь без особого энтузиазма.

— Мартин — прелесть! У него черные волосы, карие глаза и розовые щеки. И он очень умный.

— Дорогая, избавь меня от демонстрации материнских чувств. Ты мне еще в следующий раз будешь рассказывать, как ты его возила на выставку.

Она рассмеялась:

— Джоджо, ужасно забавно видеть тебя опять!

— Я еще не закончил допроса, дорогая… Я недавно видел тебя в ресторане с неким чрезвычайно шикарным мужчиной с резкими чертами лица и седыми волосами.

— Должно быть, Джордж Болдуин… Да ведь ты был с ним когда-то знаком.

— Конечно, конечно. Как он изменился! Он выглядит гораздо интереснее, чем раньше… Должен признаться — довольно странно видеть жену большевика, пацифиста и рабочего агитатора в таком ресторане.

— Джимпс совсем не то, что ты предполагаешь. Я хотела бы, чтобы он был… — Она наморщила нос. — А знаешь, я порядком пресытилась всем этим…

— Я это подозревал, моя дорогая.

Мимо них с сосредоточенным видом проскольз-

нула Касси.

— Пожалуйста, помогите мне. Джоджо все время дразнит меня.

— Ховошо, я посижу с вами минутку. Я танцую следующим номевом… Мистев Оглтовп будет читать свой певевод «Песен Билитис», а я буду танцевать под них.

Эллен посмотрела на нее, потом на Джоджо. Тот поднял брови и кивнул.

Потом Эллен долго сидела одна, глядя на танцы и на журчащую, переполненную комнату. Пелена усталости застилала ей глаза.

Граммофон заиграл что-то турецкое. Эстер Вурис — костлявая женщина с копной крашеных, остриженных на уровне ушей волос — вышла, держа в руках сосуд с ладаном, предшествуемая двумя молодыми людьми, которые разворачивали перед ней ковер по мере того, как она приближалась. На ней были шелковые трусики, звенящий металлический пояс и масса браслетов. Все аплодировали и кричали:

— Замечательно! Восхитительно!

Вдруг из соседней комнаты послышались раздирающие женские вопли. Все вскочили. Толстый мужчина в котелке появился на пороге.

— Так-с… Девочки, пожалуйте в заднюю комна-

ту. Мужчины, оставайтесь здесь.

— Кто вы такой?

— Это неважно, кто я. Делайте то, что вам говорят. — Лицо у человека в котелке было красное, как морковь.

— Это сыщик!

— Возмутительное насилие… Пусть покажет значок!

— Налетчик!

— Обыск!

Внезапно комната наполнилась сыскными агентами. Они выстроились перед окнами. Человек в клетчатой кепке с лицом, как тыква, встал у камина. Женщин грубо выталкивали в соседнюю комнату. Мужчины сбились в кучу у дверей. Агенты записывали их имена. Эллен все еще сидела на кушетке.

— …жаловаться по телефону в штаб-квартиру… — услышала она чьи-то слова.

Она заметила, что на маленьком столике около кушетки стоит телефон. Она схватила трубку и тихо прошептала номер.

— Хелло, это канцелярия окружного прокурора?.. Попросите, пожалуйста, мистера Болдуина… Джордж?.. Какое счастье, что я нашла вас. Окружной прокурор там?.. Хорошо… Нет, нет, вы ему

сами расскажите… Произошла ужасная ошибка. Я у Эстер Вурис… Знаете, у нее балетная студия. Она демонстрировала новые танцы нескольким друзьям, а полиция по какому-то недоразумению явилась с обыском…

Человек в котелке подскочил к ней.

— Никакие телефоны вам не помогут… Марш в заднюю комнату!

— Я говорю с окружным прокурором. Поговорите с ним… Хелло, это мистер Уинтроп?.. Да… Здравствуйте. Пожалуйста, поговорите с этим человеком.

Она протянула сыщику трубку и вышла на середину комнаты. «Как жаль, что я сняла шляпу», — подумала она.

Из соседней комнаты доносились рыдания и актерский, крикливый голос Эстер Вурис:

— Это ужасная ошибка, это недоразумение… Не смейте меня оскорблять!

Сыщик повесил трубку. Он подошел к Эллен.

— Я должен извиниться перед вами, мисс… Нас ввели в заблуждение. Я немедленно уведу моих людей.

— Вы лучше извинитесь перед миссис Вурис… Это ее студия.

— Леди и джентльмены, — заговорил сыщик

громким, веселым голосом, — мы совершили небольшую ошибку… Мы очень огорчены… Но это всегда может случиться…

Эллен прошла в соседнюю комнату, чтобы взять шляпу и пальто. Она немного задержалась перед зеркалом, пудря нос. Когда она снова вернулась в студию, все говорили, перебивая друг друга. Мужчины и женщины стояли в простынях и халатах поверх легких театральных костюмов. Агенты исчезли так же внезапно, как появились. Оглторп шумно разглагольствовал, стоя в группе молодых людей.

— Мерзавцы… Нападать на женщин! — кричал он, весь красный, размахивая париком. — К счастью, я сдержал себя, иначе я наделал бы таких дел, что потом раскаивался бы до конца своих дней… Только величайшее самообладание помогло мне…

Эллен удалось незаметно выскользнуть, сбежать по ступенькам и выйти на грязную улицу. Она остановила такси и поехала домой. Сбросив манто, она тотчас же позвонила Джорджу Болдуину на дом.

— Хелло, Джордж, мне ужасно неприятно, что я обеспокоила вас и мистера Уинтропа. Но если бы вы за завтраком не сказали мне, что будете

весь вечер в канцелярии, нас бы теперь, наверно, уже везли в «черной Марии» в тюрьму… Конечно, это было смешно. Я как-нибудь расскажу вам, но теперь меня от всего этого тошнит… Ну да, от всего — от эстетики, от пластических танцев, от литературы, от радикализма, от психоанализа… Объелась, наверно… Да, вы правы, Джордж… Я, кажется, действительно становлюсь взрослой.

Ночь была сплошной глыбой черного, скрежещущего холода. Все еще ощущая запах типографской краски, все еще слыша стрекотание пишущих машинок, Джимми Херф стоял на площади перед ратушей, засунув руки в карманы, и смотрел, как оборванные люди в кепках, в шапках с наушниками сгребали снег. У молодых и старых были одинакового цвета лица, одинакового цвета одежда. Острый, как бритва, ветер резал ему уши и больно обжигал лоб и переносье.

— Хелло, Херф, хотите поработать? — спросил незаметно подошедший к нему бледный молодой человек.

Он указал на снежный сугроб.

— А почему бы и нет, Дэн? По-моему, это все-таки лучше, чем всю свою жизнь совать нос в чужие дела и в конце концов превратиться в ходячий диктограф.

— Летом это будет очень приятно… Куда направляетесь?

— Просто прогуливаюсь… Скверное настроение…

— Да вы замерзнете, дружище.

— Наплевать… Как это гнусно, когда у тебя нет никакой личной жизни, когда ты просто-напросто автоматическая пишущая машинка.

— Ну вот, а я не прочь избавиться хотя бы от частицы моей личной жизни… Спокойной ночи. Надеюсь, вы в конце концов найдете себе личную жизнь, Джимми.

Джимми Херф повернулся спиной к работавшим и пошел по Бродвею, наклонившись против ветра, запрятав подбородок в воротник пальто. На Хаустон-стрит он взглянул на часы: пять часов. Черт возьми, как поздно! Пожалуй, теперь негде достать выпивку. Он съежился при мысли о ледяных кварталах, которые ему еще оставалось пройти, прежде чем он доберется до своей комнаты. Время от времени он останавливался, чтобы растереть окоченевшие уши. Наконец он добрался до своей комнаты, зажег газовую печь и начал греться. У него была маленькая, четырехугольная, мрачная комната на южной стороне площади Вашингтона. Все ее убранство

состояло из кровати, стула, стола, заваленного книгами, и газовой печки. Немного согревшись, он достал из-под кровати бутылку рома в плетенке. Он налил воды в жестяную кружку, согрел ее на газовой печке и начал пить горячий ром пополам с водой. Внутри него бушевали безымянные агонии. Он чувствовал себя героем волшебной сказки, сердце которого было сковано железным обручем. Теперь этот обруч лопался.

Он допил ром. Временами комната начинала вертеться вокруг него торжественно и плавно. Вдруг он сказал вслух:

— Мне надо поговорить с ней… Мне надо поговорить с ней.

Он нахлобучил шляпу и надел пальто. На улице было приятно холодно. Шесть молочных фургонов продребезжали мимо один за другим.

На Двенадцатой улице две черные кошки охотились друг на друга. Вся улица была полна сумасшедшего воя. Он чувствовал, что в его голове сейчас что-то лопнет, что он вдруг упадет на четвереньки на застывшую мостовую и завоет диким кошачьим воем.

Он стоял, дрожа, в темном коридоре и не переставая звонил в звонок с надписью «Херф». Потом начал изо всех сил стучать. Эллен, закутанная в

зеленый халат, открыла дверь.

— Что случилось, Джимпс? Разве у тебя нет ключа?

Ее лицо было размягчено сном; счастливый, сладкий, уютный запах сна исходил от нее. Он заговорил, задыхаясь, сквозь стиснутые зубы:

— Элли, мне надо поговорить с тобой.

— Ты пьян, Джимпс?

— Да, но я все соображаю.

— Я ужасно хочу спать.

Он пошел за ней в ее спальню. Она сбросила туфли, скользнула в кровать и сидела, глядя на него заспанными глазами.

— Не говори слишком громко, разбудишь Мартина.

— Элли, я не знаю, почему мне всегда так трудно говорить с тобой… Я всегда должен выпить прежде, чем говорить… Скажи, ты больше не любишь меня?

— Ты знаешь, что я очень люблю тебя и всегда буду любить.

— Я говорю о настоящей любви. Ты знаешь, что я хочу сказать! — прервал он ее резко.

— Кажется, я вообще не способна долго любить кого-нибудь, пока он не умрет… Я скверный человек. Бесполезно об этом говорить.

— Я знал это. И ты знала, что я знаю. Господи, как все паршиво, Элли!

Она сидела, поджав ноги, обхватив руками колени, и смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Ты действительно так безумно любишь меня, Джимпс?

— Знаешь что, Элли, — разведемся, и дело с концом.

— Зачем торопиться, Джимпс?.. И, кроме всего прочего, есть еще Мартин. Как быть с ним?

— Я как-нибудь наскребу для него денег. Бедный малыш…

— Я зарабатываю больше тебя, Джимпс… Тебе это не придется делать.

— Знаю. Знаю. Разве я не знаю?

Они сидели молча и смотрели друг на друга. Их глаза загорелись от того, что они смотрели друг на друга. Джимми вдруг страшно захотелось заснуть, чтобы ничего не помнить, зарыться головой в темноту, как в колени матери, когда он был ребенком.

— Ну, я пойду домой. — Он сухо рассмеялся. — Кто мог думать, что все так кончится, а?

— Спокойной ночи, Джи-импс, — протянула она, зевая. — Ничего еще не кончилось… Если

бы мне только не хотелось так дико спать… Ты потушишь свет?

Он пробрался в темноте к двери. На улице уже начинало сереть арктическое утро. Он побежал домой. Ему хотелось лечь в кровать и уснуть до того, как станет светло.

Длинная низкая комната с длинными столами посредине. Столы завалены шелковыми и креповыми тканями, коричневыми, розовыми, изумрудно-зелеными. Запах перекушенных ниток и материй. Над столами — склоненные головы, каштановые, белокурые, черные — головы шьющих девушек. Рассыльные мальчики передвигают по комнате вешалки с готовыми платьями. Раздается звонок, и комната, точно птичник, наполняется шумом, разговорами и визгом.

Анна встает и потягивается.

— Ах, голова болит, — говорит она соседке.

— Опять не спала ночью?

Она кивает.

— Ты это брось, моя милая, а то испортишь себе цвет лица. Девушка не должна жечь свечу с обоих концов, как мужчина, — говорит соседка, тощая блондинка с кривым носом; она обнимает Анну. — Эх, мне бы хоть часть твоего веса!

— Я сама не прочь уступить тебе его, — говорит Анна. — Что я ни ем — все время полнею.

— И все-таки ты не толстая. Ты просто пухленькая. Тебя, должно быть, приятно потискать. Попробуй-ка носить мужской покрой платья — ты будешь чу́дно выглядеть.

— Мой дружок говорит, что ему нравится, когда девочка полненькая.

На лестнице они протискиваются сквозь кучку работниц, внимательно слушающих рыжеволосую девушку; та быстро рассказывает что-то, широко раскрывая рот и вращая глазами:

— Она жила как раз в соседнем квартале на Камерон-авеню, двадцать два тридцать. Она была в «Ипподроме» с подругами, и когда они возвращались, было уже поздно, а она пошла домой одна по Камерон-авеню, понимаете? На следующее утро родные хватились, начали искать — а она лежит на пустыре за рекламным щитом.

— Уже мертвая?

— Ну да… Какой-то негр изнасиловал ее, а потом задушил… Я ужасно боюсь. Я ходила вместе с ней в школу. Теперь, как только стемнеет, у нас ни одна девушка не выходит на улицу — все боятся.

— Да-да, я все это читала вчера вечером в газете. Подумайте только — жить рядом, в соседнем

квартале…

— Ты видел, я тронула локтем горбуна! — воскликнула Рози, когда они уселись в такси. — В вестибюле театра…

Он подтянул брюки, натянувшиеся на коленях.

— Это принесет нам счастье, Джек. Горбуны всегда помогают… Надо только притронуться к горбу… Ой, мне дурно! Как быстро едет такси.

Их подбросило вперед, автомобиль внезапно остановился.

— Боже мой, мы чуть не переехали мальчика.

Джек Силвермен погладил ее по колену.

— Бедная девочка, ты выглядишь совсем усталой.

Когда они подъехали к отелю, она дрожала и прятала лицо в воротник шубы. Они подошли к конторке, чтобы взять ключ, и клерк сказал Силвермену:

— Тут вас дожидается один джентльмен, сэр.

Плотный мужчина подошел к нему, вынимая сигару изо рта.

— Пройдите, пожалуйста, сюда на одну минутку, мистер Силвермен.

Рози показалось, что она теряет сознание. Она стояла совершенно неподвижно, точно окаменев, глубоко запрятав лицо в меховой воротник.

Они сели в кресла и начали разговаривать, сблизив головы. Шаг за шагом она подошла ближе и стала прислушиваться.

— Ордер… департамент юстиции… мошенничество…

Она не слышала, что отвечал Джек. Он все время кивал головой, как бы соглашаясь. Потом вдруг заговорил, мягко, улыбаясь:

— Я выслушал вас, мистер Роджерс… Теперь выслушайте вы меня. Если вы арестуете меня теперь, то я буду разорен. Множество людей, вложивших деньги в это предприятие, тоже разорятся… А через недельку я смогу ликвидировать дело с прибылью… Мистер Роджерс, я сильно пострадал из-за моей глупой доверчивости.

— Я ничего не могу сделать… Я обязан исполнить данное мне предписание… Боюсь, что мне придется произвести у вас обыск… У нас, видите ли, есть кое-какие детальки… — Он стряхнул пепел с сигары и начал читать монотонным голосом: — «Джэкоб Силвермен, он же Эдуард Февершэм, он же Симеон Арбэтнот, он же Джек Хинклей, он же Дж.—Дж. Голд…» Славный списочек… Мы основательно потрудились над вашим делом, если уж говорить откровенно.

Оба встали. Человек с сигарой кивнул головой

тощему человеку в кепи, читавшему газету в противоположном углу вестибюля.

Силвермен подошел к конторке.

— Меня вызывают по делу, — сказал он клерку. — Будьте добры, приготовьте счет. Миссис Силвермен пробудет у вас еще несколько дней.

Рози не могла говорить. Она последовала за тремя мужчинами в лифт.

— Искренне сожалею, мадам, — сказал тощий сыщик, прикоснувшись к козырьку кепи.

Силвермен открыл им дверь комнаты и старательно запер ее.

— Благодарю вас за вашу деликатность, джентльмены… от имени жены…

Рози сидела на стуле в углу комнаты. Она крепко прикусила язык, чтобы не тряслись губы.

— Мы понимаем, мистер Силвермен, что это не обычное уголовное дело.

— Не хотите ли выпить, джентльмены?

Оба покачали головой. Толстый закурил новую сигару.

— Ну, Майк, — сказал он тощему, — начните с шкафа и ящиков.

— Вы действуете согласно предписанию?

— Если бы мы действовали согласно предписанию, то мы должны были бы надеть на вас

наручники и арестовать вашу жену как соучастницу.

Рози сидела, крепко зажав ледяные руки между коленями, покачиваясь из стороны в сторону. Ее глаза были закрыты. Пока сыщики рылись в шкафу, Силвермен успел подойти к ней и положил ей руку на плечо. Она открыла глаза.

— Как только эти дьяволы уведут меня, телефонируй Шатцу и расскажи ему все. Поймай его во что бы то ни стало, если даже тебе придется разбудить весь Нью-Йорк. — Он говорил тихо и быстро, его губы едва двигались.

Почти тотчас же его увели. Агенты унесли полный портфель писем. Ее губы были еще влажны от его поцелуя. Она обводила мутным взглядом пустую, мертвенно тихую комнату. На лиловой промокательной бумаге, которой был покрыт стол, она заметила какую-то надпись. Это был его почерк, очень неразборчивый: «Продай все и держись. Ты славная девочка». Слезы потекли по ее щекам. Она долго сидела, уронив голову на стол, целуя надпись, нацарапанную карандашом на промокательной бумаге.

IV. Небоскреб

Безногий юноша остановился посередине тротуара на Четырнадцатой улице. На нем синий свитер и синяя вязаная шапка. Его устремленные вверх глаза все расширяются, пока кроме них ничего не остается на бумажно-белом лице. Плывет по небу дирижабль, блестящая фольговая сигара, затуманенная высотой, осторожно прокалывая вымытое дождем небо и мягкие облака. Безногий юноша застыл, опираясь на руки, посредине тротуара на Четырнадцатой улице. Среди шагающих ног, тощих ног, дрыгающих ног, ног в юбках, в брюках, в штанах по колено, он совершенно неподвижен, опираясь на руки, глядя вверх на дирижабль.

Безработный Джимми Херф вышел из Пулитцер-билдинг. Он стоял на углу подле кипы розовых газет, переводя дух и глядя на сверкающую иглу Вулворт-билдинг.

Был солнечный день, небо было голубое, как

яйцо реполова. Он повернул на север. По мере того как он удалялся, Вулворт-билдинг вытягивался, точно телескоп. Он шел на север, через город сверкающих окон, через город спутанных алфавитов, через город золоченых вывесок.

> «Цветет клейкая весна… Золотое изобилие, восторг в каждом глотке. Всеобщая Любимица, цветет клейкая весна». «Лучшее печенье в мире — „Принц Альберт“». «Прессованная сталь, медь, никель, чугун». «Весь мир любит естественную красоту. Распродажа у Гумпеля по самым низким ценам». «Сохраняйте девичью фигуру»… «ДЖО КИСС, стартеры, генераторы, осветительные принадлежности».

Все заставляло его смеяться подавленным смешком. Было одиннадцать часов. Он не спал сегодня. Жизнь была перевернута вверх ногами, он был мухой, бродившей по потолку перевернутого города. У него нет работы, ему нечего делать — сегодня, завтра, послезавтра. Все, что не поднимается, — все падает, и не на недели, на месяцы. «Цветет клейкая весна»…

Он зашел в закусочную, заказал ветчину, яйца, кофе, гренки и ел со счастливым чувством, на-

слаждаясь каждым куском. Его мысли мчались, точно табун годовалых жеребят, обалдевших от солнца. За соседним столом монотонный голос дудел:

— А я говорю вам, что мы должны произвести чистку. Они были нашими прихожанами. Нам известна вся эта история. Ему советовали бросить ее. А он говорил: нет, я хочу посмотреть, что из этого выйдет.

Херф встал. Надо еще походить. Он вышел, чувствуя во рту вкус ветчины.

> Приняты экстренные меры для удовлетворения весеннего спроса.

«Господи, удовлетворить весенний спрос!..»

> В простой упаковке, сэр, но аромат у этого табака необычайный... СОКОНИ. Вкус во рту говорит больше, чем миллион слов.

Желтый карандаш с красным ободком. «Чем миллион слов», «чем миллион слов»...

— Ну-ка, давайте сюда ваш миллион... Держи его! Бен! — Бандиты, думая, что он мертв, оставили его на скамье в парке. Они напали на него, но

нашли при нем только миллион слов…

— Послушай, Джимпс, я устала от книжных разговоров, от пролетариата, неужели ты этого не понимаешь?

Золотое изобилие, весна.

У матери Дика Сноу была фабрика сапожных коробок. Фабрика лопнула. Дик перестал ходить в школу и гранил тротуары. Человек из киоска минеральных вод надоумил его. Он сделал два взноса за жемчужные сережки для черноволосой еврейской девушки с фигурой, как у мандолины. Они подстерегли банковского артельщика у станции воздушной дороги. Он застрял в турникете и повис на нем. Они скрылись с портфелем на «форде». Дик Сноу остался и выпускал заряд за зарядом в труп. В камере смертника он удовлетворил весенний спрос, написав поэму, посвященную матери; ее напечатали в «Ивнинг грэфик».[197]

С каждым глубоким вздохом Херф вдыхал грохот и скрип и размалеванные фразы, пока он не начал пухнуть, пока он не почувствовал себя громадным и зыбким, колышущимся, как столб

---

197 Примечания: 197

…Поэму…напечатали в «Ивнинг грэфик» — в этом эпизоде Дос Пассос использует реальный факт, когда стихи, сочиненные в тюрьме осужденным на казнь грабителем и убийцей Джозефом Даймондом, были напечатаны в «Нью-Йорк таймс».

дыма, над апрельскими улицами, заглядывающим в окна магазинов, пуговичных фабрик, меблированных домов, пока не почуял прели постельного белья, пока не услышал мягкого шипа стаканов, пока не вписал ругательных слов на пишущей машинке между пальцами машинистки, пока не перепутал всех прейскурантов в складах. Он шипел и пузырился, как содовая вода в сладком апрельском сиропе; земляника, сарсапарель,[198] шоколад, вишни, ваниль, пенились в мягком бензиново-синем воздухе. «А что, если я куплю револьвер и убью Элли? Удовлетворю ли я апрельский спрос, если, сидя в камере смертника, напишу поэму о моей матери для «Ивнинг грэфик»?»

Он съеживался, пока не стал маленьким, как пылинка, пока не пробрался через скалы и валуны в гудящих водосточных трубах, пока не вскарабкался на соломинки, утопая в озерах бензина, выплеснутого автомобилями.

Он сидел на Вашингтон-сквер, полуденно-розовом, и смотрел из-под арки на Пятую авеню. Лихорадка перестала трясти его. Он чувствовал прохладу и усталость. Другая весна. Бог зна-

---

198 Примечания: 198

Сарсапарель — лечебное растение, использовавшееся также как вкусовая добавка.

ет сколько весен тому назад, — тогда он шел с кладбища по голубой асфальтовой дороге, где чирикали воробьи, а на вывеске было написано «Йонкерс». «В Йонкерсе я похоронил мое детство, в Марселе, где ветер дул мне в лицо, я похоронил в гавани мою юность. Где, в каком месте Нью-Йорка я похороню мои двадцать лет? Может быть, они приговорены к высылке и уходят в море на пароме с пением «Интернационала»... Звуки «Интернационала» тают над водой, вздыхают в морском тумане».

ВЫСЫЛКА

...В том числе Джеймс Херф, молодой журналист, 190 Вест, Двенадцатая улица, двадцати с лишним лет от роду. Приговором судьи Меривейла все они переведены на Эллис-Айленд на предмет высылки в качестве нежелательных иностранцев. Четверо младших — Саша, Михаил, Николай и Владимир — в свое время уже обвинялись в ряде уголовных преступлений и принадлежности к анархистам. Двое других — зарегистрированные бродяги. И наконец, еще трое — Билл, Тони и Джо — привлекались по различным

обвинениям, в том числе за избиение жены, поджоги, налеты и проституцию. Все арестованные, кроме того, признаны виновными в различных злоупотреблениях.

«Я признаю ваши показания сомнительными», — сказал судья, наливая себе стаканчик. Секретарь суда, готовивший старомодный коктейль, вдруг покрылся виноградными листьями, зал суда наполнился запахом цветущих гроздьев. Пресветлый Бутлегер взял быков за рога и осторожно повел их вниз по лестнице суда.

— Заседание суда откладывается по случаю икоты! — заорал судья, найдя джин в своей грелке.

Репортеры обнаружили мэра — задрапированный в леопардовую шкуру, он стоял в позе Гражданской Добродетели, попирая ногой Принцессу Фифи, исполнительницу восточных танцев. Ваш корреспондент глядел в окно Клуба Банкиров в обществе своего дяди, Джефферсона Т. Меривейла, известного клубмена, и двух обильно наперченных бараньих

котлет. Тем временем лакеи спешно организовали оркестр, использовав брюха Гозенхеймеров в качестве барабанов. Метрдотель блестяще исполнил «Мой старый дом в Кентукки», впервые заменив ксилофон гулкими лысыми головами директоров «Делаварской бензиновой компании». А между тем Пресветлый Бутлегер, в пурпурных кальсонах-трико и цилиндре с голубой ленточкой, вел быков по Бродвею в количестве двух миллионов трехсот сорока двух тысяч пятьсот одного. Добравшись до Спюйтен-Дюйвил,[199] они потонули, ряд за рядом, пытаясь доплыть до Йонкерса.

«А я сижу здесь, — думал Джимми Херф, — и жажда печати горит во мне, как горчичник. Я сижу здесь, в оспинах печати». Он встал. Маленькая желтая собачка спала, свернувшись клубком под скамейкой. Маленькая желтая собачка выглядела очень счастливой.

— Мне нужно хорошенько выспаться, — сказал Джимми вслух.

---

199 Примечания: 199

Спюйтен-Дюйвил — старинное датское название места, где сливаются реки Гудзон и Гарлем на северной границе Манхэттена и Бронкса.

— Что ты будешь делать с этой штукой, Дэтч? Ты ее продашь?

— Фрэнси, я не продам этого револьвера и за миллион долларов.

— Ради Бога, не говори о деньгах!.. Вот ты увидишь, какой-нибудь фараон заметит револьвер и арестует тебя.

— Еще не родился тот фараон, который арестует меня… Пожалуйста, забудь об этом.

Фрэнси захныкала:

— Дэтч, что мы делаем, что мы делаем…

Дэтч вдруг засунул револьвер в карман и вскочил. Он шагал вприпрыжку взад и вперед по асфальтовой дорожке. Был туманный серый вечер; летевшие по грязной дороге автомобили образовали бесконечную, переплетающуюся, мигающую паутину огней между скелетами кустов.

— Послушай, ты раздражаешь меня своим хныканьем… Перестань, пожалуйста! — Он снова сел рядом с ней и надулся. — Мне показалось, что в кустах кто-то есть… Этот проклятый парк полон сыщиков… В этом городе никуда нельзя пойти, чтобы за тобой не следили.

— Мне было бы все равно, если бы я не чувствовала себя так погано. Я ничего не могу есть — меня сейчас же тошнит. И я все время боюсь, что дру-

гие девушки заметят…

— Я же говорил тебе, что я все улажу. Я тебе обещаю — я все улажу через несколько дней… Мы уедем и обвенчаемся. Мы поедем на Юг… Я уверен, что в других городах есть сколько угодно работы… Мне холодно, пойдем отсюда.

— Ах, Дэтч, — устало сказала Фрэнси, идя рядом с ним по мокрой, блестящей асфальтовой дорожке. — Ты действительно думаешь, что для нас опять настанут хорошие дни?

— Сейчас нам паршиво, но это не значит, что нам всегда будет плохо. Мало ли что! Я, например, побывал на фронте в газовой атаке… Я за эти последние дни кое-что придумал.

— Дэтч, если тебя арестуют, мне останется только броситься в реку.

— Я же сказал тебе, что меня не арестуют.

Миссис Коген, горбатая старуха с коричневым и пятнистым, как печеное яблоко, лицом стоит у кухонного стола, сложив узловатые руки на животе. Она раскачивается всем туловищем и монотонно ругает по-еврейски Анну, сидящую с осовелыми, заспанными глазами над чашкой кофе.

— Хоть бы ты умерла маленькой! Хоть бы ты родилась мертвой… Ой, для чего я родила четырех

детей? Для того, чтобы они все были негодяями, агитаторами, лодырями и бродягами?.. Бенни уже два раза сидел в тюрьме, Сол — Бог знает где и что делает, Сарра, проклятая девчонка, дрыгает ногами в театре, а ты, чтоб тебе с места не сойти, бесстыдница этакая, пикетируешь с бастующими швейниками, шляешься по улицам с плакатами на спине!

Анна обмакнула кусок хлеба в кофе и сунула его в рот.

— Ах, мама, ты не понимаешь, — говорит она с полным ртом.

— Что понимать? Распутство понимать?.. Ой, почему ты не занимаешься своим делом, почему ты не держишь язык за зубами, почему ты не зарабатываешь, как все люди? Ты раньше зарабатывала хорошие деньги и могла бы выйти замуж за приличного человека… А теперь ты начала бегать по танцулькам с гоем… Ой, ой, вот для чего я растила на старости лет дочерей — чтобы ни один порядочный человек не хотел на них жениться…

Анна встала.

— Это не твое дело! — взвизгнула она. — Я аккуратно плачу свою долю за квартиру. Ты думаешь, девушка ни на что больше не годна, как только

быть рабой и всю жизнь сохнуть над работой?.. А я думаю иначе — поняла? Не смей больше ругаться...

— Ты дерзишь старухе матери? Если бы Соломон был жив, он бы отколотил тебя. Лучше бы ты родилась мертвой, чем ругать свою мать, как гойка![200] Убирайся вон отсюда, не то я тебя прокляну!

— И уйду! — Анна пробежала узким, заставленным сундуками коридором в свою спальню и бросилась на кровать.

Ее щеки горели. Она лежала неподвижно, стараясь думать. Из кухни доносились монотонные рыдания старухи.

Анна села на кровать. Она увидела в зеркале напротив напряженное, заплаканное лицо и сбившиеся волосы.

— Боже мой, ну и вид, — вздохнула она.

Когда она встала, то задела каблуком за оборку платья. Платье с треском разорвалось. Анна сидела на кровати и плакала, плакала. Потом стала зашивать платье маленькими, аккуратными стежками. Шитье успокоило ее. Она надела шляпу, сильно напудрила нос, слегка подкрасила

---

200 Примечания: 200

Гой, гойка — в национальном религиозном еврейском быту — название нееврея, преимущественно христианина.

губы, накинула пальто и вышла. Апрель расцветил улицы неожиданными красками. Сладкая, сладострастная свежесть исходила от тележки, полной ананасов. На углу она увидела Розу Сегал и Лилиан Даймонд; они пили кока-колу у киоска.

— Анна, выпей с нами, — позвали они.

— Если вы заплатите… У меня нет ни гроша.

— Почему? Разве ты не получила вспомоществования за забастовку?

— Я все отдала старухе… Все равно ничего не помогает. Все так же ругается целый день. Она слишком старая.

— А ты слыхала — вооруженные люди ворвались в лавку к Айку Голдстейну и разнесли ее вдребезги. Расколотили все молотками, а сам Айк остался лежать без чувств на куче готового платья.

— Ужас!

— Поделом ему.

— Нельзя так портить чужую собственность. Мы этим зарабатываем себе кусок хлеба, так же, как и он.

— Хорошенькое житье!.. Я от него помирать собираюсь, — сказала Анна, со звоном ставя пустой стакан на прилавок.

— Легче, легче, — сказал человек в киоске. — Осторожнее с посудой.

— Но хуже всего то, — продолжала Роза Сегал, — что пока они орудовали у Голдстейна, из окна вылетел болт, летел вниз девять этажей и убил на месте проезжавшего на машине пожарного.

— Чего ради они это сделали?

— Наверно, кто-нибудь бросил в кого-нибудь болтом, а болт вылетел из окна.

— И убил пожарного.

Анна увидела Элмера. Он подходил к ней. Его тонкое лицо было вытянуто вперед. Руки засунуты в карманы потертого пальто. Она оставила подруг и пошла к нему навстречу.

— Ты шел к нам? Не надо, старуха так ругается, что прямо ужас… Хорошо бы поместить ее в богадельню. Мне больше невтерпеж.

— Ну пойдем, посидим в парке, — сказал Элмер. — Чувствуешь весну?

Анна искоса взглянула на него.

— Чувствую ли я весну? Ах, Элмер, я бы хотела, чтобы скорее кончилась эта забастовка… Я схожу с ума от безделья.

— Анна, забастовка имеет огромное значение для рабочих. Она — университет рабочих. Она дает нам возможность учиться, читать, ходить в

публичную библиотеку.

— Но ведь ты сам говоришь, что она вот-вот кончится. И какая вообще польза от чтения?

— Чем лучше человек образован, тем больше пользы приносит он своему классу.

Они сели на скамейку спиной к детской площадке. Небо над их головами сверкало перламутровыми отблесками заката. Грязные дети вопили и дрались на асфальтовых дорожках.

— Ах, — сказала Анна, глядя на небо, — мне бы хотелось, чтобы у меня было вечернее платье, а у тебя — фрак, и чтобы мы пошли в шикарный ресторан, в театр и вообще…

— Если бы мы жили при другом строе, у нас бы все это было. После революции рабочим будет житься хорошо.

— Но, Элмер, к чему все это, если мы тогда будем старые и нудные, как моя мать?

— У наших детей будет все.

Анна выпрямилась.

— У меня никогда не будет детей, — сказала она сквозь зубы, — никогда, никогда, никогда.

Алиса тронула его руку, когда они остановились перед витриной итальянской кондитерской. На каждом торте, украшенном яркими бумажными цветами и свирелями, стоял сахарный

пасхальный барашек.

— Джимми, — сказала она, поворачивая к нему свое маленькое овальное лицо с губами слишком красными, похожими на розы на тортах, — вы должны сделать что-нибудь с Роем… Он должен начать работать. Я сойду с ума, если он и дальше будет сидеть дома и читать газеты… У него такое ужасное выражение лица… Вы знаете, что я хочу сказать… Он вас уважает.

— Но ведь он ищет работу.

— Он не так ищет, как надо, вы сами знаете.

— Он думает, что ищет как следует. Вероятно, у него ложное представление о себе… Но я самый неподходящий человек, чтобы говорить о работе.

— Да, я знаю. Говорят, вы бросили журналистику и начали писать книги.

Джимми поймал себя на том, что он глядел в ее большие карие глаза, в глубине которых был блеск, подобный блеску воды в колодце. Он отвел глаза; спазм сдавил ему горло. Он закашлялся. Они пошли дальше по веселым, ярким улицам.

У двери ресторана они встретили Роя и Мартина Шифа; те их поджидали. Они прошли в длинный зал, заставленный столами, между двумя зелено-синими видами Неаполитанского

залива. Воздух был пропитан запахом пармезана, табачного дыма и томатного соуса. Алиса села и скривила лицо.

— Я хочу коктейль. И поскорее.

— Я, должно быть, простак, — сказал Херф, — но эти лодки, прыгающие на волнах перед Везувием, всегда вызывают во мне желание куда-нибудь поехать… Я думаю, что через несколько недель я уеду отсюда.

— Куда вы поедете, Джимми? — спросил Рой. — Опять что-нибудь новое?

— А что скажет Елена? — вставила Алиса.

Херф покраснел.

— А почему она должна сказать что-нибудь? — спросил он резко. — И что тут особенного? — сказал он чуть погодя.

— Никто из нас не знает, чего он хочет! — выпалил Мартин. — Поэтому наше поколение такое ничтожное.

— Я понемногу начинаю понимать, чего мне не хочется, — спокойно сказал Херф. — По крайней мере у меня теперь хватает смелости признаться себе, до какой степени мне противно то, чего я не хочу.

— Это удивительно! — воскликнула Алиса. — Отказаться от карьеры ради какого-то идеала.

— Извините меня, — сказал Херф, отодвигая стул.

В уборной он посмотрел на себя в зыбкое зеркало.

— Не болтай, — прошептал он. — То, о чем ты будешь болтать, ты никогда не исполнишь.

У него было пьяное лицо. Он набрал в ладони воды и сполоснул лицо. За столом рассмеялись, когда он сел на место.

— За здоровье странника! — воскликнул Рой.

Алиса ела сыр с ломтиками груши.

— Это, вероятно, захватывающе интересно, — сказала она.

— Рою скучно, — нарушил Мартин Шиф воцарившееся молчание; в табачном дыме ресторана его лицо с большими глазами в роговых очках плавало, точно рыба в мутном аквариуме.

— Я все думаю, куда бы мне завтра пойти поискать работу.

— Вы хотите работать? — мелодраматическим тоном произнес Мартин. — Вы хотите продать душу тому, кто больше заплатит?

— Если это все, что вы можете предложить… — усмехнулся Рой.

— Меня главным образом беспокоит, что я не буду высыпаться… Все-таки это гнусно — прода-

вать свою личность. В работу вкладываешь не свои способности, а свою личность.

— Проститутки — единственные честные люди…

— Помилуйте… Проститутка продает свою личность.

— Она только отдает ее внаем.

— Рою скучно… Всем скучно… Я нагоняю на вас тоску.

— Нет, нам очень весело, Мартин, — сказала Алиса. — Мы бы не сидели здесь, если бы нам было скучно, так ведь?.. Пусть Джимми расскажет нам, в какие таинственные путешествия он намерен отправиться.

— Нет, вы, наверно, говорите себе: какой он скучный человек, кому он нужен в обществе? У него нет денег, нет красивой жены, он не умеет красиво говорить, не играет на бирже. Ничтожество и обуза общества… Всякий артист — обуза.

— Это не так, Мартин… Вы болтаете вздор.

Мартин махнул рукой над столом. Два бокала опрокинулись. Лакей с испуганным лицом положил салфетку на красные пятна. Ничего не замечая, Мартин продолжал:

— Это все неискренне. Все, что вы говорите, — ложь. Вы не смеете обнажить вашу душу… Но вы

должны выслушать меня в последний раз… В последний раз, говорю я вам… Эй, лакей! Подойдите и вы тоже, наклонитесь и загляните в черную пропасть человеческой души. И Херфу скучно. Всем вам скучно. Вы — скучающие мухи, вы жужжите между оконными рамами. Вам кажется, что оконная рама, это — комната. Вы не знаете, что такое бездонная чернота внутри… Я очень пьян. Человек, еще бутылку!

— Попридержите коней, Мартин… Еще неизвестно, сможете ли вы оплатить счет… Нам больше ничего не нужно.

— Человек, еще бутылку вина!

— Можно подумать, что мы собираемся кутить всю ночь, — закряхтел Рой.

— Если понадобится, то я могу заплатить моим телом… Алиса, снимите маску… Вы под маской — прелестное, милое дитя… Подойдите со мной к краю пропасти… Ах, я слишком пьян, я не могу вам высказать все, что я чувствую.

Он снял свои очки в черепаховой оправе и сдавил их в кулаке. Стекла, сверкая, покатились по полу. Зевавший лакей нырнул за ними под стол.

Несколько секунд Мартин сидел, мигая. Остальные смотрели друг на друга. Потом он вскочил на ноги.

— Я вижу ваши надменные, чванные усмешки! Не удивительно, что у нас больше не может быть ни приличных обедов, ни приличных разговоров… Я должен доказать вам мою атавистическую искренность… — Он начал развязывать галстук.

— Послушайте, Мартин, дружище, успокойтесь, — твердил Рой.

— Не смейте останавливать меня. Я должен ринуться в бездну искренности… Я побегу на черную пристань Ист-ривер и брошусь в воду.

Херф выбежал за ним на улицу. На пороге Мартин сбросил с себя пиджак, а на углу — жилет.

— Черт возьми, он бежит, как олень! — задыхаясь и стукаясь плечами о плечо Херфа, говорил Рой.

Херф подобрал пиджак и жилет, взял их подмышку и вернулся в ресторан. Оба были бледны, когда сели на свои места рядом с Алисой.

— Неужели он действительно утопится? — все время спрашивала она.

— Нет, конечно, нет, — сказал Рой. — Он пойдет домой. Он решил разыграть нас, потому что мы все время высмеивали его.

— А что, если он действительно утопится?

— Это будет ужасно… Я очень люблю его. Мы назвали нашего ребенка в его честь, — сказал

Джимми угрюмо. — Но если он действительно чувствует себя таким несчастным, то какое право мы имеем останавливать его?

— Ах, Джимми, — вздохнула Алиса, — закажите кофе.

На улице прогудела, прогремела, проревела пожарная машина. Их руки были холодны. Они молча потягивали кофе.

Фрэнси вышла из двери вместе с шестичасовой толпой, стремившейся домой. Дэтч Робертсон поджидал ее. Он улыбался; на лице его играл румянец.

— Что такое, Дэтч, что это? — слова застряли у нее в горле.

— А разве тебе не нравится?

Они пошли по Четырнадцатой улице, поток лиц струился мимо них.

— Все в порядке, Фрэнси, — спокойно сказал он.

На нем было светло-серое весеннее пальто, светлая фетровая шляпа. Новые, остроносые, красные полуботинки сверкали.

— Как тебе нравится мой наряд? Я себе сказал: ни за что не стоит браться, пока ты не будешь прилично выглядеть.

— Но, Дэтч, откуда все это?

— Пощупал табачную лавку… Да, было дельце…

— Тсс, не говори так громко, кто-нибудь услышит.

— Никто не поймет, о чем я говорю.

Мистер Денш сидел в углу будуара Louis XIV у миссис Денш. Он сидел, скорчившись, на маленьком золоченом стуле с розовой спинкой. Его огромный живот покоился на коленях. Толстый нос и складки, тянувшиеся от носа к углам широкого рта, образовали два треугольника на его зеленом, помятом лице. Он держал в руках пачку телеграмм; сверху синяя расшифрованная бумажка: «Дефицит гамбургского отделения приблизительно 500 000 долларов. Подп. Гейнц». Куда он ни глядел, он всюду видел в маленькой комнате, наполненной блестящими безделушками, багровые буквы «приблизительно», плясавшие в воздухе. Потом он заметил, что горничная-мулатка в плоеном чепчике вошла в комнату и смотрит на него. Его взгляд упал на большую плоскую картонку, которую она держала в руках.

— Что это такое?

— Это для миссис, сэр.

— Дайте сюда. От Хиксона? И чего ради она покупает все новые и новые платья, вы можете мне

сказать? От Хиксона!.. Откройте... Если платье будет дорогое, я отошлю его обратно.

Горничная осторожно сняла папиросную бумагу. В картонке лежало бальное платье персикового и горохового цветов.

Мистер Денш с грохотом вскочил на ноги.

— Она, наверно, думает, что война еще продолжается... Скажите, что мы этого не примем. Скажите, что Денши тут не живут!

Горничная подхватила коробку, покачала головой и ушла, задрав нос. Мистер Денш уселся на маленький стул и опять углубился в телеграммы.

— Анни, Ан-ни-и-и! — раздался пронзительный голос из соседней комнаты.

Затем появилась голова в кружевном чепце в виде фригийского колпака, а за головой — крупное тело, кое-как покрытое халатом.

— Что такое, Денш? Что ты тут делаешь утром? Сейчас сюда придет парикмахер.

— Очень важное дело... Я только что получил телеграмму от Гейнца. Серена, дорогая моя, дела фирмы «Блэкхед и Денш» очень плохи в Америке и в Европе...

— Да, мадам, — раздался за его спиной голос горничной.

Он пожал плечами и подошел к окну. Он чувствовал себя усталым, больным и отяжелевшим. На велосипеде проехал мальчик рассыльный. Он смеялся, щеки у него были румяные. Денш увидел себя, почувствовал себя на мгновенье молодым и стройным, бегущим без шапки по Пайн-стрит[201] много лет тому назад, глядящим искоса на женские ножки. Он отошел от окна. Горничная ушла.

— Серена, — начал он, — неужели ты не можешь понять весь ужас положения?.. Цены на бобы упали… Полный крах… Разорение… Понимаешь, разорение!

— Ну хорошо, мой дорогой, но причем же тут я?

— Надо экономить. Понимаешь, цены на каучук тоже упали… Это платье от Хиксона…

— Вот это мило! Ты хочешь, чтобы я выглядела на балу у Блэкхеда как сельская учительница, да?

Мистер Денш закряхтел и покачал головой.

— Ах, ты не хочешь понять… Наверно и бала-то никакого не будет… Слушай, Серена, что я тебе скажу… Я хочу, чтобы ты приготовила один че-

---

201 Примечания: 201

Пайн-стрит — улица в деловой части Нижнего Манхэттена, параллельная Уолл-стрит.

модан, — так, чтобы мы каждую минуту были готовы к отъезду. Мне нужен отдых. Я думаю поехать в Мариенбад полечиться… Тебе это тоже будет полезно.

Их взгляды вдруг встретились. Все маленькие морщинки на ее лице углубились; мешки под ее глазами были похожи на сморщенные воздушные шары. Он подошел к ней, положил руку ей на плечо и вытянул губы, чтобы поцеловать ее, но она внезапно вспыхнула.

— Я не хочу, чтобы ты совался в мои дела с портнихами… Не хочу, не хочу!

— Ну, поступай как знаешь…

Он вышел из комнаты, вобрав голову в широкие, обвислые плечи.

— Ан-ни-и-и!

— Да, мадам.

Горничная вернулась в комнату. Миссис Денш опустилась на маленькую софу. Ее лицо позеленело.

— Анни, пожалуйста, дайте мне нашатырный спирт и немного воды… И потом, Анни, позвоните к Хиксону и скажите, что платье отослано по ошибке… по ошибке дворецкого… и чтобы его немедленно прислали обратно — я его сегодня надену.

Погоня за счастьем, неотъемлемое право на жизнь, на свободу и… Черная безлунная ночь. Джимми Херф идет один по Саут-стрит.[202] За пакгаузами корабли вздымают в темную ночь свои зыбкие остовы.

— Честное слово, я отупел! — говорит он громко.

Все эти апрельские ночи, бродя в одиночестве по улицам, он чувствовал, что им завладел какой-то небоскреб — огромное здание, падающее на него с сумрачного неба всеми своими бесчисленными яркими окнами. Пишущие машинки сеют дождь никелевого конфетти в его уши. Кафешантанные певички улыбаются, кивают ему из окон. Элли в золотом платье, Элли из тонких золотых листочков, совсем как живая, кивает ему из каждого окна. И он бродит из квартала в квартал и ищет дверь жужжащего золотооконного небоскреба, из квартала в квартал — и двери все нет. Всякий раз, как он закрывает глаза, его бред завладевает им, всякий раз, как он останавливается и громко спорит с самим собой, произнося цветистые, глубокомысленные фразы, его бред завладевает им. «Молодые люди, чтобы сохранить

---

202 Примечания: 202
Саут-стрит — Южная улица.

ваше здоровье, вы должны сделать следующее… Скажите, пожалуйста, мистер, где тут вход? За углом? Сразу же за углом… Одна из двух неизбежных альтернатив: либо уходите, если вы в грязной мягкой рубашке, либо оставайтесь, если вы в чистом крахмальном воротничке. Но какой смысл проводить всю свою жизнь, бегая по Городу Разрушения? Что слышно о ваших неотъемлемых правах, тринадцать провинций?»[203] Его мозг разматывает фразы, он упрямо идет вперед. Ему никуда не хочется идти. «Если бы я еще мог верить в слова…»

— Здравствуйте, мистер Голдстейн, — весело пропел репортер, пожимая толстую руку, протянутую ему через прилавок табачного магазина. — Моя фамилия Брустер. Я даю хронику происшествий в «Новости».

Мистер Голдстейн был похож на гусеницу; у него был крючковатый нос на сером лице, по обеим сторонам которого совершенно неожиданно торчали розовые, настороженные уши. Он

---

203 Примечания: 203

Речь идет об английских колониях в Северной Америке, которые, объединившись, отстояли свою свободу и приняли Декларацию независимости в 1776 г., образовав Соединенные Штаты. Этими провинциями являлись Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавер, Мэриленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия.

подозрительно щурился на репортера.

— Может быть, вы будете так добры рассказать мне о… о происшествии, имевшем место прошлой ночью?

— Ничего я вам не расскажу, молодой человек. Вы напечатаете мой рассказ в газете, а потом у других мальчиков тоже появится желание ограбить меня.

— Напрасно вы так думаете, мистер Голдстейн. Будьте добры, дайте мне, пожалуйста, одну сигару… Гласность, мистер Голдстейн, по-моему, так же необходима, как вентиляция. Она освежает воздух.

Репортер отрезал кончик сигары, зажег ее и задумчиво посмотрел на мистера Голдстейна сквозь колечко голубого дыма.

— Видите ли, мистер Голдстейн, дело обстоит так, — начал он внушительно. — Нас это дело интересует с общественной точки зрения — вы понимаете? Сюда собирался заехать фотограф, чтобы снять вас. Держу пари, это увеличило бы на ближайшие несколько недель ваши доходы. Но, кажется, мне придется позвонить ему, чтобы он не приезжал.

— Так вот, видите ли, — начал мистер Голдстейн отрывисто, — этот негодяй был еще

молодой парень… Хорошо одет, новое весеннее пальто и все такое… Входит и просит коробку папирос… Славный, говорит, вечер, открывает коробку, достает папиросу, закуривает. Тогда я замечаю, что у девушки, которая вошла вместе с ним, лицо закрыто вуалью.

— Значит, волосы у нее были не стриженые?

— Я видел только траурную вуаль. А потом она сразу зашла за прилавок, ткнула мне в бок револьвер и начала говорить… Знаете, такой детский лепет… И прежде, чем я опомнился, мужчина очистил кассу и при этом еще сказал: «В карманах у вас ничего нет, папаша?» Я прямо вспотел.

— И это все?

— Конечно. Пока я нашел полисмена, они уже как в воду канули.

— Сколько они забрали?

— Долларов пятьсот из кассы и шесть у меня лично.

— Девушка была красивая?

— Не знаю, может и красивая. Я бы с удовольствием разбил ей морду. Таких девиц надо сажать на электрический стул… Прямо невозможно стало жить! Кто же станет работать, когда можно просто взять револьвер и ограбить своего

соседа?

— Вы говорите, они были хорошо одеты?.. Как люди из общества?

— Да.

— Я это дело представляю так: он, дескать, студент, а она светская барышня, и они занялись этим делом из любви к спорту.

— У парня был вид каторжника.

— Ну что же, это и у студентов бывает… Ну-с, мистер Голдстейн, приготовьтесь прочесть в ближайшем воскресном номере статью под заглавием «Великосветские бандиты». Вы читаете «Новости», не правда ли?

Мистер Голдстейн отрицательно покачал головой.

— Во всяком случае, я пришлю вам этот номер.

— Я бы хотел, чтобы этих молодчиков засудили, понимаете? Если я могу что-нибудь сделать для этого, то я сделаю. Невозможно жить стало… А на воскресные номера мне наплевать.

— Ладно, фотограф скоро будет здесь. Надеюсь, вы согласитесь позировать, мистер Голдстейн?.. Ну, спасибо… До свиданья, мистер Голдстейн.

Мистер Голдстейн внезапно достал из конторки блестящий новый револьвер и направил его на репортера.

— Эй, вы, осторожнее!

Мистер Голдстейн рассмеялся сардоническим смехом.

— Я приготовился к их следующему визиту! — крикнул он вслед репортеру, который уже бежал к станции подземной дороги.

— Дорогая миссис Херф, — декламировал мистер Харпсикур, нежно заглядывая ей в глаза и улыбаясь своей кошачьей улыбкой, — мы катимся на гребне модной волны за секунду до ее падения. Наша работа — это водяные горы.

Эллен деликатно отламывала ложечкой кусочки груши; глаза ее были опущены в тарелку, губы слегка приоткрыты. Она чувствовала себя свежей и стройной в узком темно-синем платье; она была застенчиво оживлена в паутине косых взглядов и звонких ресторанных разговоров.

— Я вам предсказываю величайший успех… Вы очаровательнее всех женщин, каких я знаю.

— Предсказываете? — усмехнулась Эллен, поднимая на него глаза.

— Не придирайтесь к словам старика… Я не умею красиво выражаться. Это плохой признак… Нет-нет, вы все прекрасно понимаете, хоть и презираете чуточку — признайтесь… Я думаю, вы гораздо лучше меня можете объяснить, что

нужно для такого рода периодического издания.

— Я вас понимаю. Вы хотите, чтобы каждая читательница думала, что она стоит в самом центре шикарной жизни.

— Как будто она сама завтракает в «Алгонкине»![204]

— Если не сегодня, то по крайней мере завтра будет завтракать, — подхватила Эллен.

Мистер Харпсикур рассмеялся своим хриплым смешком и попытался поглубже заглянуть в улыбчивые золотые блики, плясавшие в ее серых глазах. Она вспыхнула и вновь опустила глаза в тарелку, где лежала половинка груши. Как в зеркале, позади себя она чувствовала пронизывающие, оценивающие взгляды мужчин и женщин, сидевших кругом нее за столиками.

Блинчики приятно ласкали его иссушенный джином язык. Джимми Херф сидел у Чайлда в шумной, пьяной компании. Глаза, губы, фраки, запах ветчины и кофе сливались и вертелись вокруг него. Он с трудом глотал блинчики. Он заказал еще кофе. Он почувствовал себя лучше, но боялся, что его будет тошнить. Он начал чи-

---

204 Примечания: 204

«Алгонкин» — фешенебельный отель-ресторан, известный как место встреч представителей литературной и театральной элиты Нью-Йорка.

тать газету. Буквы расплывались и набухали, как китайские цветы. Потом внезапно опять очертились и потянулись гладкой черно-белой вереницей в его прояснившемся черно-белом мозгу:

> Сбившаяся с пути юность вновь заплатила свой трагический долг среди мишуры и веселья Кони-Айленда (заново отремонтированного к началу сезона). Полицейские агенты в штатском арестовали Дэтча Робертсона и его подругу — пресловутых «великосветских бандитов». Эта парочка обвиняется в совершении свыше двадцати налетов в Бруклине и Квинсе. Полиция уже несколько дней следила за ними. С некоторого времени они занимали маленькую квартиру с отдельной кухней на Сикрофт-авеню. Подозрение возникло впервые, когда подруга Дэтча, готовившаяся стать матерью, была перевезена им в Пресвитерианскую больницу. Служащие больницы были поражены большими денежными средствами Робертсона. Его подруге была отведена отдельная палата. Ей ежеднев-

но посылались дорогие цветы и фрукты. По требованию Робертсона на консилиум был приглашен известный доктор. Когда пришло время регистрировать новорожденную девочку, Робертсон признался доктору, что он и его любовница не венчаны. Один из служащих больницы обратил внимание на сходство роженицы с описанием, приведенным в вечернем номере «Таймс», и телефонировал в полицию. Парочку выследили через несколько дней после ее возвращения домой. Сегодня днем они были арестованы. Арест «великосветских бандитов»...[205]

На газету Херфа упал горячий бисквит. Он удивленно поднял голову — смуглая девица за соседним столиком делала ему глазки. Он кивнул и приподнял воображаемую шляпу.

— Благодарю тебя, прекрасная нимфа, — сказал он хрипло и начал есть бисквит.

— Перестань сию минуту, слышишь? — рявкнул ей в ухо молодой человек с наружностью

---

205 Примечания: 205

Арест «великосветских бандитов»... — в основе всего эпизода лежат реальные факты, взятые Дос Пассосом из газетных хроник 1923—1924 гг., когда двое неизвестных налетчиков держали в страхе коммерсантов Бруклина и Квинса.

кулачного бойца, сидевший подле нее.

За столом Херфа засмеялись, разевая рты. Он заплатил по счету, попрощался и вышел.

Часы над кассой показывали три. На площади Колумба все еще толпился народ. Запах мокрой мостовой сливался с запахом бензина, и изредка из парка доносилось благоухание влажной земли и прорастающей травы. Он долго стоял на углу, не зная куда пойти. В такие ночи он неохотно шел домой. На душе у него было смутное чувство огорчения по поводу ареста «великосветских бандитов». Он надеялся, что им удастся удрать. Он уже мечтал, как он будет ежедневно читать в газете об их дальнейших похождениях. «Бедняги, — подумал он. — Да еще с новорожденной».

За его спиной у Чайлда послышался шум. Он вернулся и посмотрел в окно, где томились три одиноких пирожных. Лакеи пытались вывести высокого человека во фраке. Человека с тяжелой челюстью, приятеля девицы, бросившей в Херфа бисквит, держали за руки его друзья. Швейцар локтями прокладывал себе дорогу в толпе. Это был невысокий, широкоплечий малый с глубоко сидящими, усталыми глазами обезьяны. Спокойно и без энтузиазма он схватил высокого человека за шиворот и в мгновение ока вышвыр-

нул его за дверь. Очутившись на улице, высокий человек растерянно оглянулся и оправил свой воротник. С грохотом подъехал полицейский автомобиль. Двое полисменов выскочили из него и быстро арестовали трех итальянцев, спокойно разговаривавших на углу. Херф и высокий человек во фраке посмотрели друг на друга, чуть было не заговорили и разошлись в разные стороны, сразу протрезвев.

V. Бремя Ниневии

Сочится багровый сумрак из гольфстримских туманов: ревут, вибрируя, медные глотки на окоченелых улицах, стынут остекленелые глаза небоскребов, плещет красный свинец на скованные сталью бедра пяти мостов,[206] воют кошачьим воем буксиры в раскаленной гавани под зыбкими стволами дыма. Весна, стягивая оскоминой наши рты, весна, пробегая гусиной кожей по нашему телу, исполински возникает из гуда сирен, с чудовищным грохотом прорывает плотину уличного движения между настороженными, ставшими на цыпочки кварталами.

Подняв воротник мохнатого ульстера,[207] надвинув на глаза английское кепи, мистер Денш нервно ходил взад и вперед по сырой палубе парохода «Волендам». Он смотрел сквозь сетку

---

206 Примечания: 206
Имеются в виду мосты через Ист-ривер.

207 Примечания: 207
Ульстер — длинное меховое пальто *(англ.).*

дождя на серые пакгаузы и набережные здания, выгравированные на невыразимо горьком небе.

— Банкрот, банкрот, — шептал он про себя.

Наконец, раздался третий свисток. Заткнув уши пальцами, мистер Денш стоял за спасательной лодкой и смотрел, как ширится и ширится полоса грязной воды между бортом парохода и пристанью. Палуба затряслась у него под ногами, когда винт врезался в воду. Серые, как на фотографии, здания Манхэттена начали скользить мимо. На нижней палубе оркестр играл «Титину». Красные пассажирские и грузовые паромы, буксиры, барки, пароходы шныряли между ним и дымившимся каменным городом, который сжимался в пирамиду и постепенно погружался в туманную коричнево-серую воду залива.

Мистер Денш спустился в свою каюту. Миссис Денш, в шляпке колоколом и желтой вуали, спокойно плакала, положив голову на корзину с фруктами.

— Не надо, Серена, — сказал он хрипло. — Не надо… Тебе нравится Мариенбад… Нам нужен отдых. Наше положение не так уж безнадежно. Я пойду, пошлю Блэкхеду радиотелеграмму… В конце концов, именно его тупость довела фирму до… до этого. Этот человек думает, что он пове-

литель мира… Он… он положительно сойдет с ума. Если проклятья могут убить, то я завтра буду трупом. — К своему удивлению, он почувствовал, что серые морщины на его лице раздвигаются в улыбку.

Миссис Денш подняла голову и открыла рот, чтобы заговорить, но слезы опять хлынули из ее глаз. Он посмотрел на себя в зеркало, выпрямил плечи и поправил кепи.

— Итак, Серена, — сказал он довольно бодро, — это конец моей деловой карьеры… Пойду, пошлю радиотелеграмму.

Лицо матери склоняется и целует его. Его ручки цепляются за ее платье, она уходит, оставляя его в темноте, оставляя ему в темноте легкое, хрупкое благоухание, от которого ему хочется плакать. Маленький Мартин мечется между железными прутьями кроватки. На улице темно, за стенами и на улице опять огромная, страшная темнота взрослых, грохочущая, звенящая, вползающая глыбами в окна, просовывающая пальцы в щели двери. С улицы, покрывая грохот колес, доносится придушенный вой, хватающий его за горло. Пирамиды тьмы громоздятся над ним, обрушиваются на него. Он кричит, захлебывается и кричит. Няня подходит к кроватке, ступая по

спасительной полосе света.

— Не бойся… Ничего не случилось. — Ее черное лицо улыбается ему, ее черные руки поправляют одеяло. — Просто пожарная машина проехала… Неужели ты боишься пожарной машины?

Эллен откинулась в такси на спинку сиденья и на секунду закрыла глаза. Ни ванна, ни получасовой сон не смыли нудного воспоминания о редакции, ее запаха, трескотни пишущих машинок, монотонных фраз, лиц, исписанных листов бумаги. Она чувствовала себя очень усталой; наверно, у нее круги под глазами. Такси остановилось, впереди на сигнальной башне зажегся красный свет. Пятая авеню была переполнена до краев лимузинами, такси, автобусами. Она опаздывала; она оставила часы дома. Минуты повисали на ее шее, свинцовые, как часы. Она сидела, выпрямившись на краю сиденья, ее кулаки были так крепко сжаты, что она чувствовала сквозь перчатки, как острые ногти впиваются в ладони. Наконец, такси дернулось, опять запахло бензином, зажужжали моторы, сгусток движения пополз дальше. На углу она взглянула на часы: четверть восьмого. Движение снова остановилось, тормоза такси визгнули, ее подбросило на сиденье. Она откинулась назад с закрытыми гла-

зами, кровь билась в ее виски. Все ее нервы были острыми, стальными звонкими проволоками, врезавшимися в тело. «Ну так что же? — спрашивала она себя. — Он подождет. А я не тороплюсь увидеть его. Посмотрим, сколько домов… Меньше двадцати, восемнадцать… Цифры, вероятно, выдуманы для того, чтобы люди не сошли с ума. Таблица умножения — лучшее лекарство для больных нервов. Должно быть, это именно и имел в виду старик Питер Стайвезент.[208] или кто там завел в городе номера». Она улыбнулась сама себе. Такси снова тронулось.

Джордж Болдуин шагал взад и вперед по вестибюлю отеля, затягиваясь папироской. Время от времени он поглядывал на часы. Все его тело было напряжено, как струна скрипки. Он был голоден и полон мыслей, которыми он хотел с кем-нибудь поделиться. Он терпеть не мог ждать. Когда она вошла, холодная, шелковая, улыбающаяся, у него появилось желание подойти и ударить ее по лицу.

— Джордж, вы знаете — только потому, что чис-

---

208 Примечания: 208

Стайвезент Питер (ок. 1610—1672) — датский губернатор Нового Амстердама (впоследствии Нью-Йорка), отличался суровостью правления и нетерпимостью к религиозным сектам. Умер и похоронен на Манхэттене.

ла так холодны и бесстрастны, мы еще не сошли с ума, — сказала она, слегка хлопнув его по руке.

— Сорока пяти минут ожидания вполне достаточно, чтобы сойти с ума, — это я знаю наверное.

— Я вам сейчас объясню. Это целая система. Я обдумывала ее в такси, пока ехала сюда… Идемте, заказывайте все, что вам нравится. Я пойду на минуту в дамскую комнату… Пожалуйста, велите подать мне «мартини». Я сегодня труп, совсем труп!

— Бедняжка, сейчас же закажу… Только, пожалуйста, не задерживайтесь.

Его колени подгибались, он чувствовал себя кусочком тающего льда, когда входил в пышный, раззолоченный зал. Болдуин, как тебе не стыдно, ты ведешь себя, как семнадцатилетний мальчишка!.. В твоем возрасте… Так ты ничего не добьешься.

— Ну-с, Жозеф, чем вы нас сегодня покормите? Я голоден… Но прежде всего скажите Фреду, чтобы он приготовил лучший «мартини», какой он когда-либо готовил в жизни.

— Très bien, monsieur,[209] — сказал длинноносый лакей-румын и, поклонившись, подал ему меню.

---

209 Примечания: 209
Очень хорошо, месье *(фр.)*

Эллен долго стояла перед зеркалом, стирая лишнюю пудру с лица, стараясь принять решение. Она завела в себе куклу и ставила ее в разные позы. Сделала несколько сдержанных жестов, выработанных на подмостках. Вдруг она отвернулась от зеркала, пожала слишком белыми плечами и вернулась в столовую.

— Джордж, я помираю с голода, положительно помираю!

— И я тоже, — сказал он надтреснутым голосом. — У меня есть для вас новость, Элайн, — продолжал он поспешно, словно боялся, что она прервет его. — Сесили согласилась дать развод. Мы тихо и спокойно разведемся летом в Париже. Теперь я хочу знать, желаете ли вы…

Она нагнулась к нему и погладила его руку, вцепившуюся в край стола.

— Джордж, пообедаем сперва… Будем благоразумны! Видит Бог, мы наделали достаточно глупостей в прошлом — и вы и я… Будем пить за волну преступности.

Невесомая, неосязаемая пена коктейля ласкала ей язык и гортань, медленно согревала ее внутренности. Она смотрела на него, смеясь искрящимися глазами. Он выпил свой коктейль залпом.

— Клянусь Богом, Элайн, — сказал он, беспомощно вспыхивая, — вы самая чудесная женщина в мире.

Во время обеда она чувствовала, как ледяной холод расползается по ее телу, точно новокаин. Она приняла решение. Казалось, она поместила на свое место фотографию, застывшую навеки в одной позе. Невидимый шелковый шнурок горечи стягивал ей горло, душил ее. Над тарелками, над розовой лампой, над хлебными корками, над блестящей грудью сорочки его лицо колыхалось и кивало; румянец расползался на его щеках; свет играл то на одной, то на другой стороне его носа; его прямые губы красноречиво двигались над желтыми зубами. Эллен сидела, скрестив ноги, и чувствовала себя под платьем фарфоровой фигуркой, вещи вокруг нее твердели и покрывались эмалью, воздух, изрезанный серыми полосами папиросного дыма, превращался в стекло. Его деревянное лицо марионетки бессмысленно колыхалось перед ней. Она вздрогнула и передернула плечами.

— В чем дело, Элайн? — поспешно спросил он.

Она солгала:

— Ничего, Джордж… Наверно, кто-нибудь прошел по моей могиле.

— Принести вам манто?

Она покачала головой.

— Ну, так как же? — сказал он, когда они встали из-за стола.

— Вы о чем? — спросила она улыбаясь.

— Что будет после Парижа?

— Я думаю, что выдержу, если только вы выдержите, Джордж, — сказала она спокойно.

Он ожидал ее, стоя у открытой дверцы такси. Она увидела в темноте его изящную фигуру в песочной фетровой шляпе и легком песочном пальто. Он улыбался, точно какая-нибудь знаменитость в воскресном иллюстрированном приложении к газете. Машинально она сжала руку, помогавшую ей войти в автомобиль.

— Элайн, — сказал он неуверенно, — теперь жизнь приобретает для меня значение… Господи, если бы вы знали, как пуста она была все эти годы! Я был, точно оловянная механическая игрушка, полая внутри.

— Не будем говорить о механических игрушках, — сказала она сдавленным голосом.

— Да, лучше поговорим о нашем счастье! — крикнул он.

Его губы неотвратимо льнули к ее губам. В прыгающих окнах такси она, словно утопающий,

краем глаза видела летящие лица, уличные огни и жужжащие, сверкающие никелем колеса.

Старик в клетчатом кепи сидит на каменных ступеньках, закрыв лицо руками. Мимо него мелькают люди; они спешат в театр, и зарево Бродвея светит им в спину. Старик всхлипывает, не отнимая рук от лица, дыша перегаром джина. Время от времени он поднимает голову и хрипло кричит:

— Я не могу! Неужели вы не видите, что я не могу?

Голос у него нечеловеческий, словно доску раскалывают. Прохожие ускоряют шаги. Пожилые господа отворачиваются. Две девицы пронзительно хихикают, глядя на него. Уличные мальчишки, толкая друг друга, то выскакивают, то исчезают в темной толпе.

— Ничего, ничего, пусть только подойдет фараон.

— Вот вам и запрещение спиртных напитков.

Старик поднимает мокрое лицо, смотрит вокруг себя невидящими, налитыми кровью глазами. Зрители отходят, наступая на ноги тем, что стоят позади. Словно раскалывается полено, старик кричит:

— Неужели вы не видите, что я не могу… не

могу… не могу!..

Когда Алиса Шефилд вместе с толпой женщин вошла в двери «Лорда и Тэйлора» и вдохнула душный запах тканей, у нее что-то звякнуло в голове. Она прошла сначала в перчаточный отдел. Продавщица была очень молоденькая, с длинными, черными, изогнутыми ресницами и приятной улыбкой; они непринужденно болтали, пока Алиса примеряла перчатки — серые лайковые, белые лайковые, лайковые с бахромой. Прежде, чем она натягивала перчатки, продавщица ловко посыпала их изнанку пудрой из деревянной с длинной шейкой пудреницы. Алиса отобрала шесть пар.

— Да, миссис Рой Шефилд… Да, у меня открытый счет, вот моя карточка… Придется прислать мне очень много вещей. — Про себя она твердила не переставая: «Смешно! Как это я всю зиму проходила в лохмотьях? Когда пришлют счет, Рою придется выдумать способ расплатиться, вот и все. Довольно он отнекивался. Видит Бог, я достаточно платила по его счетам в свое время».

Она подошла к другому прилавку и стала выбирать шелковые, телесного цвета чулки. Когда она вышла из магазина, в ее голове еще проносились длинные ряды прилавков, залитых лиловым

электрическим светом, кружевные вышивки, ленты, цветные шелка. Она заказала два летних платья и вечернее манто.

У «Маярда» она встретила высокого, белокурого англичанина с конусообразной головой, закрученными льняными усами и длинным носом.

— Ах, Бэк, я так устала от всего… Я не знаю, как долго еще смогу выносить…

— Меня вы не можете упрекнуть… Вы знаете, я предлагал вам…

— Ну хорошо, предположим, что я бы согласилась…

— Это было бы великолепно! Мы бы уехали немедленно… Но вы должны закусить или выпить чего-нибудь. Вам надо подкрепиться.

Она хихикнула:

— Дорогой друг, как раз в этом я и нуждаюсь.

— Так как же насчет поездки в Калгари? Там один человек обещал дать мне работу.

— Уедем, уедем отсюда! Мне не нужны платья, ничего… Пусть Рой все отсылает обратно к «Лорду и Тэйлору»… У вас есть деньги, Бэк?

Румянец вспыхнул на его скулах и разлился по вискам до плоских неправильных ушей.

— Должен сознаться, дорогая, что у меня нет ни гроша. Я могу заплатить только за завтрак.

— Ну ладно, я разменяю чек. У нас общий счет в банке.

— Мне его разменяют в Балтиморе, там меня знают. Когда мы приедем в Канаду, все будет в порядке, уверяю вас. Во владениях его величества имя Бэкминстер, пожалуй, имеет больше веса, чем в Соединенных Штатах.

— Знаю, знаю, дорогой, в Нью-Йорке ничего не имеет значения, кроме денег.

Когда они шли по Пятой авеню, она вдруг взяла его под руку.

— Бэк, я должна рассказать вам одну ужасную вещь. Я чуть не умерла… Помните, я вам рассказывала об ужасном запахе в нашей квартире; мы думали, что это крысы. Сегодня утром я встретила женщину, живущую в нижнем этаже. Ох, мне худо при одной мысли… Лицо у нее было зеленое, как этот автобус… Оказывается, инспектор осматривал водопровод и уборную… Арестовали женщину с верхнего этажа… Ах, как это отвратительно!.. Я даже рассказать не могу… Я в жизни не вернусь туда. Лучше умру… Вчера весь день не было ни капли воды во всем доме…

— В чем же дело?

— Ужас!

— Ну, говорите же.

— Бэк, ваши родные, наверно, откажутся от вас, когда вы вернетесь в Орпен-Мэнор.

— Но что же там было?

— Женщина наверху производила запрещенные законом операции… аборты… Оттого и водопровод засорился.

— Господи Боже мой!

— Это последняя капля… А Рой сидит, как чурбан, со своей проклятой газетой посреди этой вони, с ужасным, бессмысленным выражением лица…

— Бедная крошка!

— Слушайте, Бэк, я получу по чеку только двести долларов… Нам этого хватит, чтобы доехать до Калгари?

— Без особого комфорта — да… В Монреале есть человек, он даст мне работу в газете — писать светскую хронику… Отвратительное занятие, но я буду писать под псевдонимом. Потом, когда мы немного заработаем, мы уедем оттуда… Ну, я пойду разменять чек.

Она поджидала его у справочного окошка, пока он ходил за билетами. Она чувствовала себя маленькой и одинокой в огромном, белом сводчатом зале вокзала. Вся ее жизнь с Роем проходила перед ней, точно кинолента, пущенная от конца

к началу и мчавшаяся все быстрей и быстрей. Бэк вернулся, у него был довольный и уверенный вид. В руке он держал пачку кредиток и железнодорожные билеты.

— До десяти нет поезда, Аль, — сказал он. — Надо сделать так: вы идите в «Палас» и оставьте в кассе билет для меня… А я тем временем сбегаю за чемоданом. Это одна секунда… Вот вам пять долларов.

Он ушел, и она пошла одна по Четырнадцатой улице в жаркий, майский полдень. Почему-то она начала плакать. Прохожие смотрели на нее; она не могла удержать слезы. Она шла, пошатываясь, и слезы текли ручьями по ее лицу.

— Страхование от землетрясения… Вот как они это называют! Много ли это им поможет, когда гнев Господень сметет этот город с лица земли, как осиное гнездо. Он возьмет его, поднимет и начнет трясти, как кошка трясет крысу… Страхование!

Джо и Скинни нетерпеливо ждали, чтобы человек с бородой, как метелка, стоявший у их костра, бормотавший и кричавший, ушел прочь. Они не понимали, к ним ли он обращается или к самому себе. Они сделали вид, как будто его тут вовсе нет, и начали поджаривать кусок ветчины на

вертеле, сооруженном из спицы старого зонтика. Внизу, под ними, за серо-зелеными кружевами цветущих деревьев, в вечернем свете серебрился Гудзон и белели палисадники домов верхнего Манхэттена.

— Не говори ничего, — прошептал Джо, крутя пальцем у лба. — Он сумасшедший.

У Скинни забегали по спине мурашки, его губы похолодели, ему захотелось бежать.

— Это ветчина? — спросил вдруг незнакомец мурлыкающим, благосклонным голосом.

— Да, — сказал Джо после паузы дрожащим голосом.

— Разве вы не знаете, что Господь Бог запрещает своим чадам есть мясо свиньи?

Голос его перешел в певучее бормотание и крик.

— Гавриил, брат Гавриил!.. Можно ли этим детям есть ветчину?.. Можно… Архангел Гавриил — он, знаете ли, мой близкий друг — говорит, что один раз можно, если это больше не повторится… Осторожнее, братья, она у вас подгорит.

Скинни встал.

— Садись, брат, я тебя не трону. Я понимаю детей. Мы любим детей — я и Господь Бог… Небось боитесь меня, потому что я похож на бродягу?..

Ладно, сейчас я вам кое-что объясню: никогда не бойтесь бродяг. Бродяги не тронут вас, они — добрые. Господь Бог тоже был бродягой, когда он жил на земле. Мой друг, архангел Гавриил, говорит, что он был бродягой много раз… Посмотрите-ка, у меня есть жареная курица, мне ее дала старая негритянка… Ох, Господи! — Он кряхтя опустился на камень рядом с мальчиками.

— Мы хотели играть в индейцев, а мне теперь захотелось играть в бродяг, — осмелел Джо.

Бродяга вынул пакет из кармана своей позеленевшей от непогоды куртки и начал осторожно разворачивать его. Поджариваемая ветчина издавала приятный запах. Скинни снова сел, стараясь все же держаться как можно дальше от бродяги и не спускать с него глаз. Бродяга разрезал курицу, и они начали есть все вместе.

— Гавриил, дружище, взгляни-ка сюда! — Бродяга орал так громко, что мальчики опять испугались.

Становилось темно. Бродяга кричал с полным ртом, тыча барабанной палочкой в мерцающие шахматные доски света на Риверсайд-драйв.

— Присядь-ка на минуточку и погляди, Гавриил… Погляди на старую суку, прости за выражение. Страхование от землетрясения, черта с два

оно им поможет, а?.. Вы знаете, ребята, сколько времени понадобилось Богу, чтобы разрушить Вавилонскую башню? Семь минут… А вы знаете, сколько времени понадобилось Господу Богу, чтобы разрушить Вавилон и Ниневию? Семь минут… В любом нью-йоркском квартале больше грешников, чем было на одной квадратной миле в Ниневии, а сколько времени, думаете вы, понадобится Господу Богу Саваофу, чтобы разрушить Нью-Йорк, Бруклин и Бронкс? Семь секунд… Скажите-ка, ребята, как вас зовут? — Он снова замурлыкал и ткнул в Джо своей палочкой.

— Джозеф Камерон Паркер.

— А тебя как?

— Антонино Камероне… А называют меня Скинни. Джо — мой двоюродный брат. Его родители переменили фамилию на Паркер.

— Перемена фамилии не приносит счастья… Скрывающие свое имя занесены в книгу Страшного суда… Истинно говорю вам — близок день суда Господня… Не далее как вчера Гавриил сказал мне: «Ну что, Иона, начнем, пожалуй?» А я ему говорю: «Гавриил, старина, подумай о женщинах, детях, грудных младенцах — они же ни в чем не повинны. Если ты нашлешь на город землетрясение, серный огонь и каменный дождь с неба,

то они все помрут вместе с богачами и грешниками». А он мне в ответ: «Ну ладно, Иона, старый коняга, пусть будет по-твоему. Мы подождем еще неделю, две…» А все-таки, ребята, страшно представить себе это: серный огонь, каменный дождь, землетрясение, потоп, падающие дома…

Джо вдруг хлопнул Скинни по спине.

— Пятнашка! — крикнул он и побежал.

Скинни помчался за ним по узкой тропинке между кустами, спотыкаясь. Он догнал его на асфальтовой дорожке.

— Ей-богу, он сумасшедший! — крикнул он.

— Тише ты, — зашептал Джо.

Он посмотрел сквозь кусты. Еще виден был дым, поднимавшийся над их маленьким костром. Бродяги не было видно. Они только слышали его голос:

— Гавриил, Гавриил…

Они бежали, задыхаясь, по направлению к спасительным, аккуратно расставленным уличным фонарям.

Джимми Херф обошел грузовик. Крыло автомобиля чуть задело подол его дождевика. Он постоял несколько секунд у станции воздушной дороги, пока не растаяли льдинки в его хребте. Вдруг рядом с ним распахнулась дверца лимузи-

на, и он услышал знакомый голос.

— Садитесь, мистер Эрф… Куда прикажете подвести вас?

Машинально садясь, он заметил, что автомобиль — «роллс-ройс».

Полный мужчина с красным лицом, в котелке, был Конго.

— Садитесь, мистер Эрф… Очень рад вас видеть. Куда вы направляетесь?

— По правде сказать, никуда.

— Заедемте ко мне, я вам кое-что покажу. Как поживаете?

— Прекрасно… То есть нет, я хотел сказать, что я живу отвратительно, но это все равно.

— А я завтра, наверное, сяду в тюрьму… на шесть месяцев… А может быть, и нет.

Конго рассмеялся горловым смехом и осторожно выпрямил свою искусственную ногу.

— Стало быть, вас в конце концов таки пристукнули, Конго?

— Тут был целый заговор… Только не зовите меня больше Конго Джек, мистер Эрф. Зовите меня Арманом. Я женат… Арман Дюваль, Парк-авеню.

— Значит, вы больше не маркиз де Куломье?

— Это только для дел.

— А дела у вас, как видно, хороши?

Конго кивнул.

— Если я попаду в тюрьму — чего, я надеюсь, не будет, — то я через полгода выйду миллионером… Мистер Эрф, если вам нужны деньги, скажите мне только одно слово… Я могу вам одолжить тысячу долларов. Можете вернуть их хоть через пять лет. Я вас знаю.

— Спасибо, мне не нужны деньги. Не в них дело… Ну их к черту!

— Как поживает ваша жена?.. Она удивительно красивая женщина.

— Мы разводимся… Она подала заявление сегодня утром… Только развод и задерживает меня в этом проклятом городе.

Конго закусил губы. Потом он нежно погладил Джимми указательным пальцем по колену.

— Мы сейчас приедем ко мне… Я угощу вас замечательным вином… Да, подождите, — сказал Конго шоферу.

Опираясь на палку с золотым набалдашником и важно хромая, он вошел в разноцветный мраморный вестибюль. В лифте он сказал:

— Может быть, останетесь к обеду?

— К сожалению, сегодня не могу. Кон… Арман.

— У меня прекрасный повар… Когда я впервые приехал в Нью-Йорк около двадцати лет тому

назад, на пароходе был один парнишка… Вот моя дверь. Видите — А. Д., Арман Дюваль… Мы с ним вместе сбежали с парохода, и он всегда говорил мне: «Арман, ты никогда ничего не добьешься, ты слишком ленив и слишком много бегаешь за девочками». Теперь он у меня поваром… Первоклассный повар, cordon-bleu, eh?..[210] Жизнь — смешная штука, мистер Эрф.

— Ей-богу, это замечательно, — сказал Джимми Херф, откидываясь на высокую спинку испанского кресла в библиотеке из темного ореха; он держал в руке стакан старого бургундского. — Конго… то есть Арман, если бы я был Богом и мне предстояло бы решить, кто в этом городе достоин заработать миллион долларов, — клянусь, я выбрал бы вас.

— Сейчас сюда, наверно, зайдет моя жена… Она очень хороша собой. Я вам ее покажу. — Он покрутил пальцами над головой. — Масса светлых волос.

Вдруг он нахмурился.

— Мистер Эрф, если когда-нибудь я смогу вам помочь — деньгами или еще чем-нибудь — вы только шепните мне. Мы с вами уже десять лет

---

210 Примечания: 210
Искусный повар *(фр.).*

друзья… Еще стаканчик?

После третьего стаканчика бургундского Херф начал говорить. Конго сидел и слушал, слегка приоткрыв толстые губы и время от времени кивая.

— Вся разница между вами и мной в том, Арман, что вы поднимаетесь по общественной лестнице, а я спускаюсь… Когда вы были кухонным мальчиком на пароходе, я был балованным, хилым, бледным ребенком и жил в отеле «Ритц». Моя мать и мой отец уже имели дело со всеми этими мраморами, ореховыми панелями, гобеленами… Мне с ними уже больше нечего делать… Знаете, женщины, как крысы, первые бегут с тонущего корабля. Она выходит замуж за Болдуина, того самого, что недавно назначен окружным прокурором. Говорят, что его выставляют кандидатом на пост мэра по реформистскому списку… Мираж власти — вот что подстегивает его… А женщины чертовски падки на эти штуки… Если бы я думал, что это принесет мне пользу, то, клянусь Богом, я нашел бы в себе достаточно энергии, чтобы засесть за стол и заработать миллион долларов. Но все эти вещи не дают мне больше никаких органических переживаний… Мне нужно что-то иное, что-то новое… Ваши сыновья будут такими

же, Конго… Если бы я был достаточно образован и начал бы с малых лет, то из меня, может быть, получился бы большой ученый. Если бы у меня было побольше полового темперамента, я стал бы актером или священником… А теперь мне почти тридцать лет и мне очень хочется жить… Если бы я был романтиком, я бы, наверно, убил себя давным-давно — только для того, чтобы люди говорили обо мне. У меня не хватает внутренней убежденности даже на то, чтобы стать приличным пьяницей.

— Мне кажется, мистер Эрф, — улыбнулся Конго, снова наполняя стаканы, — что вы слишком много думаете.

— Конечно, Конго, конечно, вы правы! Но с этим ничего не поделаешь, черт возьми!

— Ну ладно, если вам когда-нибудь понадобятся деньги, вспомните про Армана Дюваля… Хотите, может быть, коктейль?

Херф покачал головой.

— Нет, не хочу… Ну, прощайте, Арман.

В мраморном, многоколонном вестибюле, он столкнулся с Невадой Джонс. В руках у нее были орхидеи.

— Хелло, Невада… Что вы делаете в этом храме греха?

— Я живу здесь, представьте себе… Я замужем за вашим бывшим другом Арманом Дювалем… Хотите подняться, повидать его?

— Только что был у него… Он хороший парень.

— Определенно!

— А куда вы дели малютку Тони Хентера?

Она подошла к нему вплотную и заговорила тихо:

— Забудьте об этом, пожалуйста… Ох, как от вас несет… Тони — ошибка мироздания, и я покончила с ним раз и навсегда… Однажды прихожу домой и вижу — он катается по полу и грызет угол ковра, потому что боится изменить мне с одним акробатом… Ну, я сказала ему: «Иди и изменяй!» — и на этом мы покончили… Честное слово, я теперь счастливейшая супруга, так что вы, ради Бога, ничего не говорите Арману ни про Тони, ни про Болдуина… Хотя он, конечно, знает, что я до него не была девушкой. Почему бы вам не подняться и не пообедать с нами?

— Не могу. Будьте счастливы, Невада.

Вино приятно грело желудок и щекотало кончики пальцев. Джимми Херф вышел на вечереющую Парк-авеню, гудящую такси, пахнущую бензином, ресторанами и сумерками.

Это был первый вечер, проведенный Джеймсом

Меривейлом в «Метрополитен-клубе» с тех пор, как его избрали членом. Он все боялся, что это будет старить его, как и тросточка. Он сидел в глубоком кожаном кресле у окна, куря сигару в тридцать пять центов, с «Биржевой газетой» на коленях и номером «Космополитен» под боком. Устремив глаза в ночь, сияющую огнями, точно кристалл, он предавался мечтам.

> Экономическая депрессия… Десять миллионов долларов… Послевоенная разруха… Блэкхед и Денш обанкротились на десять миллионов… Денш бежал из Америки несколько дней тому назад… Блэкхед сидит под домашним арестом у себя на Грейт-Нэк. Одна из старейших и наиболее уважаемых импортно-экспортных фирм в Нью-Йорке, 10 000 000 долларов…

«Вот вам банковские дела. Всякое коммерческое предприятие заключает в себе долю риска… Мы должны заставить их прийти, иначе они уйдут — а, Меривейл? Так сказал старик Перкинс, когда Канингхэм приготовил ему коктейль… У этого Канингхэма хорошие связи. В конце концов, Мэзи знала, что она делает… Человека с его положением всегда будут шантажировать.

Он дурак, что не преследует ее… Эта женщина сошла с ума, сказал Канингхэм, она, вероятно, замужем за моим однофамильцем… Ей место в сумасшедшем доме. Черт возьми, я помогал ему замести следы. Он полностью реабилитировался, даже мать признает его. Синуад был в бане в Токио и в Риме… Джерри всегда это пел… Бедный, старый Джерри, не придется ему испытать это чувство — быть членом «Метрополитен-клуба»… Он из бедной семьи… Или, например, Джимми… У него нет даже этого оправдания… Типичный неудачник… Дурная наследственность… Старик Херф был, кажется, большим чудаком, любителем яхт… Мама рассказывала, что тете Лили пришлось много вытерпеть от него. И все-таки с его способностями он мог бы добиться многого… Мечтатель, бродяга… А мой отец сделал для него столько же, сколько для меня… И теперь еще этот развод… Адюльтер… с форменной проституткой… Наверно, поймал сифилис или что-нибудь в этом роде… Десятимиллионный крах.

Крах. Успех.

Десятимиллионный доход… Десять лет успешной банковской работы… Вчера, на банкете в Ассоциации американских банкиров Джеймс Меривейл, президент «Бэнк энд трест компа-

ни» отвечал на тост «десять лет блестящей банковской работы»... «Это напоминает мне, джентльмены, историю про старого негра, который очень любил цыплят... Но если вы разрешите мне сказать несколько серьезных слов по поводу сегодняшнего празднества *(вспышка магния, съемка)*, то я позволю себе сделать одно небольшое предостережение... Считаю своим долгом, в качестве американского гражданина, в качестве представителя крупного учреждения, имеющего национальные, я бы даже сказал интернациональные в лучшем смысле этого слова, или даже, вернее, мировые обязательства...» *(Вспышка магния, съемка.)* Под громовые рукоплескания Джеймс Меривейл, тряся от волнения своей прекрасной головой, продолжал говорить... «Джентльмены, вы оказываете мне слишком много чести... Позвольте мне только добавить, что во время тревог и волнений, в мутных водах зависти и злобы, в водопадах общественного уважения, во время немногих часов ночного отдыха и миллионов часов работы моим девизом, моим насущным хлебом, моим вдохновением была триединая преданность — жене, матери, национальному флагу». Пепел сигары упал ему на колени. Джеймс Меривейл встал и старатель-

но стряхнул легкий пепел с брюк. Потом снова сел и, нахмурившись, начал читать статью об иностранной валюте в «Биржевой газете».

Они сидят на высоких стульях в фургоне-ресторане.

— Как же это ты, паренек, дошел до того, что нанялся на эту старую калошу?

— Да ни одно судно, кроме него, не шло на восток.

— Ну что ж, ты сам себе вырыл могилу, голубчик! Капитан — идиот, старший офицер — беглый каторжник, экипаж — сборище бандитов, и вся старая кастрюля не стоит страховой премии… Где ты работал в последнее время?

— Ночным клерком в отеле.

— Вот чудак!.. Отказаться от должности клерка в шикарном нью-йоркском отеле и пойти кухонным мальчиком в плавучий ад… Хороший из тебя получится повар!

Тот, что помоложе, краснеет.

— Что, готов бифштекс? — кричит он буфетчику.

Когда они поели и допили кофе, он поворачивается и спрашивает тихим голосом:

— Скажи-ка, Руни, ты когда-нибудь был в Европе… во время войны?

— Был в Сен-Назере[211] несколько раз. А что?

— Не знаю… У меня все время что-то зудит внутри… Я два года был на войне. Тогда все было по-другому. Мне тогда казалось: все, что мне нужно, — это достать хорошую работу, жениться и осесть. А теперь я за все это гроша ломаного не дам… Полгода работаю, а потом начинается зуд — понимаешь? Вот я и решил, что мне надо прокатиться на восток, поглядеть…

— Ну-ну, — говорит Руни, качая головой. — Увидишь, многое увидишь, будь спокоен.

— Каковы убытки? — спрашивает тот, что помоложе, буфетчика.

— Тебя, наверно, забрали молодым?

— Мне было шестнадцать лет.

Он собирает сдачу и идет вслед за Руни на улицу. В конце улицы, за грузовиками, крышами пакгаузов он видит мачты, и дым пароходов, и белый пар, вздымающийся к солнцу.

— Опусти штору, — слышится с кровати мужской голос.

— Я не могу, она зацепилась… О черт, теперь вся штука полетела вниз!

Анна чуть не расплакалась, когда штора удари-

---

211 Примечания: 211

Сен-Назер — город на западе Франции, в дельте Луары.

ла ее по лицу.

— Пойди укрепи ее, — говорит она, подходя к кровати.

— Какая разница? Все равно с улицы не видно, — говорит мужчина, обнимая ее и смеясь.

— Свет с улицы… — стонет она, устало падая в его объятия.

Маленькая комната, с железной кроватью в углу напротив окна, похожа на сапожную коробку. Уличный грохот врывается в нее, пробираясь между домами. Она видит на потолке зыбкое зарево электрических реклам, белое, красное, зеленое… потом пеструю путаницу, точно лопнул мыльный пузырь… потом опять белое, красное, зеленое.

— Дик, пожалуйста, укрепи штору, свет сводит меня с ума.

— Он очень приятный, Анна. Можно подумать, что мы в театре.

— Это вам, мужчинам, приятно, а меня это сводит с ума.

— Так, стало быть, ты теперь работаешь у мадам Субрин, Анна?

— Ты хочешь сказать, что я скэб? Я это знаю. Но мать выкинула меня на улицу, и мне пришлось взять работу, а не то лезть в петлю.

— Такая красивая девушка, как ты, Анна, всегда может найти себе дружка.

— Все мужчины — дрянь… Ты думаешь, если я с тобой путаюсь, то я, значит, могу путаться со всяким?.. Не буду я ни с кем путаться, понял?

— Да я вовсе не то хотел сказать, Анна… Фу, какая ты сегодня раздражительная!

— Нервы… Эта забастовка, история с матерью, да еще работа у Субрин… хоть кого с ума сведет. К черту, к черту всех! Неужели меня не могут оставить в покое? Я никогда никому не сделала ничего дурного. Я одного хочу — чтобы меня оставили в покое и дали бы мне зарабатывать кусок хлеба и иногда немножко повеселиться… Дик, это ужасно… Я не смею выйти на улицу, боюсь встретить кого-нибудь из союза.

— Полно, Анна, вовсе не так уж все плохо. Честное слово, я взял бы тебя с собой на Запад, если бы не моя жена.

Анна продолжает говорить ровным, хнычущим голосом:

— А теперь… за то, что я к тебе привязалась и захотела доставить тебе удовольствие, ты называешь меня шлюхой.

— Я ничего подобного не говорил! Я даже этого не думал. Я только думал, что ты молодец, а не

рохля, как все эти… Постой, я попробую поднять штору — это тебя успокоит.

Лежа на боку, она смотрит, как его грузное тело движется в молочном свете окна. Наконец он возвращается к ней, стуча зубами.

— Я не могу укрепить эту проклятую штуку… Господи, как холодно!

— Ну все равно, Дик, ложись… Наверно, уже поздно. Мне к восьми нужно на работу.

Он достает часы из-под подушки.

— Половина третьего… Ну что ты, детка?

На потолке она видит зыбкое зарево электрических реклам: белое, красное, зеленое… потом пеструю путаницу, точно лопнул мыльный пузырь… потом опять — белое, красное, зеленое.

— Он даже не пригласил меня на венчание. Честное слово, Флоренс, я бы все простила ему, если бы он пригласил меня на венчание, — сказала она горничной негритянке, которая принесла кофе.

Было воскресное утро. Она сидела в кровати, разостлав газету на коленях. Она смотрела на иллюстрацию в газете с подписью «Мистер и миссис Джек Канингхэм улетают в свадебную поездку на своем знаменитом гидроплане «Альбатрос VII».

— Какой он красивый, правда?

— Да, мисс. Неужели никак нельзя было остановить их, мисс?

— Нет… Он сказал, что посадит меня в сумасшедший дом, если я сунусь… Он великолепно знает, что развод был незаконный.

Флоренс вздохнула.

— Мужчины такие подлецы!

— Ну, это долго не протянется. По ее лицу видно, что она скверная, эгоистичная, испорченная девчонка, а я — его настоящая жена перед Богом и людьми. Видит Бог, я пыталась предостеречь ее. «Кого Бог соединил, того человек да не разлучает»… так, кажется, сказано в Библии… Флоренс, кофе сегодня отвратительный. Я не могу его пить. Пойдите сварите другой.

Пожав плечами и нахмурясь, Флоренс ушла с подносом.

Миссис Канингхэм глубоко вздохнула и уселась поудобнее, между подушками. На улице звонили церковные колокола.

— Джек, дорогой, я все-таки люблю тебя, — сказала она, обращаясь к фотографии, и поцеловала ее. — Слышишь, дорогой, — колокола звонят, как в тот день, когда мы убежали из школы и обвенчались в Милуоки… Было чудесное воскресное утро… — Потом она посмотрела на лицо второй

миссис Канингхэм. — Ах ты, такая… — сказала она и проткнула лицо пальцем.

Когда она встала, ей показалось, что зал суда медленно, плавно закружился. Бледный судья с рыбьим лицом в очках, лица, полисмены, приставы в мундирах, серые окна, желтые столы — все вращалось в болезненном удушье, ее защитник с белым, ястребиным носом вытирал лысую голову, хмурился и кружился, пока она не почувствовала, что вот-вот упадет. Она не слышала ни одного слова; она все время мигала, чтобы вытряхнуть из ушей жужжание. Она чувствовала, что позади нее сидит Дэтч, сгорбившись, уронив голову на руки. Она не смела оглянуться. Потом, когда прошло много часов, все кругом стало острым, ясным и очень далеким. Судья кричал на нее откуда-то из узкого конца воронки, его бесцветные губы шевелились, как пасть рыбы.

— …А теперь, как человек и гражданин великого города, я хочу сказать несколько слов подсудимым. Пора положить конец подобным явлениям. Нерушимая неприкосновенность человеческой личности и собственности, которую великие люди, основавшие нашу республику, положили в основу конституции, должна быть восстановлена. Долг каждого человека, будь то

служитель государства или рядовой гражданин, — бороться с этой волной беззакония всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. Поэтому, невзирая на сентиментальные выкрики газетных писак, развращающих общественную мысль и вбивающих в головы слабых духом людей и подобных вам выродков, что вы можете преступать закон божеский и человеческий, святой закон частной собственности, что вы можете отнимать у мирных граждан то, что те заработали тяжелым трудом, несмотря на наличие того, что эти борзописцы будут называть «смягчающими обстоятельствами», я намерен применить к вам высшую меру наказания. Давно пора дать пример…

Судья отпил глоток воды. Фрэнси видела бусинки пота, выступившие на его носу.

— Давно пора дать пример! — выкрикнул судья. — Разумеется, я, как любящий и нежный отец, понимаю все ваше несчастье — недостаточное воспитание, отсутствие идеалов, отсутствие домашнего очага и нежных материнских забот — все то, что привело эту молодую женщину на стезю безнравственной жизни и падения и заставило поддаться искушениям жестоких и порочных людей, поддаться нездоровым возбуж-

дениям, порочным развлечениям, всему тому, что так удачно названо «веком джаза».[212] И все же в тот момент, когда эти мысли готовы пролить елей милосердия на суровые веления закона, передо мной встают образы других молодых девушек, живущих в этом огромном городе, — образы сотен девушек, которые в этот самый час могут попасть в лапы жестоких, бессовестных соблазнителей из породы подсудимого Робертсона… Для него и ему подобных нет наказания достаточно сурового… И я вспоминаю, что неудачно примененное милосердие может впоследствии превратиться в жестокость. Все, что мы можем сделать, — это пролить слезу над жизнью заблудшей женщины и вознести Господу молитвы за душу несчастного младенца, которого эта злополучная женщина породила на свет, как плод своего позора…

Фрэнси почувствовала холодное щекотание, которое началось в кончиках ее пальцев и побежало по рукам, по телу, содрогавшемуся в спазмах тошноты.

— Двадцать лет, — услышала она кругом себя

---

212 Примечания: 212

1920-е годы в Америке стали называть *«веком джаза»* после публикации в 1922 г. сборника рассказов Фрэнсиса С. Фицджеральда (1896—1940) «Сказки века джаза», название которого распространилось на все десятилетие.

шепот.

Казалось, все облизывали губы, мягко пришепетывая:

— Двадцать лет.

— Кажется, я падаю в обморок, — сказала она себе, как постороннему человеку.

Все кругом нее с грохотом почернело.

Обложенный пятью подушками, посредине широкой кровати красного дерева с резными столбиками сидел Финеас Блэкхэд. Лицо у него было красное, как его шелковая пижама. Он сыпал проклятиями. Большая красного дерева спальня, обитая яванскими цветными тканями вместо обоев, была пуста. Только слуга-индус в белой куртке и тюрбане стоял в ногах кровати, руки по швам, и при каждом новом взрыве ругательств склонял голову и говорил:

— Да, саиб, да, саиб.

— Если ты, желтая обезьяна, чтобы тебя черт побрал, не принесешь мне сию секунду виски, то я встану и переломаю тебе все кости! Ты слышишь? Будьте вы все прокляты, меня уже не слушаются в моем собственном доме! Когда я говорю «виски», то это значит виски, а не апельсиновый сок, будь ты проклят! Получай, собака!

Он схватил граненый кувшин с ночного сто-

лика и швырнул им в индуса. Потом откинулся на подушки с пеной на губах, ловя ртом воздух. Индус молча вытер белуджистанский ковер и выскользнул из комнаты, унося груду разбитого стекла. Блэкхед начал дышать легче. Его глаза глубоко запали в орбиты и потерялись в складках отяжелевших зеленых век.

Он казался спящим, когда вошла Синтия, в макинтоше, с мокрым зонтиком в руке. Она на цыпочках подошла к окну и стояла там, глядя на серую мокрую улицу и на старые, гробоподобные дома из коричневого кирпича, стоявшие напротив. На одну долю секунды она снова превратилась в маленькую девочку, которая пришла в ночном халатике, чтобы позавтракать вместе с папочкой в его широкой постели.

Он проснулся внезапно, посмотрел кругом налитыми кровью глазами. Мускулы его тяжелых челюстей напряглись под болезненно-багровой кожей.

— Ну, что, Синтия, где виски, которое я приказал подать?

— Папа, ты же знаешь, что сказал доктор.

— Он сказал, что если я выпью еще глоток, то это убьет меня… Да ведь я же и так мертв. Проклятый осел!

— Ты должен беречь себя и не волноваться.

Она поцеловала его и положила прохладную, тонкую руку на его лоб.

— А у меня мало причин волноваться? Если бы я мог схватить своими руками этого грязного, мерзкого прохвоста… Мы бы вылезли благополучно, если бы у него не распустились нервы. Поделом мне за то, что я взял себе в компаньоны такую мокрую курицу… Двадцать пять, тридцать лет работы — все полетело к черту в десять минут!.. Двадцать лет подряд мое слово было так же верно, как банкнота! Лучше всего было бы убраться вместе с фирмой в преисподнюю. А ты, плоть от плоти моей, говоришь мне, чтобы я не пил… Господи!.. Эй, Боб… Боб!.. Куда он провалился, проклятый мальчишка? Эй вы, сукины дети, идите сюда! За что я плачу вам деньги, мерзавцы?

Сестра милосердия просунула голову в дверь.

— Вон отсюда! — заорал Блэкхед. — Чтобы тут духу не было этих крахмальных дур!

Он швырнул в сестру подушкой. Сестра скрылась. Подушка ударилась о столбик и упала обратно на кровать. Синтия заплакала.

— Ах, папочка, я не могу вынести этого… Все вас так уважали… Возьмите себя в руки, папочка, дорогой!

— Чего ради?.. Представление кончилось. Почему ты не смеешься? Занавес опущен. Все это только шутка, гнусная шутка!

Он начал смеяться, как в бреду, потом задохнулся, стиснул кулаки, опять стал ловить ртом воздух. Наконец он сказал прерывающимся голосом:

— Разве ты не видишь, что только виски поддерживает меня? Уходи, Синтия, оставь меня и пошли ко мне этого проклятого индуса. Я всегда любил тебя больше всего на свете… Ты это знаешь… Скорее скажи ему, чтобы он принес то, что я приказал.

Синтия вышла, плача. Ее муж ходил по передней.

— Эти проклятые репортеры… Я не знаю, что им говорить. Они говорят, что кредиторы собираются затеять процесс.

— Миссис Гастон, — вмешалась сестра милосердия, — я думаю, вам придется нанять мужчину для ухода за ним… Право, я ничего не могу с ним поделать.

В нижнем этаже телефон звонил, звонил. Индус принес виски. Блэкхед наполнил стакан и отхлебнул большой глоток.

— Вот от этого я себя чувствую лучше, клянусь

Богом. Ахмет, ты — прекрасный малый… Ну что ж, я думаю, придется смотреть опасности прямо в лицо. Придется все распродать… Слава Богу, Синтия уже устроена. Я продам все эти проклятые вещи. Жалко, что мой драгоценный зятек так прост. Это уж такое мне счастье, что я всегда окружен простофилями… Клянусь Богом, я охотно пошел бы в тюрьму, если бы это принесло им какую-нибудь пользу… Почему нет? Все надо испытать в жизни. А потом вышел бы из тюрьмы и нанялся бы лодочником или сторожем на верфи. Мне это нравится. Надо относиться спокойно к тому, что произошло. Я и так всю жизнь разрывался на части. А, Ахмет?

— Да, саиб, — сказал индус, кланяясь.

Блэкхед передразнил его.

— «Да, саиб»… Ты всегда говоришь «да», Ахмет. Это смешно! — Он начал смеяться прерывистым, клокочущим смехом. — Кажется, это самый простой исход.

Он смеялся и смеялся; вдруг он перестал смеяться. Страшная судорога пробежала по его телу. Он скривил рот, пытаясь говорить. В течение секунды его глаза обводили комнату — глаза маленького ребенка, которому сделали больно и который собирается заплакать. Вдруг он пова-

лился на подушки с застывшим, разинутым ртом. Ахмет долго и холодно смотрел на него, потом подошел и плюнул ему в лицо. Тотчас же он достал носовой платок из кармана полотняной куртки и вытер плевок с желтого, застывшего лица. Он закрыл рот, уложил тело между подушками и мягко вышел из комнаты. В передней Синтия сидела в глубоком кресле и читала журнал.

— Саибу много лучше. Он, кажется, заснул.

— Ах, Ахмет, я так рада, — сказала она и снова углубилась в журнал.

Эллен вышла из автобуса на углу Пятой авеню и Пятьдесят третьей улицы. Розовые сумерки надвигались с блистающего запада, отсвечивая в меди, никеле, пуговицах и глазах. Все окна на восточной стороне авеню были объяты пламенем. Она стояла, стиснув зубы, на углу, ожидая возможности перейти на другую сторону. Хрупкий аромат ударил ей в лицо. Тощий парень с космами льняных волос под кепи протягивал ей корзину с толокнянкой. Она купила пучок и прижала его к лицу. Майские рощи таяли, как сахар, на ее нёбе.

Раздался свисток, заскрежетали рычаги, автомобили растеклись в боковые переулки, улицу затопили люди. Эллен почувствовала, что

парень с цветами трется около нее. Она отшатнулась. Сквозь аромат толокнянки она уловила на мгновение запах его немытого тела, запах иммигрантов, Эллис-Айленда, перенаселенных домов-казарм. Под никелем и позолотой улиц, эмалированных маем, она чуяла тошнотворный запах, расползавшийся липкой массой, как жижа из лопнувшей ассенизационной трубы, как толпа. Она быстро свернула в боковую улицу. Она вошла в дверь, подле которой была прибита маленькая, безукоризненно начищенная дощечка:

MADAME SOUBRINE ROBES

Она забыла все, утопила все в кошачьей улыбке мадам Субрин, полной черноволосой женщины, может быть, русской. Мадам Субрин вышла из-за портьеры, простирая к ней руки. Заказчицы, сидевшие в гостиной стиля ампир, смотрели на Эллен с завистью.

— Дорогая миссис Херф, где же вы пропадали? Ваше платье уже неделю как готово! — воскликнула она; она говорила по-английски чересчур правильно. — Ах, дорогая, вы увидите — оно великолепно… А как поживает мистер Харпсикур?

— Я была очень занята… Я ушла из журнала.

Мадам Субрин кивнула; многозначительно

подмигнув, она откинула портьеру и повела ее в заднюю комнату.

— Ah, ça se voit… Il ne faut pas travailler, on peut voir déjà de toutes petites rides. Mais ils disparaîtront.[213] Извините меня, дорогая…

Толстая рука, обвившая ее талию, крепко стиснула ее. Эллен слегка отстранилась.

— Вы — самая красивая женщина в Нью-Йорке!.. Анжелика, вечернее платье миссис Херф! — закричала она.

Выцветшая светловолосая девушка со впалыми щеками вошла, неся на вешалке платье. Эллен сняла свой серый жакет. Мадам Субрин кружилась вокруг нее, мурлыча:

— Анжелика, посмотрите на эти плечи, на этот цвет волос… Ah, c'est le rêve![214]

Она подходила к Эллен слишком близко, точно кошка, которая хочет, чтобы ее погладили. Бледно-зеленое платье было отделано ярко-красным и темно-синим.

— В последний раз заказываю такое платье. Мне надоело постоянно носить синее и зеленое…

---

213 Примечания: 213

Ах, это так заметно… Вам не следует работать, уже видны совсем маленькие морщинки. Но они исчезнут *(фр)*.

214 Примечания: 214

Ах, это мечта! *(фр.)*

Мадам Субрин ползала у ее ног и возилась с подолом; ее рот был набит булавками.

— Совершеннейшая греческая простота, бедра, как у Дианы… Эллинская весна… Светоч свободы… Мудрая дева… — бормотала она, не выпуская булавок изо рта.

«Она права, — думала Эллен, — я скверно выгляжу». Она смотрела на себя в высокое трюмо. «Фигура расползается, начнется беготня по институтам красоты, корсеты, косметика…»

— Regardez-moi ça, chéri,[215] — сказала портниха, поднимаясь и вынимая булавки изо рта.

Эллен вдруг стало жарко. Ей показалось, что она попала в какую-то щекочущую паутину; от ужасного удушья шелка, крепа и муслина у нее заболела голова. Ей захотелось скорее выйти на улицу.

— Пахнет дымом, что-то неладно! — неожиданно вскрикнула белокурая девица.

— Тсс… — зашипела мадам Субрин.

Обе исчезли за зеркальной дверью.

В задней комнате мастерской Субрин под лампой сидит Анна Коген. Быстрыми, мелкими стежками она пришивает отделку к платью. На

---

215 Примечания: 215
Посмотрите на это, дорогая *(фр.)*.

столе перед ней горою взбитых яичных белков возвышается ворох прозрачного тюля.

Чарли, мой мальчик!

О Чарли, мой мальчик! —

мурлычет она тихо и быстрыми, мелкими стежками шьет будущее.

«Если Элмер захочет, то мы поженимся. Бедный Элмер, он хороший, но такой мечтатель. Странно, что он влюбился в такую, как я. Но он перерастет все это; если произойдет революция, он будет большим человеком… Придется бросить танцульки, если я выйду за Элмера. Может быть, мы накопим денег и откроем маленький магазин на хорошем месте, где-нибудь на больших авеню. Мы там больше заработаем, чем в центре. «La Parisienne. Modes».[216]

У меня дело пошло бы нисколько не хуже, чем у этой старой суки. Была бы сама себе хозяйкой, не было бы никаких разговоров о забастовщиках и скэбах… Равные шансы для всех… Элмер говорит, что это болтовня. Вся надежда рабочих только на революцию.

Я с ума схожу по Гарри,

---

216 Примечания: 216
«Парижанка. Моды» *(фр).*

Гарри мною увлечен…

Элмер на центральной телефонной станции, в смокинге, со слуховыми трубками в ушах, высокий, как Валентино,[217] сильный, как Дуг. Революция объявлена. Красная гвардия марширует по Пятой авеню. Анна в золотых кудрях, с котенком на руках, высунулась из самого верхнего окна. Под ней, над улицами порхают белые голуби. Пятая авеню кровоточит красными знаменами, сверкает духовыми оркестрами, вдали хриплые голоса поют «Красное знамя», на куполе Вулворт-Билдинг полощется по ветру флаг. Смотри, Элмер! Элмер Дэскин избран мэром. Во всех учреждениях танцуют чарльстон… Трам-там, чарльстон дивный танец, трам-там… Может быть, я люблю его. Элмер, возьми меня! Элмер, умеющий любить, как Валентино, стискивающий меня руками, сильными, как руки Дуга, горячими, как пламя, руками, Элмер…»

Сквозь грезы она продолжает шить, мелькают белые пальцы. Белый тюль сияет слишком ярко. Вдруг красные руки протягиваются из него, она не может вырваться из объятий красного тюля,

---

217 Примечания: 217

Рудольф Валентино (1895—1926) — американский киноактер, итальянец по происхождению. Снимался в ролях «первых любовников».

он кусает ее, обвивается кольцом вокруг головы… Окно в потолке тускнеет от клубящегося дыма. Комната полна дыма и визга. Анна уже на ногах, кружится по комнате, отбивается руками от горящего вокруг нее тюля.

Эллен стоит в комнате для примерки и смотрит на себя в трюмо. Все явственнее пахнет горящей материей. Она нервно ходит взад и вперед, потом выходит стеклянной дверью в коридор, увешанный платьями, ныряет в облако дыма и видит сквозь пелену слез, застилающую глаза, большую мастерскую, визжащих девушек, которые мечутся вокруг мадам Субрин. Мадам Субрин направила огнетушитель на обуглившийся ворох материи на полу у стола. Кто-то стонет в этом ворохе; из него вытаскивают тело. Краем глаза Эллен видит руку в лохмотьях, сожженное черно-красное лицо.

— Ах, миссис Херф, скажите, пожалуйста, дамам в приемной, что ничего не случилось… Абсолютно ничего… Я сейчас приду сама! — пронзительно кричит ей мадам Субрин.

Закрыв глаза, Эллен бежит по наполненному дымом коридору в комнату для примерки. Когда ее глаза перестают слезиться, она приподымает портьеру и выходит к встревоженным дамам в

приемную.

— Мадам Субрин просила меня передать, что ничего, абсолютно ничего не случилось. Загорелась кучка мусора… Она сама потушила ее огнетушителем.

— Ничего, абсолютно ничего не случилось, — говорят друг другу дамы, опускаясь на диваны стиля ампир.

Эллен выходит на улицу. Прибыли пожарные машины. Полисмены оттесняют толпу. Ей хочется уйти, но она не может, она ждет чего-то. Наконец, она слышит в конце улицы звон. Пожарные машины с грохотом отъезжают, подъезжает автомобиль скорой помощи. Санитары выносят сложенные носилки. Эллен еле дышит. Она стоит рядом с автомобилем, позади плотного синего полисмена. Она пытается разгадать, почему она взволнована. Ей кажется, будто частицу ее самой запеленали бинтами и сейчас вынесут на носилках. Носилки появляются, колыхаясь между будничными лицами и темными куртками санитаров.

— Она сильно обгорела? — удается ей спросить из-за спины полисмена.

— Не умрет… Но для девушки это ужасно.

Эллен протискивается сквозь толпу и бежит на

Пятую авеню. Уже почти темно.

— Из-за чего я так волнуюсь? — спрашивает она себя.

В сущности, обыкновеннейший несчастный случай, какие бывают ежедневно. Ноющая тревога и грохот пожарных машин не хотят покинуть ее. Она нерешительно стоит на углу, экипажи и лица мелькают мимо нее. Молодой человек в новой соломенной шляпе смотрит на нее искоса, собираясь пристать. Она тупо глядит ему в лицо. На нем галстук в красную, зеленую и синюю полоску. Она быстро проходит мимо него, переходит на другую сторону авеню и сворачивает к центру города. Половина восьмого. Ей нужно с кем-то где-то встретиться — она не помнит где. Внутри нее страшная, тупая усталость.

— Господи, что же мне делать? — жалобно шепчет она.

На углу она окликает такси:

— Пожалуйста, в «Алгонкин»!

Теперь она вспомнила: к восьми часам она приглашена на обед судьей Шаммейером и его супругой. Надо заехать домой переодеться. Джордж сойдет с ума, если увидит ее в таком виде. «Он любит выставлять меня напоказ, разукрашенной, как рождественская елка, точно заводную

говорящую куклу, будь он проклят!»

Закрыв глаза, она сидит в углу такси. «Надо развязать себя, обязательно развязать себя. Смешно быть вечно замкнутой на ключ — так, что всякая мелочь терзает душу, как скрип мела по доске. Предположим, что это я обгорела, а не та девушка, что я обезображена на всю жизнь. По всей вероятности, она получит от старухи Субрин кучу денег — начало карьеры. Или, предположим, я пошла бы с тем молодым человеком в безобразном галстуке, который пытался пристать ко мне… Любезничание над ломтиками банана и содовой водой, катание по городу в автобусе, его колено, льнущее к моему колену, его рука на моей талии, тисканье в темном подъезде… Есть жизни, которые можно прожить, если только на все наплевать и ни о чем не заботиться. О чем заботиться, о чем? О мнении людей, о деньгах, успехе, шикарных отелях, здоровье, зонтиках, бисквитах?.. Мой мозг все время трещит, точно испорченная механическая игрушка. Надеюсь, они еще не заказали обеда. Тогда я заставлю их пойти куда-нибудь в другое место». Она открывает сумочку и пудрит нос.

Когда такси останавливается и высокий швейцар открывает дверцу, она выходит легким,

танцующим, девичьим шагом, расплачивается и с легким румянцем на щеках, с глазами, в которых отражается темно-синяя мерцающая ночь глубоких улиц, входит во вращающуюся дверь.

И когда сверкающая, беззвучно вращающаяся дверь начинает кружиться под давлением ее руки в перчатке, ее внезапно пронзает мысль: она что-то забыла. Перчатки, кошелек, сумочка, носовой платок — все при мне. Зонтика с собой не было. Что же я забыла в такси? Но она уже идет, улыбаясь двум седым мужчинам в черном, с белыми пластронами рубашек, которые поднимаются, улыбаются, протягивают к ней руки.

Боб Гилдебранд ходил в халате и пижаме вдоль длинных окон, покуривая трубку. Из-за тонкой двери доносился звон стаканов, шаркали ноги, кто-то смеялся и тупая игла патефона выскребывала из пластинки фокстрот.

— Почему ты не хочешь переночевать у меня? — говорил Гилдебранд своим низким, серьезным голосом. — Народ мало-помалу разойдется… Мы тебя положим на кушетку.

— Нет, спасибо, — сказал Джимми. — Сейчас начнутся разговоры о психоанализе, и они проторчат здесь до зари.

— Но ведь тебе гораздо лучше ехать с утренним

поездом.

— Я вообще не поеду ни с каким поездом.

— Слушай, Херф, ты читал про человека, которого убили в Филадельфии за то, что он четырнадцатого мая вышел на улицу в соломенной шляпе?

— Честное слово, если бы я создавал новую религию, то я зачислил бы его в святые.

— Стало быть, ты читал?.. Забавно… Этот человек еще имел дерзость защищать свою соломенную шляпу. Кто-то сломал ее, а он затеял драку, и тут к нему сзади подскочил один из тех уличных героев, что стоят на всех перекрестках, и проломил ему голову куском свинцовой трубы. Его подобрали с расколотым черепом, и он умер в больнице.

— Как его звали, Боб?

— Не помню.

— Вот… А вы все болтаете о Неизвестном солдате… Вот вам настоящий герой! Золотая легенда о человеке, который пожелал носить шляпу не по сезону…

Чья-то голова просунулась в дверь. Краснолицый человек с волосами, свисающими на глаза, заглянул в комнату.

— Хотите джину, ребята? Кого вы хороните?

— Я ложусь спать, мне не надо джину! — резко сказал Гилдебранд.

— Мы хороним Святого Алоизия Филадельфийского, девственника и мученика, человека, который носил шляпу не по сезону, — сказал Херф. — Я бы глотнул джину. Мне надо через минуту уходить. Будь здоров, Боб.

— Будь здоров, таинственный странник… Сообщи твой адрес — слышишь?

Соседняя комната была полна бутылок из-под джина и имбирного пива; горы недокуренных папирос громоздились в пепельницах, парочки танцевали, кое-кто лежал растянувшись на диване. Патефон бесконечно играл «Леди, леди, будь добра». Херфу сунули стакан джина. Какая-то девушка подошла к нему.

— Мы говорили о вас… Знаете, вы таинственный человек.

— Джимми, — раздался крикливый, пьяный голос, — говорят, что вы бандит!

— Почему вы не стали преступником, Джимми? — сказала девушка, кладя ему руку на талию. — Я пришла бы на ваш процесс, ей-богу, пришла бы.

— Откуда вы знаете, что я не преступник?

— Тут происходит что-то таинственное, — ска-

зала Фрэнсис Гилдебранд, входя в комнату; она принесла из кухни ведро с колотым льдом.

Херф обнял девушку и начал танцевать с ней. Она танцевала, спотыкаясь о его ноги. Танцуя, он довел ее до двери передней, открыл дверь и, не переставая танцевать, вывел девушку в переднюю. Она машинально подняла губы, чтобы ее поцеловали. Он быстро поцеловал ее и взял шляпу.

— Спокойной ночи, — сказал он.

Девушка заплакала.

На улице он глубоко вздохнул. Он чувствовал себя счастливым. Он полез в карман за часами, но вспомнил, что заложил их.

Золотая легенда о человеке, который носил шляпу не по сезону. Джимми Херф идет по Двадцать третьей улице, смеясь про себя. «Дайте мне свободу или убейте меня!» — сказал Патрик Генри,[218] надевая четырнадцатого мая соломенную шляпу. И его убили. Тут нет уличного движения, разве что прогрохочет молочный фургон. Мрачно темнеют горестные кирпичные дома… Проносится такси, за ним лентой тянется смутное пенье.

---

218 Примечания: 218

Генри Патрик (1736—1799) — политический деятель, один из героев Американской революции, непревзойденный оратор, борец за свободу человеческой личности.

На углу Девятой авеню он замечает, что пара глаз, точно две дыры в белом треугольнике бумаги, смотрит на него, — женщина в дождевике манит его, стоя на пороге. Дальше два английских матроса пьяно ругаются на лондонском жаргоне. Он приближается к реке, воздух становится молочно-туманным. Ему слышен отдаленный, мягкий, величественный рев пароходов.

Он долго сидит в ожидании парома в убогом, освещенном красноватым светом станционном зале. Он сидит и блаженно курит. Он ничего не может вспомнить, все его будущее — туманная река и паром, широко скалящий два ряда огней, точно улыбающийся негр. Он стоит у перил, сняв шляпу, и чувствует, как речной ветер шевелит его волосы. Может быть, он сошел с ума; может быть, это потеря памяти, какая-нибудь болезнь с длинным греческим названием; может быть, его найдут в Хобокене собирающим ежевику. Он смеется так громко, что старик, подошедший открыть калитку, испуганно косится на него. «Котелок не в порядке, думает, вероятно, старик. Может быть, он и прав. Честное слово, если бы я был художником, мне бы, может быть, разрешили рисовать в сумасшедшем доме и я нарисовал бы Святого Алоизия Филадельфийского в соло-

менной шляпе вместо нимба вокруг головы и со свинцовой трубой, орудием его пытки, в руках, а самого себя, в миниатюре, поместил бы молящимся у его ног». Единственный пассажир, он бродит по парому, словно тот принадлежит ему. «Моя временная яхта».

— Клянусь Богом, ночной штиль, — бормочет он.

Он пытается объяснить себе свое веселое настроение:

— Я не пьян. Может быть, я сошел с ума? Но я этого не думаю.

За минуту до отхода парома на него поднимают лошадь и разбитую рессорную повозку, нагруженную цветами; лошадь погоняет маленький, смуглый, скуластый человек. Джимми Херф бродит вокруг повозки; позади тощей лошади с торчащими, как вешалки, ребрами, маленькая жалкая повозка выглядит неожиданно веселой от наваленных на нее горшков с пунцовой и розовой геранью, гвоздикой, ольховником, тепличными розами и синей лобелией. Сочно пахнет весенней землей, влажными цветочными горшками и оранжереей. Возница сидит сгорбившись, нахлобучив шляпу на глаза. Джимми Херф хочет спросить его, куда он везет столько цветов, но

сдерживается и идет на нос парома.

Выбравшись из пустого, темного речного тумана, паром неожиданно разевает черную пасть с ярко освещенной глоткой. Херф бежит сквозь пещерный мрак на укутанную туманом улицу. Потом он поднимается вверх по склону. Внизу, под ним, — железнодорожное полотно, медленный стук товарных вагонов, пыхтенье паровоза. Он останавливается на вершине холма и оглядывается. Ему ничего не видно, кроме пелены тумана, в которой плавает вереница мутных дуговых фонарей. Потом он идет дальше, радуясь своему дыханию, биению своей крови, гулу своих шагов по мостовой, между шпалерами призрачных домов. Постепенно туман рассеивается, откуда-то просачивается жемчужное утро.

Заря застает его на цементированном шоссе. Он шагает мимо грязных пустырей, на которых дымятся кучи мусора. Солнце бросает красноватые лучи на ржавые котлы, скелеты грузовиков, куриные косточки фордов, бесформенные массы изъеденного ржой металла. Джимми ускоряет шаг, чтобы поскорей выбраться из облака вони. Он голоден; на больших пальцах ног вздуваются волдыри. На перекрестке, где все еще мигает и мигает сигнальный фонарь, напротив бензоко-

лонки стоит фургон-ресторан. Он расчетливо тратит на завтрак последний четвертак. Теперь у него остается — на счастье, на горе — три цента. Огромный мебельный грузовик, блестящий и желтый, остановился у фургона-ресторана.

— Не подвезете ли вы меня? — спрашивает он рыжеволосого шофера.

— А вам далеко?

— Не знаю… Довольно далеко.

Послесловие
Романы Джона Дос Пассоса

Расцвет литературного дарования Джона Дос Пассоса (1896—1970) и его литературная слава пришлись на конец 20-х, начало и середину 30-х годов нашего века. В этот период были опубликованы четыре лучшие его романа: «Манхэттен» и образовавшие впоследствии трилогию «США»: «42-я параллель», «1919» и «Большие деньги». В это время Дос Пассос был не менее знаком американским и европейским читателям, чем Хемингуэй и Фицджеральд — два хорошо известных автора, с которыми он долгое время был дружен, с кем делился своими литературными планами, к чьим советам прислушивался и кому советовал сам. Его «Манхэттен», изданный в 1925 г. в Нью-Йорке, даже отвлек внимание от хемингуэевского сборника рассказов «В наше время» и «Великого Гэтсби» Фицджеральда, появившихся тогда же и блеснувших на литературной арене.

Несмотря на ранний успех, Дос Пассоса ожидала нелегкая литературная судьба. После публикации в 1936 г. трилогии «США» он уже не создаст

ничего более значительного, хотя по-прежнему будет много писать и издаваться. Ему придется пережить свою литературную славу, а после смерти утерять и известность. Дос Пассоса сейчас мало читают, и в этом история преподносит пример очевидной близорукости по отношению к писателю, сумевшему выразить нечто, чрезвычайно существенное во все времена: идею неизмеримой ценности отдельного человека со всеми его надеждами и разочарованиями, падениями и взлетами, идею индивидуальной неповторимости каждого среди всего остального мира. Дос Пассос — писатель, который необыкновенно остро чувствовал давление, оказываемое обществом, со всеми его политическими, социальными установлениями и принятыми законами морали, — на человеческую личность, стремление подогнать ее под общую мерку, лишив внутренней самостоятельности и свободы, попытку унизить ее нищетой и безысходностью. Взаимодействие общества и человека, их нераздельность и противостояние — главный предмет романов Дос Пассоса; сострадание, сочувствие человеку, утверждение его личной индивидуальности — их главная тема и цель.

Возможно, чтение Дос Пассоса сейчас затрудня-

ет обилие исторического материала — газетных отрывков, реклам, намеков на реальные события американской жизни 1920 — 1930-х гг., куплетов из популярных тогда песенок, во множестве включенных в его книги и мало что говорящих современному читателю. Время откатывалось назад, увлекая за собой войны, моды, политические лозунги и вместе с ними книги Дос Пассоса, пропитанные насквозь приметами уходивших дней. Но есть нечто универсальное, вневременное, связывающее сменяющие друг друга эпохи: трагизм существования личности во враждебном мире, ее одиночество, отчаяние, неутомимая жажда счастья, человеческие страсти, толкающие людей на преступления против себе подобных, столкновения групп, классов и целых народов. Ощущение этой связи становится у Дос Пассоса настойчивым и немного грустным предупреждением тем, кто в поисках ответов на сегодняшние вопросы забывает оглянуться назад.

Лучшим книгам Дос Пассоса свойственны небывалые ранее в американской литературе панорамность и масштабность, выделявшие их среди произведений современников. Замыслы писателя трудно было реализовать обычными, традиционными средствами. Дос Пассос экспе-

риментировал со словом, с целыми словарными массивами, рвал последовательную сюжетную композицию, заменяя реалистическую логику логикой художественной. Это тоже не облегчает чтения его романов, но дарит рискнувшему окунуться в них читателю страницы прекрасно сделанной прозы, иногда сдержанно лаконичной, иногда лиричной и мягкой.

Читательскому восприятию Дос Пассоса часто мешают и многочисленные дискуссии, связанные с его политическими взглядами. Вовлеченность Дос Пассоса в политику и социальную жизнь своей страны оказалась накрепко связанной с его писательской судьбой: романы Дос Пассоса не раз трактовались критикой как политические декларации. Основания для этого при желании можно было найти: вплоть до конца 1930-х гг. Дос Пассос стоял весьма близко к социалистическому движению (чему не раз ошибочно приписывали успех его романов этого периода), никогда, впрочем, не видя в нем панацеи от всех общественных бед. Поиски и перемены во взглядах отражались в его романах, давая повод политически ориентированной критике искать в них подтверждение желаемой концепции его творчества, клеймить его как врага или приветствовать как друга той

или иной политической группировки.

Но Дос Пассос никогда не был членом ни одной партии. Все, что он писал и делал, спасая Сакко и Ванцетти, участвуя в самом левом американском ежемесячнике «Массы», подписывая петиции в защиту политзаключенных или покидая Испанию в 1937 г., было делом его совести, плодом его опыта и размышлений. Дос Пассос шел своим собственным путем, и его лучшие книги — это прежде всего хорошо написанная проза, о которой следует судить по литературным законам, а не по правилам политических игр.

Внук португальского иммигранта, Джон Родриго Дос Пассос принадлежал к числу американских писателей, вышедших из верхних слоев общества, — отец его, Джон Рэндольф, был преуспевающим нью-йоркским адвокатом, хорошо известным в деловых кругах города. Отсутствие религиозных традиций в семье, сложная история взаимоотношений отца и матери делали их дом не похожим на остальные. Необычная семейная обстановка и слабое зрение, не позволявшее Джону Родриго участвовать в играх наравне со сверстниками, с детства обрекали его на одиночество, заставляя искать свой собственный независимый мир. Страсть к чтению обнару-

жилась в мальчике очень рано — он читал о путешественниках, о героях и, забывая обо всем на свете, старался вникнуть в неясное содержание книг, тайком взятых из кабинета отца.

В сентябре 1912 г. Дос Пассос стал студентом элитарного Гарвардского университета. Спустя некоторое время он вошел в университетскую литературную среду и начал писать сам. Экзотический эстетский хлам, основанный на мертвых идеях, — так впоследствии определил он свои первые литературные опыты.

Вскоре, однако, Дос Пассос пришел к убеждению, что тепличная атмосфера Гарварда лишает его доступа к настоящей жизни, которую он внезапно открыл для себя во всей ее осязаемой реальности. При Гарвардском университете существовало учреждение, известное под именем «Союза», которое было основано с целью организации демократических собраний студентов университета. Здесь, в одной из небольших аудиторий, произошла единственная встреча Дос Пассоса с бывшим воспитанником Гарварда Джоном Ридом, приехавшим навестить свою alma mater. «Когда он кончил говорить, — вспоминал Дос Пассос годы спустя, — сам воздух студенческого мира, в котором я жил, показался мне тоскливо

разреженным. В то время как прочная скала привычной жизни миллионов людей раздроблялась войнами и восстаниями, мы, студенты, жили под стеклянным колпаком, вскормленные отвратительной жижицей древних культур… Рид выбрался из-под стеклянного колпака… А если он выбрался, то значит и другие могли выбраться».

Джон Рид на многие годы стал героем Дос Пассоса, человеком, которым он восхищался и которому подражал. Впоследствии он напишет о нем как о символе целого поколения: «Его жизнь явилась как бы символом, образом восстания целого поколения американской молодежи против ограничений устаревшей пуританской морали и против религии денег, навязанной ему огромным экономическим давлением, характерным для существующего в Америке капиталистического строя».

Идеи революции, ставшие близкими Дос Пассосу под влиянием личности Рида, со студенческих лет свяжутся у писателя с романтическим преодолением отживших понятий и норм, очищением общества от пошлости и несправедливых законов, с обновлением его культуры и искусства. Пройдет почти четверть века, прежде чем понятия революции и справедливости сделаются

полярными в его представлении.

Первая мировая война шла уже два года, когда Дос Пассос окончил Гарвард. Писатель вступает в добровольческие ряды международного Красного Креста, что явилось неким компромиссом между его пацифистскими настроениями и настоятельной потребностью «выбраться из-под колпака». Война, казалось, способна была вполне удовлетворить потребность Дос Пассоса в романтизме и живой деятельности. Множество его сверстников мыслили точно так же: впоследствии они сформируют знаменитое «потерянное поколение», по удачному выражению Гертруды Стайн.

В 1917 г. Дос Пассос был недалеко от Вердена, осенью того же года воевал в Италии. Весной 1918 г. Объединенный разведывательный отдел усмотрел в его письмах ряд весьма прозрачных намеков на грязь и мерзость всего «великого противостояния»: Дос Пассос был отчислен из Красного Креста и переведен в Медицинскую службу американской армии.

Война подвела окончательный итог его юношеским размышлениям. «Радикалом меня сделала война, — писал он в своей автобиографии. — До этого времени я вообще сомневался, были ли у меня какие-нибудь политические взгляды».

Общество, позволившее втянуть себя в войну, и власть, толкнувшая его в мировую бойню, нуждались в глубоких и основательных переменах. Теперь это стало очевидно. Дос Пассос видел страдание невинных, не причастных к мировому раздору людей, которые лишь хотели жить в покое, предаваясь своим нехитрым радостям, но были бессильны что-либо изменить. Война врывалась в жизнь разлуками и смертями и откровенно демонстрировала пороки общественной системы, вылившиеся в эту небывалую по размаху трагедию.

Политический аспект происшедшего и разочарование в американском правительстве Дос Пассос переживал острее и глубже, чем большинство современных ему писателей, воспринимавших события 1914—1919 гг. только как личную драму. Известный критик и друг Дос Пассоса Эдмунд Уилсон напишет впоследствии: «Большинство первоклассных писателей того же возраста, что и Дос Пассос, — Хемингуэй, Уайлдер, Фицджеральд — культивировали свои собственные уголки, избегая сталкиваться с системой в целом. Только Дос Пассос пытался ей противостоять».

Он начинает интересоваться социалистической теорией как возможностью исправления

изъянов общественного механизма. Его привлекают идеи братства, уничтожения собственности, свободы развития личности в государстве нового типа, где людям будет предоставлено право самим решать свою собственную судьбу. Его первая книга о войне — повесть «Посвящение молодого человека — 1917» уже полна идеями будущего социального переустройства. «Нам нужно, чтобы жизнь стала организованной, причем эту организованность должны создать массы, — убеждает герой повести Мартин Хау собравшихся вокруг него солдат. — Социализм должен возникнуть из естественного стремления людей помогать друг другу, а не из желания правящих классов крепче сковать нас цепями… Мы должны встать на защиту попранной свободы и достоинства человека… Мы слишком молоды, слишком нужны миру, и поэтому мы победим. Мы должны отыскать пути, сделать первый шаг к освобождению, или вся жизнь — только пустая насмешка».

Первая книга Дос Пассоса представляла собой ряд почти не связанных сюжетно отрывков, напоминающих скорее эскиз, зарисовку, нежели законченное литературное произведение. Множество людей проходили мимо Мартина, санитара полевого госпиталя, умирали у него на

руках, их сменяли другие, госпиталь перемещался с позиции на позицию, и всюду были кровь, и грязь, и одуряющая бессмыслица происходящего. Читатель видел, что молодой автор пытается охватить картину в целом, понять причины покорности шедших на смерть людей, понять, почему другие люди обрекли их на это, найти возможность исправить чинимое зло. Впрочем, читателей было мало. Издателям удалось продать всего 60 экземпляров: художественная слабость «Посвящения» сыграла свою роль.

Следующей попыткой отыскать ответы на мучившие писателя вопросы явились «Три солдата», вышедшие годом позднее и принесшие Дос Пассосу первую известность. Дос Пассос работал над романом в Испании, куда отправился сразу же после войны и где оставался около года, изучая памятники древнего зодчества и часто проводя целые дни в картинных галереях. Эта его увлеченность отразилась в архитектурной стройности композиции нового романа, которая отличалась четким соотношением частей, продуманными комбинациями сюжетных отрывков. Строгий судья, очевидно, нашел бы в книге немало погрешностей; но то, что автор ее обладал незаурядным чувством формы, композиции и

живописной пластики, было теперь очевидно. Роман упрямо претендовал на панорамность охвата: на этот раз героями стали музыкант, фермер и продавец линз — люди из разных социальных слоев, с различными взглядами и понятиями, жившие в разных концах страны и объединенные страшными армейскими буднями. Каждый из них так или иначе восставал против своего удела, против насильственной смерти, бесправия и унижений, против подавления индивидуальной воли мощной армейской машиной. И каждый терпел поражение: в одиночку нам с этим не справиться, констатировал молодой автор всем ходом своего повествования.

Но роман говорил и о большем. Его герои оказывались неотделимы от общества в целом; в их лице страдало целое поколение. Трагическое «я», звучавшее со страниц книг современников Дос Пассоса, оборачивалось у писателя трагическим «мы». Это новое видение во многом определило мгновенный успех «Трех солдат» у самой широкой читательской аудитории.

В том же 1921 г. приятель Дос Пассоса Пэкстон Хиббен, работавший в организации «Помощь Ближнему Востоку» при Красном Кресте, предложил молодому автору совершить поездку на

занятый большевиками и сотрясаемый голодом, холерой и арестами Кавказ вместе со специальной инспекционной комиссией. Большой любитель рискованных поездок, Дос Пассос сразу же согласился. Ему предстояло самостоятельно добраться до Стамбула, чтобы потом, присоединившись к остальной группе, сесть на итальянский пароход «Авентино», который должен был доставить членов комиссии в Батум.

Дос Пассос стал свидетелем пестрой неразберихи, царившей в послевоенном Стамбуле, столице недавно рухнувшей Оттоманской империи, и впервые реально прикоснулся к последствиям революции в России, к тем ее опустошительным волнам, которые докатились до черноморского побережья. Дорожные записи этого путешествия легли в основу очерка «Восточный экспресс», который Дос Пассос опубликовал в Нью-Йорке несколькими годами позже и который затем вошел в известную книгу Дос Пассоса «Путешествия между войнами», вышедшую в 1938 г. Очерк полон ярких, выразительных описаний, метафоричность, приподнятость стиля выдают в авторе романтика, захваченного азиатской экзотикой и масштабами переживаемых востоком перемен. Сюжеты, составившие «Восточный экспресс»,

объединяет все то же пристальное внимание к судьбам отдельных людей и готовность писателя склонить голову перед любой попыткой человека отстоять собственное достоинство.

В то время революция на Кавказе представлялась ему очистительной силой, энтузиазм свершивших ее людей вызывал уважение; за всеми приносимыми революции жертвами молодому писателю виделась возможность лучшего будущего для огромной страны.

Вернувшись, Дос Пассос много работал, писал рецензии и критические обзоры для литературных журналов. Но чаще всего его заметки и эссе появлялись в «Массах» — издании коммунистического направления, объединившем вокруг себя левое крыло нью-йоркской интеллигенции. Дос Пассос писал о бесчисленных примерах социальной несправедливости, которые видел вокруг. Отношение его к радикальным организациям, с которыми он к этому времени уже вошел в контакт, было тем не менее неоднозначным. Соглашаясь с коммунистами в их целях, он не мог принять пропагандируемую ими идею революционного переворота — за свою жизнь он видел уже слишком много насилия и крови. Кроме того, коммунистические и социалистические союзы

не вызывали у него доверия: за фасадом ярких лозунгов и обещаний он слишком часто угадывал лишь амбициозные претензии их лидеров.

Историческая сцена менялась: 1920-е гг. вступали в свои права. С лихорадочным весельем в кофейнях и барах отчаянно прожигалась жизнь, стоившая, как оказалось, так мало, и заглушались шампанским мрачные призраки фронта. Но за алкогольными парами и дымом бесчисленных сигарет поднималась реальность, жестокая и трезвая, в которой складывались мощные промышленные союзы, заключались невиданные по масштабам сделки, и политические махинации сопровождались шуршанием банковских чеков; реальность, в которой росла нищета и все меньше и меньше оставалось места человеку, не сумевшему приспособиться к надвигавшейся механистической жизни.

В 1923 г. Дос Пассос уже начал набрасывать свой третий роман, который должен был во всей полноте вобрать в себя предыдущий опыт писателя, все, что ему удалось пережить и понять за время детского одиночества, учебы и войны; роман должен был также отразить картину, открывавшуюся его взгляду сейчас.

Вернувшись из очередного путешествия по

Европе осенью 1923 г., Дос Пассос поселился в одном из тихих пригородов Нью-Йорка. Он снял маленькую меблированную комнату с видом на пляж, пустынный в это время года. Здесь он мог быть один и работать над книгой, которая «будет буквально фантастической и нью-йоркской», как он выразился в одном из своих писем того времени. Он уже знал, что озаглавит книгу «Манхэттен» — по названию острова, с которого исторически начинался Нью-Йорк и который стал теперь его центром.

Манхэттен — сердцевина огромного города, где в многочисленных конторах и офисах сосредоточилась его деловая жизнь, где на кварталы протянулись шикарные магазины и рестораны, где потоком неслись по улицам автомобили, сливая свои нетерпеливые гудки с протяжными голосами океанских пароходов, идущих к манхэттенским докам. Манхэттен был достойным предметом для романа. Он концентрировал в себе жизнь всего города так же, как город становился концентратом и отражением общественной жизни вообще, со всеми ее характерными чертами, проблемами, пороками и достоинствами. Манхэттен был местом, где трущобы особенно бросались в глаза, так как соседствовали с мраморными

дворцами; где разнообразие языков и наречий было особенно заметно, так как сюда, пройдя иммиграционный контроль, высаживались прибывшие иностранцы; где деловые костюмы бизнесменов с Уолл-стрит контрастировали с вольной одеждой художников из Гринич-Вилледж, где проходили рабочие демонстрации и где одиночество и заброшенность человека в людском море преодолеть было труднее, чем где-либо еще.

Нью-Йорк и Манхэттен, Город и его Сердце, стали для Дос Пассоса символическими образами жизни американского общества, его временным и пространственным выражением, где в сложном лабиринте переплелись воедино судьбы, улицы и желания, трущобы, площади и рухнувшие надежды. «Манхэттен», по замыслу автора, должен был вобрать под свою обложку жизнь Нью-Йорка на протяжении почти тридцати лет — с конца девятнадцатого века до начала третьего десятилетия века двадцатого.

В дни работы над книгой слабое зрение доставляло Дос Пассосу особенно много хлопот. Ежедневное многочасовое напряжение вызывало сильные головные боли. Чтобы избавиться от них, он проделывал глазные упражнения по

специальной системе; одно из них заключалось в чтении без очков мелкого шрифта. Достав карманную Библию, уткнувшись в нее носом и немилосердно щурясь, он читал каждый день несколько абзацев из нее.

Его намеренные прогулки без очков были небезопасны — он шел, натыкаясь на предметы, задевая прохожих и переходя перекрестки среди расплывчатого тумана зданий и редких силуэтов скользивших мимо машин. Фантастичность улиц передавалась его Манхэттену — остров в короне высотных зданий вставал над обрамлявшими его реками и океаном величественной и опасной громадой со стертыми границами берегов и мостов, дня и ночи, преступлений и подвигов.

Дос Пассос вернулся в Нью-Йорк под Рождество, которое провел с друзьями — Скоттом и Зельдой Фицджеральд и Эдмундом Уилсоном. Он поселился в Бруклине, районе Нью-Йорка, отделенном от Манхэттена Восточной рекой — Ист-ривер, в комнате, выходящей окнами на Бруклинский мост. Здесь хорошо работалось, а в перерывах можно было выйти из дома и прогуляться в порт, откуда открывался замечательный вид на остров, о котором он писал. Он подолгу курил, сидя на деревянных пирсах и разговари-

вая с портовыми бродягами. Все, что составляло жизнь улиц — объявления и рекламы, плакаты и лозунги, — постепенно заполняло его записную книжку, так же как и обрывки случайно услышанных разговоров и вырезки из газет. Он собирался построить повествование на отдельных равнозначных эпизодах из жизни своих персонажей, жителей Нью-Йорка, скрепляя их, как цементом, тем городским материалом, который ему удалось накопить. Но чем дальше он продвигался в своей работе, тем менее различимы становились характеры и «цементирующий» материал: из сплава рождался Город — центральное действующее лицо.

Дос Пассос был так увлечен работой, что даже прекратил писать для журналов. Это повлекло за собой финансовые затруднения: «У меня уже с пару месяцев не было пятидолларовой бумажки в кармане», — сообщал он друзьям в начале 1924 г.

В мае рукопись была практически готова. В это же время острый приступ ревматической лихорадки уложил писателя в постель практически до конца июля. В начале августа он отнес книгу в издательство Харперов. После небольших споров, касающихся языка (издатели находили его местами излишне нелитературным), рукопись

приняли к публикации.

1925 г. был признан впоследствии одним из самых выдающихся периодов в истории американской литературы. В этом году появились «Великий Гэтсби» Фицджеральда, «Эроусмит» Льюиса, драйзеровская «Американская трагедия», «В наше время» Хемингуэя; 12 ноября вышел из типографии «Манхэттен» Дос Пассоса. Многочисленные рецензии, последовавшие за публикацией книги, часто противоречивые в оценках, в один голос утверждали, тем не менее, что роман занимает совершенно особенное место во всем потоке только что изданной литературы.

Никогда еще столь многочисленные ракурсы жизни огромного города не соединялись под одной книжной обложкой. Никогда еще они не изображались с подобной точностью, которая порой переходила в откровенный натурализм. И никогда еще будничная жизнь Нью-Йорка не выглядела так драматично.

«Манхэттен» выделялся необычностью композиционного построения, переплетением временных пластов, огромным количеством второстепенных персонажей и необычным смешением типов повествования, где реалистическое письмо перебивалось лихорадочным пунктиром «потока

сознания», а поэтические отрывки перемежались со скупым, почти лишенным эпитетов изложением. Страницы посвященных роману обзоров пестрели словами «экспрессионистский», «супернатуралистический», «неореалистический», «архитектурный», «панорамный», «калейдоскопический», «фрагментарный». Некоторые критики указывали на чрезмерное увлечение автора французским импрессионизмом, многие связывали роман со знаменитым «Улиссом» Джойса. В одной из рецензий «Манхэттен» сравнивался с ужасающим взрывом в выгребной яме. В другой — с исследовательской лабораторией.

Наибольшее впечатление на читающую публику произвело развернутое эссе Синклера Льюиса в «Субботнем литературном обозрении» «Наконец-то Манхэттен!» — эссе, которое и сейчас читается с увлечением благодаря свежести восприятия и точности суждений его автора. Льюис, в середине 1920-х гг. наиболее авторитетный писатель Америки, называл «Манхэттен» книгой первостепенного значения, закладывающей основы для совершенно новой писательской школы. Он выражал восхищение виртуозной техникой романа, но еще более его потрясала «зачарованность автора красотой жизненного водоворота» и то,

как он отразил это в своей книге. В конце статьи Льюис писал о том, что считает «Манхэттен» во всех смыслах более значительным, чем все, созданное Гертрудой Стайн, Марселем Прустом или даже Джойсом. Такое утверждение шокировало читателей и подогревало и без того немалый интерес к роману Дос Пассоса — первые четыре тысячи экземпляров разошлись практически моментально.

Роман, вызвавший столь бурную реакцию, состоит из трех разделов, в каждый из которых входят несколько глав, предваряемых небольшими эпиграфами, напоминающими стихотворения в прозе. Эти выразительные эпиграфы звучат некими вступительными аккордами, определяя тональность следующего за ними повествования:

Нью-йоркский порт, безногий юноша со своей тележкой у подножия вздыбившегося над ним небоскреба, плавящийся асфальт летних улиц, жаркое марево над раскаленным потоком автомобилей, старик, всхлипывающий на углу («Я не могу, не могу, не могу!»), и толпа людей, равнодушно спешащая мимо. В случайных уличных сценах проявляются бесчисленные лики Нью-Йорка, каждый из которых по-своему

значителен и символичен. Эпиграфы придают прозе объемность, стереоскопичность, заставляя воспринимать отдельные сюжетные линии как часть целого — города, истории, человеческой жизни вообще.

Страницы «Манхэттена» населены чрезвычайно плотно. Перед глазами читателя мелькает множество людей — одни возникают, чтобы сразу же исчезнуть навсегда, поглощаемые Городом, другие остаются в поле зрения на какой-то промежуток времени, разговаривают, отправляются на поиски работы, ссорятся, танцуют в ресторанах, влюбляются, предают и затем так же растворяются в толпе. Лишь несколько человек продолжают последовательно появляться на протяжении всего действия романа.

«Манхэттен» отличает фрагментарность повествования, свойственная более кинематографу, чем литературе. Тридцатилетний отрезок времени предстает перед читателем как ряд отрывочных картин, иногда даже не имеющих между собой видимой связи. Соединенные одна с другой в тонко продуманной последовательности, они образуют особый логический сюжет точно рассчитанного эмоционального воздействия. При этом сам автор практически устраняется, предо-

ставляя читателю самому судить об увиденном.

Интересно, что «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, знаменитый своими монтажными приемами, демонстрировался в Нью-Йорке в том же 1925 году. «Потемкин» не имел индивидуального героя-человека: отдельные его персонажи лишь иллюстрировали состояние всего коллектива. Но и их роль была значительна. Для создания нужного эмоционального эффекта Эйзенштейн показывал не просто сотни убитых: отдельным крупным планом на экране представали лица тех, кто пробуждал в зрителях сострадание, кому конкретно зритель сопереживал, — и эффект усиливался в геометрической прогрессии.

То же самое высвечивание отдельных судеб на фоне общего трагического сумбура бытия читатель находит в «Манхэттене». Разница состоит в том, что в повествовании Дос Пассоса немое кино того времени соединяется со звуком — живой многоязычной речью, всей массой городского шума, льющегося со страниц романа.

Среди немногих персонажей, проходивших через всю книгу, отчетливо выделялись трое — актриса Эллен Тэтчер, журналист Джим Херф и адвокат Джордж Болдуин. Джим и Джордж противоположны, как два полюса, по своим

нравственным качествам и по тому, что судьба уготовила каждому из них: Болдуину — удачную карьеру, ценой конформизма и серии предательств, Херфу — нищету и неясные перспективы ценой сохранения своей индивидуальности и отказа идти на компромисс с обществом. Между этими полюсами мечется женщина, красавица Эллен. Уступая в конце концов Болдуину и тому миру, который он представляет, Эллен погибает, оставляя вместо себя миру раскрашенный манекен, изящную механическую игрушку. Джим Херф — персонаж, наделенный Дос Пассосом многими автобиографическими чертами. В детстве он — начитан и одинок, рано сталкивается со сложными семейными проблемами. Так же, как и Дос Пассос, он связывает свою жизнь с литературным поприщем, и так же, как он, проходит через опыт первой мировой войны. Он же — единственный из героев романа, которому удается выстоять в схватке с Манхэттеном.

Манхэттен Дос Пассоса — это навязанные конформистские нормы, политические игры и нечистоплотность власти, продажность лидеров рабочих организаций, это нищета, толкающая людей на преступления, это унижение вынужденной лжи и притворства, это власть денег и

полная зависимость от них, это бриллиантовые миражи и царство расхожих стандартов. Манхэттен не выносит одиночек, пытающихся идти против течения, — он топит их в своих водоворотах, потому что они опасны его отлаженному механизму, его силе. Джим Херф — такой одиночка. Манхэттен лишает его карьеры, денег, уюта семейного очага. Но Херфу удается преодолеть магнетическое притяжение Манхэттена и бежать, спасая свое человеческое «я» и свободу следовать избранным нравственным принципам. Осознав опасность Манхэттена, он находит в себе силы вырваться из замкнутого круга его разрушительного воздействия.

Все остальные персонажи романа продолжают существовать в этом кругу: бродяги, нищие, политики, коммерсанты, продавцы, руководители рабочих партий, актеры, газетчики, домохозяйки, банкиры, налетчики, аферисты. Очерчивая с чрезвычайной точностью маршруты их передвижения по Манхэттену, Дос Пассос говорит о неразрывной связи людей и Города: то, по каким улицам они ходят, где обедают, куда ездят развлекаться, определяет их жизненный статус, их нравственность и почти судьбу. Переход с одной улицы на другую, переезд из района в район

означают возвышения и падения, характеризуют мечты и надежды. Манхэттен поделен сеткой продольных и поперечных улиц (авеню и стрит), как шахматная доска, и Дос Пассос маневрирует многочисленными фигурами своей игры, перемещая их с клетки на клетку. Нью-Йорк — и сцена, и враг, и питательная среда. Он живет и дышит, разрастаясь в высоту и ширину, захватывая новые территории и сметая все на своем пути. Его движения завораживают своей мощью и странной механистической красотой. Люди пытаются удержаться, карабкаясь по лестницам в свои квартиры, кидаясь в такси, цепляясь за столики в кафе, в одном отчаянном жесте соединяя жажду жизни, надежду, страх и бессилие. «В Нью-Йорке ничто не имеет значения, кроме денег!» — плачет Алиса Шеффилд. «Из вас ничего не выйдет, пока вы не поймете, что не вы хозяин в этом городе!» — кричит безымянный босс на своего служащего. «Ночью, когда ничего не разобрать, он хорош. Но в нем нет художественности, нет красивых зданий, нет духа старины — вот в чем ужас», — вздыхает антрепренер Гарри Голдвейзер. «По-моему, в этом городе живут легионы людей, жаждущих непостижимых вещей…» — мечтательно произносит Эллен Тэтчер. «Я знаю

одно: больше всего я хочу выбраться из этого города, предварительно положив бомбу под какой-нибудь небоскреб», — признается Джимми Херф своему приятелю Стэну Эмери. «Как ни тошнит от Нью-Йорка, а уйти от него некуда. И это самое ужасное… Нью-Йорк — вершина мира. Нам остается только крутиться и крутиться, как белка в колесе», — заключает Болдуин. Ни один из них не счастлив; несчастливы и нищие, выпрашивающие подаяние, и богатые, у которых расшатаны нервы от вечного страха потерять нажитое, от вечных забот, как нажить еще, не оступиться, не проиграть и не упустить. В этом городе нет счастливых людей, утверждает Дос Пассос.

Хемингуэй в предисловии к европейскому изданию «Манхэттена» писал: «В Европе «Манхэттен», переведенный на многие языки, стал духовным Бедекером по Нью-Йорку. Дос Пассос — единственный из американских писателей, оказавшийся способным показать европейцам реальную Америку, которую они найдут, приехав туда. Даже перевод сохраняет его энергичность, его наблюдательность, его благородство и увлеченность. Ему свойственна честность — единственная добродетель наших туповатых литераторов, — но он обладает и гораздо большей

культурой, чем многие наши доморощенные гуманисты, соединенной с силой и изобретательностью истинного художника».

Друг писателя Эдмунд Уилсон возразит, однако, впоследствии, что жизнь среднего класса Америки даже при капитализме и даже в таком городе, как Нью-Йорк, отнюдь не так отвратительна, как ее изображает Дос Пассос. В статье «Дос Пассос и социальная революция» Уилсон пишет: «Читая роман, временами обнаруживаешь, что готов броситься защищать даже американские уборные, даже фордовские автомобили, которые, в конце концов, начинаешь ты рассуждать, сделали не меньше, чтобы спасти нас от беспомощности, заброшенности и грязи, чем все пророки революции».

И все же роман не пропагандировал революционных идей. Дос Пассос не предлагал какого-либо конкретного решения проблем, накопившихся в человеческом обществе капиталистической Америки. Более того, прежние его сомнения в способности социалистических союзов повлиять на общественную систему в лучшую сторону были выражены в книге достаточно откровенно. По существу, роман предлагал лишь один выход — бегство. Куда бежит из Манхэттена

Джимми Херф, сказано тем не менее не было: читатель мог разглядеть лишь дорогу под колесами подобравшего его грузовика, дорогу, уходящую в предутренний туман. Но то, что Херф осознал опасность Манхэттена и нашел в себе силы бежать от него, уже очень много и очень важно для Дос Пассоса. Если существует один человек, которого Манхэттену не удается убить, то, может быть, где-нибудь окажутся и другие.

Уилсон, возможно, был прав, возражая против чрезмерного пессимизма романа. Однако проблемы, стоящие перед обществом, были выражены Дос Пассосом с глубокой достоверностью. По-прежнему заинтересованный коммунистической теорией, Дос Пассос тем не менее понимает, что и она во многом несовершенна. «О Господи, как все гнусно! Если бы я мог все свалить на капитализм, как Мартин», — восклицает он устами Джима Херфа. Общественные проблемы видятся писателю гораздо более сложными, выходящими за рамки изъянов капиталистического строя. Он еще сомневается в их источнике и не может пока указать пути их решения. Одно только Дос Пассос считает несомненным: необходимо как-то излечить человеческое общество, чтобы ни его стадные инстинкты, ни его безразличие, ни про-

дажность властей не могли погубить на корню, растлить и распять человеческую душу со всеми таящимися в ней запасами доброты и милосердия. Необходимо помочь человеку спастись от Манхэттена.

Конец 20-х — начало 30-х гг. считается периодом наибольшей «левизны» в убеждениях Дос Пассоса. В 1926 г. он путешествует по Мексике, где знакомится с журналистами, с художниками авангардно-революционной ориентации. Их огромные настенные панно в центре Мехико впечатляют его своим бунтарством и страстной потребностью авторов образно объяснить смысл революционной покорности народу, в большинстве безграмотному. Статьи Дос Пассоса о Мексике, которые он писал для «Масс», полны сочувствия к мексиканским крестьянам и рабочим, разобщенным, не понимающим смысла политических поединков и интриг, устало и на голодный желудок укладывающимся спать каждый вечер на полу своих убогих домов. Однако желание облегчить их участь снова наталкивалось на неразрешимость вопроса — как это сделать: со времени написания «Манхэттена» Дос Пассос мало продвинулся в поиске приемлемых средств.

Репутацию Дос Пассоса как писателя револю-

ционного сильно укрепило его участие в судьбе Сакко и Ванцетти, двух итальянских анархистов, бездоказательно осужденных властями на смерть в 1927 г. Дос Пассос стоял в пикетах, организованных в их поддержку у Бостонского правительственного здания; он подписывал петиции в их защиту. Вместе с группой других демонстрантов он даже попал под арест (не слишком, впрочем, серьезный), а после казни анархистов во всеуслышанье объявил о своем полном разочаровании в американской политической системе.

Но несмотря на это писатель по-прежнему держится в стороне от политических организаций. На вопрос журналиста — «верите ли вы, что если писатель — коммунист, то его работа лучше отражает действительность?» — он ответил: «Я не представляю, как романист или историк при современных условиях может быть членом какой-либо партии».

Он всегда немного замкнут в себе и сдержан, он вглядывается в происходящее вокруг с холодноватой отстраненностью художника, стремящегося к максимальной объективности картины. Он не любит участвовать в спорах, но при необходимости неуступчиво отстаивает свое мнение. Обычно

он старается говорить быстро и негромко, чтобы как-то скрыть заикание, которым страдает с детства.

В 1928 г. Дос Пассос побывал в России, проведя несколько месяцев в Москве и Ленинграде и проехав на пароходе по Волге. Он живо интересуется новейшим советским искусством, особенно последними открытиями Эйзенштейна в кинематографе и Мейерхольда в театре. Советский театр восхищает его, несмотря на то, что незнание языка мешает следовать сюжету спектаклей: авангардное оформление сцены, неожиданные артистические решения во многом отвечают его собственным художественным принципам.

Находясь в России, Дос Пассос пытается оценить социализм в действии, снова взвесить все «за» и «против». Не имея практической возможности увидеть все стороны социалистического строительства, он высказывает свою симпатию к происходящим в стране процессам, к энтузиазму и увлеченности людей, к масштабам задуманных перемен. Однако на вопрос «с нами вы или против нас?», задаваемый ему повсюду, он так и не может ответить. Его смущают жесткость коммунистической доктрины и ставка на коллективизм.

В 1936 г. была напечатана целиком трилогия «США», которую Дос Пассос писал в течение нескольких лет, начав работу сразу по возвращении из России. Трилогия — одно из самых масштабных произведений американской литературы — представляла собой невиданную до сих пор по широте и всеохватности панораму жизни Соединенных Штатов на протяжении первых тридцати лет 20-го столетия. Это был все тот же взгляд «с высоты птичьего полета», вызвавший почти безоговорочные теперь аплодисменты критики — отточенная техника, яркая даже на фоне многочисленных формальных новаций в литературе, живописи и кино того времени; огромный объем информации исторического и социального характера, выдававший глубокую образованность автора. И за всей этой исторической массой, за сплетениями диалогов, биографий политических деятелей, отрывочными сюжетными линиями и множеством анонимных персонажей снова угадывалась фигура одиноко стоящего человека, растерявшегося в этом хаотическом и равнодушном мире, нуждающегося в помощи и поддержке. Это был еще один рассказ о Манхэттене, но Манхэттене, раскинувшемся по всему американскому континенту.

Поездка в Испанию в 1937 г. оказалась тем поворотным пунктом, после которого позиции Дос Пассоса были объявлены радикальной критикой «воинствующе консервативными» и заклеймены как предательство. В Испании, куда Дос Пассос и Хемингуэй отправились на съемки фильма о гражданской войне, был арестован Хозе Роблес, близкий друг Дос Пассоса. Сочувствовавший коммунистам, Роблес был схвачен тем не менее как немецкий шпион и казнен без суда и следствия. Дело Роблеса долго оставалось в секрете: попытки Дос Пассоса узнать что-либо конкретное о друге и помочь ему окончились ничем. Дос Пассос покинул страну с чувством опустошенности и невосполнимой потери. «Проклятие на оба ваши дома» — такова была его окончательная реакция.

В течение следующего года Дос Пассос работал над новой книгой «Приключения молодого человека». Вышедшая в 1939 г., она со всей отчетливостью заявляла о новой, категоричной позиции ее автора. «Приключения» заканчивались гибелью героя, Глена Спотсвуда, преданного коммунистами и посланного ими на смерть от фашистских винтовок. «Глен Спотсвуд был воспитан в традициях американского идеализ-

ма, — писал Дос Пассос о своем новом герое. — Он страдает от врожденного чувства добра и зла. Он одинок в мире 20 — 30-х годов».

Критика холодно встретила новую книгу Дос Пассоса. И дело было не в том, что многие литераторы в штыки приняли его окончательный разрыв с коммунизмом, — в книге отсутствовала та новизна и свежесть технических приемов, которыми были отмечены «Манхэттен» и «США»; попытка же автора рассказать о злоключениях Спотсвуда в сатирическом ключе оказалась неудачной. Литературная репутация Дос Пассоса начала падать.

С этих пор писатель целиком обратил свои надежды к Соединенным Штатам. Он снова и снова вчитывается в исторические труды и как никогда много ездит по стране. После серьезных размышлений он наконец приходит к выводу, что именно Америка, страна и государство, должна дать ему ответ на вопросы, мучившие его еще с гарвардских времен; что в самой системе американской демократии, пусть во многом несовершенной, кроются возможности изменения общественного устройства в лучшую сторону. Дос Пассосу пришлось проделать долгий путь, чтобы это увидеть.

Во время второй мировой войны он все так же много путешествует, посылая в журналы репортаж за репортажем об Америке военного времени. Категорически высказываясь против коммунизма, Дос Пассос с недоверием теперь относится к сближению Америки и России: «Кто обедает с дьяволом, должен иметь длинную ложку, — записывает он в своем дневнике. — Диктатура и демократия вряд ли могут договориться».

За Дос Пассосом утверждается репутация одного из самых консервативных писателей. Написанные им в последние годы романы, литературные достоинства которых часто оставляют желать лучшего, расходятся плохо. Казалось, он израсходовал все свои силы в поиске решения мучивших его проблем и, когда долгожданный ответ был наконец найден, в нем не осталось уже ни былой энергии, ни творческого воображения. Тем не менее благодаря, возможно, отсвету прежних дней в 1946 г. его избирают членом Американской академии искусства и литературы. Его кандидатуру поддерживают Синклер Льюис, Эдна Сент Винсент Миллей, Карл Сандберг, Юджин О'Нил.

В 1957 г. Национальный институт искусства и литературы наградил Дос Пассоса Золотой ме-

далью. Медаль вручал Уильям Фолкнер. Перед началом церемонии он и Дос Пассос имели непродолжительный разговор. Биографы умалчивают о том, что было сказано во время этой беседы. Известно лишь, что когда пришло время торжественно преподнести медаль, Фолкнер отказался от официальной речи, выразив свое отношение к происходящему одной простой фразой: «Никто не заслужил ее более и никто не ждал ее дольше».

Несмотря на то, что времена славы Дос Пассоса безвозвратно ушли, годы не состарили то лучшее, что было написано им. Его «Манхэттен» останется актуальным до тех пор, пока существуют огромные города с миллионами живущих в них людей, как бы ни меняло время их облик. Потому что в каждом таком городе есть свой опасный Манхэттен, в котором человек часто бывает беззащитен и одинок и так нуждается в уважении, сочувствии и поддержке. Это сочувствие — не обязательно герою, не обязательно праведнику, но человеку заблуждающемуся и грешному — будет всегда живо в лучших романах Дос Пассоса, хотя собранные им когда-то газетные вырезки пожелтели, обрывки услышанных разговоров растаяли в воздухе, многие здания в нью-йоркском Манхэттене были снесены и многие, еще

более грандиозные, воздвигнуты.

Екатерина Салманова